

В. П. ЗИЛОТИ

В ДОМЕ ТРЕТЬЯКОВА



В. П. ЗИЛОТИ • В ДОМЕ ТРЕТЬЯКОВА •





В.П. ЗИЛОТИ

В ДОМЕ ТРЕТЬЯКОВА





В.П. ЗИЛОТИ

В ДОМЕ ТРЕТЬЯКОВА

МОСКВА
«ИСКУССТВО»

ББК 85. 143(2)1
З-61



Печатается по решению Ученого совета
Государственной Третьяковской галереи

Генеральный директор В.А.Родионов

Текст воспоминаний В.П.Зилоти
печатается по изданию:
В.П.Зилоти. В доме Третьякова. Нью-Йорк, 1954

Предисловие и общая редакция
Н.Л.Приймак

Примечания
Т.И.Кафтановой, Н.Л.Приймак, Г.С.Чурак

Макет и оформление
Л.А.Ивановой

В издании использованы фотографии из фондов
Государственной Третьяковской галереи

Издатели также благодарят Е.С.Хохлову
за предоставление материалов из ее архива

ISBN 5-210-01321-9

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1992 году исполнилось сто лет со дня передачи Павлом Михайловичем Третьяковым в дар городу Москве великолепного художественного собрания произведений отечественного изобразительного искусства, при формировании которого слились воедино безграничная вера собирателя в торжество «русской художественной школы», любовь к искусству, безупречный вкус и горячее желание создать «общественное, всем доступное хранилище искусств, принесущее многим пользу, всем — удовольствие»*.

Вместе с собранием П. М. Третьякова городу была передана коллекция произведений иностранных и русских мастеров, принадлежавшая безвременно скончавшемуся младшему брату собирателя — Сергею Михайловичу Третьякову.

Частное художественное собрание П. М. Третьякова, радовавшее истинных любителей искусства с начала 1870-х годов, когда в залах галереи появились первые зрители, обрело новый статус — Московской городской художественной галереи, к названию которой, по требованию города, были прибавлены слова: «братьев П. и С. М. Третьяковых».

Дар братьев Третьяковых родному городу явился событием огромной важности и для Москвы, и для культурной жизни всей страны. Современники по достоинству оценили его, откликнувшись множеством приветствий создателю музея. К открытию галереи был приурочен 1-й Всероссийский съезд художников. Передвижники, творческие искания которых Третьяков самоотверженно поддерживал многие годы, писали в адресе собирателю: «Весть о Вашем пожертвовании давно уже облетела Россию и во всяком, кому дороги интересы русского просвещения, вызвала живейшую радость и удивление значительности принесенных Вами на его пользу усилий и жертв»**. Несколько позже, в 1895 году, известный художественный критик В. В. Стасов, как бы предвосхитив будущую судьбу музея, утверждал в письме к П. М. Третьякову, выразив со свойственной ему эмоциональностью и горячностью общий настрой чувств современников: «Ваша чудесная галерея есть русская, *всенародная, государственная, народная, национальная* Галерея, все равно как, например, собрание сочинений Пушкина, Льва Толстого, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, Островского. Все это — всенародно и национально»***.

Дар братьев Третьяковых явился определенным итогом, но не завершением самоотверженного служения П. М. Третьякова на пользу «русской художественной школы», в расцвет и торжество которой он поверил с юных лет. До последних дней, а жизненный путь основателя галереи завершился 4 декабря 1898 года, Третьяков оставался бессменным попечителем музея, постоянно пополнял его собрание на собственные средства новыми произведениями искусства.

* ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 4750, л. 1 об.

** Товарищество передвижных художественных выставок. Письма, документы. М., 1987, т. 2, с. 424.

*** Переписка П. М. Третьякова и В. В. Стасова. 1874—1897. М.—Л., 1949, с. 188.

Создание музея отечественного изобразительного искусства было поистине делом жизни П. М. Третьякова, не устававшего повторять: «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь»*.

Читателям хорошо знакома выдержавшая несколько изданий прекрасная книга «Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве», автор которой — дочь собирателя Александра Павловна Боткина — подробно рассматривает, опираясь на документальные свидетельства современников, архив семьи и собственные воспоминания, жизненный путь и подвиг отца во имя отечественного искусства. Гораздо менее известна книга, написанная старшей дочерью П. М. Третьякова — Верой Павловной Зилоти, — «В доме Третьякова», опубликованная на русском языке в 1954 году в Нью-Йорке Издательством имени А. П. Чехова, через пятнадцать лет после смерти автора.

Вера Павловна Третьякова, выйдя в 1887 году замуж за блестящего пианиста Александра Ильича Зилоти, любимого ученика кумира музыкальной Москвы Н. Г. Рубинштейна и венгерского композитора и исполнителя-виртуоза Ф. Листа, рано покинула родительский дом в Толмачах. Тем не менее, бывая в Москве, особенно после смерти родителей, как правило, лишь наездами, автор будущей книги «В доме Третьякова» никогда не порывала связей с галереей. Вслед за А. П. Боткиной, ставшей (в соответствии с условием завещания П. М. Третьякова) членом первого после смерти основателя Совета галереи, В. П. Зилоти вошла в состав Совета и деятельно участвовала в его работе в 1900-х годах.

Несмотря на нежную привязанность к собственной семье, к детям, на постоянное участие в музыкальной деятельности мужа, первым другом и помощником которого оставалась всю жизнь, Вера Павловна активно интересовалась положением дел в галерее. В 1900-е годы она стала хранительницей семейного архива. И А. П. Боткина, и художник И. С. Остроухов, член первого Совета галереи, позже — ее попечитель, мечтая в начале 1900-х годов создать мемориал П. М. Третьякова, обращались к В. П. Зилоти за необходимыми им документами. Именно В. П. Зилоти передала архив родителей «для изучения и публикации» попечителю галереи И. Э. Грабарю, работавшему над текстом первого научного каталога собрания музея, изданного в 1917 году. Без сведений, почерпнутых из архива Третьяковых, каталог, подготовленный И. Э. Грабарем, не получил бы столь важного для его научной значимости фундамента. На разрешение В. П. Зилоти ссылался в 1918 году И. Э. Грабарь, докладывая Совету галереи о намерении предпринять первую публикацию документов этого архива, научная ценность которых не померкла и в наши дни.

Любовно и внимательно изучила семейный архив и сама В. П. Зилоти, в чем мы убеждаемся постоянно, сопоставляя написанные ею воспоминания с сохранившимися до наших дней документами.

Знакомство с перепиской родителей, с дневниками и записями для детей, которые вела Вера Николаевна Третьякова, с перепиской художников с П. М. Третьяковым определило характер и стиль мемуаров В. П. Зилоти. Однако, работая над книгой, Вера Павловна, как нам представляется, опиралась прежде всего на собственные воспоминания, подкрепленные сохра-

* Цит по: *Боткина А. П.* Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве. М., 1960, с. 270.

нившимися в ее памяти рассказами родных. Это придало повествованию, в котором сквозь дымку лет оживает далекое и прекрасное прошлое, неповторимый оттенок волшебной сказки для взрослых.

Память Веры Павловны Зилоти, а автору воспоминаний к моменту окончания работы над рукописью шел семьдесят третий год, сохранила множество мельчайших подробностей своеобразного уклада жизни родительского дома, где патриархальные, милые сердцу обычаи соседствовали с высокоинтеллектуальными устремлениями семьи.

В. П. Зилоти, человек чрезвычайно эмоциональный и разносторонне одаренный, написала книгу, в которой сумела воссоздать своеобразие жизни третьяковского дома в Замоскворечье, этом традиционном гнезде московского купечества, печально-знаменитом «подвигами» героев пьес А. Н. Островского, современника описываемых событий. А то, что она «москвовка», что родилась «за Москвой-рекой и Канавой», В. П. Зилоти помнила всегда. И вместе с тем, рисуя с ностальгической грустью давно ушедший в прошлое, но милый сердцу по воспоминаниям юности патриархально-старомосковский быт семьи, где Павел Михайлович ежедневно заезжал «поздороваться» к «маменьке» Александре Даниловне, нравы и обычаи обитателей родительского дома, многочисленных родственников и знакомых, Вера Павловна приобщает читателя к той атмосфере высших, интеллектуальных запросов нового поколения московских купцов, к которому принадлежали и ее родители.

Перед читателем раскрывается та культурная среда, в которой росли и формировались многие из деятелей прославленного «серебряного века» русской культуры. Достаточно назвать имена С. И. Мамонтова, К. С. Алексеева (Станиславского), М. В. Якунчиковой-Вебер и ее сестер, А. И. Зилоти, М. К. Морозовой и других, постоянно встречающиеся читателю на страницах книги.

Дом Третьяковых в Толмачах, наряду с другими купеческими гнездами Москвы — Алексеевых, Мамонтовых, Якунчиковых, Боткиных, Морозовых, Щукиных, владельцев которых нередко связывали и дальние и близкие родственные узы, был своеобразным культурным центром старой Москвы, что прекрасно удалось показать автору мемуаров. Дух дома, его интеллектуальный настрой создавался родителями. Мягкую по натуре, любящую и отзывчивую Веру Николаевну Третьякову, мать автора, дети любили преданно и бесхитростно. Она осталась им верным другом и помощницей до конца. Прекрасная пианистка, ученица чеха И. В. Риба (впоследствии ставшего учителем музыки ее детей), она продолжала серьезно заниматься музыкой и выйдя замуж. Отец — Павел Михайлович — обожал малышей, но был строг, требователен, хотя и справедлив, со старшими.

Значимость его трудов хорошо понимали в семье и гордились его собранием произведений русского изобразительного искусства. Характерно, что Вера Павловна почти не упоминает о работе П. М. Третьякова, обладавшего в начале жизненного пути весьма средним достатком, над созданием крупнейшего в мире к концу XIX столетия ткацко-прядильного предприятия — Новокостромской прядильной мануфактуры, дававшей семье львиную долю доходов.

Семья Третьяковых жила другими интересами. В. Н. Третьякова в пятнадцатую годовщину свадьбы писала мужу: «Живи же <...> на радость мне, семье нашей, понимающим тебя, и на произведения искусства и тех идей, которым ты служишь»*.

* ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6339, л. 1 об.

В доме Третьяковых бывали художники, писатели, музыканты. Дети росли в окружении прекрасных картин, многие из которых составляют ныне классику нашего художественного наследия. В Толмачах постоянно звучала музыка. Большим любителем ее был А. А. Риццони. В. М. Васнецов часто искал вдохновения в музыке И. С. Баха, исполняемой В. Н. Третьяковой, а позже Верой Павловной.

Старинное знакомство связывало родителей автора с И. С. Тургеневым, который, приезжая в Москву, бывал у Третьяковых. На торжествах по случаю установления памятника А. С. Пушкину в Москве В. Н. и П. М. Третьяковы познакомились с Ф. М. Достоевским, перед творчеством и нравственным идеалом которого преклонялись. За их дочерью, копировавшей в галерее, заходил Л. Н. Толстой.

Дела Славянского комитета, на которые жертвовали и П. М. и С. М. Третьяковы, связывали их с семьями Аксаковых, Щербатовых, Черкасских, лучшими представителями славянофильского течения в среде московской интеллигенции. Живо интересовались супруги Третьяковы философскими воззрениями В. С. Соловьева, общались с кружком племянницы Веры Николаевны — Маргариты Кирилловны Морозовой, где царили музыка А. П. Скрябина, а властителем дум был философ Е. Н. Трубецкой.

В. П. Зилоти тепло вспоминает друзей отца — художников В. Г. Перова, И. Н. Крамского, В. М. Максимова, И. Е. Репина, произведения их были ей знакомы с детских лет; описывает кажущиеся (по прошествии многих лет) несколько комичными ситуации, в которые попадали барышни Третьяковы в общении с художественной молодежью — Н. К. Бодаревским, Н. Д. Кузнецовым.

Горячая любовь к музыке, глубина и серьезность отношения к ней были воспитаны в детях матерью. Возможно, поэтому среди многих прославленных деятелей культуры второй половины XIX века, бывавших в доме Третьяковых, особенно близки автору музыканты. Их характеристики в книге особенно подробны и живы. Автор упоминает друзей юности отца и дяди — прославленных пианистов, дирижеров, основателей Петербургской и Московской консерваторий, Русского музыкального общества братьев А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов, известного дирижера М. Эрмансдёрфера и его жену — певицу Паулину Фихтнер; П. И. Чайковского, младший брат которого, Анатолий, в начале 1880-х годов стал мужем двоюродной сестры Веры Павловны — Прасковьи Владимировны Копшиной. Это родство тесно сблизило композитора с его восторженными почитателями. Для каждого В. П. Зилоти находит доброе слово, отмечает достоинства музыканта-профессионала.

Много прочувствованных слов посвящено автором роману с А. И. Зилоти, счастливо окончившемуся их браком.

Книга «В доме Третьякова» не претендует на «наукообразность» ни в изложении, ни в содержании. В ней много фактических ошибок. В. П. Зилоти иногда путает имена, даты, родственные связи людей, произвольно совмещает или разводит во времени описываемые события. Эти ошибки составители постарались отметить и исправить в примечаниях.

Ценность книги в другом: Вера Павловна сумела не только ярко, непосредственно и тепло воссоздать среду и историческую обстановку, в которых прошли ее счастливые детство и юность, но и приобщить современного читателя к духовной атмосфере дома Третьяковых, составляющими которой были благородство, порядочность, высокие идеалы служения искусству и народу.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рукопись воспоминаний была закончена В. П. Зилоти в июле 1939 года. Она завершается описанием отъезда молодоженов за границу, «in die große Welt»*, к новой жизни. Как явствует из текста воспоминаний, Вера Павловна мечтала продолжить свой рассказ, хотя и сомневалась в собственных силах.

Можно лишь пожалеть, что намерение написать продолжение не было ею осуществлено и читатели лишились увлекательнейших мемуаров информированного, пристрастного (в лучшем смысле этого слова) и талантливого автора.

Н. Приймак

* в большой мир *(нем.)*.

Посвящается дочери Кириене

ОТ АВТОРА

Хочется записать то, что еще живо и дорого в воспоминаниях о жизни в нашей Белокаменной, о жизни — когда-то...

Говорю «когда-то», так как я[1] почти накануне моих 70-ти лет и чуть ли не полвека, как покинула ее. Скоро 15 лет, как занесло нас за море-океан, в Нью-Йорк, в этот новый Вавилон[2].

Хочется сохранить эти воспоминания для тех более молодых близких, которые, несмотря на нашу кажущуюся бездомность, несмотря на весь наш типично-русский интернационализм, все же остались русскими в глубине души.

Не столько хочется описать факты или картины, сколько типы и атмосферу жизни нашего именитого московского купечества в тот quasi-Медичивский период, среди которого я имела счастье родиться и вырасти.

Это не будет ни в какой степени чьей-нибудь биографией. За хронологию не ручаюсь. Напишу по «живой хронологии»[3], как будет вспоминаться. Мои, быть может, слишком подробные описания «Толмачей» смогут послужить материалом для истории галереи, когда-нибудь. Не умею избегать и длиннот (мы ведь воспитаны на Тургеневе) — и это в стиле нашего поколения[4].

Во всем мире качества отдельных личностей, народов и рас более или менее, в зависимости от степени культурности, — однородны, общи, почти тождественны, а недостатки так разновидны. Чем развитее жизнь, тем однороднее высокие качества и разнообразнее особенности, слабости, а иногда и пороки. Вспоминаю слугу Н. С. Зверева[5], Матвея, который говаривал: «Жизнь — углубленная, и несть ей ни в чем конца...»

Лишь бесконечный «контрапункт» качеств с недостатками образует индивидуальность. Коли любишь человека лишь за его добрые качества — не значит ли слепо любить? — так как понимать его и ценить можно, лишь видя и любя и недостатки, то есть всю личность. Федор Иванович Буслаев[6] этому учил меня, когда пришел со мной познакомиться и подарить мне свои книги в декабре 1886 года, когда я стала невестою Александра Зилоти[7], его ученика и любимца Москвы.

Постараюсь описать людей, с которыми мне довелось познакомиться, встречаться, видаться или даже жить вместе, — объективно, по своему разумению. Часто буду говорить об их недостатках, характерных для их образа и личности. Может быть, напишу то, что мне потом покажется, что лучше было бы и не писать, — возможно. Часто любила я кого-нибудь из родных или друзей десятками лет, не задумываясь, хороший ли это был человек. Пленяешься иногда всего более их кажущимися слабостями. Не ради сплетни, не ради осуждения буду описывать правду, как она мне представляется. Верю, что, любя или жалея, не оскорблю образов, все уходящих вдаль...

Я на сто процентов «московка» (как называл меня впоследствии Владимир Васильевич Стасов) — люблю мою родину, Белокаменную, люблю ее ушедший быт[8].

25 июня 1936 г.
Нью-Йорк

ГЛАВА 1

ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Помню, была у меня няня Таня, высокая, стройная, милая-милая; она баловала меня. Я знала, что была у нее где-то дочка Саша; я понимала, что няня Таня любила нас обеих; она часто плакала, мне было ее так жалко, и я еще больше любила свою няню Таню. Впоследствии, когда она нас навещала, то приходила с нею и Саша; моя мать платила за нее в гимназию. Помогать образованию молодежи было как бы специальностью мамочки всю жизнь[1].

Помню, как я, проснувшись утром, сидела в кроватке с игрушками, а няня Таня, давно вставшая и уже одетая, пила чай за столом, у окна; и как приходил наш истопник Григорий Иваныч с большой кочергой; заходил раза три помешать угли в лежанке, в углу детской; в последний раз он собирал кочергой красную, горячую золу, захлопывал медную заслонку, закрывал трубу в стене и уходил до следующего утра. А то приходил он с жирным желтым блином в руке — замазкой, со стамеской и тряпкой замазывать окна и щели на лежанке; запах замазки нравился мне и на всю жизнь остался связанным с воспоминанием о Григории Ивановиче, с его желтыми, мочалистыми волосами, хитрыми глазками и доброй улыбкой.

Помню и другое: когда кончали обедать в нашей угловой столовой, приходил с большущим подносом наш преданный слуга Андрей Осипович[2] собирать стаканы со стола; стаканы большие, граненые, все в ямочках; он сажал меня, необыкновенно маленькую по годам, на поднос, а рядом со мною ставил стакан за стаканом, и, перед тем как уносить нас в буфетную, производил, кладя за щеку палец, какой-то необычайный, меня пленявший звук, что было словно свисток, — и мы неслись опрометью через «антрэ»* и ставились на буфетный стол; стаканы снимались, а я летела на подносе обратно в столовую и ставилась на обеденный стол, то перед мамой, то перед папой, который обыкновенно после обеда за столом читал газету, куря свою единственную в день сигару, и, увидав меня на столе, тер нос платком совсем по-особенному, ухмыляясь.

Помню, проснулась я как-то утром и мне сказали, что сегодня мое рождение и что мне три года[3]. Мне подарили куклу Лизу, с длинным лайковым туловищем, фаянсовой головой, с голубыми глазами, кривыми бровками и фаянсовыми черными локонами. Как непохожи были наши старые куклы на теперешние! А как мы их любили! Вскоре подарили мне брата ей, такого же брюнета, но с гладенькими фаянсовыми волосами, с атласными черными ногами, в плисовых шароварах и в русской рубахе. Я назвала его Серей; я слышала, что папу-крестного звали Сергеем[4], я его любила и мне нравилось сходство этих созвучий.

Папа-крестный, единственный наш дядя со стороны Третьяковых, крестил нас всех шестерых[5]. Меня, как первую, крестили с особым торжеством: рассказывали, что вся купель была в маленьких живых розанчиках... Крестной моей была бабушка Александра Даниловна, мать моего отца[6]. Николай Николаевич Мамонтов, брат моей матери[7], шутил, что приехал на крестины нарочно для того, чтобы убедиться, что действительно родилась у него племянница; он еще так недавно отплясывал вальс со своей сестрой в день ее именин, 16 сентября.

Папа-крестный заходил к нам в детскую каждый день, когда по делам приезжал в контору к своему старшему брату, Павлу Михайловичу, в Толмачи[8].

* Здесь — вход, передняя *(франц. entrée)*.

Павел Михайлович души не чаял в брате Сереже. Ведь они остались после смерти отца своего Михаила Захарьевича[9] почти мальчиками, 16-ти и 17-ти лет. Оба торговали в лавке; оба с юности беззаветно любили искусство и скромно собирали картины; сидя в райке, млели перед великими актерами, московскими и приезжими — заграничными, и оба обожали оперу.

Павел Михайлович на всю жизнь сохранил к брату нежность и заботливость, хотя впоследствии не всегда соглашался с его образом действия в его общественной деятельности в качестве городского головы города Москвы; не любил снобистических и генеральских замашек его жены Елены Андреевны[10] и приписывал ей дурное влияние на мужа; печалился этим и страшно его жалел.

Павел Михайлович почти никогда не говорил о своем детстве, однако, помню, как-то рассказывал с большим юмором о том, как хаживал к ним в лавку, в рядах на Красной площади, какой-то «странный человек», странник что ли[11], который молился и просил подаяния, но если кто-нибудь ему отказывал, то он сердился и грозно кричал: «Я ти взвощу, я ти взбутетеню!». Это отец нам рассказывал, смеясь до слез и с чувством восхищения перед красочностью этих непонятных слов. Любил он вспоминать, как они с братом Сережей на Бабьем городке ходили в купальни на Москву-реку с мальчиками Рубинштейнами, Антоном и Николаем, у отца которых была неподалеку карандашная фабрика[12]. «Николай Григорьевич был большой шалун», — прибавлял Павел Михайлович с милой, лукавой улыбкой, так как знал, что таяли перед Николаем Григорьевичем не только он сам и все мы, но и вся Москва.

Странно, а в сущности, и не странно, а естественно, что эти детские товарищеские отношения гораздо позже дали основу чудесному дружескому пониманию между этими четырьмя людьми, жившими всю жизнь служением искусству, каждый в своей сфере; у Павла Михайловича было главным образом поклонение гению братьев Рубинштейнов, а у Сергея Михайловича, кроме того, была с ними близкая душевная дружба до конца дней[13].

Как минуло мне три года, ушла от нас няня Таня — и что-то скучно стало; да и дни были серые, короткие. И слышу я как-то утром, за столом, как отец говорит тете Манечке[14], наливавшей ему кофе, что мамочке что-то нездоровится, а погодя прибавил, как он рад, что Тимофей Ефимович, с женой и старшей дочкой, Оленькой, собирается приехать из Саратова к нам погостить[15].

Через некоторое время, в непроглядное осеннее утро, когда еще горела над столом большая керосиновая лампа, под которой отец читал матери, между глотками кофе, «Московские ведомости», услышали мы звонок «на парадной» и снизу голос Андрея Осиповича: «Павел Михайлович, Тимофей Ефимович приехали». Через несколько минут в столовую быстрыми шагами вошел человек среднего роста, плотный, курчавый, с проседью, с тонким носом, сияющими голубыми глазами, приветливой улыбкой, с бодрым и в то же время нежным голосом. Вот каким я вижу в моей памяти, более чем через 70 лет, Т. Е. Жегина.

Помню радость моих родителей, объятия, поцелуи.

За Тимофеем Ефимовичем шла дама, полная брюнетка, — смутили меня ее черные усики, — а за дамой шла барышня, стройная, голубоглазая, с русыми косами вокруг головы, красивая и такая милая.

Т. Е. Жегин был саратовским купцом, с которым Павел Михайлович вел дела. Когда и где они подружились, до сих пор не знаю. Женат Тимофей Ефимович был на Е. Ф. Шехтель, из саратовской немецкой колонии. Было у них пять красавиц дочек[16]. Дядя Тима привез мне в подарок маленькие

золотые ножницы. Я наглядеться не могла на них. Взяв в руки, я их больше не выпускала и, держа около уха, сжимая и разжимая их, с блаженством слушала звук трущейся стали; в конце концов, разумеется, я оцарапала себе ухо. Папа испугался, отобрал у меня ножницы и сейчас же своими длинными руками повесил их на люстру, над обеденным столом; а сам, вечером, вернувшись из магазина, с Ильинки, принес мне такие же золотые маленькие ножницы, но с тупыми концами. Но это были — не те...

Не вспомню, сколько лет висели эти ножницы у меня над головой, манили, дразнили; а папа часто, видя меня сидящую с глазами, устремленными на люстру, тер свой нос платком, постепенно складывая его, и с хитрой улыбкой декламировал: «Зелен, зелен виноград», или нараспев поддразнивал: «Взять Верку под сомнение давно бы уж пора». Мне это казалось тогда очень обидным. Не могу себе представить до сих пор, откуда папа выудил эту фразу; наверное, как театрал, — из какой-нибудь оперетки, подставив имя — Верка[17].

Дядя Тима разъезжал то в Саратов, то снова к нам. Вносил столько уюта, веселости. Не помню за все свое детство, чтобы мой отец так тепло и нежно относился к кому-нибудь из своих друзей.

Наша дружба с Оленькой росла. Ее вывозили. Уезжая в оперу или в гости, она показывалась нам разодетая. Ах, как она была мила, как я ее обожала! Но вдруг пришел этой радости конец. Пролетело три, четыре месяца. Жегины уехали от нас, обещали мне прислать маленькую сестрицу; и мне захотелось, чтобы ее звали Оленькой.

Первого марта действительно родилась у меня еще одна сестрица, но ее назвали Любой[18]. Я была безутешна. Лишь милая тетя Манечка сумела успокоить и утешить меня тем, что Люба будет именинницей в один день с мамочкой и со мной.

Скоро мы услышали, что Оленька выходит замуж за Александра Максимовича Попова, сына известного московского суконного фабриканта[19]. Следующей осенью она привезла с собой к нам своего мужа; была мила, но уже не была моя Оленька, а чья-то чужая.

В то самое время, когда у нее родился сын, Коля[20], у ее матери в Саратове тоже родился сын и тоже Коля. Помню, как родители наши поехали в Саратов, мамочка моя должна была быть крестной матерью[21]; главной же причиной поездки была долгая болезнь дяди Тимы; собственно, родители поехали его навестить, а может быть, и проститься с ним навсегда. Вскоре после крестин Коли и отъезда наших Тимофей Ефимович скончался. Часто, часто вспоминали наши родители своего друга.

ГЛАВА 2

У НИКОЛЫ В ТОЛМАЧАХ

Церковь Св. Николая Чудотворца, что в Толмачах, стояла среди Замоскворечья, к югу от Москвы-реки, за Канавой[1]. Обнесенная белой каменной решеткой, церковная земля занимала угол на перекрестке Малого и Большого Толмачевских переулков. Очевидно, в старину живали здесь толмачи, переводчики. (Слово «толмачи» происходит, я думаю, от немецкого слова Dolmetscher*.)

На этой земле, среди плакучих берез и кустов сирени, стоял белый каменный домик для просвирен и богоделок. Церковь была не очень старая и неинтересная, особенно внутри; живопись была сравнительно новая и малохудожественная, но любила я смотреть на ангелов и архангелов, по одному в каждом из четырех углов сводчатого потолка, в каждом из трех приделов «зимней» церкви. Икон, ни старинных, ни чудотворных, не было.

Приводили нас маленькими к началу службы и ставили рядом с тетей Манечкой, а когда стали побольше — сами приходили, одни, из дому через сад, и становились рядом с ней. Она учила нас, как стоять, как креститься и кланяться. То ласково ткнет в спину, чтоб и мы опустились на колени.

Наш батюшка, Василий Петрович Нечаев, обладал необычайно верной интонацией в возгласах: они были обдуманны, торжественны, убедительны и трогательны. Были у него маленькие, сонные глаза и заплывшее лицо, старавшееся казаться строгим; мы его не боялись и любили. Он был большим ученым-богословом, а впоследствии, овдовев, принял сан архиерея. Тогда я была уже далеко, на Западе. Когда мы стали взрослыми девицами, Василий Петрович приходил нас учить катехизису, истории церкви и не прочь был побеседовать о старообрядцах, которых не любил. Он всегда кончал урок словами: «Ну, деточки, вот оно вещи какие!».

Мы знали попадью, Варвару Никифоровну, — высокую и стройную, и всех дочерей, очень образованных и красивых, и сына, студента-медика[2]. Мы ходили поздравлять Василия Петровича в день его именин и любовались массою чудесно вышитых (шелками или бисером) подушек, лежавших на мебели красного дерева.

Дьякон наш, Федор Алексеевич, внешне был идеальным типом апостола; на службах, обладая симпатичным, круглым баритоном, как нельзя более гармонично вторил батюшке.

И дьячок наш старенький, и толстый пономарь, и трапезник[3] пели верно, чисто, всё такие простые напевы; но часто делали и такие витиеватые переходы в херувимских и других важных молитвах, что нельзя было не заслушаться. Это осталось для меня, в воспоминании, идеальным церковным православным пением. Пели они часто, по словам батюшки, и «по крюкам». Позже я поняла, что это были, в большинстве случаев, напевы нашего обихода; многие из них я нашла впоследствии у Кастальского[4]. Особенно трогательны были рождественские, «постные» и пасхальные напевы, о которых до сих пор не могу без внутреннего волнения вспоминать. Всё, и продажа свечей, и сбор денег, велось чинно — без тени торгашества. Бессменным старостой был Андрей Николаевич Ферапонтов (у него на Никольской был магазин церковных книг и вообще духовной литературы). Андрей Николаевич с женой своей Елизаветой Мефодиевной были люди хорошего образования; Елизавета Мефодиевна была любезная, «тонная» дама. Их дочери и четыре сына были хорошо воспитаны, почти «породисты», а некоторые и

* переводчик *(нем.)*.

красивы. Их младшая дочка, Серафима, наша сверстница, длинноногая шалунья, слабенькая и, как нам казалось, избалованная, очаровывала нас почти до зависти свободою своих красивых движений. Когда няня ее, уже десятилетней, приводила в церковь и ставила на «место» около церковного ящика, то мы слышали тихий голос ее матери: «Вот и наша красавица пришла». Мы их знали лишь по приходу[5].

Папа ходил изредка ко всенощной, а к ранней обедне — каждое воскресенье и во все большие праздники; становился совсем впереди, недалеко от амвона, носом в угол, около мраморной квадратной колонны; скромно, тихо крестился, подходил тихонько ко кресту и шел домой пить кофе с мамочкой и тетей Манечкой, которая приносила всегда несколько просвирок, «вынутых» и «невынутых»; мы были любителями последних, которые тетя Манечка позволяла есть с меньшей осторожностью.

Мамочка ходила в церковь редко; ходила не столько молиться, сколько из-за пения и из-за настроения; становилась в конце церкви, на возвышении, рядом с нами и с тетей Манечкой. Слушая любимые старинные напевы, сама, от души, невольно подпевала; часто слезы умиления блестели на ее серых, лучистых, миндалевидных глазах с длинными ресницами, и выражение лица ее бывало такое особенное. Любила преждеосвещенные обедни и вспоминала, как ее брат Валериан[6] — на Разгуляе — певал «Да исправится», в алтаре, в трио мальчиков.

Мы по воскресеньям ходили в церковь по обязанности; нас поднимали в шесть часов, к ранней обедне. Когда мы подросли и обленились, наша старая горничная Катя нас будила-будила. Я-то вскакивала легче, а сестра Саша[7] любила поспать. Катя топталась-топталась по комнате, подварчивая: «С вечера не уложишь, утром не добудишься». Шли мы сонные, чуть-чуть светало; в церквах Замоскворечья где ударяли, где благовестили; галки и вороны сонно каркали, зяблось...

«Для себя» любили мы ходить во время Великого поста в Великую пятницу на вынос плащаницы, а в Великую субботу ходили «Христа хоронить»: четыре часа утра, весна, тепло, у церкви вербы распускаются, солнце встает, поют «Воскресни, Боже». Потом дома красили яйца. Весь день ждали вечера. В шесть часов спать ложились и думали, как нас разбудят одеваться к заутрене. Теплая ночь, в саду, по дорожке в церковь, горят шкалики с купоросом; вот ударил колокол на Иване Великом, вот подхватили колокола всех «сорока сороков» нашей Белокаменной.

Батюшка Василий Петрович с тройным золотым подсвечником в руках, в котором горят три красные, перевитые золотом восковые свечи, с букетом гиацинтов от мамочки, привязанным лентой к подсвечнику; и отец дьякон с кадилом — оба в золотых ризах — шли на «Гроб Господень» через паперть; за ними крестный ход двигался вокруг церкви с грустным песнопением; мы, внутри, в умилении ожидали стук в запертую чугунную церковную дверь; дверь распахивалась, врывалось радостное «Христос воскресе из мертвых», и толпа молящихся, с пылающими свечками, вносила в церковь столько огня, света, радости, а с платьями — и весеннего воздуха.

Свое незабываемое настроение бывало и в сочельник. Тетя Манечка не ела, ждала «звезды». Я и сейчас, когда вспомню о кануне Рождества, пою себе «Рождество Твое, Христе Боже наш» и «Дева днесь Пресущественного рождает». Выйдешь, бывало, от вечерни — смеркается; холодно на улице, а на душе тепло, а дома ждет большая, еще не украшенная елка. Пахнет смолой, и наши детские души полны ожиданием юного, веселого зимнего праздника Младенца Христа. «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение...».

ГЛАВА 3

НАШИ «ТОЛМАЧИ»

К церковной земле с севера примыкал участок, принадлежавший братьям Третьяковым: между Малым Толмачевским и, параллельным ему, Лаврушинским переулком. (Там стоял наш дом, с садом и службами. Мы назвали его «Толмачами».)

Въезд был с Лаврушинского переулка. Вдоль него тянулась каменная ограда с чугунной решеткой, со стрелками наверху; посреди ограды были железные ворота. Все было выкрашено в светлую краску. Ворота весь день были открыты, а на запоре бывали только ночью. По бокам ворот были железные калитки. Внутри двора, у правой калитки, стояла деревянная сторожка для дежурного дворника (дежурили и день и ночь). Направо во дворе, вдоль переулка, весь угол занимало большое каменное здание с «галдереею» и навесом. Здесь помещалась наша кухня, где готовили нам два повара, Иван Ульянович и сын его, Адриан Иванович; затем шли: кухня, людская, прачечная, кладовая с большим подвалом; там спали кухарки, прачки и коровница Арина, всё народ помоложе. Подальше, направо, по северной границе земли, стоял двухэтажный каменный светлый домик, где жили и обедали приказчики; у них была отдельная кухарка. Между этими двумя зданиями был громадный погреб с подвалами для запасов на зиму: кислой шинкованной капусты, соленых огурцов, моченых яблок и так далее.

Налево от ворот стоял каменный каретный сарай; около него — конюшни для наших лошадей; затем, параллельно южной границе, шел каменный забор, отделявший наш двор, «господский», от «заднего двора», где под длинным навесом стояли полки и сани для перевоза товаров. А рядом — конюшни для наших ломовых лошадей. В углу «заднего двора» находилась «дворницкая», под тенью церковных и наших деревьев в саду, там жили: кучер наш Сергей Максимович со своей женой — Еленой Фоминишной, конюха и дворники; а после смерти Сергея Максимовича его заменил кучер Петрович, благообразный и чрезвычайно симпатичный. Посреди двора, против ворот, стоял наш дом со стеклянным подъездом.

Он выстроен был давно, без фундамента, на буте. В двенадцатом году горел с одного угла; чей он был тогда — не вспомню, вероятно, знала когда-нибудь[1]. От левого угла дома, вровень с фасадом, начинался сад, отделенный от двора оградой, шел до самого Толмачевского переулка, во всю ширину нашей земли. Сад был обсажен по левой, церковной, стороне и по переулку — большими, раскидистыми серебристыми тополями, дававшими летом черную тень. Зрели в нем китайские яблоки, цвели кусты сирени, шиповника, жасмина. Весной пестрели клумбы крокусами, тюльпанами и гиацинтами, которые мамочка с тетей Манечкой пересаживали из горшков после зимы, а летом — неведомыми нам тогда цветами. Гордо росли «штампованные» розы, всех сортов, самых редких, от белых до темно-пунцовых. Кое-где стояли под тополями скамейки.

В деревянном заборе, шедшем вдоль Толмачевского переулка, были две калитки. Одна, на юге, по дороге в церковь, мимо «булочника», который жил с оравой ребят как раз между нами и церковью, а другая, на севере сада, — вела к домику «маленьких Третьяковых». Так называли сестер тети Манечки — тетю Аню, тетю Лизу, тетю Наташу и тетю Надю; были они все маленькие, худенькие и черненькие[2]. Тетя Манечка и тетя Надя были в молодости, наверное, очень хорошенькими; тетя Манечка была оригинальна и привлекательна и позже. Не знаю, сохранился ли теперь где-нибудь

ее портрет в черной кружевной косынке на голове работы Н. В. Неврева, который был большим поклонником ее красоты[3].

Они были дочками Ивана Захарьевича Третьякова, брата нашего дедушки, Михаила Захарьевича. Женат Иван Захарьевич был на Александре Петровне Владимировой; они жили все на Бабьем городке, у Ивана Воина[4].

Рассказывали, что мамочка возила меня, маленькую, на Бабий городок показать матери тети Манечки.

После смерти родителей «маленькие Третьяковы» переехали в «Толмачи». Павел Михайлович построил для них в нашем саду бревенчатый домик, словно маленький скит; как его строили, я не помню. При доме были у барышень и дворик, и сарай, где они разводили кур. Они чудесно готовили, и мы ждали как праздника поесть у них постного пирога с маком или вареньем, прямо со сковородки.

Все окна выходили в сад (на ту же сторону). Тетя Надя и тетя Наташа — два дружка — спали в одной комнате. На их окне стояли всегда цветы: герань и бегонии. Была у них угловая крохотная «зала» и рядом гостиная с мебелью красного дерева, от их родителей; обито было все штофом винного цвета; лежали филейные салфеточки, бисером шитые подушки; но все настроение создавали старинные образа, с громадными темными ликами, в киотах с темным стеклом, перед которыми горели всегда лампадки. Это был для нас маленький рай. Там девицы молились, постились, вспоминали, наверное, свою молодость, свои разочарования, и может быть, и счастливые минуты...

Слыхала я, что Павел Михайлович выстроил этот домик «под крылышко» тети Манечки, чтоб ей было покойно за сестер. Она каждый день ходила к ним и в постные дни у них обедала. Сама же тетя Манечка жила в большом доме, и жила там с тех пор, как переехали в него Третьяковы с Бабьего городка, от Ивана Воина. По моему расчету — в начале 50-х годов. Комната ее была наверху; ее итальянское окно, в центре дома, под карнизом, смотрело в сад; потолок низкий, уютный, почти рукой достанешь; по бокам — окна, в обоих углах — низенькие, полукруглые шифоньерки полированного ореха, а над ними — по два образа, один над другим, как и у «маленьких Третьяковых», с громадными темными-темными ликами: Иисуса Христа, Божьей Матери, Иоанна Крестителя и Николая Чудотворца. По праздникам тетя Манечка зажигала перед ними лампадки, красные, таинственные...

В комнате было два выхода: один, против окна, — в «темненькую», проходную комнатку, ведущую и на чердак; другой, направо, — в детскую, куда меня перевели с Машенькой Соц[5], после ухода моей няни Тани.

По ней я тосковала и была рада спать рядом с тетей Манечкой: я могла, подняв ногу на высокий порог, одним махом очутиться в ее комнате.

В углу, у двери в «темненькую», стояла постель тети Манечки, полированного ореха, дальше по стене, ближе к окну, — диван красного дерева с малиновым штофным сиденьем; над ним висело длинное зеркало, перед окном стоял стол, на котором тетя Манечка, постукивая на счетах, сводила расходы по хозяйству. По правой стороне, около моей двери, стоял «причесывательный» столик и висело зеркало поменьше; а между двумя дверьми — старинная стеклянная шифоньерка, полная самых соблазнительных вещиц: фарфоровых фигурок, вазочек, бронзовых и мозаиковых итальянских шкатулок.

«Что это, тетя Манечка?» — «А это осталось после покойницы Елизаветы Сергеевны, матери Коли Третьякова»[6]. Позже слышала я от тети Ани, что Елизавета Сергеевна Третьякова, первая жена Сергея Михайловича, перед смертью подарила все это на память своему лучшему другу — Машеньке. Так звали тетю Манечку папа и мамочка.

ГЛАВА 3

Как себя помню — в детстве, и в юности, и в молодости, и позже, уже замужем, — часто сиживала я в этой комнате на красном диване. Сколько всего было переговорено, пересказано милого и дорогого с тетей Манечкой, моим верным другом, всегда все понимавшим.

При выходе из тети-Манечкиной комнаты, в проходной «темненькой» комнатке, в углу налево, между дверьми, стояла железная кроватка, покрытая белым пикейным одеялом, с горою белых, высоких, взбитых подушек. Здесь спала Степанида Захаровна, высокая, худощавая старушка, в белом чепчике. Когда ей было всего шестнадцать лет, она поступила прачкой в служение к бабушке, Александре Даниловне, и проработала в нашей семье всю свою долгую жизнь[7].

Часто утром рано, в коридоре или на лестнице, я встречала Степаниду Захаровну; мы ее любили и радовались с ней поболтать:

— Здравствуйте, Степанида Захаровна.

— Здравствуйте, милая барышня.

— Хорошо ли вы спали, Степанида Захаровна?

— Ничего, барышня, только вот он-то все, батюшка, сегодня ночью по чердачку как похаживал, туфельками как пошлепывал и гудел: у-у-у!

— Да кто же это, Степанида Захаровна?

— А хозяин-то...

И делалось так страшно, что убегала подальше от «темненькой». А потом спросишь тетю Манечку:

— Да кто же это? Домовой?

— А это — имени которого в жизни и поминать никогда не надо.

И верилось, и не верилось (но было страшно).

В «темненькой», насупротив двери тети Манечки, была дверь, всегда запертая на ключ. Бывало, тетя Манечка, когда ярко светило солнце и пахло весною, вдруг утром скажет: «А сегодня я пойду в «темненькую» убирать шубы на лето». Брала свечку и связку больших ключей; мы шли за ней следом; отпиралась дверь; спертый, пропитанный перцем и камфарой воздух бросался в нос, и начиналось очарование. Входили через маленькую «темненькую» в большую, где стояли громадные деревянные сундуки, другие — кованые, и большие и поменьше; все на запоре.

С утра еще раздавался снизу крик Андрея Осиповича: «Марья Ивановна, скорняки пришли!». Во дворе, около погреба, выставлялись длинные столы. На них скорняки, в больших фартуках с рукавами, раскладывали шубу за шубой и все «польта», по очереди, и выколачивали их палками, задавая безумную ритмическую гонку: то крупными ударами, то перебоем, то мелкой дробью, мягче по меху шуб, громче, когда палки ударялись о стол. Шуб наших, шуб приказчиков, шуб прислуг и кучеров и тулупов дворников было видимо-невидимо. Лишь к вечеру скорняки едва успевали кончить работу и спешили, чтобы получить «на чаек». Днем их, конечно, кормили сытным обедом. Наши шубы приносились наверх, укладывались у тети Манечки в «темненькой» в красные деревянные сундуки, а другие укладывались внизу, где-то в подвалах.

Сколько радости бывало, когда тетя Манечка открывала сундуки с мамочкиными старыми платьями, бальными, с гирляндами цветов, и с маскарадными костюмами. Особенно любили мы костюм Marguerite de Valois*: эти бархатные фижмы, кружевной накрахмаленный воротничок и светлый парик. Глядя на них, вспоминали мы, как давно, когда мы были совсем маленькими, мамочка с братом, Николаем Николаевичем, поехала раз вечером к Боткиным — Дмитрию Петровичу и Софье Сергеевне[8] на маскарад,

* Маргарита Валуа *(франц.)*.

одетые в подлинные костюмы остяков, вышитые монистами, в монгольских масках. А на другое утро, когда мы пришли пить кофе, мамочка только что вернулась с маскарада, сидела в стеганом своем халатике и белокуром высоком парике, утыканном шпильками с рубинами. Вся голова ее блестела, и улыбка сияла на ее лице. Такая она была красавица! Тетя Манечка и папа слушали ее рассказ, как было весело и у Боткиных, и у Каминских[9]: они успели побывать на двух маскарадах в один вечер.

Был сундук и у тети Манечки. Там лежали куски бархата, кружева, масса шелков и вышивок. «А это чье, тетя Манечка?» — «Это покойницы Елизаветы Сергеевны, матери Коли Третьякова». В «темненькой», направо в стене, были какие-то полукруги. «Что это такое, тетя Манечка?» — «А это были арки, под карнизами залы. Когда Сергей Михайлович женился и «задавал балы», то отсюда музыка гремела, а после их заложили кирпичом, после того как Елизавета Сергеевна скончалась ...».

Далее, наверху, окнами на север, были две «девичьи». Первая — проходная, с чугунной лестницей вниз, в буфетную; вторая — проходная, с деревянной лестницей вниз, в «ванную комнату» мамочки, рядом с ее спальней, чтоб горничной ее было ближе бежать на ее звонок, одевать «Веру Николаевну». Третья девичья была большая, непроходная. Сколько перемен видела эта комната!

При входе в дом через стеклянный «подъезд» было «антрэ». Все мы, конечно, выговаривали это слово по-французски, но прислуга наша выговаривала по-русски: нравилось им это неведомое слово.

От «парадной» шел широкий проход внизу посередине; вверх с четырех сторон подымались ступеньки до средней площадки, с которой в «бельэтаж» вели только две лестницы в противоположные стороны. «Антрэ» было очень торжественно: на стенах были медальоны (копии с барельефов Торвальдсена)[10]. Обе лестницы кончались площадками, на которых стояли лепные высокие лампы и висели зеркала. Ковер на желтых мраморных ступеньках лежал красный, с зеленым и синим. На площадке с большим итальянским окном во двор, над подъездом, стояли пальмы в деревянных громадных кадках с железными обручами.

Налево, с тремя окнами на фасад, шел мамин кабинет. Узкий и холодный, а потому почти целый день в нем топился дровами камин, дававший много уюта; за ним, в два окна во двор, была спальня, где родилась я, Саша, Люба и Маша[11]. А раньше там родились у покойницы Елизаветы Сергеевны Коля и Машенька (в честь Машеньки — тети Манечки), после рождения которой и умерла Елизавета Сергеевна — 18-ти лет от роду[12].

Направо от площадки с «антрэ» была высокая-высокая зала, угловая — три окна выходили на фасад, а четыре — в сад, видом на церковный двор и церковь.

В зале стояли два концертных рояля Бехштейна[13] и с десяток громадных тропических деревьев, тоже в деревянных кадках с железными обручами: филодендроны, араукарии и пальмы. Посередине залы, когда в доме были маленькие дети, лежал ковер с ящиками кубиков и деревянных кирпичиков. Рядом с залой, с двумя окнами на церковь, была синяя штофная проходная гостиная, с двумя трельяжами, с полочками, уставленными тюльпанами и гиацинтами, которыми были полны все подоконники «парадных» комнат: залы, гостиных и столовой. Посередине гостиной стоял большой круглый стол с тяжелыми, сафьянными, с бронзовыми застежками, альбомами знаменитых европейских галерей. Перед тремя диванами стояли овальные столы с тяжелыми скатертями с бахромой и кистями; лепка потолка и все предметы в комнате были со сценами из охотничьей жизни: с бронзовыми

медведями, газелями, лисою, волчатами и т. п. (остаток прежнего величия обстановки Сергея Михайловича и Елизаветы Сергеевны).

Затем шла угловая столовая, с окнами в сад и на Толмачевскую церковь. Между залой, гостиной и столовой дверей не было — были арки, по две симметрично. Потом по линии сада, с тремя окнами, помещалась наша детская.

В нижнем этаже, направо от «парадной», была небольшая передняя. Там висели пальто и шубы нашего отца и там же раздевались гости. За передней помещалась товарная кладовая, где был склад полотна и разных полотняных изделий, выделываемых на фабрике братьев П. и С. Третьяковых и К. Я. Кашина в Костроме[14]. Кладовая эта выходила на, как ее называла прислуга, «галдерею» с навесом, по которой носил нам буфетный мужик еду из кухни, через двор. Дальше, окнами на ту же «галдерею», находилась лакейская, где жил много лет и впоследствии скончался наш дорогой друг Андрей Осипович. Умер Андрей Осипович, когда мне было лет тринадцать[15], умер от чахотки, оставив двух сыновей: Колю и Васю — и жену Настасью Васильевну[16]. Коля — Николай Андреевич Мудрогеленко — с молодости служил при Третьяковской галерее, где остался и после ее «национализации» советским правительством[17]. Вася служил на фабрике в Костроме.

Налево от «парадной» была передняя для конторщиков, а за ней, окнами на Толмачевскую церковь, как раз под нашей залой, помещалась контора. Помню, в детстве моем контора занимала всего две комнаты; во второй работало, сидя на высоких стульях перед своими конторками, друг против друга, только двое: Павел Михайлович и бухгалтер наш — Петр Игнатьевич Щуров[18].

Под гостиной был в те годы папин зеленый репсовый кабинет, ставший впоследствии коричневым. Рядом с кабинетом, под столовой, находилась угловая комната, завешанная и заставленная, как и две следующие, выходившие окнами в сад, — картинами в рамах и просто «полотнами», которые Павел Михайлович мыл и реставрировал.

Помню с детства: «Севастополь», громадную картину Филиппова; «Привал арестантов» Якоби; «Последнюю весну» Клодта[19], а также ряд портретов Кипренского[20], Тропинина[21], Брюллова[22] и других. Брюлловский портрет кардинала Ланчи[23] наводил на меня ужас остротою выражения лица. Помню и мою симпатию к лицу Гоголя, написанного Моллером[24].

В столовой долго висели картины Щедрина[25], Лагорио[26] и Брюллова. В гостиной картины часто перевешивались, уносились вниз и заменялись другими. Внизу, в трех комнатах, становилось все теснее[27]. Мы иногда ходили туда с родителями, и папа нам показывал новые приобретения, как бы между прочим. Мы смотрели с любопытством и не без волнения, несмотря на то, что нам с Сашей было не более шести и пяти лет[28].

Интриговала нас контора. Проходя внизу под лестницей «антрэ», мы слышали таинственный стук «щет». Считать быстро на счетах могли все конторщики, но отец довел это «искусство», как мне представлялось, до головокружительной быстроты. И когда мамочка случайно, бывало, спрашивала Андрея Осиповича, дома ли Павел Михайлович, Андрей Осипович отвечал: «Слышно, Павел Михайлович в конторе на счетах считают».

Часто по утрам эта музыка шла дуэтом с Петром Игнатьевичем, а то трио с Романом Васильевичем Кормилицыным, главным конторщиком[29], а то и целым хором — с конторскими «мальчиками».

Петр Игнатьевич был очень симпатичный, кроткий, образованный человек, в противоположность жене своей, Елене Семеновне. Он был среднего

роста, с проседью, с голубыми глазами, в которых светилась доброта и преданность.

Для меня бывало праздником, когда мамочка пошлет за карандашами, конвертами и бумагой к Петру Игнатьевичу; он их давал с такой лаской и вниманием. Я звала его «Петригнатечкой».

Елена Семеновна же была «типом из Островского»: маленькая, невероятно толстая, со щелками вместо глаз, крючковатым носом и одутловатым, красным, лоснящимся лицом; голос у нее был сладкий и в то же время скрипуче-кислый. Даже в детстве мы не могли понять, как мог милый «Петригнатечка» жениться на такой женщине.

Шестого октября 1866 года, в один день со мной, родился у них сын, Сережа. Наш отец крестил его и помогал его образованию. Сережа Щуров остался в памяти комическим или даже трагикомическим типом среди наших сверстников. Когда он, маленьким мальчиком, приходил к нам играть, в голубой шелковой рубашечке, был он миленьким, наблюдательным и находчивым. Щурил глаза и как-то смешно моргал. «Зачем ты, Сережа, щуришься?» — спрашивали мы его. «А затем, что имя мое — Щуров». Приходил он также с матерью поздравлять с праздником Веру Николаевну, на второй день Рождества и Пасхи, в «дамский» день, в отличие от первого дня — «мужского». Будучи еще подростком, как-то рано утром пришел Сережа к своему крестному, Павлу Михайловичу, сообщить о внезапной кончине своего отца. Все в «Толмачах» были опечалены.

Потеряв отца, жил Сережа со своей матерью, где-то на Пятницкой, в Замоскворечье, а учился в Коммерческом училище, на стипендии Павла Михайловича. Сережа был очень способный, но воспитание его хромало и среда, очевидно, начинала его заедать, да и сам был непокладистого характера.

Кроме обычных поздравительных визитов стали Сережа с матерью приезжать к нам и на дачу, раза два в лето, в воскресенье.

«Ну, Сережа, как твои дела?» — как-то спрашивает Павел Михайлович. Сережа молчит минуту, две, три, облизывается и моргает. Елена Семеновна сконфузилась и говорит: «Сереженька, да ответь папаше-крестному». — «А это я и сам знаю, мамаша, ответьте, если умеете», — выпалил Сережа и потупился. Что-нибудь, наверное, не ладилось, а лгать не хотелось. А в другой раз приехали они в полдень, в неистовую жару. Сели за завтрак. На столе стояли запотелые графины, один с водой, другой с квасом. Тетя Аня, старшая сестра тети Манечки, постоянно проводившая с нами летние месяцы на даче, заботливо предлагает: «Сереженька, да ты бы кваску-то выпил». — «Я жрать хочу, а вы меня кваском да кваском», — сказал с упреком Сережа. Обнесли блюда с пирогами с разными начинками. Через минуту, заметив пустую тарелку, тетя Аня спросила Сережу: «Что же ты пирога-то не кушаешь? Возьми кусочек». — «Да у меня есть». — «Да где же?» — «Да вот он», — как-то с налету пробурчал Сережа и вынул из-под скатерти зажатый в руку кусок пирога с морковью. Все это выходило у него прекомично и нас веселило.

Когда он окончил Коммерческое училище, они приехали в начале лета, после выпускных экзаменов, благодарить Павла Михайловича за прежнюю, а также и за будущую стипендию в Практической Академии. Сережа стал большой, плотный, с маленькими усиками. Увлекался гимнастикой и стал свободнее держаться. Мы его спрашиваем: «Ну, как живешь, Сережа? Небось рад, что окончил училище? Чего доброго, еще скоро женишься?» — «Тоже, губа не дура! Невест — хоть ворота запирай», — говорит быстро, щурится и самодовольно улыбается. Опять хохоту не было конца.

Через несколько лет, окончив Академию самым блестящим образом, он женился на очень милой, хорошенькой и умненькой девушке, окончившей гимназию, из купеческой семьи. Она у нас охотно бывала. Когда мы ею восхищались, Сережа облизывался, моргал и, гордо улыбаясь, говорил: «Уж я ли не знаю как невест выбирать!». Была она с ним несчастна, и с каждым годом все более. Был он, говорили люди, грубый и жестокий. Она бы зачахла, если бы не хватило у нее характера уйти от него. Наша мать жалела молодую женщину и старалась ее утешить и подбодрить; да и отец наш был всецело на ее стороне и о Сереже более не упоминал. Елена Семеновна вскоре умерла, а Сережину (бывшую) жену мы потеряли из виду. Как бы мучился бедный «Петригнатечка», если б все это мог видеть[30].

Вспомнилось мне сейчас, как он приходил в пасхальную ночь разговляться с нами и «маленькими Третьяковыми» у нас в толмачевской столовой. Приходил с ним иногда и Михаил Михайлович Шумовский, главный бухгалтер в нашем магазине на Ильинке, тоже пресимпатичный, скромный, образованный человек[31].

После заутрени и ранней обедни, часа в четыре утра, повар наш, Иван Ульянович, и сын его, Адриан Иванович, приносили нам кулич и пасху, украшенную сахаром, цветами и окруженную яйцами всех цветов, и христосовались со всеми нами.

Разговевшись, мы не засиживались, так как с девяти часов начинали приезжать поздравители и надо было всем нам, женщинам, быть на местах.

Рано утром во всю длину столовой накрывался стол с белоснежной скатертью, заставленный самыми вкусными праздничными яствами: пасхой, куличами, громадными окороками ветчины, телятины, украшенными полосками «галантира», бесконечным рядом закусок и водок. Над всем царствовал фаршированный каплун, spécialité de la maison*.

На конце стола, спиною к проходному «маленькому антрэ», сидела тетя Манечка, за самоваром и кофейником на «комфорке», как сидела она всю свою жизнь, разливая нам чай и кофе, а сбоку сидела спиною к гостиной Вера Николаевна и целый день угощала приходивших гостей. «Снимался» стол после пяти часов, когда бывало уже пора накрывать к обеду, к шести часам. На второй день праздника все это возобновлялось, а подъедалось в последующие дни, что бывало для нас самым веселым.

То же самое происходило и на Рождество.

В первый день бывали многие, которые нас навещали лишь два раза в год, на Рождество и на Пасху, и о которых мы почти забывали. Главным же образом заезжали родственники, друзья и более близкие знакомые.

Нашу мать все страшно любили, а потому старались подогнать свои визиты так, чтобы поспеть к нам к 12-ти часам: вкусно закусить, согреться, посмеяться, отдохнуть и лететь снова «Христа славить».

Вспоминается мне и словно встают, как тени прошлого, разные образы, и странные, и милые. Являлся всегда какой-то великан фантастической оригинальности — Егор Егорович Гикиш[32]; под вечер приезжал Павел Петрович Боткин[33], старый холостяк, сладкий, круглолицый, как луна, ценитель красоты вообще и женской — в частности. Прелестный гоголевский тип, он целовал мамочкины руки так долго, говорил с типично боткинским скрипом столько любезностей, что ей это, ясно, наскучивало, а мы не знали, куда деваться, так жалели ее и только ждали, чтобы он поскорее ушел. А тетя Манечка угощала чаем и ехидно подшучивала и дразнила Павла Петровича. Еще позднее заходил Николай Ефимович Рачков[34]. Мы всегда его ждали.

* Здесь — фирменное домашнее блюдо *(франц.)*.

Он был не очень яркий художник, но воспитанный и веселый. Делал разные едкие замечания и рассказывал смешные вещи. Он приходил иногда к нам обедать в городе и приезжал и на дачу (в нашем детстве). Мы смеялись над тем, что казалось нам понятным, и над тем, что не могли понять, но заражали смехом всех вокруг.

Заходил и Сергей Николаевич Лодыженский, который довольно часто обедал у нас запросто, когда не было гостей. Сергей Николаевич был добрый, застенчивый человек, но бывал и весел, и шутлив у тех, где чувствовал себя хрошо; проделывал разные шалости, за столом сажал сестру Сашу, еще маленькую, к себе на колени, брал ее ручки в свои длинные «грабли» и играл на столе, как на клавишах. Говорил он в нос, а пел и в нос и выделывал в то же время что-то необычайное своими губами. Мы любили слушать песню «На фартучке петрушки, шиты в тамбур гребешки», «Дай балалайку — на балалайку!». Его приход бывал для нас праздником. Он был врачом в Московской глазной больнице, на Тверской, вместе с профессором Маклаковым[35].

На второй день праздника приходили дамы: «маленькие Третьяковы», Прасковья Петровна, двоюродная сестра их и Павла Михайловича, дочь Петра Захарьевича Третьякова, знавшая весь свет, шумливая, «сплетница», неглупая и очень добрая[36]. Затем — Екатерина Федоровна Вагина, двоюродная сестра матери мамочки[37]. Екатерина Федоровна была очень старенькая и немного сгорбленная, но ясно было, что при ее тонкой фигуре, горбатом носе и черных глазах она была в молодости прямо красавицей. «Тетя Настя», Анастасия Самсоновна Куклинская[38], приходила со своими племянницами, Соней и Верой Блёзе[39], страшными театралками, за что мы их очень любили, — и разговорам нашим не было конца. Тетя Настя была старенькая, худенькая, всю жизнь дышала на ладан и прожила очень долго; она была как бы «соткана» из нервов, все чувствовала, всех жалела и всем помогала сколько могла. Она и Екатерина Федоровна Вагина знали мамочку и ее сестру Зину[40] с детства и очень любили их. О тете Насте буду еще рассказывать в этих воспоминаниях.

Приходили учительницы городских школ, в которых мамочка была попечительницей, учительницы училища глухонемых, где попечителями были оба наши родители. Всё это был народ молодой, милый, все наши друзья: кто — мамочкины, а кто помоложе — наши. Приходила масса мамочкиных стипендиаток в школах, в семинарии Чепелевской, в гимназиях и т. д., — веселые, живые. Имя им — легион[41].

Приходила наша попадья Варвара Никифоровна; затем жена нашего доктора Юргенса, Анна Карловна[42], модная и любезная, да и много других дам, просто не припомнишь.

Сестры нашего отца и нашей матери сидели дома и сами «принимали»[43]. Отец наш, будучи страшно занятым человеком, ездил к родным и знакомым только в праздничные дни, разделяя число этих визитов на три части: на Рождество, на Новый год и на Пасху.

В день Нового года у нас принимали всех приезжавших с поздравлением, но закусочного стола не накрывали.

ГЛАВА 4

ТРЕТЬЯКОВЫ

Тетя Аня заходила к нам, в «Толмачи», почти каждый день. Она была единственной из сестер тети Манечки, которая жаждала «социальной жизни»; радовалась бывать у нас и проводила лето с нами, где бы мы ни жили. Спала она тогда вместе с тетей Манечкой в одной комнате.

Тетя Аня обладала большой памятью и наблюдательностью, а потому знала много из жизни; как я могу судить теперь, была она объективна и благожелательна. Была очень некрасива и, возможно, мало симпатична моим обоим родителям. Так мне это казалось по крайней мере. Мы, дети, ее более жалели, чем любили. Часто я уводила ее после обеда или чая на угловой диван в столовой. Она любила рассказывать, а я любила слушать о прежнем, неведомом. Шли бесконечные расспросы. Она беседовала со мной, с ранних лет моих, как со взрослой, как с другом. О жизни, какой она была в ее представлении и понимании, и «сладкой и горькой», по ее же словам. На мой вопрос никогда не слышала от нее, что это мне рано знать; но, подумав, находила всегда ответ или объяснение, меня удовлетворявшее.

Это был и есть тот источник, из которого я черпала и черпаю до сих пор, что знала и еще помню о Третьяковых, а отчасти и о Мамонтовых[1].

Про дедушку Николая Федоровича, про бабушку Веру Степановну[2], про мамонтовский дом на Разгуляе (так называлась одна улица в восточной части города) я слыхала от мамочки.

Часто под вечер, перед обедом, она ложилась отдохнуть в синей гостиной, на самом длинном из трех диванов; клала под голову подушку, ее мягкой, бархатной изнанкой к лицу, и, заслонив рукой глаза от ламп, — дремала. Я садилась к ней близко, прижавшись, и тихо ждала, как она «всхрапнет», а затем откроет свои близорукие глаза, улыбнется и начнет рассказывать про свое детство, свое отрочество, свою юность и как она выходила замуж за папочку. Для меня это была сказка, уносившая далёко-далёко.

Мамочка и тетя Аня были и остались моим «живым архивом».

Буду рассказывать словами тети Ани, добавляя тем, что видела и слышала сама.

«Дедушка твой, Михаил Захарьевич Третьяков, был добрый и жалостливый. Сниматься никогда не хотел, и не осталось после него ни одного портрета, ни писаного, ни дагерротипного. А с батюшки нашего, Ивана Захарьевича, — дагерротипы, которые ты видела, висят у нас в маленьком домике». Действительно, дагерротип был занятный: лицо Ивана Захарьевича, с длинным носиком, висячими вниз волосиками, с милым птичьим выражением глаз, похоже было на какого-то типа, могущего быть «из Гоголя». Портрет его жены Александры Петровны, масляный, работы Николая Васильевича Неврева, висел в гостиной маленького домика, неподалеку от тети-Манечкиного[3].

Дедушка Михаил Захарьевич женился на Александре Даниловне Борисовой, из купеческого рода; родилась она в 1812 году, «при французе». Получила образование, даже брала в молодости уроки на фортепиано, и, помню, как-то, по нашей просьбе, когда мы, одни подросточки, были в комнате, сыграла нам полонез Огинского[4], «тот самый полонез, — сказала бабушка, — который Огинский сыграл в оркестре и тут же застрелился». Сыграла

бабушка наизусть, с ритмом и чувством, и на нас эта пьеса произвела большое впечатление.

Языков бабушка, собственно, не знала, но немного понимала или догадывалась. Была она некрасивая, с громадным, умным лбом, маленькими серыми глазами, горбатым носом и выдвинутым, вероятно к старости, подбородком. Росту она была выше среднего, фигура была представительная. Одевалась она прекрасно: с утра в корсете и носила на голове великолепные наколки, большие, светлые, из лент и кружев, спускавшихся на плечи. Была стильная. Казалась она строгой и недоступной. Ее прекрасный портрет, работы Репина, написанный в бытность жизни его в Москве, в начале 80-х годов, висел в галерее. Портрет этот передает бабушку целиком[5].

Михаил Захарьевич умер рано; было у них с Александрой Даниловной одиннадцать человек детей. Старшим был Павел Михайлович, родившийся 15 декабря 1832 года, в день св. Павла. Вторым родился Сергей Михайлович, затем шли Елизавета и Софья Михайловны. Позже родилось, по словам самой бабушки, шесть детей. Был между ними Даня, была Саша; других как звали, я забыла. «Две страшные эпидемии скарлатины, ходившие по Москве, унесли всех шестерых маленьких деточек; трое умерло в одно время; три гробика стояло рядом в церкви, у «Ивана Воина», — рассказывала мне бабушка, когда я была уже взрослой девушкой, — рассказывала и смотрела куда-то вдаль...[6].

Около 1850 года, кажется в год смерти Михаила Захарьевича, родилась их младшая дочка, Надежда Михайловна[7].

Позже, когда я подрастала и особенно когда выросла, я имела два случая убедиться в либеральности и глубокой сердечности бабушки и моей крестной матери.

Нас детьми она не любила, но была на то совсем особая причина, о которой расскажу позже.

Жили они с Михаилом Захарьевичем у «Ивана Воина» на Бабьем городке. Михаил Захарьевич торговал полотняными товарами в рядах на Красной площади. Были ли с ним в деле его братья Иван и Петр Захарьевичи, я никогда об этом не слыхала. Сыновья Паша и Сережа помогали отцу в лавке. Где и когда мальчики учились, тоже не знаю; но оба, и папа и дядя Сережа, писали красиво и литературно. Полагаю, что образовали себя главным образом они сами. Дочки же получили прекрасное домашнее образование, знали великолепно языки, все литературы; имели самых известных в то время учителей. Знаю это по тете Наде, которая ничем не отличалась от следующего, нашего поколения.

Михаил Захарьевич случайно набрел на одного молодого человека, показавшегося подходящим помощником в лавке; он был гораздо старше его сыновей. Михаил Захарьевич сразу оценил его коммерческие способности, его честность, доброту, отзывчивость и преданность. Звали его Владимиром Дмитриевичем Коншиным[8].

Когда Михаил Захарьевич умирал, он очень беспокоился о своей старшей дочке, Лизаньке, которую он очень любил; ей не было в то время и 16-ти лет, и была она слабого здоровья. У Александры Даниловны любимицей была Сонечка. И вот, Михаил Захарьевич, перед самой смертью, позвал к себе Лизаньку и стал умолять ее дать ему слово, что она, после его смерти, выйдет замуж за Владимира Дмитриевича. Лизанька, обожавшая отца, не могла отказать ему и обещала. Схоронив отца, через некоторое время она

повенчалась[9]. Владимир Дмитриевич души в ней не чаял. С женитьбой на Елизавете Михайловне он стал товарищем в деле ее братьев, которое разрослось под фирмой «Братья П. и С. Третьяковы и В. Коншин».

Я помню только Коншинский дом на Пречистенке, чудесный особняк второй половины 19-го столетия; там мы бывали, еще подростками, на семейных обедах.

Владимир Дмитриевич был большим хлебосолом. Был романтиком и «родился поэтом», как говорил он сам про себя; любил нежные романсы, которые напевал с пафосом и со слезою в голосе. В жизни много любил и много любили его. При недостатке образования у него была редкая деликатность, тактичность и умение жить с людьми, что ему помогало в торговых сношениях с московскими и приезжими купцами, льнопрядильщиками и льняными фабрикантами; умел дела делать и любил угощать.

Наружность была у Владимира Дмитриевича необыкновенно изящная: он был выше среднего роста, поражали красотою его фигура, руки и ноги. Одевался элегантно и с изысканным вкусом. Носил баки, под старость их красил, и нередко мы замечали, что на солнце один бак бывал лиловым, а другой — зеленым. От него веяло спокойной величавостью. «Спокон веков его называли английским лордом», — говорила тетя Аня. Его «выезд» в коляске на паре породистых лошадей был картинен. Когда он приходил, разодетый и раздушенный, к нам на семейный обед, мы бежали ему радостно навстречу и громко кричали: «Здравствуйте, милый дядя Володя». — «Какой я тебе дался дядя Володя? Я тебе дядюшка Владимир Дмитриевич». Тогда мы стали его встречать по-прежнему ласково, но не без некоторого скрываемого ехидства: «Здравствуйте, милый дядюшка Владимир Дмитриевич». Тогда он нежно и много раз нас целовал: и в нос, и в глаза, и в щеки — и в полном удовольствии говорил: «Ну, здравствуйте, моя милая, очень рад тебя видеть, моя умница»[10].

Вскоре после смерти Михаила Захарьевича и свадьбы Елизаветы Михайловны братья Третьяковы купили дом у Николы в Толмачах[11] и переехали в него с Бабьего городка*.

Красивый, веселый Сергей Михайлович собирался жениться на маленькой, тоненькой, «хорошенькой, как куколка», 16-летней Елизавете Сергеевне Мазуриной. Самому жениху было едва 20 лет. Отделывали Толмачевский дом сообразно новым вкусам[12].

Павел Михайлович поселился внизу, рядом с конторой, в двух комнатах, где спал и собирал картины.

Павел Михайлович был очень высокий, худой, немножечко сутуловатый, с русой бородой, удлиненным носом, карими глазами под густыми «как лес» бровями, длинноватыми, белыми зубами, длинными руками и до того тонкими пальцами, что они, в конце миндалевидных ногтей, были не толще листа бумаги; руки красивые и характерные для его личности.

Когда он был серьезен, он был похож на отшельника со старинных византийских образов, но его ласковая и часто лукавая улыбка заставляла сразу усумниться в этом определении. Еще меньше его можно было принять за «архимандрита», как, подшучивая, называли его в его семье. По общему же мнению, он больше всего был похож на англичанина.

Павел Михайлович жил замкнуто, рано вставал, «с петухами», читал «запоем» книги, после чаю шел в контору, потом в лавку. Вечером, когда

* Эти владения сохранились до наших дней и были во время революции 1917 года «национализированы», как и все имения вообще.

бывал свободен, с юных лет потихоньку «удирал» в театр или оперу (концерты тогда были еще редки). Боготворил Бозио, сестер Маркези, Ольдриджа, Живокини, Самойлова, Щепкина и всю плеяду «звезд» того времени[13]. Постами не постился, но, из принципа воздержания, выбирал себе на весь Великий пост одно какое-нибудь блюдо: либо рябчика с соленым огурцом, либо шницель с яйцом и огурцом и т. п. И это одно блюдо ему подавалось ежедневно к обеду. В другое время пил кофе со сливками, хлебом и маслом; он не был крепок здоровьем, а работал уже и тогда за десятерых.

Когда бывали гости «наверху» — он запирался у себя внизу: либо сказывался больным, либо в отъезде. Но у него лично бывали друзья из художников, которых он приводил иногда представлять сестре Сонечке, жившей с «маменькой» (как называл Павел Михайлович всегда свою мать) и с сестрой Надей внизу, в двух комнатах, смежных с его комнатами.

Сонечка была величественная, выше среднего роста, худая, с темными пушистыми волосами, темными умными глазами и большой черной родинкой на щеке. Она при большом образовании, уме и доброте умела пленять и властвовать.

Весь бельэтаж был отведен для «молодых».

Зала аршин 8 вышины, с хорами, с мебелью по стенам, обитой желтым штофом, с драпированными штофными ламбрекенами с тяжелой бахромой и тонкими тюлевыми занавесками на всех семи громадных окнах и тяжелыми штофными драпировками на обеих «арках», ведущих в «аванзалу», то есть проходную синюю «damàs»* гостиную, через которую еще две арки вели во вторую, угловую розовую атласную «большую» гостиную. (Это была наша будущая столовая.) Столовая же была в той комнате с лежанкой, где я прожила мои три первых года жизни. Обедала вся семья вместе, со старенькой гувернанткой Амалией Ивановной и несколькими самыми старыми приказчиками. Обедали с ними и Машенька (наша тетя Манечка).

Как переехали Третьяковы в «Толмачи», стали они ездить на дачу в Сокольники, так как Сонечка была слабого здоровья. Чтобы было ей веселее, приглашали на лето с собой Машеньку Третьякову, тоже здоровья слабого. Прошло лето, другое — и так полюбили Машеньку, что больше ее домой не отпустили. И осталась она навсегда жить в «Толмачах», в своей комнатке.

Спальня молодых была в той же комнате, где лет двенадцать спустя жили наши родители[14].

Когда Сергей Михайлович давал балы во время своего жениховства, играл оркестр на хорах, толпились красавицы и их кавалеры; танцевали «до упаду», «до зари».

Невеста переодевалась в вечер по три раза: то в вишневое, бархатное, с бриллиантами на корсаже, и бархаткой на шее, то в палевое — «тюль-иллюзион», то в белое атласное, с золотыми колосьями на фижмах. Жених шел за своей невестой в комнату, где весь вечер ждал куафер** и горничная, и под руку вводил ее в зал; все ахали над юной красотой обоих нареченных, над роскошью невестиных платьев, шли поздравления, оркестр гремел туш.

Так женился младший сын, любимец своего старшего брата, а старший брат — «схимник» — не показывался. «Молодуха», почти ребенок, слабенькая, жила тихонько, любила своего молодого, веселого мужа и ожидала наследника[15], мало выезжала и все время проводила с Машенькой, доброй,

* «Дамá» — шелковая (или из другого сырья) ткань с блестящим орнаментом, вытканным на матовом, полотняного переплетения фоне; название — производное от названия города Дамаска в Сирии, где «дамá» ткали еще в раннем Средневековье.

** парикмахер *(франц. coiffeur)*.

веселой и остроумной. Они подружились и не расставались более; обе они и Сонечка Третьякова были почти сверстницами[16].

Родился Коля, а через год — Машенька, но жила она недолго, а за нею скончалась и ее молоденькая мать[17]. Сколько бывало нежности в голосе тети Манечки при словах: «Покойница Елизавета Сергеевна». У Елизаветы Сергеевны, урожденной Мазуриной, были три сестры: Софья Сергеевна, жена Дмитрия Петровича Боткина, жившего в собственном доме на Покровке и собиравшего картинную галерею русских и иностранных художников. У них было трое детей: Елена, Петя и Сережа, впоследствии талантливый дипломат, оба — наши сверстники[18]. Варвара Сергеевна Прохорова, жена главы Трехгорной фабрики. У них были дети: Сергей Иванович, Николай Иванович, богатые женихи на Москве; дочки — Анисья Ивановна Гвозданович, Варвара Ивановна Бородкина и Екатерина Ивановна Беклемишева, жена скульптора и ректора Академии художеств и сама скульпторша[19]. Анна Сергеевна Алексеева, мать Сережи Алексеева и нескольких девиц, очень славных и интеллигентных; они были гораздо старше нас[20]. Братьев было двое: Алексей Сергеевич, женатый на прелестной актрисе Малого Театра — Ильинской[21], и Митрофан Сергеевич — отец известной московской красавицы и прекрасной пианистки Надежды Митрофановны[22], ученицы Николая Григорьевича Рубинштейна, гремевшей по всей Москве в конце 70-х годов, впоследствии вышедшей замуж за Анатолия Андреевича Брандукова[23], известного виолончелиста. В начале 20-го столетия, по моему возвращению в Россию, мы с Надеждой Митрофановной подружились. Мой сын Саша был дружен с ее сыном Сашей, удивительно симпатичным, талантливым мальчиком[24].

И вот тетя Манечка посвятила себя маленькому Коле, который спал в комнате рядом с ней (в моей будущей второй детской).

Часто, когда тетя Манечка на коленках молилась, она слышала, как какая-то мышка скреблась в дверь и тоненький голосок шептал: «Тетя Манечка, дай орешков, тетя Манечка, дай орешков».

Няня Екатерина Федоровна ходила за Колей, тетя Соня муштровала его, а ласкала, баловала и воспитывала — тетя Манечка. Коля рос, а его отец, оставшись молодым вдовцом в 20 с немногим лет, веселил всех и сам веселился на Москве, но и работал с братом, и интересовался его собранием картин, да и сам стал понемногу собирать галерею корифеев иностранных школ[25].

Так протекло лет пятнадцать, покуда он не собрался жениться во второй раз[26].

В самом начале 60-х годов Павел Михайлович как-то привел с собой и представил сестре Сонечке красивого молодого человека гигантского роста, с темными глазами и черными волосами и бородкой, одетого в черную бархатную жакетку, со светлыми брюками, в красном галстуке, веселого балагура. Это был талантливейший архитектор-художник, только что вернувшийся из Рима, где он провел несколько лет пенсионером Академии художеств, — Александр Степанович Каминский[27]. Сонечка пленила его своим умом, своей величественностью, а он победил ее «сразу и безвозвратно», по ее словам, своей бесконечной добротой, своей бесшабашной веселостью и талантливостью. Скоро они повенчались[28].

Старшая дочь их была на три года старше меня, а сын был мне ровесником[29]. Оба уже умерли женатыми, от туберкулеза. Потом были две Лёли. Одна умерла маленькой девочкой, а другая, названная в ее память, жила долго, бесконечно хворала и умерла уже немолодою и тоже от туберкулеза, в Крыму.

Тетя Соня скончалась уже под старость.

По вечерам, когда Павел Михайлович был свободен, случайно не шел ни в театр, ни в оперу, стал он бывать у Каминских, где собирались художники и друзья. Познакомился он там с Михаилом Николаевичем Мамонтовым и его женой Елизаветой Ивановной, урожденной Барановой[30]. Они были Павлу Михайловичу симпатичны, и он охотно с ними встречался.

Вся Москва в 60-х годах увлекалась «до безумия» итальянской оперой; русской оперы, хорошей, в Москве еще не было; все, кто мог себе позволить, были абонированы в Большом театре. Абонированы были и супруги Мамонтовы; у них была ложа, налево в бельэтаже. Каминский же и Павел Михайлович были абонированы вместе в креслах.

И вот как-то Павел Михайлович снизу увидал входившую в ложу Мамонтовых такую красавицу, такую симпатичную, что не удержался и тут же спросил Каминского, кто это.

— А это Вера Мамонтова, сестра Михаила Николаевича. Хочешь пойдем, я тебя ей представлю?

Павел Михайлович испугался, отказался и предпочел издали, снизу, любоваться Верой Николаевной в продолжение нескольких зим. А рядом с ложей Мамонтовых сидела со своим красивым мужем, Василием Ивановичем Якунчиковым, такая же красавица, старшая сестра Веры Николаевны, Зинаида Николаевна[31].

Видя восхищение Паши, Александр Степанович решился пойти на хитрость. Это было весной 1865 года. Михаила Николаевича уже не было на свете. Схоронив любимого старшего брата и мать свою, Вера Николаевна поселилась с большим другом своим — Елизаветой Ивановной, вдовой Михаила Николаевича. Изредка они стали бывать у Каминских. Вера Николаевна, как и сестра ее Зинаида Николаевна славились в Москве как прекрасные пианистки и образованные музыкантши. Они любили иногда исполнять и камерную музыку. Александр Степанович устроил у себя музыкальный вечер, прося Веру Николаевну сыграть, что ей захочется. В то время у нее были «в руках» (как Вера Николаевна часто выражалась) септет Гуммеля и трио Бетховена (какое — не помню)[32]. Приглашен был на вечер и Павел Михайлович. Он спрятался в уголок и жадно слушал музыку, которую очень любил. Когда Вера Николаевна окончила играть вторую пьесу, септет Гуммеля, Павел Михайлович попросил Александра Степановича познакомить его с «чудесной пианисткой» и, после первого поклона, сконфуженно сказал ей: «Превосходно, сударыня, превосходно». Вере Николаевне шел 21-й год, а Павлу Михайловичу — 33-й. Начал он бывать у Елизаветы Ивановны, которую всю жизнь «уважал» за ее доброту и общественную деятельность[33], часто просил Веру Николаевну сыграть ему что-нибудь и в начале лета сделал ей предложение. Она просила дать ей немного подумать.

22 августа 1865 года они повенчались, в Кирееве, под Москвой, в имении Ивана Федоровича Мамонтова, дяди Веры Николаевны; Павел Михайлович знал его уже несколько лет. Ивану Федоровичу Павел Михайлович нравился, а Павел Михайлович «уважал» старика. Иван Федорович был крестным отцом Веры Николаевны и, по смерти ее отца, очень ранней, старался от всей души его заменить[34]. Говорят, что он впоследствии очень баловал и меня, совсем крошечную.

Рассказывали, что свадьба была веселая. После великолепного обеда молодые, переодевшись в дорожные костюмы, шли пешком до станции Химки, с оркестром впереди и сопровождаемые хозяином и гостями.

Молодые поехали в Петербург и оттуда в Биарриц — купаться.

Павел Михайлович успел уже много раз побывать за границей, и с маменькой и Сонечкой, и один. Вспоминал, как в одно из путешествий с матерью и сестрой, в Голландии (где купил первые голландские картины, которые висели всегда у бабушки[35]), он, опоздав на какой-то станции на поезд, догнал его и повис на нем на ходу; поезд остановили и усадили с большим добродушием «бессловесного» чужестранца.

Павел Михайлович любил воду, любил плавать и плавал хорошо. Еще мальчиком он с братом Сережей выплывал из купален на Москве-реке и с мальчиками Рубинштейнами, о чем я уже упоминала, легко переплывал реку и плыл обратно.

В Биаррице как-то утром Павел Михайлович пошел купаться. Солнце было ясное, вода и небо — синие. Плыл и плыл, наслаждался. Потом лег на спину и долго лежал, качаясь на волнах; был прилив, волны все росли, он любовался бездонным небом, подымался на волнах. Вдруг он услышал alarme*, перевернулся и начал плыть к показавшейся в волнах лодке, с обеспокоенными лицами гребцов-басков, в красных и синих рубашках и беретах. Они ему что-то кричали. Он подплыл к ним ближе, весело поздоровался, спросил как сумел, в чем дело, и понял, что сторожевая лодка была послана за ним; его долгое отсутствие взволновало весь пляж. Одна Вера Николаевна была спокойна, так как слыхала от него, что он любил и мог далеко плавать. Павла Михайловича, встреченного овацией, высадили на берег как героя. Он, сконфуженный, бегом убежал домой в отель; ночью уложил с Верой Николаевной все вещи, а утром их и след простыл.

Он уехал, помнится, в Париж, где легче скрыться и видеть лишь тех, кого хочется.

Павел Михайлович сейчас же повел свою молодую жену к своим друзьям «Овденкам» (Овденко), Савве Григорьевичу и жене его, некрасивой, умной, веселой и общей любимице — бургиньонке — m-me Anais[36]. Савва Григорьевич был оптовым комиссионером; братья Третьяковы и Коншин вели с ним дела и через него выписывали иностранные товары для магазина на Ильинке. Овденко, купец из города Лубны, на Украине, был другом всех московских купцов, приезжавших в Париж. Был он очень высокого роста, и его лицо, с умными, добрыми глазами, с седыми, недлинными, висячими усами, имело что-то «гетманское». M-me Anais и Georges, как она его звала, жили в то время в крохотной квартирке на авеню Трошо; в столовой, обвешанной до потолка старинными гобеленами (в зелено-голубых и суровых тонах), они запросто, чудесно принимали, было всем и всегда весело и уютно у них. Савва Григорьевич изредка и сам приезжал в Москву. Первые дни он говорил по-русски в нос, с французским акцентом, но это скоро проходило. Все его друзья, Третьяковы, Коншины, Боткины, Щукины и другие, его страшно любили, нарасхват к себе приглашали и угощали[37].

Овденко впоследствии стали близкими людьми всей нашей семьи, а потому хочу рассказать об этих чудеснейших людях. Мы с сестрой Сашей познакомились с ними в первый приезд наш в Париж, весной 1885 года. M-me Anais любила всю нашу родню и нашу семью, в особенности m-me Paul, как она называла мамочку.

Несколько раз живали мы в Париже под крылом Овденко, до моего замужества — с мамочкой, а впоследствии — с моим мужем, Александром Зилоти, и нашими ребятишками[38]. В 80-х годах Овденко переехали с авеню Трошо на rue de Martyrs, а мы в январе 1892 года поселились на углу avenue

* тревога *(франц.)*.

Trudaine и rue Viollet le Duc, где прожили до февраля 1895 года; там родилась наша вторая дочь (наш четвертый ребенок) — Оксана[39].

С Овденко мы видались ежедневно, а то и по нескольку раз в день: надо было перейти лишь через нашу улицу. Саша мой, кроме того, часто заходил к Савве Григорьевичу в его контору фирмы «Trouillet & Aubry». Не менее как раз в неделю мы обедали у них, а также они — у нас. Савва Григорьевич заботился о нас как отец родной: три года там болел наш второй сын, Ваня, которого мы потеряли в 1897 году в Антверпене[40].

С m-me Anais была у меня большая гармония во взглядах на жизнь и в убеждениях. Не забуду, как мы сидели с ней вдвоем в ее спальне во время казни Ревашаля, анархиста, бросившего бомбу в кафе де ля Пэ, убившую множество людей. Мы обе возмущались, как смеют люди убивать по холодному рассудку, в отмщение, не могли допустить, что можно отнять то, чего вернуть никогда не сможешь, — жизнь[41].

Овденко был в хороших отношениях со всеми русскими художниками в Париже, жившими близ нас, вокруг Place Pigalle, в любимом Quartier des Artistes. Через Овденко и мы познакомились почти со всеми из них, а со многими и подружились. Была у нас интересная русская компания.

Много рассказывал Савва Григорьевич про Ивана Сергеевича Тургенева, которого хорошо знал. В последний год его жизни Савва Григорьевич особенно часто навещал его, больного, в Bougival и по поручению моих родителей, которые и сами приезжали из Москвы повидать Ивана Сергеевича незадолго до его смерти[42].

Осенью 1894 года, в день рождения моего мужа, 10 октября, мы завтракали у Овденко. Савва Григорьевич вышел к Саше навстречу в переднюю, подал ему маленький красный розанчик и со слезами на глазах сказал: «Я хочу, чтоб вы знали, как я вас любил. Хотел успеть вам это сказать, так как я долго не проживу, быть может».

Очень скоро после этого, помню, в одно ненастное ноябрьское утро, прислали нам записочку о его внезапной смерти. Ночью он почувствовал себя плохо, а к утру его не стало. Мы в то время уже наняли в Антверпене дом с садом, из-за больного сына нашего Вани, и собирались после Рождества туда переезжать. Это было большим огорчением для осиротевшей жены Саввы Григорьевича. Она недолго прожила, в тоске по Савве Григорьевичу. Их вещи продавались с аукциона. Мы, три старшие сестры, купили все, разделили между собой и хранили до революции 1917 года на память об этих чудесных друзьях[43].

Я упомянула, что иностранные товары получались для нашего магазина через Овденко, по большей части фанцузские, но, судя по рождественским открыткам, присылаемым нашему отцу из Ирландии и Голландии, очевидно, что ирландское и голландское полотно выписывалось из этих стран, либо прямо, либо тоже через Овденко. Любили мы смотреть красивое столовое белье, полотенца, линобатисты и даже бумажные ткани для дамских платьев.

Иностранный отдел существовал, собственно, из-за убеждения Владимира Дмитриевича Коншина, что он необходим; это доставляло приятное разнообразие в его работе, но, я полагаю, серьезного значения не имело. Чем больше расширялось русское льнопрядильное, а также льняное ткацкое производство, тем быстрее увеличивался спрос на русские полотняные товары. Это, естественно, сокращало выписку нашей фирмой иностранных товаров.

ГЛАВА 4

С тех пор как помню себя, помню наш милый первый магазин в центральной части Ильинки, между Красной площадью и Китайской стеной. Позже магазин был переведен на угол площади, где стояла Биржа, на Ильинке же, но ближе к Красной площади; там он оставался до конца дней Сергея Михайловича, Павла Михайловича и Владимира Дмитриевича.

Павел Михайлович завещал свою часть в магазине своим служащим, пропорционально годам их службы[44].

В магазине бухгалтером был, как я уже упоминала, симпатичный, скромный Михаил Михайлович Шумовский, в круглах, темно-синих очках; с ним сидел рядом за конторкой Роман Васильевич Кормилицын. Товар продавали: Василий Семенович (фамилии не помню), Алексей Иванович Шолохов и другие, лица которых вижу перед собою, но назвать по имени не могу. Более всех любили мы очаровательного Павла Ивановича Хохлова, с темными «гоголевскими» волосами, с большими усами и черной родинкой на щеке[45].

Владимир Дмитриевич Коншин бывал в магазине с утра до вечера; был у него во втором этаже кабинет, где он принимал покупателей, продавцов полотна, закупщиков пряжи с нашей фабрики; ходил с ними завтракать в трактир, распивал с ними чай и поддерживал, в меру приятельские, деловые отношения.

Павел Михайлович бывал в магазине после трех часов; в половине третьего подавалась ему «одиночка», которая отвозила его «в магазин», как говорили тогда в Москве, и привозила обратно домой к шести часам, прямо к обеду. Утром же он работал в конторе.

В 1866-м, в год моего рождения, основана была льнопрядильная и льноткацкая фабрика в Костроме, на самой Волге. Компаньоном и директором фабрики был Константин Яковлевич Кашин, очаровательнейший, добрейший человек, которого мы очень любили. Он был высокого роста, довольно плотный, с волнистыми, с проседью, волосами, длинной, курчавой, на две стороны натурально разделенной бородой и глубокими синими глазами.

Он часто приезжал в Москву и всегда останавливался у нас; Павел Михайлович и сам ездил много раз в год в Кострому. Железная дорога, кажется, выстроенная Саввой Ивановичем Мамонтовым[46], шла в то время через Троице-Сергиеву лавру только до Ярославля, а от Ярославля до Костромы приходилось ехать либо на пароходе, либо по льду в возке. У Павла Михайловича была для этого оленья доха, оленья шапка, высоченные валенки; сверх жилетки надевал он, прямо под пиджак, толстую вязаную кофту. Ехать приходилось верст восемьдесят, а то и все сто, как мне кажется, по льду, по морозу, во время вьюги; сколько раз волновалась мамочка с тетей Манечкой и мы с ними, успеет ли папа проехать, проскочить через Волгу до ледохода. До Костромы железная дорога была проведена гораздо позже. В «Нижний» же, как называли в Москве Нижний Новгород, на ярмарку Павел Михайлович ездил в августе, по железной дороге. Владимир Дмитриевич Коншин жил в Нижнем в продолжение всей ярмарки, а Павел Михайлович ездил лишь под конец ее. Они закупали лен и продавали пряжу. Приезжал папа домой как раз ко дню своей свадьбы, 22 августа, который всегда справлялся на даче, долгие годы в Кунцеве, а потом в Куракине по Ярославской железной дороге, где родители наши жили по летам до самой смерти.

Смерть три раза посетила наш дом в одну зиму: 4 декабря 1898 года скончался папа, в январе 1899-го — бабушка Александра Даниловна, а 25 марта, в день Благовещения, — мама. Я была далёко-далёко, в Лейпциге, с хворавшими в то время детьми. Получив телеграмму от Саши, концертировавшего в России[47]: «Умоляю тебя остаться с моими детьми», я сразу поняла, что мамочка скончалась.

Помню, как-то весной, когда мы с Сашей были уже большими девочками, лет 9-ти и 10-ти, папа взял нас с мамочкой на фабрику; останавливались в Ярославле, осмотрели все старинные церкви и на пароходе «Самолет» доплыли по полному разливу Волги, как по морю, до Костромы.

Фабрика произвела на нас громадное впечатление: машины, как громадные, сказочные драконы, шипели и наводили на нас почти что ужас. Никогда не забуду лиц многих рабочих, особенно подростков, в «чесальне». Рты были у них завязаны пряжей, как лентой. Какая забота была всегда для Павла Михайловича и друга его Константина Яковлевича Кашина — удаление льняной пыли в чесальнях.

Фабрика Костромской льняной мануфактуры была чуть ли не целым городом: было рабочих с их семьями около 5000 или это мне теперь так представляется? Помню большие избы и дома для рабочих, читальню, школы, больницы — все осталось в памяти как что-то грандиозное. Никогда более я там не бывала[48].

Остановились мы тогда в доме Кашиных. Жену Константина Яковлевича, Екатерину Михайловну, мы хорошо знали, так как она приезжала к нам гостить в «Толмачи»; она была умная, энергичная, не выпускала папиросы изо рта, целый день «дымила». Была в ней мужская логика; мы ее очень любили, а также и дочку их Оленьку, очень либеральную, с уклоном «влево», с очень красивым лицом и необыкновенно громадной фигурой. Оленька нередко гащивала у нас, и подолгу. Познакомились мы в Костроме с сыном Кашиных — Николаем Константиновичем, который учился в Петербурге, в Технологическом институте. После преждевременной кончины отца Николай Константинович стал директором фабрики. Павел Михайлович его очень ценил, но пришлось Павлу Михайловичу чаще ездить на фабрику, покуда Николай Константинович набрался необходимого опыта. Как молодой человек, любил пробовать новые методы, и Павел Михайлович с ним терпеливо их пробовал ввести[49].

ГЛАВА 5

РАЗГУЛЯЙ

Что же слышала я от мамочки, сидя около нее на диване, когда она перед обедом дремала и, проснувшись, начинала рассказывать?

Было в России в то время «винное откупщичество». И было на Москве два больших откупщика — Николай Федорович Мамонтов и Василий Александрович Кокорев. И Мамонтов, и Кокорев были в душе большими либералами, западниками[1]; при каждой возможности ездили за границу: на перекладных до Варшавы, а там дальше — по железной дороге. Привозил Николай Федорович семье своей в подарок из Италии, которую особенно любил, колье, серьги из розовых и белых кораллов; привозил камни с Дианами, вакханками; привез дочкам камеи с изваянием Бетховена и Шопена; все эти вещи я помню. Привозили они, Николай Федорович с Василием Александровичем, из-за границы и новые идеи, решили завести на Москве нового типа отели, большие, в несколько этажей. Василий Александрович построил на Софийской набережной, против Кремля, между Москвой-рекой и Канавой, громадную красную, кирпичную, гостиницу, назвав ее «Кокоревской» (там впоследствии, в 80-х годах, живал Петр Ильич Чайковский, около друга своего «Манечки» — Германа Августовича Лароша[2]), а подальше, по другую сторону Замоскворецкого моста, ближе к Садовникам (так называлась эта часть города), построил Николай Федорович Мамонтовскую гостиницу.

Мамонтовых было два брата: Николай Федорович и Иван Федорович[3]. Николай Федорович был полный, Иван Федорович — худой. У Николая Федоровича лицо круглое, у Ивана Федоровича — длинное. У Николая Федоровича, по фотографиям, лицо улыбалось, у Ивана Федоровича — было серьезное, строгое. Ивана Федоровича, по фотографиям, можно было принять за английского премьера: цилиндр, бритое лицо, изящный костюм. Портретов дедушки Николая Федоровича у мамочки было несколько: молодым — без бороды, старым — с белою бородою и длинными пушистыми волосами. Вид у него был купеческий, а у Ивана Федоровича — аристократический. Зато с их женами дело обстояло совсем обратно: жена Ивана Федоровича, Мария Тихоновна[4], была полная, смазливая, как богатая купчиха, а жена Николая Федоровича, Вера Степановна, урожденная Вагина[5], была высокая, худая, изящная, нос с горбинкой, шаль, спадающая с отлогих плеч, — все это делало ее величественной. Николай Федорович разбогател «откупщичеством». Не знаю, чем занимался и на чем разбогател Иван Федорович.

Николай Федорович с семьей жил на Разгуляе в чудном барском особняке с колоннами, стоявшем во дворе, за зеленой чугунной решеткой и с большим садом в глубине; «парадная» белая мраморная лестница вела в бельэтаж, сначала в угловую залу. Там стояли концертный рояль и тропические растения. За залой, по фасаду, шла гостиная, а за ней — спальня; по другой стороне лестницы, окнами в сад, была громадная столовая. Против окон висел во всю стену, между 2-я дверьми, семейный портрет: Николай Федорович, Вера Степановна с массою детей различного возраста: мальчики с круглыми белыми отложными воротничками, а девочки в розовых шелковых платьицах, в панталончиках, обшитых кружевом, и в атласных туфельках[6]. Внизу, под столовой, был кабинет с окнами и дверью прямо в сад и другие комнаты. Наверху, над столовой, были детские. Комнаты в бельэтаже на фасад обычно строились высокими, а задние комнаты — более низкими и помещалось по два целых этажа, как было и в «Толмачах». Во дворе по ограде росли большие деревья; в них и тенистом саду пели весной

птицы, а из окон неслись с ранних пор звуки Баха, Бетховена, Шопена и Листа[7].

У Веры Степановны было 17 человек детей — 13 мальчиков и 4 девочки. Тетя Зина родилась в 1843 году, а мамочка — в 1844-м; до них родилось не менее полдюжины сыновей: Михаил, Александр, Николай, Виктор, Владимир, Валериан; из них два последних умерли юношами. После тети Зины и мамочки родились: Кирилл, Иван, тетя Дуня и Савва. Не знаю времени рождения Сони и остальных четырех мальчиков, умерших в детском возрасте; не знала даже имен последних. Но помню, что Дуня и Савва были самыми последними, младшими детьми Веры Степановны[8].

Николай Федорович много разъезжал по делам по всей России, в тарантасе — летом, в возке — зимой. Брал он часто с собой и свою «Богородицу» — Веру Степановну: он ее по-настоящему боготворил. Вера Николаевна родилась по дороге, под Ряжском в Рязанской губернии, 28 апреля 1844 года, как я уже только что сказала.

Николай Федорович был необычайно добрым человеком, но все считали его самодуром. Некоторые из детей ярко унаследовали от него эти оба качества[9]. Дети были все способные, и многие из них обладали абсолютным слухом. Музыкальность и Мамонтовы было почти синонимом в Москве.

Образование получили блестящее. Трое старших сыновей окончили университет. Михаил и Николай были высококультурными людьми. Николай Николаевич, если не ошибаюсь, жил и учился после университета в Германии. Он превосходно знал немецкий язык и поражал меня впоследствии знанием всех литератур мира. Он был «психопатски» добр, и ум у него был большой глубины. Михаила Николаевича, умершего в начале 60-х годов, я, к сожалению, не могла знать, но помню, что Павел Михайлович его высоко ценил и любил больше всех братьев Мамонтовых.

Хочу для ясности характеристики тех девяти Мамонтовых, которых я знала, рассказать о них по старшинству и историю каждого, поскольку помню ее.

Александр Николаевич, худой, высокий брюнет, был самым большим самодуром изо всех Мамонтовых. Был большим эгоистом. Мы его сторонились. Как представлялось нам, сторонился его и Павел Михайлович и не было дружеских отношений между Верой Николаевной и ее братом [10].

На Пресне была у Мамонтовых издавна лаковая и сургучная фабрика. На фабрике в мое время жили братья Иван и Савва со своими семьями. Полагаю, что все братья имели свою часть и что Александр Николаевич был крупным пайщиком[11].

Александр Николаевич был женат на Татьяне Алексеевне, урожденной Хлудовой[12]. Хлудовский дом, старинный, барский, на горе, со спускавшимся садом до речки Яузы, стоял где-то около «Вшивой горки», как выговаривалось вместо настоящего названия — Швивой горки. Так называлась часть города, где жили в старину царские швеи.

Много было самодуров в нашей Белокаменной, но самыми знаменитыми из них, понаслышке, были Мамонтовы и Хлудовы. Даже была специальная терминология: «мамонтовщина» и «хлудовщина». Какую тяжелую, сложную наследственность должны были получить дети Александра Николаевича и Татьяны Алексеевны!

Было два брата Хлудовых, из которых помню лишь Василия Алексеевича. Он ездил в путешествия на Восток и один раз привез домой живого молодого тигра[13]. Уже пожилым Василий Алексеевич женился на 20-летней кра-

савице Вере Александровне; она скоро овдовела, жила широко и была знаменита своей веселостью, хлебосольством; любила итальянскую оперу и принимала всех итальянских звезд того времени[14].

Помню, писал ее портрет у нас в галерее, внизу, Константин Егорович Маковский; портрет мало передавал ее живость и привлекательность[15]. Нам она нравилась, и мы чувствовали большое уважение и симпатию к ней со стороны наших родителей.

Жизнь Татьяны Алексеевны с мужем (даже в детстве мы понимали) была непосильным крестом. Было у нее четверо детей: Вера, на три года старше меня, Саша — мой ровесник, Марина, на три года моложе меня, и Лёля, умершая еще ребенком. Вера была очень музыкальная, недурно играла на фортепиано и недурно пела, с большим темпераментом. Саша был добряк, оригинал и почти чудак. С обоими я была в большой дружбе до самого моего замужества, т. е. до тех пор, как я покинула Москву. Вера одновременно со мной вышла замуж за инженера Николая Кузьмича Зотова; у нее было несколько детей; умерла она еще молодой. Также и Саша недолго прожил[16].

Когда Татьяне Алексеевне стало более невтерпеж, она ушла от Александра Николаевича, взяв с собой свою любимую Марину, очень милую и умную, всегда все понимавшую. Ушла и жила открыто в «гражданском браке», как тотчас же объяснила мне тетя Аня, с очаровавшим всю Москву, знаменитым гинекологом Владимиром Федоровичем Снегиревым[17].

Марина жила с нею до замужества. Павел Михайлович делал Татьяне Алексеевне праздничный визит и прибавлял: «Всегда шапку сниму перед нею»[18].

До ухода Татьяны Алексеевны Александр Николаевич с семьей жил на Разгуляе; мы у них изредка бывали, и потому я помню этот дом хорошо. Очень любила его, особенно сад. После ухода Татьяны Алексеевны Александр Николаевич выстроил себе в Черниговском переулке двухэтажный особняк; внизу были «парадные» комнаты и жил сам Александр Николаевич, а наверху жили Вера, Саша, Верина бывшая воспитательница Мария Федоровна и Сашин бывший воспитатель, чех, Франц Михайлович, который читал вслух Александру Николаевичу. Александра Николаевича болезнь изменила до неузнаваемости, и в конце концов он ослеп. Мы ненавидели и бывали в ужасе, когда он нас целовал. Он ударился в церковность, жертвовал на построение храмов. Когда он часами плакал — нам было его страшно жалко. Но полюбить мы его не могли. И мы, и его дети хоть его и жалели, но боялись.

Николай Николаевич, которого я любила более всех детей Мамонтовых, был умница, сколько могу судить сейчас, с прекрасными серыми глазами в молодости, был хлебосолом, да и любил выпить. Как-то летом в Кунцеве, в половине 70-х годов, привез он к нам свою молоденькую жену Анну Петровну, урожденную Сушкину[19].

В начале этого столетия, когда мы вернулись всей семьей из-за границы и поселились в Петербурге, не помню, после какого концерта, мы пошли вчетвером ужинать к «Кюба»: мы двое, Шаляпин и Константин Коровин[20]. Меня не только заинтересовал, но и до некоторой степени взволновал рассказ Коровина. Знаю и его пылкую фантазию, знаю и свою доверчивость; но на свете нет ничего невозможного, и я привожу его рассказ.

Коровин гостил лето у Шаляпина, в только что купленном имении во Владимирской губернии, мимо которого проходила знаменитая большая Владимирская дорога, по которой «гнали» преступников в Сибирь. Была в селе на этой дороге церковь, со священником которой подружился Коровин[21]. Этот священник показал ему разные интересные церковные записи и

документы, хранившиеся при церкви. По крестильным документам, жили там несколько столетий Третьяковы и Сушкины, которые были между собою в родстве по женской линии. Третьяковы были боярами при Грозном, попали в опалу за свободомыслие и были сосланы на поселение во Владимирскую губернию; они стали промышлять ямщичеством на Владимирской дороге, как и Сушкины («третьяком» назывался жеребенок по третьему году). Когда вели преступников в кандалах и когда, бывало, заслышится грохот их, родители только что родившегося ребенка выбегали на дорогу и просили кого-нибудь из каторжников окрестить их ребенка на счастье: таково было поверие. Один из Третьяковых, по бумагам судя, был крещен Пугачевым, когда его вели в Сибирь на каторгу[22]. Мать Коровина была Сушкина[23], а я — урожденная Третьякова; Коровину нравилась мысль о нашем родстве.

Никому Николай Николаевич не сказал, что женится. Она нас обворожила «с места в карьер». И сейчас скажу, что она была одна из интереснейших женщин, которых я когда-либо встречала в жизни. Высокая, тонкая, с лицом ласточки или стрижа, черная, с умными, немного приподнятыми глазами, с длинными ресницами, с очень оригинальным ртом: она им очаровательно двигала то вперед, то вбок и картавила неимоверно; после знакомства ее первая фраза была: «А вчеха мы с Николаем уже похугались»[24]. И сейчас слышу ее очаровательный голос.

У них было трое детей: Инна, в замужестве Шевалдышева, Маша, вышедшая замуж за своего кузена Мишу Мамонтова, и Платон, умерший маленьким мальчиком[25].

Сестра Анны Петровны, Анастасия Петровна, была замужем за знаменитым музыкальным ученым и композитором Германом Августовичем Ларошем; как говорили мне, гугенотом, выходцем из Франции. У них тоже было трое детей: Зина, впоследствии жена профессора Крашенинникова; Оля, ученица П. А. Пабста по классу фортепиано и товарка по классу композиции Скрябина, Буюкли, Левина и своего будущего мужа Николаши Авьерино — тоже учеников Московской консерватории[26].

Анастасия Петровна умерла, когда дети ее были еще маленькими. Ларош — по своей бесшабашности, рассеянности — был в большом затруднении. Николай Николаевич и Анна Петровна взяли всех трех детей к себе и воспитали их вместе со своими, как шестерых собственных детей[27].

Николай Николаевич любил музыку и любил молодежь. Нет ничего мудреного, что, когда Оля подросла, то все товарищи ее, музыканты, постоянно стали бывать у Николая Николаевича, постоянно была в доме музыка. Николай Николаевич очень любил музыку Скрябина.

Было у Николая Николаевича много личного горя: он стал больше и больше пить. Мы его страшно жалели. Помню, какой он и тогда подчас бывал веселый и шутник. Когда мне было лет семнадцать, я была очень больна и только что начала выходить в столовую; мамочка сшила нам с Сашей очень красивые халаты, ярко-красные, на шелку, со шлейфом, как тогда полагалось. Как сейчас помню, входит дядя Николай Николаевич, я иду к нему навстречу радостная; не успела я оглянуться, как я почувствовала себя где-то в воздухе, на его руках; он обежал со мной вокруг стола и поставил меня на ноги. Очень он был сильный всегда. Он любил мамочку, и она была с ним очень дружна.

Виктор Николаевич был необыкновенно добр, симпатичен и красив. Был музыкален до крайности; кроме мамочки и тети Зины абсолютный слух был еще у Валериана и у Виктора. Он кончил только гимназию и остался «музы-

кальным дилетантом». Накутившись, будучи еще молодым, Виктор Николаевич поступил в Большой московский театр хормейстером; беззаветно любил свой хор, и хор любил его. Умер он на своем посту, еще не старым человеком. Имел массу друзей. К нам не ходил, но знаю, что мамочка его любила и относилась с большой нежностью[28].

Зина и Вера росли — две красавицы-погодки. Высокие, стройные, довольно полные, но элегантные. У обеих были каштановые небольшие волосы, серые миндалевидные глаза с длинными ресницами, нос у обеих — с горбинкой, в форме лба у обеих было что-то, если можно так выразиться, бетховенское. Они были дружны, как близнецы. И все же, несмотря на столько общего, — так непохожи друг на друга. Вера была прототипом Николая Федоровича, а Зина — прототипом Веры Степановны. Зина — сдержаннее, казалась холодной; а Вера — веселее, ласковее и общительнее. Вера Николаевна любила Зинаиду Николаевну и всю жизнь болела за нее душой во всех ее горестях и несчастьях.

С детства у них были гувернантки, которых они любили; до сих пор помню их имена: одна была Пелагея Харитоновна, а другая — Евфимия Ивановна[29]. Они научили девочек языкам: немецкому, французскому, которыми они владели прекрасно; позже был у них учитель английского языка.

С самых ранних лет обе они учились игре на фортепиано у, чеха родом, Иосифа Вячеславича Риба, органиста католической церкви, бывшего в Праге не только органистом, но и «колоратурным», как он сам выражался, тенором, с большим теоретическим образованием и знанием музыкальной литературы[30]. Он научил их любить Баха, Моцарта[31], Шопена, Листа. Они с ним изучали гармонию и прелестно сочиняли маленькие пьесы, которые слышала я впоследствии от мамочки. Обе девицы были одинаково способны ко всему и особенно к музыке. Играли одинаково хорошо — и так непохоже друг на друга. Зинаида Николаевна играла лучше всего Баха, а впоследствии, уже старушкой, любила играть Скрябина.

Вера Николаевна играла Баха, но лучше всего исполняла Бетховена, Шопена и Листа «Этюды Паганини» (которые потом разносились по «Толмачам» каждое утро). Играли сестры много Баха на два фортепиано, любили исполнять и камерную музыку.

Когда тете Зине минуло 16 лет, за ней начал ухаживать красивый молодой вдовец, «западник», «англофил», живавший в молодости в Англии и хорошо знавший английский язык, — Василий Иванович Якунчиков[32]. Тетя Зина влюбилась в него, и сколько Вера Степановна ни уговаривала ее не выходить замуж за вдовца с тремя детьми, — поступила по-своему, и 5 июля 1860 года они повенчались[33].

Было у Василия Ивановича трое милых детей, лет десяти, восьми и шести: Володя, Лилиша и Наташа[34].

Воспитала их добрая старушка — англичанка мисс Дериман, Елена Ивановна. Она жалела молоденькую Зинаиду Николаевну и старалась снять с нее, по возможности, всю ответственность за воспитание детей. Елена Ивановна давно привыкла заменять детям их покойную мать Екатерину Владимировну, урожденную Алексееву.

У Екатерины Владимировны было две сестры и два брата: Вера Владимировна Сапожникова, у которой были сыновья Александр Григорьевич, Владимир Григорьевич и дочь Елизавета Григорьевна (жена Саввы Ивановича Мамонтова)[35]; Анна Владимировна Кисловская с большой семьей; с девочками ее мы делали гимнастику у Бродерсена[36]; Александр Владимирович был женат на красавице Елизавете Михайловне Бостанжогло; у них был единственный сын, Николай Александрович, женатый на Александре Вла-

димировне Коншиной, будущий долголетний городской голова Москвы, и три дочери: Мария Александровна Четверикова и Елизавета Александровна Руперти[37]; Сергей Владимирович, женатый на «красавице Яковлевой», Елизавете Васильевне. У них было девять человек детей, все красавцы: Владимир (прекрасный любитель-пианист); один из них — Константин (в будущем знаменитый по сцене Константин Сергеевич Станиславский, основавший вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко Московский Художественный театр)[38].

Якунчиковы жили на Кисловке, в большом особняке с флигелями. У тети Зины рождались ребенок за ребенком. Один из них, Маша (родилась в 1870 году, в будущем знаменитая русская художница Мария Васильевна Якунчикова), была гениальных способностей — и в живописи, и в музыке одинаково. Была она идеалисткой чистой воды, чуткая и добрая. Много тяжелого пришлось ей перенести в семье отца своего, что отозвалось на ее слабом здоровье. Впоследствии в Швейцарии вышла она замуж за юного кузена своего — Вебера. Было у нее два мальчика[39]. Здоровье ее все слабело. Умерла она еще молодой женщиной, от туберкулеза легких, и горько плакала при виде своих мальчиков — так ей не хотелось умирать. А тетя Зина, не отходившая от нее, горевала больше нее, глядя на ее страдания. С нею тетя Зина потеряла все.

Тетя Зина и мамочка оставались на всю жизнь теми же близнецами. Они видались не менее разу в неделю, то у одной из них, то у другой. Мы, дети, жили и воспитывались в разных домах, но росли вместе. Каждое воскресенье, с 2-х часов, мы всей гурьбой проводили вместе, одно воскресенье на Кисловке, другое — в «Толмачах»; вместе обедали и расставались лишь перед сном[40]. Так было до самой свадьбы Зины, в 1882 году, когда ей было 19 лет[41], а мне — 16. Зина была и музыкальна, и способна к живописи. Она была замечательной, чисто классической красоты. Помню, В. М. Васнецов сказал ей, что она «раскрашенная Венера Милосская»[42]. Все молодые люди нашего круга увлекались ею. Но она, со своей стороны, увлеклась необычно интересным, культурным человеком, еврейского происхождения, вдовцом, Эмилем Юльевичем Морицем, с редко-оригинальным, прекрасным лицом. Василий Иванович на все мольбы Зины ответил отказом на ее брак, и Зина решила бежать. Тетя Зина, ценившая Морица и понимавшая Зину, решила взять этот смелый шаг на себя. Было воскресенье; утром тетя Зина одела Зину, благословила и довела ее до кареты, где ждал ее Мориц; они повенчались в лютеранской церкви и поселились в Москве.

Тетя Зина, придя домой, за завтраком рассказала о том, что случилось, и о своем поступке. Василий Иванович взбесился от злобы. Он решил сделать самое больное для тети Зины на свете. Не говоря ни слова, уехал и сразу продал имение их Введенское под Звенигородом, которое тетя Зина так любила. Там она жила среди природы, принимала гостей, которые были ей интересны и по душе[43].

Это было большим ударом для бедной тети Зины.

В то время здоровье моей бабушки Веры Степановны все ухудшалось; уже в 50-х годах она страдала болезнью печени. Когда умер муж Николай Федорович, ее сын Михаил Николаевич, студент, взял мать и двух сестер, Зину и Веру, и уехал с ними на перекладных до Варшавы, а потом по железной дороге в Карлсбад. Михаил Николаевич и девицы купались до осени, ловили креветок сеточками, а мать отдыхала. Так длилось в продолжение нескольких лет. Об этих поездках мамочка моя особенно любила мне рассказывать.

Несмотря на лечение за границей, положение Веры Степановны стано-

вилось серьезным. Ей посоветовали позвать очень талантливого молодого врача, готовившего свою докторскую диссертацию, — Григория Антоновича Захарьина (впоследствии знаменитейшего московского терапевта)[44]. Захарьин часто заходил лечить, а то и навещать Веру Степановну, которая его баловала; зная, что он любил сладкое, всегда имела наготове коробку конфет, на случай его прихода. Захарьин, шлепая своими толстыми губами (как делал всю жизнь), спрашивал: «Вера Степановна, а где же мои конфеты?» — «Там, в шкафу, Григорий Антонович». Он шел и доставал и съедал в один присест! Эту привычку он сохранил до конца жизни. Когда он был знаменитостью и ему платили по сто рублей за визит, запасали и коробку «захарьинских» конфет.

С Захарьиным часто приходил его товарищ — медик Мамонов[45] (тоже впоследствии очень известный врач).

Мамонов и Вера Николаевна сразу полюбили друг друга, на огорчение Веры Степановны. Она боялась, что Вера выйдет замуж и будет так же несчастна, как Зина, а может быть, и как она сама... Мамонов собирался жениться на Вере Николаевне, как только защитит свою докторскую диссертацию. Вера Степановна так плакала, так горевала от мысли расстаться с Верой Николаевной, что последняя, скрепя сердце, наконец отказала Мамонову.

Мы уже знаем, что Вера Николаевна, схоронив мать, а Елизавета Ивановна, схоронив своего любимого мужа Михаила Николаевича, поселились вместе.

На Разгуляй переехали Александр Николаевич с Татьяной Алексеевной, у которых пока остались жить Дуня и Савва. И знаем, что Вера Николаевна в августе 1865 года, вышедшая замуж за Павла Михайловича Третьякова, поселилась в Толмачевском доме.

Кирилл Николаевич был самый тонкий по красоте изо всех Мамонтовых; небольшой, несколько полноватый блондин с тонким прямым носом, бритый, с чарующей, немного иронической улыбкой, он что-то вечно острил, немного подергивая ноздрями. Женился он на чрезвычайно симпатичной и обворожительной Маргарите Оттовне (собственно, Оттоновне) Лёвенштейн[46].

Кирилл Николаевич был, говорят, всегда «легкомысленного» характера. Так ли это — трудно сказать. Как-то был он на юге Франции, прокутился ли, проигрался ли, но, помню, пришло известие, что он в Марселе застрелился[47]. Маргарита Оттовна осталась без всяких средств с двумя малютками. Уехала в Париж, научилась кроить, шить платья и белье. Вернулась в Москву, поехала с визитом ко всем знакомым дамам, где она была всегда принята как друг, просила поддержать ее заказами. Все дамы отнеслись к ней чрезвычайно сочувственно. Со временем считалось большим шиком иметь приданое, сшитое «Маргаритой Оттовной», как ее все звали в Москве. Редко можно было видеть такое всеобщее уважение, как это было по отношению к этой женщине, работавшей с невероятной энергией. Девочки учились в школе. По воскресеньям они часто бывали у нас: мать их завозила и оставляла у нас на целый день. Они были ровесницами моей младшей сестры, Маши: Маргоша одним годом старше, а Лёля одним годом моложе Маши. Впоследствии Маргоша вышла замуж за Михаила Абрамовича Морозова[48]. Маргоша любила всегда музыку. Брала уроки у Александра Николаевича Скрябина, была другом его и его первой жены, Веры Ивановны (урожденной Исакович); помогала им во всех бедах[49]. Любила философию и была близким сотрудником кружка Владимира Соловьева и

князя Евгения Николаевича Трубецкого[50]. Обе сестры посвятили себя общественной деятельности.

Иван Николаевич был чудеснейший, честнейший человек, идеальный семьянин; он жил с семьей на их лаково-сургучной фабрике на Пресне и был чем-то очень важным на Мальцевских заводах; он любил общественную деятельность, был долгое время гласным Московской городской думы[51].

Иван Николаевич был скорее высокого роста, скорее плотный, был похож типом на Веру Николаевну.

Женат был на маленькой, энергичной, стриженой, с темными живыми глазами, очень музыкальной и милой Екатерине Александровне Робер.

Когда одна группа гласных Думы желала видеть Ивана Николаевича выбранным в головы Москвы, Екатерину Александровну поддразнивали, что тогда она будет не «головихой», а «головастиком»; она смеялась и продолжала дымить, так как без папирос ее не помню.

У них было много детей, из которых я могу назвать четырех сыновей и трех дочек[52]. Екатерина Александровна была идеальная жена и мать, и дом их, хлебосольный в меру, был всегда полон молодежи. У них было на Волге, в Тверской губернии, имение «Пекуново», где собиралась масса кузенов и товарищей их детей, многие из них между собой переженились.

Когда мне было около 10-ти лет, как-то мамочка взяла нас с Сашей и поехала с нами, без предупреждения, к Ивану Николаевичу и Екатерине Александровне. Мы попали случайно на крестины Сережи, их четвертого сына. Сережа был похож на мать и унаследовал и ее музыкальные способности; Сережа стал впоследствии хорошим пианистом. Женился он на знаменитой своей красотой в Москве Наташе Шереметевой. Наталья Сергеевна во втором браке была женой одного гатчинского офицера, Вульферта; там познакомилась с великим князем Михаилом Александровичем, который ее развел и на ней женился. У них был сын. Ей «пожаловали» имя графини Брасовой[53].

Дуня — тетя Дуня — была, прежде всего, оригиналкой. Была моложе мамочки лет на 6. Всегда у нее были крайние настроения. Была она маленькая, шатенка, волосы стриженые, волнистые; глаза серые, с длинными ресницами. И даже нравилась своим «норовом» — «моему нраву не препятствуй». А главное, была бесконечно добра. Когда мамочка вышла замуж, Дуня часто приезжала в «Толмачи», где встречалась с Надей Третьяковой, сестрой Павла Михайловича; они были ровесницы и скоро подружились.

Тетя Дуня вышла замуж за красивого, изящного студента Московского университета — Константина Васильевича Рукавишникова[54], который впоследствии был городским головой Москвы. Отец его, Василий Никитич, был горнозаводчиком на Урале. Помню не только его, симпатичного, доброго, видного старика барина, но и его добрую и милую жену Елену Кузьминичну[55]. Помню, как старший сын их, Николай Васильевич[56], умер еще очень молодым, холостяком. Он любил свою мать, жил всегда с родителями в самых трогательных отношениях. Посвятил всю жизнь на борьбу с преступностью малолетних и основал Рукавишниковский исправительный приют, которым после смерти его занимался Константин Васильевич.

Савва Николаевич[57] был последним из 17-ти детей Веры Степановны. Он был талантлив ко всему, очень музыкален. Уже взрослым мужчиной окончил медицинский факультет университета, но докторскую диссертацию защитить поленился. Говорили мне, что он окончил курс композиции, воль-

ным слушателем, в училище Филармонического общества. Не могу проверить этого, но не удивлюсь, если б это оказалось правдой. Любил играть на фисгармонии и всегда страшно плакал. Доброты был непомерной. Был среднего роста, полный, с круглым лицом, курносым носом и добрыми серыми глазами. Было у него что-то Дунино. К несчастью, любил выпить, под старость особенно. Жил на фабрике на Пресне. Женился он довольно поздно на Евгении Федоровне Дмитриевой, дочери директора Малютинской фабрики в Коломне, милой, сердечной, веселой девушке[58]. Она чудесно плясала русскую, вообще была одним из самых чисто русских типов: среднего роста, не полна и не худа, с темно-русыми косами, темными глазами, открытой улыбкой. Хлебосольная хозяйка, она дала дяде Савве много уюта в его семейном кругу. Тетя Женя была нам почти подругой, умерла молодой от эклампсии, при рождении чуть ли не шестого ребенка. Дядя Савва остался с кучей малышей на руках, которых воспитывал как умел[59]. «Мамонтовщина» в нем расцвела пышным цветом. Было дяде Савве немало забот и трудностей, но и детям на долю выпало много борьбы. Его сыновей я никогда не видала; три дочери его были талантливы, оригинальной красоты, имели шумный успех. Знаю больше других Наташу, вышедшую замуж очень молоденькой за моего двоюродного племянника Сергея Николаевича Третьякова, сына Николая Сергеевича и внука Сергея Михайловича[60]. У них было трое детей: Ирина, Сережа и Таня[61]. Сережа был необычайно интересный ребенок. Зинаида Николаевна заходила к молодым Третьяковым лишний раз, чтоб полюбоваться на Сережу, курчавого блондина с темными глазами. Он — правнук Михаила Захарьевича Третьякова и в то же время правнук Николая Федоровича Мамонтова.

Волею судеб заканчиваю этим самым и историю Третьяковых, поскольку мне не изменяет память и поскольку я слышу время от времени об их потомках.

Продолжателями рода Мамонтовых являются сыновья Ивана и Саввы Николаевичей[62], а единственным продолжателем рода Третьяковых — Сергей Сергеевич.

ГЛАВА 6

НАШЕ ДЕТСТВО

Возвращаюсь к своему первому «архиву» — тете Ане.

Перескажу следующий диалог так, как помню до сих пор. Когда Павел Михайлович стал женихом Веры Николаевны, он приехал как-то к ней и сказал: «Сударыня, я приехал к вам с одним вопросом, на который прошу вас ответить откровенно: желаете ли вы жить с моей маменькой или вам было бы приятнее, чтоб мы жили с вами одни?» Вера Николаевна ему ответила: «Я сама бы не решилась просить вас об этом, очень благодарю вас и скажу, что мне было бы, конечно, приятнее жить с вами одной». — «И я очень вам благодарен, сударыня».

Павел Михайлович за лето стал присматривать для матери особняк, выбрал небольшой, уютный домик в Ильинском переулке близ церкви Ильи Обыденного[1]; одноэтажный, с мезонином во дворе, с садиком, спускавшимся полого под гору к площади, на которой в то время строился Храм Христа Спасителя, в память 1812 года, «Храм-Спаситель», как всегда называли его в Москве.

Павел Михайлович никогда не любил архитектуры «Храма-Спасителя» и называл его перечницей. Также не нравились ему и стенные росписи наших художников, «не знавших настоящего стиля стенной живописи». Особенно возмущался художником Неффом, в маленьких приделах, на хорах. Этот храм был разрушен и снесен большевиками в начале тридцатых годов[2].

Бабушка Александра Даниловна переехала к Илье Обыденному прямо с дачи.

Внизу была столовая, гостиная, где висело несколько старинных голландских картин, купленных Павлом Михайловичем в одно из путешествий с матерью и сестрой Сонечкой; был бабушкин «будуар» и спальня; жила с ней внизу молоденькая тетя Надя, а наверху жил Коля Третьяков, которому тогда минуло 10 лет, и он только что поступил в 1-й класс Пречистенской гимназии, его гувернёр, Карл Федорович Бювло, перешедший к Коле от Коншиных, и старый конторщик, служивший, кажется, еще при дедушке Михаиле Захарьевиче, Василий Васильевич Протопопов, которого никто не звал иначе как дядя Вася[3].

Бабушка Александра Даниловна приняла желание Павла Михайловича «без единого возражения, но забыть она этого Вере Николаевне никогда не могла». Не любила она своих невесток, ни покойной Елизаветы Сергеевны, матери Коли, ни Веры Николаевны, ни будущей своей невестки, второй жены Сергея Михайловича — Елены Андреевны, урожденной Матвеевой. Не любила и нас, за внуков точно и не считала; и всю свою любовь отдала целиком своим «настоящим» внукам, детям своей любимой дочки — Софии Михайловны Каминской.

Павел Михайлович заезжал к маменьке «поздороваться» каждый день. Вера Николаевна бывала там редко, да и мы бывали впоследствии лишь в праздники — или в именины бабушки. Да и она у нас запросто никогда не бывала, приезжала лишь на все семейные обеды, «большие» и «маленькие».

По летам она жила у Каминских в селе Покровском на Филях, а по зимам нередко уезжала с вечно больной тетей Соней и ее больными детьми то на юг Франции, в Ментону, то лечить детей, в Париж.

Когда бабушка Александра Даниловна переехала с Надей и Колей из «Толмачей» к Илье Обыденному, в «Толмачах» осталась хозяйничать Машенька; хозяйство со всеми приказчиками, домашней прислугой, кучерами, возчиками, дворниками держала она в руках и несла на своих плечах мирно, кротко, никогда не раздражалась и была любима всеми. Она до конца дней своих осталась ангелом-хранителем «Толмачей» наших.

Двадцатилетняя Вера Николаевна, по желанию Павла Михайловича, продолжала заниматься музыкой и, по его желанию, вместе с ним, с первого года замужества, посвятила себя общественной деятельности. В хозяйстве она ничего и не понимала всю жизнь, да и не касалась его. С Машенькой они быстро сошлись; обе кроткие, терпеливые, веселые, они прожили всю жизнь без единого облачка, в самой нежной дружбе и гармонии. И у нас, детей, было, таким образом, две матери, которых мы хоть и по-разному, но одинаково и нежно любили. Впоследствии мамочка называла Машеньку — «тетя Манечка», как звали ее мы.

Через год после женитьбы родителей появилась я, а со мною — и няня Таня. Росла я плохо, умирала с каждым зубом. Мамочка возила меня в коляске по зале, гостиной и столовой, делая круг через арки между этими комнатами, глотая слезы, каждый раз думая, что меня теряет.

Сестра Саша родилась через год и три месяца (23 декабря 1867 года); она была крепче и покойнее. Павел Михайлович обожал маленьких детей, любил целовать в нос, его борода меня щекотала, я ежилась и отворачивалась, Саша же спокойно выносила ласки, и он ее и любил гораздо больше меня. В 12 лет я стала очень любить отца, и он стал, благодаря моей ласке, нежен и ласков ко мне.

В 1870 году, 1 марта, родилась Люба, болезненная, нервная, упрямая и самая добрая из нас.

В июне 1871 года родился Миша. Ожидая его, мамочка шла в школу, упала так сильно, что у нее сделалось, как тогда выражались, «сотрясение»; она себя плохо чувствовала и говорила, что этот ребенок, наверное, родится ненормальным. Так оно и случилось[4]. Это было таким горем для обоих родителей, особенно для Павла Михайловича.

Помню, гораздо позже, приезжали какие-то врачи, немцы; пили чай после «визита». Нас вывели всех трех, девочек, чтобы, вероятно, показать как трех нормальных детей. Я была уже настолько большая и знала достаточно хорошо немецкий язык, чтобы запомнить фразу, сказанную одним врачом другому о Мише: «Dieses Kind befindet sich im Zustande des Idiotismus»*. Прожил Миша более 40 лет, пережив обоих родителей[5].

О рождении Маши (3 мая 1875 года) и рождении Вани (осенью 1878 года)[6] расскажу позже. Со времени рождения Маши, когда мне было уже 8 лет, начался второй период нашего детства, наше отрочество. Одно из самых ярких воспоминаний нашего детства было венчание тети Нади.

28 апреля 1871 года, когда деревья начали уже зеленеть, тополя благоухали в нашем саду со своими распустившимися почками, тюльпаны и гиацинты огромными клумбами цвели в саду, нас днем разодели обеих с Сашей в одинаковые беленькие платьица, надели на нас пелеринки, белые с ярко-синими рюшками, соломенные шляпки с бархаткой и повели в нашу Толмачевскую церковь смотреть свадьбу тети Нади. Ей было тогда лет около двадцати.

После венчания мы все вернулись домой, вслед за женихом и невестой. В нашей столовой пастор Dickhof[7] совершил второе, лютеранское венчание.

* Этот ребенок находится в состоянии идиотизма *(нем.)*.

Обед был, помню, в зале, где стол был накрыт «покоем», и в столовой — для более молодых приглашенных. Помню, как во время обеда принесли на руках сестру Любу — ей шел второй год — в шелковом голубом сарафанчике с серебряным галуном.

Помню, говорили, что молодые уехали жить в бревенчатый домик на фабрике («набивной») Циндаля, где жених тети Нади, Яков Федорович Гартунг (брат воспитательницы Коншиных, Минны Федоровны Гартунг), служил химиком[8].

Яков Федорович, представительной наружности, добрый, страшно милый, хотя не лишенный некоторой банальности вкусов, стал на всю жизнь нашим общим любимцем «дядей Яшей»; с ним мы, молодежь, сохранили навсегда чисто приятельские отношения: не было ничего, что бы мы не могли его попросить.

А про тетю Надю и говорить нечего, какой она нам всегда была дорогой человек.

Это был впоследствии один из самых приятных родственных домов, где мы зачастую бывали.

Родители, поженившись, первые три лета нанимали дачу в Волынском, имении Хвощинских, по Смоленскому шоссе, десять верст — и затем надо было сворачивать влево. Потом переехали в Кунцево, куда приходилось ехать те же десять верст по тому же шоссе и в том же месте сворачивать, но не влево, а вправо. Буду много писать о Кунцеве позже, а пока хочется рассказать мои самые детские воспоминания о жизни там. Жили мы на даче Солодовниковой, прожили на той же даче 10 лет[9]. Любили мы ездить в старом открытом ландо через Дорогомиловскую заставу, мимо бойни, по Поклонной горе, откуда Наполеон[10] любовался Москвой после Бородина; на 11-й версте, своротив, как уже я говорила, вправо, переезжали у села Мазилова через плотину Мазиловского пруда, сворачивали влево, ехали вдоль берега, потом снова вправо по кленовой аллее до колодца, где дорогу пересекала «прямая дорожка», сворачивали влево в березовую рощу, затем вправо, вдоль чудеснейшего громадного луга, на который выходили слева окна нашей кухни. А дача сама стояла как раз на опушке леса, первая из последних четырех дач, стоявших за проезжей дорогой, параллельно которой бежала дорожка, вдоль глубоких обрывов, по высокому лесистому берегу Москвы-реки. Каждый верстовой столб на шоссе, каждый поворот на проселочной дороге наполнял душу такой неожиданной радостью, которая вспоминалась целую зиму и о которой целую зиму мечталось. Любили мы и дачу нашу. Среди дубов и березового парка стояла двухэтажная бревенчатая дача, с открытым балконом спереди и крытой верандой сбоку, во дворе. Была у нас внизу громадная столовая с длинннющим диваном, во всю стену, на котором после завтрака, обеда и вечернего чая похрапывал дядя Вася, живший зимою у бабушки в Илье-Обыденском доме, а по летам — у нас. Было внизу несколько спален, папина и мамина, тети-Манечкина, две комнаты «маленьких детей» и две комнаты для гостей. А мы с Сашей жили наверху. Наша комната в два окна и комната, сначала няни, потом воспитательницы, в одно окно выходили на крытую террасу, смотревшую прямо на наш большой открытый балкон внизу; наверху же в задней части дачи находилась большая девичья и комната дяди Васи.

В начале мая мы переезжали. И сейчас не могу без волнения вспоминать цветущие кусты сирени, в которых заливались ночью соловьи, тихий летний дождик, стучавший за стеной, под самым ухом, по железной крыше,

ровный, теплый, бесконечный. Когда уже совсем стемнеет, начинает стучать колотушка сторожа Ефима Терентьевича, высокого, худого, в белой рубашке, с козлиной седой бородой и хитрыми глазками. В Кунцево часто забирались воры, по очереди на все дачи, а потому все окна и наружные стеклянные двери закрывались массивными ставнями и запирались на железные болты: они продевались сквозь специально просверленные дырочки через бревна стен, а внутри комнаты вдевались в дырки в железных болтах железные же пруты. Несмотря на такие же ставни в кухне, как-то рано утром повар наш Иван Ульянович «обмер» со страху, когда в кухне не оказалось посуды. Мечась по саду, он набрел на дорожке к прудику на разложенную, одна за другой, медную утварь: воры, очевидно, заслышав какой-нибудь шорох — разбежались. Ефиму Терентьевичу было наказано усилить бдительность.

По субботам изредка дядя Вася ходил в гости к бабушке Александре Даниловне в Покровское, а обратно приезжал на извозчике, но оставлял последнего на некотором расстоянии, чтобы нас не будить. Мы ложились всегда рано. Папа в будни ездил в город на поезде в 8 часов, а в воскресенье вставал «с петухами», так как любил уходить на длинные прогулки. Как-то дядя Вася вошел во двор и увидел на деревянном крылечке храпящего Ефима Терентьевича, с закинутой головой и колотушкой на ступеньке рядом с ним.

«Ефим Терентьевич, ты что ж не сторожишь?» — и потрепал его слегка за плечо, стараясь вразумить, но тот забормотал: «А сколько вас тут? Двое или трое? Скажи, двое или трое?» — и снова заснул сладким сном. На другое утро эта история показалась нам страшно занятной. Но совет взрослых решил заменить милую душе нашей колотушку большой чугунной доской, повешенной на березе, и снабдить Ефима Терентьевича тяжелой чугунной палочкой. Помню, повесили около доски какие-то самые примитивные часы, на которых он должен был отмечать время после обхода всего нашего парка, постучавши в доску.

К большим результатам это не приводило, часто Ефим Терентьевич сладко задремывал на том же крылечке. Но звон чугунной доски в темные, долгие ночи и звук колотушки в светлые, короткие ночи окутывали нас чем-то неописуемым среди наших детских снов.

Я уже упоминала, что на Разгуляе у Мамонтовых были друзья Куклинские. Анастасия Самсоновна, в будущем наша тетя Настя, и Вера Самсоновна, вышедшая замуж за Ивана Ивановича Блёзе, члена оркестра московского Большого театра. Иван Иванович в день свадьбы или именин мамочки иногда приезжал рано утром с несколькими товарищами, садились в беседку, которая стояла как раз против нашей дачи над обрывом, с видом на заливные луга берегов Москвы-реки, и играли на духовых инструментах мамочке Ständchen*. Мамочка летела с нами в беседку, и она, да и мы — маленькие — трогались этой музыкой, а тетя Манечка готовила скорее закуску и утренний кофе и бежала приглашать гостей, чтобы хорошенько накормить их перед отъездом в Москву.

У Блёзе был сын — студент Володя — и три дочки, с которыми мы были очень дружны[11]. В те лета в Кунцево изредка приходил Володя Блёзе, прямо из Москвы пешком, без фуражки, с книгой под мышкой, — приходил к завтраку и уходил после чая перед обедом. Как объяснила мне тетя Аня, когда

* серенада (нем.).

я подросла, Володя Блёзе знал, что Павел Михайлович не любил его «фантазерских посещений»; в то время только что были написаны «Отцы и дети», Володя воображал себя Базаровым и мечтал видеть в Вере Николаевне — Анну Сергеевну[12]. Помню, что за столом конца не было разговорам про книжки, которых у нас в Кунцеве лежала всюду тьма. Володя Блёзе, добрый, идеалист чистой воды, был любим всей своей семьей и тетей Настей, которая все же «немного стеснялась его нигилизма». Володя умер очень молодым, и я о нем грустила. Я любила его за то, что после завтрака он брал меня с собою на обрыв, полевее нашей беседки; мы лазили по глинистым оврагам, мы ползали по песку, по мху, глубоко вниз, держась за ветки и корни свалившихся от бурь деревьев; спускались во тьму, на проезжую дорогу, куда просачивались лишь пятнышки солнца; лазили до каких-то болотцев, прудиков, сажалок с рыбами и, все измазавшись, лезли снова вверх; и часто Володя нес меня на плечах. Возвращалась я словно из далеких-далеких стран — счастливая. Мамочка меня переодевала в чистенькое белое платьице, и я пила со всеми в 3 часа чай на нашем большом балконе, с трех сторон уставленном, вдоль перил, горшками цветов. Настроение бывало блаженное.

Но самое дорогое воспоминание тех лет, в Кунцеве, — моя дружба с Колей Третьяковым. Коля несколько лет подряд, живя зимой у бабушки, проводил лето, вместе с Карлом Федоровичем, у нас в Кунцеве. У Коли стояла в конюшне «понька» Гришка, а в каретном сарае — маленький шарабан. Часто ездил Коля с Карлом Федоровичем кататься. Тогда Коле шел 15-й год, а мне — 4-й. Я делала гречишнички из песка и часто поглядывала на дорогу. Когда они, «наши кавалеры», как их звала тетя Аня, возвращались, Карл Федорович слезал, а Коля бежал за мной, брал на руки, сажал в шарабан, садился рядом, и мы ехали шагом «проезжать» разгоряченного Гришку. Когда Коля меня дома высаживал, то целовал и говорил: «Верочка, если ты, когда вырастешь, будешь такая же миленькая, хочешь, я на тебе женюсь?». Я шептала: «Не хочу», а Коля запевал мне песенку: «Невеста без места, жених без ума». Я смотрела жалостно на Колю, «жених без ума» звучало так грустно, что я начинала плакать, обвивая руками шею Коли, а он меня утешал. Много раз слышала я этот рассказ от Лины Карловны, обожавшей и меня, и Колю.

Кроме Гришки у Коли был любимый пес Палес. И сейчас помню и его, и его ошейник с металлическими бляхами.

В те года лето бывало знойное и часто разносился панический слух: «Из Крылатского бежит бешеная собака». Почему-то все страшное шло из Крылатского, несмотря на красоту этого села на высоком, открытом берегу над рекой. И бури, и грозы, и бешеные собаки, и слухи об утопленниках всегда неслись из Крылатского.

Помню, как новый слух о бешеной собаке, бегущей в Кунцево, напугал Колю. Он весь день решил не выходить из саду, надел на Палеса ошейник, взял книгу и сел в кресле читать на площадке перед дачей (в то время не существовало еще прививок от водобоязни). Да и мамочка решила, сидя на большом балконе, смотреть за мной. Я любила возиться с формочками, тележкой и лопаткой около большой кучи песка под березами. Помню настроение надвигавшейся грозы. Вдруг из-под забора, по дорожке, ведущей к песочной куче, выбегает рыжая собачонка (как потом говорил Коля, с опущенным хвостом) и выхватывает у меня из рук белую мою тележку. В это время, как сейчас слышу, вопль Коли: «Бешеная собака, бешеная собака, Карл Федорович, где Палес?». И через секунду, помню, мамочка, по ступенькам несется с балкона, схватывает меня и несется обратно вверх, в сто-

ловую. В то же время Коля, бегом, туда же втаскивает за ошейник своего пса и запирает за собой дверь на ключ. Слышу сейчас этот звук. Мамочка кричит тете Манечке: «Эта деревянная тележка спасла жизнь Веруше! Ведь собака разодрала тележку на куски и, говорят, побежала прямо к «прямой дорожке».

Вечером, за обедом, прислуга рассказывала, что собаку убили в Мазилове.

В начале зимы, когда мне минуло пять лет, а Саше — четыре года, как-то мамочка, перед завтраком, позвала нас в гостиную. Там с ней сидела молодая дама, высокая, в черном платье с оборками. Коса заложена высоко на голове, заколота испанским гребнем, лицо длинное и милое.

«Это Марья Ивановна Вальтер, которая будет приходить к вам каждое утро, на целый день». Она жила у своих родных на Садовой, у Сухаревой башни, приходила в 9 часов утра и уходила в 7 часов, после нашего обеда, а иногда и раньше, если ей было необходимо. Мы ее сразу полюбили, звали ее Мани и, целые дни болтая с нею, быстро научились немецкому языку. Она читала нам книжки, до сих пор оставшиеся любимыми: «Mutter Anna und ihr Haüschen», «Mutter Anna und die Gretchen», «Das bunte Buch»*, и разные сказки. Слова «Schlaraffenland», «Wacholderstrauch»** остались до сих пор для меня чарующими. Она проходила с нами Закон Божий по двум книжкам с раскрашенными картинками из обоих Заветов, читала и два томика Зонтаг[13], занималась арифметикой, русским языком. Она прекрасно знала русский язык, так как родилась и выросла в Ревеле. Ходили два раза в день гулять по Ордынке, мимо церкви Николы в Кадашах, мимо Егория на Всполье, мимо Екатерины Мученицы до Серпуховских ворот, а домой возвращались по Полянке, мимо дома тети Дуни Рукавишниковой, с чудесным тенистым парком и большим, залитым солнцем палисадником. Шли мимо церкви, сводившей нас с ума, Григория Кесарийского, по Толмачевскому переулку, домой, в Лаврушинский[14].

Все в доме любили Мани. Была она добрая, милая, но очень нервная. Когда Павел Михайлович задевал стаканом за стакан, Мани пугалась, вздрагивала, а Павел Михайлович пугался, что испугал ее, и торопливо извинялся: «Простите меня, ради бога, милая Марья Ивановна».

Два лета она жила с нами в Кунцеве. Помню, какой праздник бывал, когда в хорошую погоду в апреле месяце закладывалось наше ландо и мы с корзинками разной вкусной еды, фруктов и сладостей рано утром уезжали, с Сергеем Максимовичем на козлах, на паре гнедых, на целый день.

Дача наша запиралась на всю зиму и отпиралась лишь за три дня, чтобы солнце согрело ее к переезду. Три дня шла чистка и уборка. Садились в ландо мы с Сашей, с мамочкой и Мани, а иногда ездили с Сашей и с Мани втроем. Соловьи заливались, кукушки в лесах — куковали. На лужайках, среди чудесных рощ, целые клумбы калужниц и баранчиков цвели и издавали свой особенный, весенний запах. Лютики, лиловые фиалки и ландыши глядели из-под дерев. А позже, летом, — белые фиалки-любки, как душистые белые свечки, торчали среди лугов! А в полях жаворонки заливались в высоте! А осенью — грибы! Рощи — осиновые, березовые, дубовые и сосновые... Наши прогулки, в продолжение десяти лет, по рощам, лугам и полям имения Солодовниковых, по дороге к Прокатному мосту, где еще в то время было древнее татарское кладбище, остались навсегда сказочным воспоминанием нашего детства.

* «Матушка Анна и ее домик», «Матушка Анна и ее Гретхен», «Пестрая книга» *(нем.)*.
** «сказочная страна», «можжевеловый куст» *(нем.)*.

Не только весною, но и зимою возил нас Сергей Максимович кататься по Замоскворечью и другим частям Москвы.

Нередко вечером, после обеда, в оттепель или в маленький морозец, когда только выпадал мягкий, пушистый снежок, посылали в кучерскую попросить Сергея Максимовича заложить парные сани на высоких полозьях, Сергей Максимович подавал их в своей лиловой бархатной кучерской четырехугольной шапке с мехом, в поддевке с меховой, темно-рыжей обшивкой и серебряными пуговицами на боку. Закутывал нас, «кувалдышек», Андрей Осипович, «подавал» и застегивал нам «польты», завязывал башлыки, надевал на руки варежки, а сверх всего — куньи тальмочки на белой атласной стеганой подкладке; сажал нас на переднее место, спиной к Сергею Максимовичу, а мамочка и Мани садились на заднее место, лицом к кучеру.

Ехали мы кататься, то на Девичье поле к Девичьему монастырю, то на Воронцово поле к Ново-Спасскому монастырю, то по Ордынке, через Калужские ворота, к Донскому монастырю и возвращались тогда через Крымский мост, мимо Катковского лицея, по Остоженке и через Каменные мосты.

Нас часто укачивало, и мы засыпали. У подъезда Андрей Осипович отстегивал меховую полость и помогал мамочке и Мани вылезть, а Сергей Максимович оборачивался на нас, спящих, и с трогательностью в голосе говорил: «Блаженно младенческое успение». Андрей Осипович нас подымал, нес по очереди в дом, в столовую, там раздевал, мы успевали проснуться, пили молоко и, не успев допить, едва добирались до наших постелек наверху в комнате, рядом с тети-Манечкиной.

Бывало у нас в то время много славянофилов: Черкасские, Барановы, Щербатовы, Аксаковы, Станкевичи, Самарины и Чичерины [15]. Павел Михайлович имел с ними личные отношения: политические, общественные и по городской работе. Он их «уважал», а мамочка была знакома лишь «визитами» с их женами и дочерями. Мужчины приходили к Павлу Михайловичу вниз, в кабинет, довольно часто и всегда видели мамочку, а иногда выражали желание видеть и нас, девочек. Особенно часто заходил Юрий Федорович Самарин. Против самого Лаврушинского переулка, в Большом Толмачевском, за черной чугунной массивной решеткой и такими же воротами с гербами и львиными головами, стоял во дворе старинный «ампирный» дом с колоннами, с двумя флигелями и садом в глубине. Здесь жили графы Соллогуб, графиня Мария Федоровна была сестрою Юрия Федоровича Самарина; ее сын, Федор Львович, женатый на Боде, и сама Мария Федоровна были знакомы с мамочкой тоже лишь «визитами» [16]. Юрий Федорович, часто бывавший у сестры, заходил к нам по дороге. Он любил разговаривать с нами, и мы его любили. Как-то «несется» Андрей Осипович по лестнице и кричит: «Марья Ивановна, Юрий Федорович желает барышень повидать». Мы спустились вниз, в кабинет. Делалось там все теснее, все стены и мольберты были полны картин и портретов. Поболтав с нами, Юрий Федорович вдруг, помню, взял меня за плечо, повернул и, показав пальцем на стоявший на ближнем мольберте портрет (портрет Льва Николаевича Толстого, только что написанный Крамским) [17], спросил: «Знаешь ли, кто это?» Я ответила: «Es ist ein Bauer» *. «Ах, милая, — сказал Юрий Федорович, смеясь, — а как он бы рад был слышать эти слова!».

Другой раз, помню, бежит Андрей Осипович и кричит наверх из буфетной (Андрей Осипович был слабого здоровья, и мы все запрещали ему бегать по

* Это крестьянин *(нем.)*.

лестницам, так как он никогда не ходил, а всегда «носился»): «Марья Ивановна, Иван Сергеевич Тургенев приехали, Вера Николаевна просит вас с барышнями спуститься в столовую!». Наверно, это было в воскресенье и Павел Михайлович был дома, в столовой, чай тетя Манечка уже начала разливать, да и стол был накрыт по-праздничному, заранее. Иван Сергеевич сидел на стуле у окна, ближнего к гостиной, а Павел Михайлович, стоя, указывал ему на картины на стенах. Иван Сергеевич ласково с нами поздоровался, сказал, что не узнает нас, как мы выросли, и думает, какие мы должны быть теперь большие шалуньи.

Значит, он нас видал и раньше, но я его увидела в первый раз [18]. Он нас обнял обеими руками, начал шутить, а мы начали к нему приставать. Я слышала, что Тургенев пишет книги, которые мамочка читает, и стала просить его написать что-нибудь для меня. Он улыбнулся и сказал: «Милая, я был бы так рад исполнить твое желание, но это слишком трудно». Эти непонятные слова врезались мне в память. Я не переставала приставать к мамочке объяснить их мне. «Почему? Почему?» Этого не могла мне объяснить и тетя Аня.

Жизнь с Мани была раем; хотелось бы, чтобы она никогда не кончалась. Но конец пришел так неожиданно и так быстро. Как-то Мани пришла утром вместе с мамочкой, обе были заплаканы. Мани простилась с нами, сказала, что выходит замуж за полковника Вернера [19] и будет жить в Ревеле. Мы все вместе неутешно плакали. Мамочка сняла с нас двух и Мани чудесную фотографию. Разлука с нею стала и разлукой с нашим детством.

ГЛАВА 7

ОТ ДЕТСТВА К ОТРОЧЕСТВУ

Если детство может действительно быть счастливым, то мое детство было таковым.

То доверие, та гармония между любимыми людьми, любившими нас и о нас заботившимися, было, мне кажется, самым ценным и радостным.

Что говорила тетя Манечка, говорила и мамочка, и Мани. Как-то ничто не запрещалось и ничего не приказывалось, и к капризам не было, очевидно, повода. Не помню, чтобы кто-нибудь рассердился или чтобы я была наказана.

Мани ушла, стало пусто. Мамочка и тетя Манечка целыми днями были заняты своими обязанностями. Началась зима 1873/74 года. Мне минуло 7, а Саше скоро должно было минуть 6. Саша начала уроки музыки, а меня уже второй год мамочка учила игре на фортепиано и попутно гармонии [1].

По рекомендации Марии Федоровны Морозовой [2] мамочка пригласила нам Клару Ивановну (фамилии ее не помню), краснощекую, черноволосую, немолодую баварку, говорившую, нам казалось, грубо и нас все время останавливавшую и критиковавшую наш остзейский выговор. Это нас обижало, не столько за себя, как за Мани, и вызывало в нас протест и неприязнь — нехорошее новое чувство [3].

Клара Ивановна часто принимала за чайным столом касторку «для сохранения цвета лица».

В это лето в Кунцево изредка приезжали гулять Кисловские *, Анна Владимировна с дочками Надей и Верой [4], у которых прежде жила Клара Ивановна.

И как-то приезжали с ними М. Перевощикова с сыном Митей и его двумя товарищами — Морозовыми, Саввой и Сережей [5]. У Морозовых жила Клара Ивановна при мальчиках, покуда они не подросли.

М. Перевощикова была известна в Москве своею «пикантностью» и шармом. У нее было двое детей: Митя, юрист, Дмитрий Петрович, товарищ мальчиков «красноворотских» Алексеевых, и дочка Маруся, вышедшая впоследствии замуж за Константина Сергеевича Алексеева, по сцене Станиславского, и сама стала изумительной, тончайшей актрисой Московского Художественного театра — Лилиной [6]. Савва Морозов был близок к Московскому Художественному театру; просиживал вечерами на колосниках, финансировал; был либерал, увлекался рабочим вопросом; «разочаровался», как говорят, в первой революции (1905) и покончил с собою. Сережа (Сергей Тимофеевич) стоял вместе с Марией Федоровной Якунчиковой [7] во главе Российского кустарного производства. Был истеричен, как его отец, и так же очарователен.

Кисловские зашли к нам и пригласили Клару Ивановну и нас с нею на прогулку. И говорить нечего, что нам было весело. И это обстоятельство нас немного примирило с Кларой Ивановной. Мы, наверное, решили, что если Клара Ивановна неприятная, то виновато в этом не что иное, как то, что она просто не подходит в наш дом, а наш дом — не подходит ей.

Прожила она у нас меньше года: под осень, в один прекрасный день, неожиданно она, не простившись с нами, ушла пешком на только что выстроенный полустанок «Кунцево» на Московско-Брестской железной дороге. Мы ее скоро забыли.

* Кисловская, урожденная Алексеева, о которой я писала в главе о семье Алексеевых.

До осени мамочка и тетя Манечка дали нам в Кунцеве «полную свободу», и мы очень веселились с нашими соседями Эмилией Банза и ее двоюродным братом Рудольфом Германом, жившими у своих родственников Вогау [8]. Они были нашего возраста.

Когда поступила к нам Клара Ивановна, мамочка пригласила нам для уроков русского языка и арифметики известного в то время педагога — Александру Николаевну Островскую, сестру писателя [9]*.

Она была мила, умна, и мы очень прилежно с нею занимались. На следующую зиму, к нашему огорчению, она была так завалена по утрам занятиями в гимназиях, что должна была отказаться от частных уроков. И мамочка начала серьезно обдумывать: не отдать ли нас в приготовительную пробную школу при Обществе воспитательниц и учительниц, где преподавательницей была мамочкина любимая невестка — Елизавета Ивановна Мамонтова (вдова Михаила Николаевича) [11]. Но об этом напишу в одной из последующих глав. А пока хочу рассказать о новых сторонах нашей жизни с осени 1873 года по весну 1874 года.

Мамочка была веселая, любила молодежь; многие племянницы стали взрослыми, и с некоторыми из них она была дружна. Особенно часто, всю жизнь свою (к горю, такую короткую), приезжала к мамочке Саша Коншина [12], она была всего лет на семь моложе мамочки, была сама доброта, глубокого ума, большой культуры. Пили с мамочкой чай внизу, в кабинете, беседовали без конца; иногда оставалась Саша с нами обедать и вечером засиживалась. Павел Михайлович ее не только любил, но и уважал. Потеряла она, как я уже говорила, свою мать рано и сумела быть другом и добрым советником своему отцу. Стала сама хлебосольной хозяйкой в доме своего хлебосольного отца. В то время, о котором рассказываю, ей шел 21-й год. Сестре ее, красивой Параше, шел 14-й год [13], но можно было ей дать все 16. Они были дружны со своими родственницами Лилишей и Наташей Якунчиковыми, которых любили тетя Зина и мамочка [14]. Молодежи надоедали официальные выезды, и мамочка решила устраивать для них танцевальные вечеринки, с входившими в моду «таперами» или «тапершами» вместо оркестра. Выходило проще и уютнее. Мамочка сделала почин. Начала приглашать одну молодежь, без родителей или воспитателей. Выбирались дни, когда папочка уезжал в Кострому или «Питер», как он всегда выражался. Выносился второй рояль, ставился к стене. Нам позволяли смотреть на танцующих. Помню все, как сейчас. Барышни решили между собою сшить на все эти вечеринки по одному простенькому платьицу из мелкополосатого сапожниковского канауса. Какое это было для нас волнение, когда начинали собираться молодые девицы, а вперемежку с ними и молодые люди, но все во фраках: тогда еще не существовало ничего, что могло их заменить. Упомяну тех, кого помню ясно; наверное, многих забыла.

Саша и Параша Коншины; Лилиша и Наташа Якунчиковы; Алевтина, Саша и Юлия Морозовы [15]; красавица Катя Четверикова, называемая «Рибочка» [16]; три дочери мамочкиного и тети-Зининого учителя музыки Риба: Людмила, гениально музыкальная, Елена и хорошенькая Анночка [17]; Саша Каминская, длинная 10-летняя девочка, которую одевали и держали, как взрослую [18]; потом молоденькие дамы с мужьями: тетя Надя и Яша, Мария Александровна и Сергей Иванович Четвериковы [19]; Анна Дмитриевна и Сергей Николаевич Ложечниковы; Вениамин Александрович Башкиров [20]; Коля Третьяков (в ту зиму студент 1-го курса юридического факультета Московского университета), его товарищи: Духанин, Белокопытов,

* Сестра их Мария Николаевна[10] была классной дамой в Московской консерватории, когда Саша Зилоти там учился.

Дмитрий Иванович Четвериков, Роберт и Адольф Эрихсон, Володя Коншин [21].

Приезжал изредка и дядя, Николай Николаевич Мамонтов, потанцевать с Верой Николаевной вальс, который она особенно любила танцевать.

Кажется, никого больше не вспомню.

Тетя Дуня, как и тетя Зина, танцевать не любила; обе они просто не приезжали.

В 12 часов ночи нам давали фрукты, конфеты, мы шли ложиться, а в столовой начинался веселый (хотя и без шампанского, по уговору мамочки с молодежью) ужин, остатки которого мы подъедали на другой день. Эти вечера действительно были удачны. Веселились всю зиму, мечтали повторить, но мамочка следующей зимой ожидала сестру Машу — и ей было не до того.

Еще с 60-х годов, как я уже упоминала, гремела в Москве, в Большом театре, Итальянская опера, что продолжалось еще и в начале 70-х годов. Наши родители продолжали быть абонированными. У нас за столом все время говорилось о картинах, выставках, Итальянской опере, о Малом театре, о балете, о Симфонических собраниях [22], мы запомнили не только репертуар, но и всех исполнителей; у мамочки были чудесные альбомы фотографий («карточек», как тогда выражались) всех артистов, которые ей нравились.

Как сейчас, помню фотографии: Аделины и Карлотты Патти, сестер Маркези, Скальки, Змероски, Альбони, д'Анжери, Нильсон и певцов Николини, Станьо и Котоньи [23]. Мы чувствовали себя дома не только в московских театрах, но и петербургских, так как папочка, заядлый театрал, то и дело ездил в Питер послушать в сотый, может быть, раз «Руслана» с Иваном Александровичем Мельниковым, «Вражью силу» с Петровым [24]. Кроме того, папочка любил вспоминать о всех прежних корифеях. Знакомились мы с Шекспиром: в то время несколько сезонов подряд приезжал Эрнесто Росси [25].

Особенно увлекалась мамочка. Не было спектакля Росси, чтобы она не попросила тетю Манечку «заехать» в кассу Большого театра ей за билетом.

Таким образом, по рассказам, да еще с помощью фотографий, мы знали кое-что о «Гамлете», «Макбете», «Короле Лире», «Отелло» [26]; знакомы были и с пьесами Островского, которые любил папочка; и с исполнителями, как Иван Васильевич Самарин, Гликерия Николаевна Федотова, молодая звезда Мария Николаевна Ермолова [27]. Мне нравилось, что папочка находил, что я на нее буду похожа.

Когда нам было 5 и 6 лет, нас с Сашей взяли на святках на «Жизнь за царя». Пела Ваню знаменитая красавица и чудесное контральто — Кадмина, которая послужила прототипом для тургеневской «Клары Милич», пела Антониду тогда шумевшая Кочетова-Александрова, пел Додонов [28]. Других не помню. Я так вздыхала во время сусанинских сцен, а Саша так рыдала, что решили нас пока в оперу не брать. Взяли нас в цирк Чинизелли [29]. Все шло великолепно, но когда клоун принес голубой узелок, начал развязывать и там оказался сложенный мальчик, маленький-маленький, в голубом трико с серебром; когда клоун его вынул, выпрямил, потом начал выделывать с ним «кунстштюки», его бросать — я крепилась, крепилась, но начала кричать: «Мамочка, он упадет!» Дома у меня сделался жар; в бреду я повторяла то и дело: «Мамочка, мамочка, он упадет!» — и начинала плакать. Решили пока нас не брать и в цирк. На масленице взяли нас на катанье на Девичьем поле. Ехали мимо балаганов, куда замерзшие актеры зазывали публику под звуки и треск барабанов. Меня это прямо испугало. Взяли нас в балет — это

прошло не только благополучно, но и восторгам не было конца. Смотрели «Конька-Горбунка» и «Дочь фараона»; танцевала в то время знаменитая Собещанская [30]. Сестра Саша с тех пор стала и осталась «балетоманкой». Позже мы слушали «Аскольдову могилу». Мы жадно слушали рассказы о всем, что творится в театральном мире, и нас, конечно, тянуло в театр [31].

С 1872 года мамочка иногда по восресеньям днем стала брать меня в Квартетные собрания [32] в Малой зале Благородного (то есть Дворянского) собрания. А на следующий год нас обеих с Сашей брала, когда играл «Николай Григорьевич». Не могу забыть, какое впечатление произвело на меня, когда тот самый, только что поздоровавшийся с мамочкой и со мною Николай Григорьевич вдруг взошел на эстраду, взял a- и d-moll-ное трезвучие, и через открытую дверь в артистическую начали настраивать квартет. Николай Григорьевич сбежал вниз по ступенькам, вернулся в артистическую, а через минуту вышли на эстраду: он, Лауб, Гржимали, Гербер и Эзер и начали вместе играть [33].

Как-то раз, перед концертом, когда мы с Сашей, рядом с мамочкой, стояли у окна, подошел к нам Николай Григорьевич, поздоровался с нами и, глядя страшно мило на мамочку, сказал: «Да, прежде были две девочки: Зина и Вера; а теперь — две девочки Вера и Саша».

Николай Григорьевич Рубинштейн был первым музыкантом, которого я знала и любила. Соло я слышала лишь один раз, во время Турецкой войны, в Манеже на Моховой. Он играл в пользу Красного Креста. Играл он Шопена, «Рапсодию» Листа и «Русскую фантазию» и «Трепака» Антона Григорьевича [34]. До самой смерти Николая Григорьевича в 1881 году нас не брали в Симфонические собрания, таким образом, я никогда не слыхала его ни дирижирующим в концерте, ни играющим с оркестром, о чем и сейчас сожалею.

В начале 60-х годов Антон Григорьевич Рубинштейн основал Императорское Русское музыкальное общество (ИРМО) в Петербурге под покровительством великой княгини Елены Павловны [35], начал давать симфонические концерты и основал консерваторию. Вслед за ним сделал то же самое для Москвы его брат, Николай Григорьевич. Консерватория была основана в 1866 году, а концерты — немного ранее [36]. Николай Григорьевич нанял на Большой Никитской барский дом-особняк во дворе, с двумя воротами в ограде с решеткой. Посреди двора был круглый палисадник с большими деревьями, через который проходили пешеходы из калитки [37].

Николай Григорьевич, любимый Москвой, собрал достаточное число членов, внесших единовременно по тысяче рублей и которые делались почетными членами. Одним из первых был князь Николай Петрович Трубецкой, который стал председателем Московского отделения ИРМО [38]. Затем Василий Иванович Якунчиков и Сергей Михайлович Третьяков. Вносившие ежегодно по сто рублей делались действительными членами и имели кресло на все симфонические, квартетные и ученические вечера консерватории. Женившись на Зинаиде Николаевне Мамонтовой, Василий Иванович записал действительными членами и Зинаиду Николавну, и Веру Николаевну. Обе они тоже стали действительными членами Общества. Действительным членом стал и Павел Михайлович, так что наши родители ездили во все концерты ИРМО. Мы с Сашей были записаны действительными членами уже взрослыми барышнями, а до того, с осени 1881 года, сидели с тетей Манечкой на хорах и очень веселились. Бывал там Брандуков, Зилоти и другие молодые артисты. Николай Григорьевич давал под своим управлением ежегодно оперные спектакли. Начиная с 1875 года мамочка нас с собой брала на генеральные репетиции. Слышали мы «Фрейшютца», «Иосифа»

Мегюля, «Белую даму», «Севильского цирюльника» [39], видели спектакли класса Ивана Васильевича Самарина — все больше пьесы Мольера [40].

Была радость видеть Николая Григорьевича во фраке со светлыми пуговицами во главе оркестра учеников. Происходило это всегда в Малом театре. На «Евгения Онегина», только что написанного Чайковским для Московской консерватории, насколько помнится в 1878 году, нас не взяли [41]. Создала Татьяну Мария Николаевна Климентова, вышедшая замуж впоследствии за профессора Муромцева [42]. Мы услыхали в первый раз «Онегина» несколько лет спустя, в Большом театре, с тою же Климентовой; Онегина пел Хохлов [43]. Это исполнение осталось навсегда незабвенным. В одном из консерваторских спектаклей слышали мы и «Фиделио» Бетховена, с Климентовой в главной роли [44].

Не вспомню, не последний ли это был спектакль при жизни Николая Григорьевича? [45]

ГЛАВА 8

В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Около того времени как поженились наши родители, в середине 60-х годов, городское управление покрыло Москву сетью мужских и женских начальных трехгодичных училищ, за плату три рубля в год.

Все дамы, кто только имел возможность, взяли на себя попечительство, выбрав школу в ближайшем районе к их месту жительства. Каждая любила свою школу, с увлечением отдавала ей необходимое время, а при встречах попечительницы обсуждали вопросы улучшения и усовершенствования принципов ведения дела. В женских школах кроме попечительницы был еще и попечитель, в большинстве случаев из гласных Думы или городских деятелей. С мамочкой более 25 лет прослужил попечителем Пятницкого городского училища энергичный, интеллигентный, симпатичный Владимир Петрович Вишняков [1]. Сначала школа была в Кожевниках, неподалеку от Серпуховских ворот, позже — на Кузнецкой улице.

Мамочка ходила туда пешком после утреннего кофе, два-три раза в неделю и возвращалась обычно к завтраку, а в горячее время оставалась и долее. С тех пор как себя помню, мамочка время от времени в теплую погоду привозила меня с собою в школу на извозчике, сажая меня на стол рядом с учительницей. Может быть, и хорошо, что мамочка не преувеличивала риска заразы, во всяком случае, никогда ничего не случалось. Помню лишь школу на Кузнецкой, во дворе, в помещичьем доме, в бельэтаже [2]; были три обширные комнаты и наверху помещение для старшей учительницы, интеллигентной и симпатичной Эмилии Григорьевны Быховец; в этих школах бывало три класса, по 30 человек в каждом. В младшем классе была немолодая, опытная и очень симпатичная Александра Алексеевна Коновалова, а в среднем — воспитанница Эмилии Григорьевны — Зинаида Андреевна Шёнинг, страшно милая, веселая; она же вела класс хорового пения [3]. С нею мы со временем подружились. Бывали мы на всех экзаменах, на елке, устраиваемой мамочкой каждое Рождество. Мы знали почти всех девочек по фамилиям. Кончавшим блестяще и способным мамочка давала возможность продолжать образование, по большей части в семинарии Чепелевской или в гимназии [4].

Когда мы были взрослыми девочками, мамочку просили принять на себя еще попечительство в одном из только что открывавшихся городских четырехклассных училищ. Эмилия Григорьевна Быховец была назначена учительницей в старший, 4-й класс, и мамочка, любившая и ценившая ее, не могла отказаться [5]. К этой школе мы, девочки, стояли менее близко: мы были заняты нашим образованием дома, и не было свободного времени по утрам.

Папочка с молодых лет был попечителем Арнольдовского училища для глухонемых, кажется на Лубянке. Если я не ошибаюсь, папочка приобрел это училище у Арнольда, стал единоличным попечителем: купил большой участок земли на Донской улице, близ Донского монастыря, выстроил вместе с Александром Степановичем Каминским громадный трехэтажный дом, развел сад и огород, который возделывали ученики под наблюдением учителей [6]*.

Была масса классов; разделялись группы учеников не по возрасту, а по развитию, способностям, мальчики и девочки вместе; обучение было уст-

* Училище стало «Московским городским»; директором долгое время был Д. К. Органов[7].

ное, но в рекреационное время было невозможно заставить учеников не употреблять общеизвестной мимики. У мальчиков были сапожная, башмачная, столярная и переплетная мастерские, обслуживавшие нужды всех учащихся и нужды училища. У девочек была громадная рукодельная, где они обшивали себя, шили белье мальчикам, также шили и чинили все белье для училища.

Как только дом был выстроен и оборудован, мамочка взяла на себя попечительство над женским отделом училища [8]. Оба наши родителя посвящали ему много времени. Они выбирали новых учителей и учительниц из своих близких друзей и даже родственников, которым они могли довериться, что детей они не обидят; молодежь шла на это служение сознательно, самоотверженно; понемногу весь персонал стал своим, родным.

Во главе рукодельного отдела стала наша тетя Настя — Анастасия Самсоновна Куклинская. Она вечно «дышала на ладан», но энергии была непомерной. Добрая, справедливая, горячая, полная энтузиазма при великолепном знании своего дела. Проработала она там до конца своей долгой жизни. Она часто в свободные дни приходила к нам в «Толмачи», и мы ей радовались. Помощницей пригласили ее племянницу, Соню Блёзе [9]. Старшая сестра Сони, Екатерина Ивановна Блёзе, стала тоже учительницей и впоследствии вышла замуж за учителя — воспитателя училища Петра Алексеевича Надеждина [10]. Позже поступила учительницей троюродная племянница Павла Михайловича, Александра Николаевна Пуговкина, большой друг моей юности, которая проработала в училище, отдавая всю себя, бесконечное число лет [11].

Вера Николаевна ездила в училище тоже раза два в неделю, по утрам. Она была обожаема девочками, а Павел Михайлович — мальчиками. Вера Николаевна была так добра, мягка, не умела наказывать, когда ей «докладывали» тетя Настя или учительницы о шалостях или проступках девочек, всегда трогалась слезами и обещаниями и сама начинала просить за девочек и убеждала, что «они больше не будут», и сама понимала, что дисциплина хромала, и просила пригласить еще попечительницу. Павел Михайлович ездил в училище так часто, как мог, бывал в классах, сам делал проверочные и весенние экзамены. Но чем дальше в лес, тем больше дров — ему стало времени не хватать на все его дела. Он решил просить супругов Станкевич (Александра Владимировича и Елену Константиновну) разделить с ним попечительство в училище. Станкевичи дали согласие и были дельными попечителями. Елена Константиновна при всей доброте обладала выдержанным характером, была тверда в своих решениях, которые всегда были обдуманны. Они с Верой Николаевной были в прекрасных отношениях, ездили в училище вместе и сговаривались заранее, делая «компромиссы», о которых девочки, конечно, не знали [12]. Ведь глухонемые самые несчастные на свете люди, несчастнее слепых. Это доказывает полное развитие у слепых и такое неполное и даже ограниченное развитие — у глухонемых. За очень немногими исключениями, которые я знала в жизни. Нигде я не слышала такой тишины и гармонии, как у слепых, и нигде, никогда не слыхала такого шума, визга, гула, шарканья башмаками и дикого смеха и воплей, как у глухонемых.

Мы бывали на всех экзаменах, на ежегодной елке, играли с детьми в игры. Всех знали по именам, знали судьбу каждой девочки. И были там своими. В моей жизни это было так до моего замужества и отъезда за границу. Мои сестры, жившие в Москве, впоследствии стояли близко к училищу [13].

Все свободное время от работы в школах и от семейных обязанностей мамочка посвящала музыке.

Когда бывала у нас Елена Осиповна Риба, они с мамочкой играли в четыре руки всех классиков, особенно много — квартеты Бетховена, Шуберта. Играли часто в Кунцеве в дождливые вечера, так как «Рибочки» жили на даче близ Кунцева, в Филях. Зимою иногда собиралась целая компания: тетя Зина, две «Рибочки», Сергей Иванович Четвериков, его сестра Мария Ивановна Протопопова, Екатерина Александровна Мамонтова (жена Ивана Николаевича) [14] и Анна Дмитриевна Ложечникова; и играли в 8 рук, меняя исполнителей, одни играли, другие слушали; но в эти дни «гостей» не приглашали.

С 7-ми лет я начала брать уроки у Иосифа Вячеславовича Рибы; позже годом и Саша перешла к нему. Говорил он невероятно плохим русским языком, так плохо могут говорить только чехи. Когда он был доволен моим исполнением Моцарта, он говорил: «Потому что у Верачки тоже чисти душу, как у Моцарта»; но когда что-нибудь ему не нравилось, он кричал: «Ой, китайщина! Гроша не стоит!»

Риба был помощником Гензельта, который занимал место инспектора в институтах для благородных «девиц» в Петербурге и Москве. Приезжая в Москву, Гензельт бывал изредка у нас, прослушивал нас, когда мы стали постарше, и играл мамочке [15]. Не раз играл второе фортепиано своих транскрипций этюдов Крамера [16] (для 2-х фортепиано), когда я играла этюды в оригинальном виде по его выбору. Он бывал очень любезен, и было большим баловством для меня, когда он посвятил мне, девочке, свое концертное переложение двух этюдов того же Крамера.

По вечерам, когда папочка не ехал на заседание или в театр, он оставался после обеда сидеть в столовой, читал и курил свою любимую единственную сигару за день. Мамочка почти всегда в те вечера шла в залу и играла без конца, всегда в темноте. Мы часто забирались под рояль, сидели притаившись часами. Когда мамочка вспоминала итальянские народные песни, особенно грустные, соррентские, — мы начинали всхлипывать и себя выдавали. Когда мы выросли, то папочка, когда мамочки не было дома вечером, просил играть меня, и играла я ему тоже часами, и в «Толмачах», и особенно часто на даче в ненастные или осенние вечера. Саша разбирала «Руслана», «Онегина» — наши любимые оперы. На дачу бралось много нот из мамочкиной библиотеки. Проигрывалось много всего, и старого и нового, для знакомства с литературой. Иногда папочка спрашивал: «А когда будешь играть свое?». Я любила подолгу импровизировать, любила и сочинять [17].

ГЛАВА 9

ГАЛЕРЕЯ

С тех пор как себя помню, мы редко завтракали одни, в семье, почти всегда кто-нибудь приходил повидать нас в этот час, без зову, зная, что родители всегда дома или, во всяком случае, один из них. Все друзья знали, что в это время менее всего помешаешь. Приходила Екатерина Федоровна Вагина, о которой уже упоминала; приходили двоюродные сестры мамочки, урожденные Вагины: Софья Николаевна Игнатьева, красивая, энергичная, либеральная по взглядам, такие же либеральные сестры ее, Вера Николаевна и Любовь Николаевна [1]; приходили Лосевы, тверские помещики, когда приезжали в Москву: Николай Николаевич Лосев, бывший моряк, добрый и милый, как и его жена и дочери [2]; изредка приводил папочка приезжих фабрикантов и всего чаще художников, приходивших повидать его по делу. Мамочка любила видеть людей, да и всякий рад был ее видеть.

Мамочка и папочка сидели всегда рядом во главе нашего широкого стола, спиною к Толмачевской церкви; мамочка по левую руку папочки. Дамы сидели обычно налево от мамочки, а мужчины — направо от папочки, для удобства разговора. Чем мы становились взрослее, тем более интересовались всем и запоминали говорившееся за столом.

В начале 70-х годов папочка все чаще стал приводить с собою наверх к завтраку Александра Степановича Каминского. Часто повторялись разговоры, подобные следующему: «Да, Александр Степанович, я и говорю: тесно, ужасно тесно. Ведь у меня внизу и вершка свободного нет. Не только вешать, даже поставить картин некуда». — «Ах, Паша, да я уже тебе давно говорю: либо не покупай картин, либо строй галерею. Места, ты знаешь, в саду хватит».

К весне из окон столовой мы все чаще и чаще видели, как Александр Степанович с Павлом Михайловичем ходили по саду параллельно церковной ограде, от угла столовой до Толмачевского переулка, со складными саженями. Видно было, что обсуждали, спорили: Александр Степанович размахивал руками, Павел Михайлович то и дело тер платком нос. Когда стало теплеть — появились рабочие, начали копать канавку от угла столовой по направлению к Толмачевскому переулку.

Как-то утром нас позвали к окну в столовой. Мы увидели, как в углу вырытой канавки, отступая от дома и ближе к церковной ограде, пришли батюшка Василий Петрович, отец дьякон, дьячки наши и начали служить молебен. Стояли Александр Степанович, наши родители, тетя Манечка, «Петригнатичка», кто мог из приказчиков и прислуг и какой-то новый человек, в синем суконном армяке, с курчавыми светлыми волосами и хитрыми, умными глазами. Он истово крестился. Это был новый десятник — Андрей Памфилыч.

В угол канавки положили кирпич, покропили его святою водою и втолкнули длинный деревянный шест с крестом. Так заложили галерею (помнится, весною 1873-го, если только не ошибаюсь [3]).

Стали класть фундамент, возить кирпич. Мы уехали в Кунцево, а когда осенью вернулись — стены уже были выведены.

Ежедневно к завтраку приходил Александр Степанович, начинались обсуждения, споры с Павлом Михайловичем: главное — насчет духового отопления в подвале галереи, об отдушниках, о стеклянных рамах в потолке. Когда казалось, что не ладилось, Александр Степанович был озабочен и молчалив. Павел Михайлович его подбадривал. Но когда казалось, что все

идет на стройке хорошо, Александр Степанович бывал в духе, болтал весело, без умолку и любил похвастать: «Паша, а ты знаешь...» — «Знаю, знаю, козыряешь, Степаныч, не козыряй!» — «Ах, какой ты, право, Паша, — и, обращаясь к мамочке: — Верочка, скажи Паше, чтоб он меня не обижал, и дай мне твою ручку поцеловать». Мамочка весело смеялась, вытягивала свою руку через прибор папочки до губ Александра Степановича. Он целовал ее руку и говорил: «Ну вот — какая ты милая! — и тут же, оборачиваясь к тете Манечке, говорил, как и всегда, в нос: — Махка, кихшу» («Машка, киршу»). Тетя Манечка шла к буфету, доставала бутылку и наливала Александру Степановичу одну рюмочку за другой. Когда на стройке бывало морозно, то и Павел Михайлович выпивал рюмку померанцевой с доппелькюммелем или просто рюмку водки.

В этом духе продолжалось годами, годами. Павел Михайлович с Сергеем Михайловичем строили с Александром Степановичем, так сказать, всю жизнь. И дома́ на Кузнецком мосту, и на Рождественке, и «Третьяковский проезд» в Китайской стене, выходивший на площадь и на Никольскую, и дом Училища глухонемых, и перестраивали на Бабьем городке, и дом Сергея Михайловича на Пречистенском бульваре; строили галерею и перестраивали несколько раз [4]. Я с детства была неравнодушна и сохранила на всю жизнь нежность к постройкам и хождению по лесам.

Александр Степанович был талантливый, милейший, добрейший, честнейший человек, а его легкомысленный нрав был лишь его слабостью, которая легко прощалась любившими его.

Церкви нашей видно не стало. Всю зиму стены «мерзли», а работы шли лишь невидимо в подвале под галереей. Весною же работы снова пошли «видимые», и осенью, когда мы во второй раз во время стройки вернулись с дачи, к нашему изумлению, была пробита и уже поставлена дверь из угла столовой в угол галереи; дверь из столовой была массивная, дубовая, а со стороны галереи — створчатая, железная. Прошли через дверь; нас охватил запах штукатурки, краски и тепло, даже жар, валивший из открытых больших отдушников у самого пола, на котором уже клали паркет; красили рамы в потолке белым, а стены — в темно-кирпичный цвет. Пройдя длинную-длинную залу, мы увидели дубовую лестницу, идущую вниз, а внизу ряд больших щитов для картин, которые, как и стены, красили в кофейный цвет. Пол верхней галереи был вровень с полом столовой, а пол нижней галереи был одной ступенькой ниже пола кабинета Павла Михайловича, из которого тоже была пробита двойная дверь в галерею.

И вот скоро началась забота, как развесить картины. Мы начали бегать из столовой в галерею в каждую свободную минуту. Помню, как-то прибежала я, Андрей Осипович стоял перед картиной «Севастополь» Филиппова, только что повешенной над лестницей. «Ну, как дела, Андрей Осипович?» — «Да вот, барышня, измучился я совсем с Филипповым [5]. Дня три назад зовут меня Павел Михайлович в галерею и говорят: «Андрюшка, чтоб через три дня Филиппов висел вот здесь, над лестницей». Мы отлично знали, что отец звал Андрея Осиповича полным именем и слово «Андрюшка» показывало лишь настроение самого Андрея Осиповича, все его волнение перед «ответственностью». «И вот, — продолжал Андрей Осипович, — начал я думать и прикидывать, как тут повесить. Ведь лестница, того и гляди, либо люди свалятся — расшибутся, либо картина оборвется — и ей тут капут. Андрюшка мокрыми слезами плакал, три дня пробовал. И доски положил, и веревки зацепил за железные пруты у потолка, и с каждой стороны людей повесил и сам повесился — ничего, выдержало. Как-то уж Господь помог, повесили Филиппова прямо чудом. Ну, Андрюшка и повесе-

лел. А Павел Михайлович пришли и похвалили, и как висит, и наклон похвалили».

Так Андрей Осипович и остался при галерее. Позже перешли на службу в галерею наш «буфетный мужик» Андрей Маркович и младший кучер, Леон; также поступил и поныне состоит на службе в галерее сын Андрея Осиповича — Николай Андреевич [6].

Для публики ход в галерею был через двор, из ворот налево. Входная дверь была в конце тротуара через часть сада, ведущую к Толмачевской церкви, под прямым углом к двери в кабинет Павла Михайловича.

По правой стороне от входа, поперек галереи, в каждом простенке между большими итальянскими окнами, выходящими вовнутрь сада, стояли щиты, с пролетами у пола; на этих щитах и на левой глухой стене, параллельной церковной ограде, были повешены картины старых мастеров: Кипренский, Тропинин (особенно я любила портрет Карла Павловича Брюллова), Уткин, Варнек, Брюллов, Шварц, Федотов и т. д. [7], и в глубине галереи, у лестницы вверх, кончалось этюдами Александра Ивановича Иванова к картине «Явление Христа народу» [8].

Павел Михайлович всегда, как он выражался, «завидовал», что лучшие этюды к этой картине находились не у него, а в коллекции Михаила Петровича Боткина, который, как друг Иванова в Риме, мог выбрать лучшие раньше всех [9].

В верхней галерее рядом с Филипповым висели: «Привал арестантов» Якоби, «Последняя весна, пейзажи барона Клодта [10], Щедрин, Лагорио, Бруни (лик Христа, Мадонна с голубем и автопортрет Бруни) [11], Капков (купающаяся женщина, Благовещение, Мадонна с младенцем) [12], «Маленькие савояры» Макарова [13], «Неравный брак» и «Прием приданого» Пукирева, «Княжна Тараканова» Флавицкого, пейзажи Федора Александровича Васильева [14]. Наши родители ценили Ф. А. Васильева очень высоко как громадного поэта-художника и нежно любили его как человека, ездили в Крым навещать его перед его столь преждевременной кончиной: ему было всего 23 года. Заказанный Крамскому портрет Федора Александровича висит в галерее в комнате Крамского [15]; пейзажи Дюккера, Айвазовского «Аюдаг в лунную ночь», «Привал охотников» Василия Григорьевича Перова и его же «Дети арестантов, везущие бочку с водою» [16].

Постепенно вешались портреты знаменитых людей России, заказанные Перову Павлом Михайловичем: Тургенева, Писемского, Гончарова, Майкова, Даля, Николая Григорьевича Рубинштейна, Тютчева, Безсонова, Достоевского [17]. Появились — «Колдун» и «Раздел» Максимова, «Гостиный двор» Прянишникова, портрет Льва Николаевича Толстого, написанный Крамским, портрет Герцена работы Ге; появились одна за другой картины Владимира Егорьевича Маковского, картины Корзухина и т. д., и т. д. [18].

Бронникова «Пифагорейцы» остались долгое время висеть у нас в гостиной, но потом были перенесены в галерею и повешены рядом с другими его картинами [19].

Пишу, как вспоминается мне сейчас; ведь пронеслось уже 60 лет.

Помню, как галерея росла не по дням, а по часам. Каждая новая картина была событием и для нас — детей.

Когда картины были перенесены в галерею, освободились четыре комнаты в нижнем этаже Толмачевского дома и родители могли удобнее разместиться с нами — четырьмя детьми.

Тетя Манечка неизменно и навсегда осталась жить в своей милой, любимой нами комнате — наверху. Остальное было изменено сообразно потребностям данной минуты.

Первый кабинет, смежный с конторой, был уничтожен. Из него была сделана третья комната для той же конторы, где работали, друг против друга, почти всегда стоя перед высокими конторками, Павел Михайлович и Петр Игнатович. Угловой кабинет, из которого теперь вела дверь в нижнюю галерею, остался уголком отдыха для отца, где он иногда урывал минуточку вздремнуть, свернувшись калачиком на коротеньком, почти круглом диване, и «реставрационной мастерской» его.

Павел Михайлович, говорили художники, крыл лаком, заделывал трещины и пятна, смывал «лишнее» как никто, и мы часто слышали, как художники, продавая отцу картину, предоставляли ему самому покрывать их лаком, когда он это найдет нужным [20].

Ясно остались в памяти праздники или воскресенья, когда Павел Михайлович «исчезал», не показывался, покуда не стемнеет; Андрей Осипович носил ему вниз и чай, и что-нибудь «скорое» закусить. Тогда Андрей Осипович за дверью «окликал» Павла Михайловича, долго-долго иногда стоял с подносом, покуда Павел Михайлович мог найти подходящую минуту передышки в работе, открывал щелку в двери, просовывал свою длинную руку, брал еду, дверь снова как-то, словно герметически, запиралась, так как с нею все звуки умирали. А если было что-нибудь действительно необходимое сообщить ему — мамочка умела «шепнуть» в замочную скважину; никакого ответа не следовало, кроме «гм», и снова слышалась лишь тишина.

Зато вечером, за обедом, он рассказывал о своих «похождениях» в работе и «открытиях» и веселился.

Так, помню его рассказ, как он купил автопортрет Айвазовского, с седыми баками, во фраке, с лентами и орденами. Павел Михайлович, признавая талант Айвазовского, не любил его «чиновничьей» психологии и, со свойственным Павлу Михайловичу нюхом, почувствовал в портрете что-то подозрительное. Он стал смывать один слой за другим; и вот начало сквозить что-то коричневое, в середине что-то красноватое, под седыми волосами появились черные; и вскоре предстал перед глазами молодой Айвазовский, в бархатном жакете, в красном галстуке, а в углу портрета подпись: «Тыранов» [21]. На другое утро позвал нас отец, между «уроками», к себе в кабинет, чтоб показать это «открытие»: «Айвазовский меня за это не поблагодарит». И кажется, и «не поблагодарил». Они с отцом нашим долго не видались. Много случалось необычайных сюрпризов в реставрационной работе Павла Михайловича. Многого я уже и вспомнить не могу.

Рядом с кабинетом устроила себе мамочка свой кабинет, выходивший в сад. Из залы перенесла себе старый, но еще недурной рояль «Sturzwage» [22], у окна направо поставила себе письменный стол, с массою ящиков по бокам, где часто писала, пила чай со своими племянницами или учительницами, приходившими с нею поговорить по душе.

Там стояли бюсты Бетховена, Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя [23], висел портрет Шопена, висело много гравюр и интересных семейных мамонтовских фотографий. Над диванчиком висела картина Котарбинского «Последний динарий», подаренная мамочке на память в Риме этим художником [24].

За этим проходным кабинетом была угловая комната с тремя окнами в сад, как раз под моей первой детской с лежанкой. Сюда родители перенесли свою спальню с уютной матовой ореховой мебелью, обитой серо-голубым трипом. Стояло большое трюмо. В углу висел киот с образами и венчальными свечами родителей; стоял там и образ с ризой, шитой жемчугом, и венцом, покрытым изумрудами, — благословение мамочке от бабушки, Веры Степановны, перед смертью.

Когда папочка уезжал в Кострому или Питер, мамочка брала нас с

Сашей по очереди спать вниз с нею на его кровати. Это бывало большой радостью!

В опустевшую спальню в бельэтаже поселили нас с Сашей. В мамином бывшем кабинете устроили нам классную. Там мы, как я помню, уже раньше учились с Александрой Николаевной Островской.

В то время за нами ходила очень примитивная горничная Луша (впоследствии — Лукерия Кирилловна), а за мамочкой — Василиса Ефимовна Анненкова, вдова, редкостной красоты. Она была в прежние времена крепостной помещиков Шиловских. Их потомок был в наше время другом Петра Ильича Чайковского и прославился своим романсом «Тигренок» [25]. Василиса Ефимовна нас всех, детей, обшивала. Часто забегала я к ней наверх в девичью, садилась около нее. Она замечательно интересно рассказывала о жизни в крепостное время, о театрах, где играли крепостные. Славилась красотою и способностью к сцене и любила играть. Конца не было всему, что хотелось слышать.

После смерти наших родителей, которая, к счастью, унесла их на расстоянии всего трех месяцев, в зиму 1898/99 года, Василису Ефимовну взяла к себе сестра Люба. В первом браке она была женою акварелиста Н. Н. Гриценко [26], а во втором — женою Льва Самойловича Бакста [27]. Сначала Василиса Ефимовна служила у Любы и ходила за ней, а впоследствии жила у нее «на покое».

ГЛАВА 10

НАШЕ ОТРОЧЕСТВО

Наступила осень 1874 года.

Покуда развешивали картины в галерее, переезжали из комнат в комнаты, мамочка волновалась, хлопотала, устала, плохо себя чувствовала, ожидая младенца [1]. Этого не скрывала от нас ни она сама, ни тетя Манечка. Мы старались за мамочкой ухаживать, приносили ей все, что было нужно, из нижнего этажа наверх и обратно и т. д.

Раз Александра Николаевна Островская не могла продолжать занятия с нами, о чем я уже упоминала раньше; мамочка обратилась за советом к своему другу Елизавете Ивановне Мамонтовой, председательнице Общества гувернанток, которому Елизавета Ивановна посвятила всю себя. Елизавета Ивановна рекомендовала исключительно интеллигентную учительницу-воспитательницу, окончившую самым блестящим образом пепиньеркой Николаевский Сиротский институт в Петербурге.

Помню, в ноябре месяце мамочка как-то позвала нас в гостиную. На том же кресле, где три года назад сидела Мани, — сидела особа лет под 30, некрасивая, выше среднего роста, с большим светлым лбом, голубыми глазами, хорошими зубами и необыкновенно умным выражением лица. Звали ее Наталия Васильевна Фофанова (ей больше нравилось называть себя Феофановой) [2]. Впоследствии часто рассказывала она о своих замечательных профессорах. Профессор Куторга [3] называл ее «ума палата». Говорила это мило и без хвастовства. И это действительно была правда. Знала прекрасно, как институтка по воспитанию, языки. Прожила она у нас более восьми лет, в комнате рядом с тетей Манечкой, и ушла по собственному желанию и убеждению, что девушки в 16 и 15 лет не должны больше иметь воспитательницы.

Она дала нам все наше образование и, уходя, выбрала сама, заранее, профессоров для продолжения наших занятий. Я вышла замуж ровно двадцати лет, и еще незадолго до свадьбы моей мы все время брали уроки, то литературы, то истории.

Наталия Васильевна была широка во всем, во всех своих взглядах, не была ни в чем предвзята. Учила нас анализу, неумолимому анализу, но не сумела научить нас синтезу; учила самокритике, но не учила самосознанию. Это хорошо говорить и понимать теперь! Как это нас надломило в юности! И как трудно было начать верить в себя!

Учила нас свободно, «искала»; способы и приемы были оригинальны, даже своеобразны; всегда было с ней интересно работать. Казалось Софье Михайловне, все, всех и всегда критиковавшей, а от нее и бабушке Александре Даниловне, что мы ничего не делаем и будем неучами. Наталия Васильевна (самолюбие задето!) года через три устроила нам экзамены (ох, какие мучительные!) в присутствии родителей и родственников, пригласив лучших профессоров: Льва Ивановича Поливанова, Линберга, математика Егорова [4] и других. Они, проэкзаменовав нас, дали письменный отзыв, что прошли успешно курс такого-то класса гимназии. Мы никогда не могли забыть этой пытки. Но Наталия Васильевна успокоилась, очистив совесть перед нашими тетками и бабушкой, и продолжала с нами ходить по полям и лугам за цветами. Проходя подробно ботанику, мы с ней сделали первоклассный гербарий, который нас просили отдать в Московский университет: это были московская и крымская флора. Водя нас по болотам, завела террариум. Кормили разных гадов, червей, личинок, гусениц, выводили

бабочек. К ее чести, скажу, что коллекции бабочек мы не делали, лишь изучали их издали, одними глазами. Наталия Васильевна не могла допускать убийства насекомых, хотя бы эфиром.

Учились летом в саду, на воздухе. Зимою комнаты освежались до максимума. За гигиеной следила до того, что все опротивело, — в первое же лето она потребовала, чтоб между нашей спальней и классной снесли стену, так как глубокая спальня была душна, а узкая классная, с тремя окнами, была холодна. Поставили 2 деревянные, полированного ореха резные колонки, и стала у нас громадная, неуютная, голая комната, без драпировок и ковров. Там проходила наша, полная дисциплины и учебы, жизнь. Но были и приятные стороны. Раз она находила, что на улицах грязно и плохой воздух, то предпочитала пускать нас гулять в сад. Кроме того, зимой потребовала, чтоб была сделана для нас хорошая ледяная гора. Мы катались через весь двор, от забора «заднего» двора до самой кухни, с громадным увлечением. Также устроила она нам, в продолжение двух зим, поездки в гимнастическое заведение шведа Бродерсона. И за все это мы ее очень ценили.

Когда мне было тринадцать лет, я болела долго, месяца три лежала. Когда поправилась, Наталия Васильевна решила, что правильные занятия для меня утомительны и что мы будем ездить с ней в Публичную библиотеку при Румянцевском музее [5]. Так как дядя Сергей Михайлович был городским головой, нам, по его просьбе, выдавали самые дорогие художественные издания. Наталия Васильевна поручила нам подготовиться к лекции, которую должна была каждая из нас ей прочесть в классе по древней истории. Мы могли выбрать страну, изучить не спеша и сказать, когда мы считаем себя готовыми. Мы увлекались Египтом, Китаем, Индией, Ираном, особенно Египтом; ходили, в воображении, в Карнаке и Луксоре как дома. Это был прием совсем необыкновенный для занятий в нашем возрасте. И нам это нравилось. Водила нас Наталия Васильевна на выставки, во все музеи. Особенно подробно изучали анатомию. В Петровском-Разумовском при Петровской Академии [6] раскладывали и складывали органы громадной лошади из papier mâché, у Швабе раскладывали и складывали человека. Чертили внутренние органы человека, чертили планы, карты.

День начинался рано. В $7^3/_4$ мы уже сидели за фортепиано; я — в зале, Саша — у мамочки внизу. Целый день шел по расписанию, до минут [7]. Вечером до половины десятого, в продолжение двух часов, мы по очереди читали вслух классиков. Затем давался стакан молока, после чего мы должны были ложиться спать. Под подушкой мы часто находили по «мандаринчику», который клала нам потихоньку тетя Манечка.

В театр, с образовательной целью, брали нас сколько Наталия Васильевна считала нужным, так что мы перевидали и Росси, и Сальвини, и Сару Бернар [8], и наших русских знаменитостей. Особенно часто возили нас в «Пушкинский» [9] театр, где играли Андреев-Бурлак, Киреев, Красовская, Писарев, Стрепетова (Стрепетова до сих пор для меня так же незабвенна и гениальна, как Дузе [10]. Мы познакомились с Полиной Антипьевной Стрепетовой через Наталию Васильевну, которая знала ее в Самаре, когда Наталия Васильевна жила у помещиков Плешановых. Дочку Стрепетовой и Писарева, Маню [11], мы иногда брали из института на праздники в «Толмачи», когда мать бывала в отъезде), молодой Далматов, Иванов-Козельский; много пересмотрели Островского, Шпажинского, Шиллера [12], Шекспира, а также видели «Горе от ума», «Ревизора», «Женитьбу», «Недоросля». Переслушали и много опер. И ходили мы то с Наталией Васильевной, то с родителями, когда ей хотелось отдохнуть или поехать к друзьям. Немного позже мы часто бывали в Малом театре; пересмотрели во многих ролях Ермолову,

Федотову, Ленского [13] и других. Обожали Федотову и Ленского в комедиях Шекспира «Много шума из ничего» и «Укрощение строптивой» [14].

Ко мне Наталия Васильевна была всегда мила, но придиралась и относилась несправедливо к сестре Саше, которая была упрямее меня. Эта несправедливость мешала нам обеим любить Наталию Васильевну. Было, кроме того, в ней, несмотря на ее ум, что-то институтское, сентиментальное, «неподходящее» в ее рассказах нам; мы стеснялись и конфузились. Но самое невыносимое было для нас то, что она критиковала и даже высмеивала мамочку, которой мы это говорили и говорили, что нам это было нестерпимо слышать. Но мамочка, при ее кротости и мягкости, «становилась выше» и говорила, что раз мы это видим — все это не имеет значения. Ей самой, во всяком случае, казалось, что Наталия Васильевна может дать нам столько ценного, что лучше бы нам потерпеть, тем более, что она не раз выражала желание передать наше воспитание, как мы подрастем, — логически — в руки «самой матери».

Ну, мы скрепя сердце и терпели, но с нетерпением ждали ее ухода. Настроение нашего отрочества было отравлено неприязнью к Наталии Васильевне; и я начала мою юность, как говорилось, с «расстроенными» нервами.

После ухода Наталии Васильевны весною 1882 года мы пришли к мамочке и просили ее помочь нам стать к ней снова ближе: нам казалось, что мы были «взяты в полон» Наталией Васильевной, и теперь захлебывались нашим освобождением.

ГЛАВА 11

КИСЛОВКА И ВВЕДЕНСКОЕ

Все воскресенья, как я уже рассказывала раньше, мы проводили вместе с детьми Якунчиковыми, одно воскресенье у них, другое — у нас.

Одновременно с тем, как поступила к нам Наталия Васильевна, поступила к Якунчиковым воспитательницей очень интеллигентная и оригинальная Анна Феликсовна Маевская[1]. Наталия Васильевна подружилась с ней. Кроме того, тетя Зина со своей приятельницей Лидией Богдановной Мейер, сестрой известного в то время в Москве детского врача Александра Богдановича Фохта[2], присоединились к ним. Большею частью они сидели вчетвером на Кисловке в спальне тети Зины, с открытой дверью в залу. Часто приходила сестра Анны Феликсовны, Павла Феликсовна, и брат, известный ботаник, Петр Феликсович[3], а также и братья Солюс, учителя детей Якунчиковых[4]. Говорили о «высоких материях», по выражению Наталии Васильевны.

А у нас бывал сперва танцкласс. Нас учил известный балетмейстер Линдрот[5], а после мы играли в куклы в классной или расходились по комнатам: я — к Зине, куда часто приходил к нам разговаривать Вася, а Саша — к Оле. У Зины в комнате, во флигеле, смежном с домом, было фортепиано. Мы большею частью играли друг другу, любили говорить о музыке. Как подросли, Зина рассказывала мне все свои романтические истории. Я уже говорила, что она была́ писаная красавица и взрослее своих лет, и мало было тех, кто ею не был обворожен. Несмотря на то, что я была на три года моложе, у нее до самой ее свадьбы не было ни одной подруги, кроме меня, и в музыкальном образовании мы были на одинаковом уровне.

В пять часов бывал обед; внизу, около передней, накрывалось приборов тридцать. Молодежь сидела в конце стола, около двери в переднюю. Бывало весело. Позже приехал Ф. Ю. Беренс, сын друзей Якунчиковых в Лондоне. Он служил у Василия Ивановича Якунчикова в конторе, научился быстро говорить по-русски и нас невероятно веселил. Конечно, был влюблен в Зину, как и все молодые люди.

После обеда молодежь играла в зале в игры. В 9 часов мы ехали домой.

У нас бывало менее весело. Гувернантки сидели вдвоем в уголку нашей залы вместе с нами — этого уже было достаточно. Всего веселее было нам уходить в галерею, куда пускали нас без взрослых. Гувернантки отдыхали от нас, а мы — от них.

Каждое лето мы с Наталией Васильевной ездили на недельку в имение Якунчиковых — Введенское, под Звенигородом.

Мамочка ездила туда гостить одна, в то время, когда не бывало там гостей, чтобы побыть елико возможно больше с тетей Зиной, которую мамочка обожала.

Ехали в Введенское по Московско-Брестской железной дороге. От станции Голицыно на лошадях, обычно в дрогах, верст пятнадцать среди полей и лугов. За версту до усадьбы въезжали в большую березовую аллею. Аллея вела во двор, где в ограде, под тенью деревьев, стояла церковь. Посреди двора была громадная овальная лужайка, дорога шла вокруг нее, сбоку стояли флигели, а в глубине — большой белый дом с колоннами и с полукруглыми «крыльями» по бокам. Вход вел по массивной, чугунной лестнице, полукругом наружу, в «диванную», из нее в длинную столовую с окнами и громадной дверью в центре, выходящими на чугунный полукруглый балкон с колоннами, с которого в обе стороны спускались чугунные ступеньки

вдоль фасада на длинную-длинную площадку, окаймленную грядкой чудесных цветов. От площадки вниз спускался луг до самой Москвы-реки.

Столовая была завешена старинными портретами. Налево была дверь в гостиную, выдвинутую вперед к реке, где стоял рояль и висело тоже много старинных полотен; симметрично с гостиной была спальня тети Зины.

Направо от площадки начиналась кедровая роща, названная в честь Веры Николаевны — «Верин гай», а налево шла бесконечная старая березовая роща, в которой стояло несколько избушек для детей: одна — для Зины и Васи, другая — для Оли и Маши и третья — для Веры и Коли. Лёля[6] была еще на руках у няни Поли.

Наверху, под портиком, поддерживаемым колоннами, было несколько спален. Обворожительная комната была в центре дома, с чудесным видом на Москву-реку, Звенигород и — влево — на Саввин монастырь. Маша, Мария Васильевна Якунчикова, известная русская художница, сделала впоследствии несколько удивительных этюдов из этой комнаты[7].

Правый флигель весь был занят большим старым театром. Там бывали спектакли. Помню один: шла комедия «В осадном положении»[8], играли Лилиша, Наташа, их кузены братья Сапожниковы и Коля Третьяков, в то время студент Московского университета. Коля был очень способен к музыке, к рисованию, писал стихи и был талантливым характерным актером, напоминал наружностью известного актера Малого театра — Шумского[9].

Любили мы Введенское и его помещичий уклад жизни!

Помню, в один знойный день, во время покоса, Вася, который всегда ходил с рабочими на покос, пришел как-то к завтраку, рассказал нам с Зиной, что, разгоряченный, выпил из колодца студеной воды и чувствует себя неладно, но просил не говорить «мамаше, чтоб ее не беспокоить». Но скоро слег. Поправился. Около Рождества заболел брюшным тифом и был на волосок от смерти. Плохо поправлялся и кашлял. Следующей осенью мы ехали всей семьей в Крым, и тетя Зина поручила нам Васю, отпустив его с нами. Он был на два года старше меня и взрослее своих четырнадцати лет. Добрый, способный, любил читать. Обожал свою мать. Как-то сказал мне во время Великого Поста: «Мамаша говеет. Пошла исповедоваться. Ну, в чем ей исповедоваться? Ведь она святая, священник мог бы ей исповедоваться, а не ей — ему».

За год до поездки в Крым, помню, Зина, Вася и Оля одни гостили у нас в Кунцеве. Мы провожали их пешком втроем с Сашей и Наталией Васильевной на полустанок Кунцево. Когда мы вышли на холм к «Звенигородке» (шоссейной дороге в Звенигород), Вася, с которым мы шли немного поодаль, сказал мне: «Верочка, когда тебе минет 16 лет, и мне будет 18, хочешь, мы с тобою женимся? Поедем с тобою к архиерею, станем перед ним на коленки и скажем, что мы любим друг друга. Он тронется нашей любовью и разрешит нам венчаться»*.

Я, разумеется, сказала: «Да», а он прибавил: «Ты с сегодняшнего дня — моя невеста, но это останется нашей тайной». Соединяла нас нежная дружба. В Крыму нам было так хорошо с ним, но мы никогда более не разговаривали о близком нам. Все было само собою ясно для нас. Мы чувствовали себя взрослыми. Зимою Васе в Москве становилось все хуже, он более не мог ходить в гимназию Репмана[10]. Весною 1880 года ехал в Италию дядя Савва Иванович Мамонтов, сын Ивана Федоровича Мамонтова, в имении которого венчались мои родители, мамочкин и тети Зины двоюродный брат. Пригласил он с собою своих племянниц, Наташу Якунчикову и Машу

* В России православная церковь не разрешает женитьбы между двоюродным братом и сестрой.

Мамонтову[11]. Тетя Зина просила их взять с собой Васю и няню Полю. Вася с няней Полей поселились в Неаполе. Наташа особенно любила Васю. Известия домой стали приходить от Наташи все грустнее, и в мае — Васи не стало.

Его тело перевезли в Введенское; поставили в церковь. Мы обе с Сашей приехали с Наталией Васильевной в Введенское, вечером, после всенощной, к панихиде; приехало много товарищей Васи по гимназии. Гроб был весь покрыт васильками. Когда все крестьяне села Введенского, любившие Васю, разошлись по домам и из семьи почти никого не оставалось, няня Поля взяла меня за руку, поставила меня на колени в головах у гроба, опустилась на колени рядом со мною и тихо сказала: «Верочка, давай помолимся вместе! Вася часто говорил о тебе. Незадолго до смерти просил меня тебе сказать, что он тебя помнит». Милая няня Поля!

На другое утро был как раз день рождения Васи, минуло ему пятнадцать лет. После обедни, по припеку, снесли его крестьяне на руках, через Звенигород, в Саввин монастырь. Все мы провожали его пешком, все в белых платьях.

Милая тетя Зина была сдержанна, почти спокойна, даже разговаривала с приехавшими соседями по имению. Только дома вечером, прощаясь, тихо сказала мне: «Как жаль, когда умирает молодое существо, которое уже столько передумало, перечувствовало и стало уже личностью. Ведь вы с ним выросли вместе и были с ним друзьями...».

Смерть Васи надолго осталась неутешным горем и для меня.

ГЛАВА 12

КУНЦЕВО

Не только в детстве Кунцево казалось мне сказкой, но и сейчас, после прожитых на свете многих десятков лет, представляется мне олицетворением дивной, романтической красоты нашей подмосковной флоры и природы, оставшейся навсегда такой родной!

Расположено Кунцево на северном склоне «амфитеатра» нагорного берега Москвы-реки, змеей извивающейся верстах в двенадцати на запад от нашей Белокаменной, образуя почти кольцо, внутри которого как изумруд зеленеют заливные луга, разукрашенные, как мозаикой, цветистыми крышами домиков разных деревень.

«Амфитеатр», во всю длину которого лежит Кунцево, тянется верст на восемь, а то и на десять. Весь склон покрыт сплошными лиственными рощами, самых разнообразных пород, изрезанными дорогами, дорожками, тропинками, необыкновенно живописными и извилистыми. Оврагов, обрывов, «болотцев», заросших пахнущей миндалем таволгой, беладонной, голубыми незабудками, какими-то ярко-синими и темно-малиновыми неизвестными цветами, прудов, «сажалок» для рыбы достаточно было для фантазии ребенка, чтоб не раз побывать в глубине Южной Америки, в джунглях на берегах Амазонки.

Наверху, на плоскогорье, в самом центре «амфитеатра», стояла усадьба «Кунцево», с садами, оранжереями, бесконечными посаженными парками, прозванными «рощами». Знаменитая Липовая роща, когда цвела и слышно было еще издали жужжание миллионов пчел, казалась заколдованной.

Дорога в усадьбу шла от пруда мимо церкви, между подстриженных стеною кустов, образуя перед громадным домом с флигелями круг, среди которого возвышалась колонна с короной и вензелем Екатерины Второй, даровавшей Кунцево Нарышкиным. Фасад дома выходил на площадку, от которой спускался громадный луг до самой Москвы-реки. С балкона был вид на луга и на деревни: Терехово и Аминьево. Налево — на село Крылатское с красивой церковью, на золотой купол церкви Троицкого[1], имения Бутурлиных, прямо — на белую церковь села Хорошёва[2] и направо в туманной дали — лагеря Ходынского поля.

К западной части «амфитеатра» примыкало имение Солодовниковой[3], а к восточной — имение Шелапутиных[4]. От их двора вела длиннейшая березовая аллея до села Покровского — на Филях, прямо к знаменитой старой красной церкви с зелеными куполами и золотыми крестами на них[5].

В наше время усадьба «Кунцево» принадлежала Козьме Терентьевичу Солдатенкову[6], известному московскому меценату и издателю многих ценных, редких книг. В доме на Мясницкой было у него собрание картин. Он был столпом московского старообрядчества. По зимам жил больше в Риме, много путешествовал, летом лишь наезжал в Кунцево, где в его дворце, по летам, гостили художники — римские друзья. В Кунцеве молодежь его звала «Кузьмою Медичи».

В Кунцеве дач было, к счастью, немного: у Солдатенкова дач 15, у Солодовниковой дач 8, а у Шелапутиных — и того меньше.

Жило по большей части московское именитое купечество, любившее летом тишину и покой.

Почти все были вначале знакомы, позже дачники стали чаще меняться и поселилось много незнакомых.

У себя на даче жила красавица Анна Герасимовна Солодовникова, сварливая характером. Были у нее три красавицы дочки.

В самой большой из солодовниковских дач жили Боткины: Дмитрий Петрович с Софией Сергеевной, урожденной Мазуриной. Было у них трое детей.

Впоследствии Боткины взяли у Солдатенкова в долгосрочную аренду кусок земли, смежной с землею Солодовниковых, и построили в лесу роскошную бревенчатую темную, неуютную дачу.

Дом Боткиных был одним из немногих, куда наши родители ездили на обеды. Отношения были дружеские, и Павел Михайлович Третьяков, и Дмитрий Петрович интересовались коллекционерством; у Дмитрия Петровича на Покровке[7] в собственном доме было собрание картин. Общий интерес сближал обоих друзей, но один раз разразилась между ними ссора именно на этой почве.

Дмитрий Петрович был председателем совета Общества любителей художеств на Малой Дмитровке[8].

Василий Васильевич Верещагин, вернувшись из Хивинской экспедиции, привез свою первую знаменитую серию картин[9]. Павел Михайлович нашел ее настолько ценной, что купил и подарил ее Обществу любителей художеств с условием, чтоб за три года Общество нашло подходящее помещение. Картины эти висели, как я сейчас помню, на выставке Общества, на Малой Дмитровке. В конце трехлетнего срока помещение найдено не было, и Павел Михайлович счел себя вправе перевезти эту коллекцию в свою галерею. Вышла размолвка. Оба обиделись и жестоко поссорились. Перестали бывать друг у друга, и оставалось лишь «шапочное знакомство». Все Кунцево это знало и огорчалось, так как все уважали и любили и Третьякова, и Боткина. Когда Владимир Дмитриевич Коншин во второй половине 70-х годов переехал из Петровского парка на дачу в Кунцево, он, при необыкновенно мягком, добром и немного даже сентиментальном сердце, решил во что бы то ни стало помирить бывших друзей. 15 июля, в день своих именин, он всегда давал большой обед, на котором бывали и мы — все племянники и племянницы; на этот раз обед был в саду, перед домом. Было чуть не полсотни приглашенных, были и Боткины, и Щукины. Рассадил хозяин своих гостей очень тактично. Помню, как Владимир Дмитриевич с бокалом шампанского начал говорить прочувственную речь ссорящимся друзьям, со слезами на глазах просил их забыть размолвку, целовал и обнимал каждого из них, потом за руку подвел одного к другому. Павел Михайлович и Дмитрий Петрович протянули руки, поцеловались трижды — ссора с того дня была действительно забыта, на радость всех кунцевских друзей.

На даче — между Боткиным и Анной Герасимовной — жили одно время Иван Сергеевич Аксаков с женой Анной Федоровной, урожденной Тютчевой[10]. После них на эту дачу переехала бабушка Александра Даниловна; с ней поселилась тетя Надя с дядей Яшей и ребятишками[11]. Покуда Владимир Дмитриевич Коншин жил на даче в Петровском парке, у бабушки все лето гостила Параша, а также Коля Третьяков, так как у нас на даче все было полно. Параше было лет 16, а Коле — 20; он был студентом, и товарищи его часто приезжали к нему в Кунцево.

Коля Третьяков часто заходил к нам, сейчас же садился за рояль, звал меня и начинал играть какие-то занятные вещи и приговаривал: «Ну, Верочка, скажи, какая это соната Бетховена?». Пел: «Когда я был Аркадским принцем, любил я очень лошадей», и спрашивал, какая это кантата Баха? Когда мы выросли и слышали «Орфея в аду», «La belle Hélène» и «Madame Angot», то узнали, откуда певал нам Коля[12].

Последние два лета, когда Коля был студентом, он уезжал на Кавказ.

Параша сошлась с Лилей Боткиной, Катей Солодовниковой, Надей Щукиной[13]. Молодежь у бабушки веселилась. Вскоре Владимир Дмитриевич переехал в Кунцево, о чем я уже упоминала. Параша стала жить с отцом, братом Володей и с Александрой Дмитриевной[14], сестрой Владимира Дмитриевича. Саша Коншина с 1876 года была уже замужем за Николаем Александровичем Алексеевым, за будущим городским головой.

У бабушки стало тихо и скучно. Рядом с Солодовинковыми, по другую сторону, поселились «генерал и генеральша» Стрекаловы; Степан Степанович и Александра Николаевна[15] были красавцами, несмотря на почти преклонный возраст. Много было у них «породы», а главное — доброты. Все Кунцево их приняло в свои объятия. У них жили их внуки, дети их покойной дочери светлейшей княгини Ливен: внук Александр Андреевич, очень музыкальный, и внучка — княгиня Александра Андреевна[16], некрасивая, но замечательно милая и деятельной доброты. Она стала подругой Параши. В те года разразилась Балканская война. Вся молодежь, и мы в том числе, занялась посылкой корпии для раненых. Помню, к Стрекаловым привезли кравицу болгарку, которая не могла вернуться, вследствие войны, на родину. И она вошла в дружеский кружок Параши.

На последней даче Солодовниковых дачники то и дело менялись.

Теперь расскажу о жителях на дачах К. Т. Солдатенкова.

В одном каменном флигеле жил знаменитый актер Шумский с красивой женой и с интересными дочерью и сыном. В другом каменном флигеле, напротив, жили несколько лет Филипповы[17] (семья придворного пекаря, знаменитого своими калачами и пирожками, которыми питались все гимназисты и студенты всей России). Мать их умерла, и ватага ребятишек в трауре с какими-то старыми родственницами производила грустное впечатление. Они держались особняком.

Рядом с ними, ближе к церкви, жили Щукины. У них было несколько сыновей и несколько дочерей. Сергей Иванович[18] — знаменитый коллекционер, собравший бесценную коллекцию Матисса, Гогена и Пикассо[19], — женился на дочери харьковских помещиков Лидии Григорьевне[20], русалочьей красоты, поражавшей всю Москву и Кунцево. Петр Иванович, имевший коллекцию русских картин, и Дмитрий Иванович[21], которого только помню в лицо.

Дальше, в начале аллеи, ведущей к Мазиловскому пруду, жили Крестовниковы; мать, Софья Юрьевна, урожденная Милиоти[22].

Еще ближе к пруду, рядом с Крестовниковыми, жил брат Софии Юрьевны — Константин Юрьевич Милиоти[23]. Его жена была известной балериной московского Большого театра Карпаковой[24]. У них было трое детей.

От Кунцевской церкви шло шоссе по направлению к селу Покровскому на Филях; по левой стороне шоссе стоял еще ряд дач.

На первой из них жили Дмитрий Николаевич Ремизов и Глафира Ивановна, урожденная Баранова, родная сестра Елизаветы Ивановны Мамонтовой; было у них четыре дочери и два сына[25].

Подальше по дороге, около «Африки», когда-то очень открытого места, жили Морозовы, Абрам Абрамович и Варвара Алексеевна, урожденная Хлудова, с тремя мальчиками: Мишей, Ваней и Арсением[26], а еще подальше — Востряковы[27].

Позже выстроили себе дачу на правой стороне шоссе, с видом на Мазилово, «молодые» Солдатенковы. Василий Иванович был племянником и единственным наследником Козьмы Терентьевича. Женат был на очаровательной Надежде Григорьевне Филипсон[28]. Они зимою всегда жили в Петербурге.

Шелапутиных мы совсем не знали.

На опушке леса, где кончались рощи Кунцева, жила семья меховщиков Сорокоумовских. У Петра Павловича и Надежды Владимировны, урожденной Пеговой, было около полдюжины детей[29].

Вот какой очаровательный подбор московских купеческих семейств был в селе Кунцеве!

Жизнь у всех дачников была почти одинакова, во всяком случае, по утрам. Все, кто мог, ходили купаться на Москву-реку; почти у всех стояли на бочках крытые купальни с проточными «ящиками»; купальни запирались на ключ. Среди лета все родители пили воды, кто «Виши», кто «Эмс»; все гуляли, встречались и беседовали о политике, злобах дня и более всего о новых книгах. Одно за другим выходили сочинения: Печерского «В лесах» и «На горах»; «Анна Каренина» Толстого; сочинения Достоевского и Тургенева; читались всеми «Вестник Европы», «Русский вестник» и «Отечественные записки»[30]. Выросшая молодежь вставала и встречалась позже и обсуждала все эти книги; перечитывала «Войну и мир»[31]; все увлекались Печерским. Параша — общая любимица, простая, радушная, беззаветно-веселая, красивая, с заразительным смехом — была знаменита своей леностью и поздним вставанием. Товарищи прозвали ее Прасковьей Потаповной, именем героини «В лесах». Параша смеялась, но в душе ей это было обидно. Она начала вставать раньше других подруг и ходила гулять с нашей воспитательницей Наталией Васильевной. Они читали вместе вслух в то время модные книжки: «Le fils Maugard», «Jean Téterol», «Le Maître de Forges» и только что напечатанную «Nana» Zola[32]. Как можно помнить такие подробности? По звуку.

ГЛАВА 13

ХУДОЖНИК РИЦЦОНИ

Кроме Михаила Петровича Боткина и Сергея Петровича Постникова[1] к Козьме Терентьевичу Солдатенкову нередко на целое лето приезжал гостить из Рима художник Александр Антонович Риццони.

Две или три небольшие картины его у нас висели в гостиной, мы с детства знали его имя и знали и любили его самого[2]. Он окончил Академию художеств в Петербурге и мог считаться посему русским художником, но психологически он им никогда не был, несмотря на любовь к России.

Александр Антонович приходил к нам на дачу почти ежедневно и был в самой близкой дружбе с обоими нашими родителями. Они путешествовали по Италии каждые два года. Часто Александр Антонович их сопровождал. В 1876 году они сделали вместе большое путешествие и по Сицилии[3].

Дружба с Павлом Михайловичем была давнишняя.

Александр Антонович был небольшого роста, худой, с рыжеватыми волосами, рыжей эспаньолкой, маленькими глазами и горбатым носом; был очень элегантен. Любил музыку до безумия, сам играл лишь по слуху, но свистел что угодно каким-то круглым, дрожащим свистом, напоминавшим иногда крымских лягушек; свистел с чувством мелодию и аккомпанировал себе, подбирая аккорды самым неуклюжим образом. Любил подбирать начало фортепианного концерта Шумана, начало сонаты Рубинштейна и его романсы и многое другое.

Риццони был дружен с семьей Антона Григорьевича Рубинштейна. Его жена Вера Александровна[4] часть зимы обыкновенно проводила в Риме. По дороге из Кунцева за границу Риццони останавливался в Петербурге и гостил у Рубинштейнов на даче в Петергофе. Там слыхал сочинения Антона Григорьевича.

Мамочка должна была ему играть каждый раз, как он приходил, по большей части Шопена. Когда Козьма Терентьевич оставался в городе, Александр Антонович обедал либо у нас, либо у Боткиных. Первые годы своего замужества мамочка была дружна с сестрою Риццони, Марией Антоновной[5], и была с ней в переписке. Мария Антоновна жила в Риге, во второй половине 70-х годов гостила у нас в Кунцеве, очень нас всех стесняла своей чопорностью. Нам, детям, она не нравилась. Жизнь, очевидно, изменила и ее, и мамочку: не осталось ничего общего — и дружба кончилась, несмотря на сохранившиеся внешние отношения.

Павел Михайлович рассказывал, что одну осень Александр Антонович задержался в России и наши родители выехали из Петербурга с Александром Антоновичем прямо в Рим. Приехали рано утром, пошли прямо в мастерскую Александра Антоновича (Via Sistina, Cento Venti Tre*, помню созвучие этого адреса).

Когда они подошли к двери в мастерскую, Александр Антонович опустился на колени и поцеловал порог своей комнаты. Павел Михайлович закончил свой рассказ словами: «И это было так хорошо!». Видно было, как Павел Михайлович любил Александра Антоновича; а любя, любил и подразнить, так как тот легко «дразнился». «Ну и страна же у вас — Италия, у нас проснешься — идет дождь, и днем дождь, и спать ложишься — дождь. А у вас — выедешь из Неаполя — солнце, едешь на пароходе на Капри — дождь, приехал на Капри — солнце, идешь гулять — ливень,

* Виа Систина, сто двадцать три *(итал.)*.

промок, приедешь в Неаполь — сухой. Ну, какой же это порядок?» Или: «Ну, какой же язык ваш итальянский — не нужно ему и учиться: когда чичероне мне предлагает свои услуги, я говорю «грация»*, когда он снова пристает — я говорю «грация, грация». Этому слову я не учился. Когда же чичероне мне невыносимо надоел, я оборачиваюсь и говорю «баста»**. Этого слова я тоже не учил». Александр Антонович, как ребенок, несмотря на свои сорок лет, огорчался и начинал защищать или погоду, или язык, а Павел Михайлович веселился. Оба, хотя и по-разному, обожали Италию.

Но дразнил папочка и мамочку. Для путешественников в то время в Италии было мало комфорту и даже чистоты. Часто бывали недоразумения с насекомыми. Или что-нибудь вроде того. Мамочка всегда как-то догадывалась и придумывала меры всегда к лучшему. И папочка, смеясь, подшучивал: «Верочка, ты гад (от слова «догадываться»), ты — гадина». Любил, возвращаясь из Италии, вспоминать эти пустяки.

Иногда с Александром Антоновичем заходил к нам и Козьма Терентьевич. Он всегда летом ходил в сером сюртуке, в серой накидке и серой фетровой шляпе с большими полями. Он был небольшого роста, плотный, широкий, с некрасивым, но умным, выразительным лицом. Носил небольшую бородку и довольно длинные волосы, зачесанные назад; в нем чувствовалась большая сила, физическая и душевная, нередко встречающаяся у русских старообрядцев.

В Петров день, после окончания сенокоса, всегда бывало вечером гулянье перед дворцом нашего «Кузьмы Медичи». Крестьяне всех окружных деревень приходили водить хороводы. Бабы, пестро разодетые, оставались прямо после обедни до вечера гулять в рощах, группами. Пели. С ними гуляли, с гармошками, парни. Кто побогаче — непременно в калошах, непременно новых и непременно «при часах» с толстой цепочкой. Это разрешалось лишь в этот день. После хороводов раздавались от Козьмы Терентьевича гостинцы.

Каким-то летом, в Петров день, к чаю днем пришли к нам Козьма Терентьевич с Иваном Сергеевичем Тургеневым, который то лето проводил в России. И проездом из-за границы в свое имение гостил у Солдатенкова[6].

Как и Козьма Терентьевич, Иван Сергеевич был весь в сером, но гораздо светлее. Сюртук его был самого элегантного покроя, а на голове был серый блестящий цилиндр.

Мы все пили с ними чай на открытой террасе, окаймленной всевозможными цветами в горшках. Самовар кипел, тетя Манечка, всегда веселая и приветливая, разливала, и велись разговоры очень веселые. Иван Сергеевич все время рассказывал и, очевидно, острил, так как Козьма Терентьевич смеялся, не переставая, громко и раскатисто, а Павел Михайлович заливался до «всхлипывания» и до слез. Мы, конечно, не понимали, в чем дело.

Но запомнилась мне лишь одна фраза Ивана Сергеевича: «Это русское кислое бабье пение мне надоело, как мой кислый русский нос».

* спасибо (*итал. grazia*).
** довольно (*итал. basta*).

ГЛАВА 14

КРЫМ

После рождения сестры Маши (3 мая 1875 года) переехали мы в Кунцево немного позднее обыкновенного. Мамочка хворала и за лето мало поправилась; хворала и Саша. Тетя Аня несла кому-то чашку чая, столкнулась с Сашей. После обжога начались у нее один нарыв за другим. Решили осенью ехать в Крым.

Константин Васильевич Рукавишников как директор Московско-Курской железной дороги дал нам отдельный вагон первого класса. Ехали мы впятером: родители, Наталия Васильевна и мы с Сашей.

Русский юг, Малороссия, даже из окошек вагона, очаровывали нас. Первый раз мы видели русский простор и степи. Как красива была бухта Севастополя! Открытое море увидала я с горы Георгиевского монастыря[1]; чувство беспредельного горизонта — никогда не забуду.

Ехали до Ялты через Байдарские ворота на лошадях. Татарские деревни были первым экзотическим впечатлением нашим. Спускаться от Байдар по кружащимся чудным, гладким дорогам было так увлекательно. Подъезжали мы к Ялте во тьме, и Ялта, залитая звездами огоньков, сливалась со звездами на темном небе.

Поселились мы в роскошной гостинице «Россия», где, уже в то время, был лифт и устройство было вполне европейское. Был чудесный ресторан. Жила масса петербургских — «светских», так как в то время в Ливадии жили император Александр Второй и в «Эреклике», в горах, императрица Мария Александровна.

В гостиницу часто приходил завтракать великий князь Николай Николаевич[2], брат императора, — большой «солдафон», с громким голосом, всегда игравший с нами, детьми, в коридорах и очень ласковый. Жило в гостинице много семейств. Вся ватага ребят играла вместе по утрам в саду гостиницы, спускавшемся к набережной, окаймленной большущими мимозами. Часто играли и рядом, в Мордвиновском саду[3]. Вечером же, когда было ненастно, собирались в общей гостиной. Там стоял рояль, кто мог — играл танцы, мы танцевали или играли в игры. Утром рано мы ходили гулять по набережной, каждый с корзиночкой на руке, полной винограда, только что купленного на базаре, устроенном на деревянных помостах сверх журчащей горной речки. Мамочка посылала нас в лавку к красивому турку в красной феске за бубликами. Это веселое время навсегда осталось счастливым воспоминанием.

Павел Михайлович, устроив нас, уехал путешествовать на Кавказ. Ехал туда и обратно на пароходе через Поти. Был в Батуми, в Тифлисе, Кутаиси, Эривани, Эрзеруме, Карсе. Видел гору Арарат.

Мамочка с Наталией Васильевной сидели в саду или парке и читали друг другу вслух.

Жила в гостинице семья Умновых[4], петербургских друзей Якунчиковых. Дочке, Вере Николаевне, там минуло 16 лет; она каталась верхом, была веселая и милая. Ездили мы часто с ней и ее родителями в окрестности: в Алупку, Ореанду, Мисхор, обе Массандры, в Никитский ботанический сад, в Гурзуф. Видели гору Аюдаг, которую мы давно знали по картине Айвазовского. Айвазовский как раз в ту осень жил в Крыму[5]. Случайно пришел к нам в гости в день моего рождения, 6 октября, когда мне минуло 9 лет. Показался он нам чересчур важным, особенно его баки.

В ноябре Павел Михайлович вернулся за нами. Мы опять ехали на лоша-

дях. Лил холодный дождик до самого Севастополя, оттуда поехали мы в купе первого класса, домой, в Москву.

Второй раз мы ездили в Крым, как я уже рассказывала, осенью 1879 года. Ездили с нами Наталия Васильевна, Вася, Люба, Миша и его новая воспитательница, Ольга Николаевна Волкова, религиозная, с добрейшим сердцем. Она посвятила себя добровольно нашему больному брату Мише на несколько десятилетий, до самой смерти его. Любила его нежно и баловала. Она скончалась вскоре после его смерти. Папочка нередко говорил: «И возлюбил же Бог Мишу, послав ему Ольгу Николаевну!».

С Наталией Васильевной они вместе прожили в нашем доме целых четыре года. Будучи антиподами, были в постоянном антагонизме.

ГЛАВА 15

МАКСИМОВ И КРАМСКОЙ

Вспоминаю, что к весне 1876 года приехал из Петербурга маленький, рябой, лохматый, милый человек — то был художник Василий Максимович Максимов. Ему была кем-то заказана копия с его картины «Раздел»[1]. С утра он писал ее в галерее, всегда у нас завтракал и продолжал писать до сумерек. Мы с ним подружились. Он написал несколько этюдов нашего сада, нашу любимую китайскую яблоню в цвету и подарил ее мамочке[2]. Впоследствии, чуть ли не в 1882 году, когда мы ездили с родителями в Петербург на святки, мы познакомились с его красавицей женой. У них были очень хорошенькие дочки — Лидия и Ариадна — и сынишка — Ювеналий[3]. Василий Максимович иногда наезжал в Москву — для нас это бывало праздником. Разговорам и рассказам его, иногда остроумным и комическим, не было конца.

Года через два приехал, тоже из Петербурга, другой художник — среднего роста, в сером сюртуке, с круглым умным лицом, негустою бородою, с волосами, зачесанными назад. Поражали и притягивали его проницательный взгляд и его милая, но немного ироническая улыбка. Это был Иван Николаевич Крамской.

Если он был долголетним другом и корреспондентом Павла Михайловича, то стал не меньшим другом и нас, молодежи. Он приехал писать портрет Веры Николаевны[4]. В верхней галерее был поставлен громадный холст, неподалеку от дубовой лестницы, появился ящик с красками, палитра, кисти. Каждую свободную минуту бегали мы в галерею и тихо, молча, издали смотрели, что появлялось постепенно на этом холсте.

Мамочка стояла в чесучовом платье, в волосах ромашка, в опущенной руке — зонтик. На другой висела красная шелковая китайская шаль с бахромой (эта шаль «жила» у меня до самой революции). На фоне предполагались деревья, по бокам — луговые цветы. Иван Николаевич с нами завтракал, говорил интересно. Мы заслушивались с затаенным дыханием. Часто он и дразнил нас, и подтрунивал. Мы его любили, хотя он и держал себя сдержанно и как бы в стороне.

В то время Иван Николаевич собирался писать несколько картин из жизни Христа и задумал «Христа перед Пилатом»[5]. Ему был нужен материал из книг о Христе. Не помню, какую именно книгу он хотел прочесть, но не мог из-за незнания немецкого языка. Наша Наталия Васильевна достала книгу и перевела ее на русский язык для Ивана Николаевича. Вскоре мы увидели на одной из Передвижных выставок его «Христа в пустыне»[6], уже купленного нашим отцом для галереи.

В то время как Иван Николаевич писал портрет мамочки, у папочки сделался приступ подагры. Он не мог надеть сапог (он носил всегда сапоги, правда очень тонкие, но не башмаки), ходил в низких валенках и сидел дома. Этим воспользовался Иван Николаевич, написал поясной портрет Павла Михайловича, в несколько сеансов[7]. Правда, выражение лица немного страдальческое, но это для меня его лучший, даже единственно вполне похожий портрет, писанный красками (репинский, висящий в галерее, писан по памяти, и хотя поза характерна для нашего отца, но вышла предвзятой, и портрет этот для меня — чужой[8]).

Перед Пасхой Иван Николаевич уехал в Петербург. Портрет мамочки остался недоконченным. Иван Николаевич им был не вполне доволен. Решил переписать его и докончить летом, в несколько сеансов, в Кунцеве, на воздухе.

В начале лета мы узнали от Ивана Николаевича, что его семья наняла дачу недалеко от полустанка Кунцево, по другую сторону полотна, в местечке Жуковка[9], где жило много интеллигентных москвичей: актеров, художников. Долго живал там, говорили мне, Левитан; как ни странно, мы его не знали в то время[10].

Мы ждали приезда Крамских. Жена Ивана Николаевича, Софья Николаевна[11], очень высокая и представительная женщина, была добрая и милая. Было у них два старших сына: Николай, учившийся в архитектурном классе Академии художеств, и Анатолий — более талантливый, живой, который кончал последний класс гимназии; Соня, годом моложе меня (ей было 11 лет), и Сережа, лет восьми; был у них и воспитанник Митя, нежный и тихий, как девочка, которого дразнили мальчики беспощадно[12].

Между Соней и ее отцом была редкостная дружба, переходившая в обоюдное обожание. Соня была некрасива, но с умным, энергичным лицом, живая, веселая и необычайно талантливая к живописи. Софья Николаевна, которую нельзя было сразу не полюбить за ее скромность и ласку, оставалась чаще дома с Сережей, отдыхая от шума ватаги детей и хлопот. Мальчики и Соня зачастую приходили с Иваном Николаевичем к нам, часам к 3-м. Мы играли в крокет, качались, бегали на «Pas de Géants»*, вместе обедали. Дети Крамские уходили с отцом вечером в Жуковку. Видя, что Соня сразу как нельзя более подошла к нам (мы не на шутку подружились, дружба росла не по дням, а по часам), Иван Николаевич стал открытее, ласковее, доступнее и скоро стал совсем своим, нашим товарищем и другом.

Соня была всегда одета невероятно безвкусно, ее волосы часто висели как мочалки, которые она подбирала гуттаперчевыми гребешками. В 16—17 лет Соня так похорошела, волосы отросли, фигура у нее стала длинная, тонкая. Она прекрасно танцевала. Ее веселость, остроумие и entrain** привлекали к ней много поклонников. Помню, как Илья Ефимович Репин восхищался ее «силуэтом» на одной из вечеринок в клубе художников[13]. С ней соперничала ее подруга, Варя Лемох, дочь художника[14]. За ними ухаживал Альберт Николаевич Бенуа[15], уже немолодой в то время — это было в начале 80-х годов***.

В Кунцеве Соня была «четвертым мальчишкой» по шалостям. Но мы не только шалили, а часто бывали у нас интересные разговоры о картинах, художниках, театре.

Иван Николаевич, увидев Липовую рощу, захотел переписать фон в большом портрете мамочки: написать рощу с упавшими на дорогу осенними, желтыми листьями. Сделал этюд, убрал ромашку в волосах и все луговые цветы. Шаль красную заменил восточною шалью — белою с голубым; и закончил портрет уже следующей осенью, в галерее, не тронув ни лица, ни фигуры Веры Николаевны. В этом виде портрет висит в галерее, в комнате Крамского, среди других его постепенно приходивших портретов: Васильева Федора Александровича (по памяти и фотографии), Антокольского, Некрасова, Григоровича, Полонского, Салтыкова-Щедрина и других[17].

Мамочка все лето себя чувствовала плохо. У нее осенью родился сын Ваня.

Иван Николаевич написал с нее за лето «коленный» портрет, в темном платье, с белым большим воротником, в светлой кружевной наколке[18]. Вид

* «гигантские шаги» *(франц.)*.

** живость, задор *(франц.)*.

*** Свежо предание, а верится с трудом. Альберт Николаевич оставался молодым душою до своей смерти, которая пришла в 1935 году, в Париже, у его дочери Марии Альбертовны Черепниной[16].

у нее слишком сосредоточенный и немного больной. Эти два портрета, мамочки и папочки, сделанные во время болезни, очень хороши по сходству, несмотря на грустное выражение лица. Оба они висят в галерее, в комнате Крамского. Эта комната — в пристройке галереи, сделанной около 1880 года[19]. Постепенно вешались и картины Ивана Николаевича: «Христос в пустыне», «Неутешное горе» (собственно портрет Софьи Николаевны, написанный несколько лет перед тем, после смерти ее младшего больного сына); «Майская ночь» и «Лунная ночь»[20] (для которой позировала Елена Андреевна, вторая жена Сергея Михайловича Третьякова).

Соня была одно время, в начале 80-х годов, помолвлена с Сергеем Сергеевичем Боткиным[21]. Иван Николаевич написал портреты, почти парные, Сергея Сергеевича и Сони. Она в суровом платье, почти во весь рост, с локонами[22]. Когда Соне показалось, что она «ошиблась» и Иван Николаевич помог ей разойтись с Сергеем Сергеевичем, портрет Сергея Сергеевича ушел в дом Боткиных, а Сонин остался висеть в мастерской Ивана Николаевича на Васильевском острове. Чудесный портрет Сони был написан ее отцом с нее, лежащей в постели, после тифа, с подстриженными волосами[23].

На святках 1882 года в Петербурге мы каждый день бывали у Крамских. Нередко, на праздниках, Иван Николаевич, приезжая в Москву, привозил Соню гостить к нам в «Толмачи».

Когда Соня кончила гимназию, здоровье Ивана Николаевича становилось слабым, слабее с каждым днем. Его врачи послали на юг Франции, куда с ним поехала Соня[24]. Письма Сони из Франции были восторженные; на юге Соня написала этюды маслом, которые радовали отца. Помню, она как-то писала мне: «Ах, как я хочу любви и славы!».

К следующей весне Ивана Николаевича не стало[25]. Как раз во время пребывания Павла Михайловича в Петербурге. Он вернулся, похоронив своего друга, и скрыл это от нас, боясь огорчить. Дома осторожно нас подготовил к этому грустному известию и прибавил: «Если б вы видели Соню! Вот с кого можно было бы написать „Неутешное горе“!».

Через много лет, весною 1900 года, когда мы с мужем и нашими детьми переехали из-за границы в Петербург, я зашла навестить Репиных, в Академию художеств, где Илья Ефимович в то время был профессором[26]. Застала их всех дома. Милая Вера Алексеевна[27], напоив меня чаем, спросила, не хочу ли я пойти с нею и детьми на хоры академической церкви посмотреть свадьбу Софьи Ивановны Крамской[28]? Какое совпадение! С каким волнением я побежала с ними! Был май месяц, 5 часов, было еще совсем светло.

С правой стороны вошла невеста, белая как полотно, с трагическим выражением лица, под руку с братом Анатолием, бывшим всегда ей самым близким. Жених был пожилой, высокий, тонкий, с усиками и седыми, торчащими волосами; с виду очень симпатичный, по фамилии Юнкер[29].

Живя в Петербурге, мы с Соней изредка виделись. Детей у нее не было, но была масса племянников ее мужа, она была нежной «тетей Соней». Занималась живописью. У нее была своя полная интересов жизнь, у меня — своя. Мы были рады видеть друг друга, но обеим было некогда видаться чаще.

В то время на Лиговке бывал у нас художник и критик Кравченко. Он подарил мне только что изданные письма Крамского[30].

Прочтя, я увидела, что из них более полуторы сотни были написаны к Павлу Михайловичу. Многое нашла, что снова доказывало мне, что отец, слушая мнения всех (и, может быть, мнение Ивана Николаевича, которого ценил, «уважал» и любил нежно, более чем чьи-либо), всегда поступал в вопросе приобретения картин лишь по собственному выбору, убеждению или принципу.

ГЛАВА 16

ЗНАКОМСТВО С ЧАЙКОВСКИМ

На Пречистенке, в чудесном, довольно старом особняке «дядюшки Владимира Дмитриевича Коншина»[1], как он любил, чтоб его величали, после замужества Александры Владимировны (в 1876 году) хозяйкой стала Параша; она только что окончила гимназию.

Внизу, рядом со столовой, жила сестра Владимира Дмитриевича, Александра Дмитриевна; она Парашу не стесняла, ни во что в доме не входила, целые дни курила, была веселая, смеялась громким и отрывистым контральто; затягивалась в корсет, носила фальшивый шиньон с сеточкой, любила одеваться, раскладывать пасьянсы, а более всего слушать рассказы и сплетни Прасковьи Петровны Третьяковой, кузины Павла Михайловича, которая была сердечная, добрая, всегда все обо всех знала, никогда не злословила и рассказывала весьма занятно, живо и картинно. Они с Александрой Дмитриевной были закадычные приятельницы.

Хозяйство же вела тихая, скромная Вера Павловна Болотникова, у которой была симпатичная и хорошенькая дочь «Катя Болотникова», как ее все называли и которую мы все любили.

Из трех сыновей[2] Владимира Дмитриевича двое старших жили за границей, а у отца в доме жил лишь младший, Володя, окончивший юридический факультет одновременно со своим ровесником — Николаем Третьяковым.

Володя был похож на своего отца и наружностью, и характером. Элегантный, добродушный, писал стихи, был всегда влюблен, не выходил из романов с самыми красивыми девицами в Москве. Сам очень нравился. Точно так же, как бесконечно нравилась Параша. За ней ухаживали самые интересные молодые люди нашего круга. Она была красива и как богиня, описываемая Гомером; «волоокая и крутобокая», а главное — была безгранично добродушна и весела. В доме царствовало романтическое настроение.

В самом начале 80-х годов как-то у Якунчиковых мы встретили на одном из воскресных обедов Анатолия Ильича Чайковского. Он только что был переведен из Петербурга в Москву прокурором окружного суда[3]. Была у него при чрезвычайной воспитанности большая простота и уютность, главное же — подкупал всех его невероятный шарм.

Он стал бывать у Якунчиковых, у Рукавишниковых, у Сергея Михайловича и Елены Андреевны, у нас в «Толмачах», у Алексеевых, Александры Владимировны и Николая Александровича, который, помню, как-то привез Анатолия Ильича к Коншиным, прямо к одному из семейных обедов. Николай Александрович, как городской голова, имел немало дел с Анатолием Ильичом как с прокурором суда и чувствовал к нему большую личную симпатию.

Анатолию Ильичу Параша очень нравилась, да и он — ей. Она уже встречалась с ним у Алексеевых.

К весне 1882 года Анатолий Ильич сделал ей предложение, которое она приняла. Оставалось получить согласие Владимира Дмитриевича. Он, как истый москвич, презирал петербуржцев; это знал Николай Александрович и решил сам сообщить ему и просить согласия, чтобы оградить Анатолия Ильича от могущих быть неприятных разговоров.

Как-то Алексеевы приехали обедать к отцу запросто, одни. Николай Александрович воспользовался этим, чтобы сказать отцу о предложении Анатолия Ильича. Владимир Дмитриевич слышать не хотел «взять» себе «в зятья» человека не из нашего купеческого круга; сказал, что не отдаст

дочери за «петербургского матрасилку». Николай Александрович знал все чудачества Владимира Дмитриевича, но любил его искренне, был с ним всегда внимателен и нежен; а нежностью можно было заставить старика-отца сделать все, что хочешь. В натуре Николая Александровича было много клоунства, балагурства, и когда он хотел, мог балаганить и дурить напропалую. Он расхваливал Анатолия Ильича, «как товар на Нижегородской ярмарке», клялся и божился, что Анатолий Ильич не «петербургский матрасилка», а чудесный, серьезный человек; Владимир Дмитриевич не сдавался. Бедная Параша сидела ни жива ни мертва в гостиной, одна. Николай Александрович попробовал последний шахматный ход; стал перед отцом на коленки, целовал его и сказал, что хоть целую ночь так простоит, покуда не получит согласия на эту свадьбу. Что поделаешь с Николаем Александровичем? Тем более что Владимир Дмитриевич обожал его и скрепя сердце уступил. Услышав первое слово согласия, Николай Александрович вскочил на ноги, поцеловал отца и бросился из залы, где они сидели. Через аванзалу полетел вниз по мраморной лестнице в переднюю, приказал лакею заморозить шампанское, накинул шинель, взял шапку в охапку, понесся в своих парных санях и мигом привез Анатолия Ильича в коншинский дом.

Пили шампанское, Владимир Дмитриевич плакал, всех целовал, растаял от счастливого вида нареченных, пили до утра.

Как скоро Владимир Дмитриевич полюбил этого «матрасилку»!

Параше было 22 года, а Анатолию Ильичу — десятью годами больше. Свадьба была назначена на Красную горку[4]. Все родственники дали обеды в честь жениха и невесты. Даже Сергей Михайлович и Елена Андреевна, которая была довольна получить нового родственника из дворянского рода, из петербургского общества и с хорошим положением, считала его подходящим женихом для Параши, которую любила.

Незадолго до свадьбы приехал в Москву брат Анатолия Ильича, Петр Ильич, знаменитый композитор.

Мы знали уже многое из его написанных в то время сочинений: его Вторую симфонию, Первую сюиту и «Бурю», которые часто играли в четыре руки; его Фортепианный концерт (b-moll), фортепианные пьесы, вариации, «Времена года» и др.; обожали «Евгения Онегина», стоявшего всегда на нашем фортепиано, рядом с «Русланом». С большим волнением мы ожидали его увидеть. Он был десятью годами старше Анатолия; брат их Модест[5], известный драматург, жил в Риме и приехать на свадьбу не мог; он и Анатолий были близнецами.

Владимир Дмитриевич сразу дал обед в честь Петра Ильича, пригласив всех родственников, старых и малых. К малым принадлежали и мы с Сашей: ей было 14, а мне 15 лет. Несмотря на разницу в возрасте, мы были приятелями с Парашей и Володей, да и чувствовали себя взрослыми.

Романтик Владимир Дмитриевич с первой же минуты был очарован Петром Ильичом. Когда Владимир Дмитриевич нас знакомил, Петр Ильич протянул руку так просто, сердечно и, смотря прямо в глаза, сказал: «Здравствуйте, милая». Я почувствовала, что не только обворожена и тронута, но что готова — умереть за него. Те, кто в жизни встречали его, поймут, что я не преувеличиваю.

Как я впоследствии видела и по Модесту[6], вся семья Чайковских обладала даром очаровывать, сразу и навсегда. Но у Петра Ильича присоединялось к этому и покоряла его гениальность, светлый ум и безграничная теплота. Он часто употреблял слова: «ужасно», «обожаю» и «ненавижу».

«Обожал» все характерное, бытовое, а потому оценил Владимира Дмитриевича, целиком. Его доброту, нежность, романтизм и восхищался всеми

его милыми и потешными чертами. Ласково поддразнивал, подшучивал над ним, а Владимир Дмитриевич чувствовал себя на седьмом небе и «заобожал» Петра Ильича. У Коншиных был самый хлебосольный дом изо всей нашей третьяковской семьи. Елось и пилось там от всей души. Вина и шампанского было много, и хорошего. Петр Ильич мог много выпить, но никогда не пьянел, лишь розовел, делался экспансивным и веселился над каждым пустяком. После стаканчика-другого, к концу обеда, Владимир Дмитриевич входил в лирическое настроение, начиная петь старинные романсы. Был совсем не музыкален и, разумеется, никакого понятия не имел ни о музыке вообще, ни о музыке Петра Ильича в частности, а потому его не стеснялся. Пел с трогательным выражением, со слезою в голосе; растягивал, а то и повторял слога слов самым невероятным образом. Петр Ильич подсаживался к Владимиру Дмитриевичу, целовал его и умолял еще и еще вспомнить что-нибудь потрогательнее из романсов и смеялся до слез. Часто говорил: «Ах, как я обожаю Владимира Дмитриевича! Где, кроме милой Москвы, можно встретить что-нибудь подобное?!». (Не забуду никогда одного романса, который Владимир Дмитриевич пел так: «Не па-а-фы-ы-то-ряй, што я те-бя лю-у-у-блю».)

Восхищался Петр Ильич и Парашей как типом очаровательной московской девушки. Он любил слово «девушка» и не любил слова «барышня».

Семейные обеды повторялись почти ежедневно, теперь — в честь Петра Ильича, то у одних, то у других, так что мы видали его по нескольку раз в неделю.

Как-то привел он с собой, прямо к обеду, к Коншиным своего друга — знаменитого критика и композитора Германа Августовича Лароша, жившего в Кокоревской гостинице, на Софийской набережной, где поселился рядом с ним и сам Петр Ильич.

Ларош поражал своим феноменальным умом, универсальностью, умением говорить и неиссякаемым остроумием; поражал и оригинальностью своих привычек, доходивших до чудачества. Эти два друга украшали обеды, продолжавшиеся до самой свадьбы Параши и Анатолия Ильича.

Оценил Петр Ильич как «типа» и дядю Яшу: его добродушие, приветливость, готовность помочь каждому в чем бы то ни было. Занимали Петра Ильича смешные стороны дяди Яши: незлостность, сплетничанье, любопытство и до комизма доходившая жажда знать все и про всех — первому в городе.

Почти с первого дня выпил Петр Ильич с ним на брудершафт, а за Петром Ильичом и Ларош. И стали они звать друг друга «Яшей», «Петей» и «Маней» (от Германа). Это звучало потешно и словно в шутку.

Несколько раз заходил Петр Ильич и Ларош к нам в «Толмачи» на утренней прогулке. Они бегали любоваться на старинные церкви Замоскворечья: на Николу в Кадашах, Григория Кесарийского и другие. Помню, как засаживали они нас с мамочкой за фортепиано и играли с нами в восемь рук «Пассакалию» Баха, которую так любил Ларош, и другие классические сочинения, больше Моцарта, которого «обожал» Петр Ильич. Любил он сидеть за столом с молодежью, так как «ненавидел» занимать дам. Обеды были запросто, гостей не рассаживали; потому перед обедом он брал меня под руку, вел, жеманно и шутя, к столу и сажал меня рядом с собой. Ларош подсаживался поближе, напротив. Петр Ильич то веселился, как гимназист, дразнил меня, что я жеманюсь, как московская невеста, или что я гадкая девчонка, подражаю Наташе Ростовой, а то делался серьезным, сосредоточенным и начинал говорить с Ларошем через стол о литературе или о музыке.

Впоследствии, когда я знала его хорошо, я всегда поражалась его переменчивым настроениям, невероятной нервности и впечатлительности. Это была самая патетическая личность, которую я знала.

Во время одного из первых обедов он сказал: «Веруша, ведь вы не имеете ничего против, чтоб я вас так называл? Вы мне так напоминаете мою племянницу[7]. Анатолий, не правда ли, Веруша напоминает нашу Верушу?* Мне это ужасно приятно!».

Вспоминаю, как другой раз говорит он мне, с «кокетством» в голосе: «Chére Веруша, notre consinage me donne le droit á votre amitié»**; и стал както само собой говорить мне «ты». Можно ли описать мою радость и гордость!

Петр Ильич был необыкновенно нежный родственник. Он и его братья были воспитаны их старшей и единственной сестрою, Александрой Ильинишной Давыдовой[8], жившей с семьей в своем имении Киевской губернии. Петр Ильич любил ее, как родную мать, из племянников и племянниц любил Татьяну, Веру и Боба[9] (Владимир Львович, которому впоследствии была посвящена Шестая симфония). На свадьбу из Каменки, киевского имения, приезжали Александра Ильинишна с дочерьми Татьяной и Анной[10], им было лет 17 и 15. Увидела я их в церкви во время венчания Параши (если не ошибаюсь, в домашней церкви Мариинского института на Софийской набережной, против Кремля). Татьяна так поразила меня своей необычайной красотой и симпатичностью, что я не могла свести с нее глаз.

Впоследствии Петр Ильич много-много рассказывал мне о ней, о ее романтической жизни, о ее смерти среди тура вальса — «средь шумного бала». Ее портрет в гробу стоял на письменном столе его в Клину, в доме, где он жил последние годы и где помещается Музей Чайковского[11].

Мы не переставали видаться с Петром Ильичом во все его приезды в Москву, до самого моего замужества. Особенно часто видались во время постановки его новой оперы «Мазепа» в московском Большом театре[12]. Петр Ильич, как приезжал, сейчас же заходил к нам в «Толмачи» и сам «приглашал» себя к нам обедать, так как мы боялись это делать из деликатности. Когда Ларош бывал в Москве, то приходили оба вместе.

Петр Ильич останавливался в Москве у своего издателя и друга Петра Ивановича Юргенсона[13], в Колпачном переулке, в старом особняке со сводами в верхнем этаже, с большими коридорами. Рядом с домом, во дворе, находилась нотопечатная. Петр Ильич особенно любил жену Петра Ивановича — Софью Ивановну, о которой я уже писала как о приятельнице Веры и Зинаиды Николаевны; он был крестным отцом старшего сына, Бориса. В большой дружбе же был с их дочкой Сашей и младшим больным сыном, Гришей[14], самым симпатичным и тонким существом, которое можно себе вообразить. Сашу Петр Ильич звал на «ты» — Саша Юргенсон, а Саша звала его на «ты» — Петя Чайковский. Саша была года на три моложе меня, приятельницей и ровесницей моей сестры Любы; девочки видались по воскресеньям, то одна, то другая ездила к своей товарке на целый день. Петр Ильич любил возиться с подрастающей молодежью, любил детские игры; и более всего — игру в прятки. Рассказывала сестра моя Люба, что как-то у Юргенсонов во время этой игры Петр Ильич потушил свет, лег на диван, закрыл глаза и был уверен, что отлично спрятался. Когда ищущие вошли в темную гостиную, Петр Ильич заорал благим матом и заболтал ногами.

* Веруша — это Вера Львовна Давыдова, вторая дочь сестры Петра Ильича, Александры Ильиничны Давыдовой.

** «Дорогая Веруша, наше родство дает мне право на Вашу дружбу» *(франц., примеч. автора).*

Был он невероятно любопытен и любил слушать сплетни, как большинство музыкантов. Не забуду одного смешного эпизода.

Как-то Саша Юргенсон приехала в «Толмачи» в воскресенье на целый день и рассказывает, что у Пети Чайковского зубы болят. Он бегает как дикий зверь по коридору, в халате, с подвязанной щекой и кричит: «Я обожаю Феоктисту!». Феоктиста была прачкой в доме Юргенсона, умевшая угождать Петру Ильичу крахмальными воротничками, на которые он был капризен. Я решилась вот на что: научила Сашу Юргенсон, когда она вернется домой, если бы у Петра Ильича еще болели зубы, подойти к нему и сказать: «Петя Чайковский, Вера поручила мне тебе передать...» — и остановиться, потом прибавить: «Но я это сделаю, когда у тебя зубы пройдут, это не к спеху». Я была уверена, что от любопытства у Петра Ильича даже зубная боль может кончиться, что и было моей целью.

Саша в точности разыграла эту сцену. Петр Ильич приставал, схватив ее за горло: «Скажи сейчас, сейчас скажи! У меня, ей-богу, зубы больше не болят!». Саша рассмеялась: «Вера вот этого только и хотела — больше ничего». Сначала Петр Ильич насупился, потом расхохотался.

Летом 1883 года Анатолий и Параша наняли дачу около станции Одинцово Московско-Брестской железной дороги, в имении «Подушкино». У них была уже маленькая дочка Таня[15]. По случаю ее рождения Петр Ильич посвятил 2-ю оркестровую сюиту Параше как матери[16]. Вместе с ними жили там Петр Ильич и Ларош[17]. 29 июня Петр Ильич праздновал день своего ангела и пригласил родственников Параши и своих близких друзей. Мы четверо, родители и обе девочки, приехали часа в два. Владимир Дмитриевич и Надя с Яшей приехали позднее, к обеду. Была жара, и мы оставались сидеть на сквозняке в гостиной. Дом был старинный, с деревянными колоннами, и все в нем напоминало усадьбу Лариных; и мебель была старинная, но рояль был привезен из Москвы для Петра Ильича: ни Анатолий, ни Параша не играли на фортепиано. Помню, как Петр Ильич насильно усадил меня за рояль, сел рядом слева, облокотился на угол его и потребовал, чтобы я играла ему пьесу за пьесой. Ничего не было менее страшного для меня, как играть музыканту или музыкантам, как было в данном случае. Ларош был всегда удивительно мил ко мне, что сохранилось до его смерти. Видно было, что Петр Ильич давно не слыхал игры на фортепиано и сказал Ларошу: «Маня, как я люблю слушать настоящую женскую игру, это звучит так наивно и ужасно мило!».

Петр Ильич начал убеждать моих родителей отдать меня в консерваторию, в класс специальной теории, а Ларош предложил мне заниматься с ним историей музыки[18]. Отец, разумеется, воспротивился, не признавая совместного обучения. Я была очень разочарована, что меня в консерваторию не пустили.

. В Подушкине обед был накрыт в Липовом парке, хозяева оба были радушные и милые. Петр Ильич был очень в духе, Ларош невероятно занятно острил. Много пили. Одним словом, именины были веселые. Мы уехали поздно вечером и ночевали в «Толмачах», так как с 1880 года жили не в Кунцеве, а по Ярославской железной дороге.

Вскоре Анатолий Ильич был переведен в Тифлис губернатором, а Петр Ильич часто ездил гостить к ним.

ГЛАВА 17

КОНШИНЫ

После замужества Параши Владимир Дмитриевич продал свой особняк на Пречистенке известной красавице и меломанке Вере Фирсановой[1], а сам, как истый романтик, нанял себе бельэтаж в чудесном, стильном, маленьком дворце (так как этот барский дом трудно иначе назвать), стоявшем во дворе, за сквозной оградой, на Верхней Кисловке и принадлежавшем княгине Надежде Борисовне Трубецкой[2].

Впоследствии его купил Сергей Иванович Щукин[3]. Жил в нем со своею женою Лидией Григорьевной, дочерью харьковских помещиков Кареневых. Она (как я уже упоминала по поводу жителей Кунцева) была загадочной красоты днепровской русалки. В этом маленьком дворце он собирал своих знаменитых Матиссов, Пикассо и единственную на свете заколдовывающую коллекцию Гогенов.

Зала, гостиная и столовая были с высокими сводами, покрытыми причудливой лепкой.

Из столовой вела дверь прямо в крошечную домовую церковь. Княгиня Надежда Борисовна там каждое воскресенье служила обедню и по субботам — всенощную; она чудесно относилась к Владимиру Дмитриевичу, разрешала ему и его домочадцам бывать на службах, и это вносило много счастья в его душу поэта.

Старушка-княгиня жила в нижнем этаже. В передней, у подъезда, от которого вели наверх, по обеим сторонам, круглые лестницы, стоял в ливрее старый швейцар Прокофий, высокий, с зеленовато-бледным лицом, большим носом, которым он как-то чуть-чуть «подсапывал», с милыми, добрыми глазами. Он напоминал мне Сашу Зилоти, о котором я часто думала, и я чувствовала к Прокофию большую слабость, чем меня и поддразнивали.

Владимир Дмитриевич проводил по-прежнему день в магазине на Ильинке, также ездил в Нижний на ярмарку. В Кунцеве переехал от Солодовниковых на дачу Солдатенкова, где в наше время жили красавицы Пустоваловы[4]. Гартунги с бабушкой и кучей ребятишек переехали на дачу рядом с Коншиными.

Володя ходил лениво в магазин, ездил часто то за границу, то на Кавказ, то в Крым. Там познакомился с семьей харьковских помещиков Слатиных. У них были две красавицы дочки, 18 и 17 лет, Александра Николаевна и Мария Николаевна. Володя безумно влюбился в последнюю; гостил у них в имении под Белгородом на возвратном пути из Крыма и был приглашен на все святки. Он пришел в восторг от помещичьей жизни, стал мечтать о женитьбе и покупке имения. Приехал зимою от Слатиных[5] женихом Марии Николаевны. Владимир Дмитриевич был доволен. Свадьбу назначили на весну, в Москве, в его доме. Княгиня Надежда Борисовна сама предложила им венчаться в ее церкви.

Весною 1884 года приехала в Москву семья Слатиных. Мать была простая, милая женщина. Говорила она всегда на французском языке (на котором говорил Володя прекрасно); это вошло в привычку и с нами. Мария Николаевна сошлась с Сашей, моей сестрой, которая была всегда особенно дружна с Володей.

Александра Николаевна была спокойной, видной девушкой; Мария Николаевна же блистала южной, «малороссийской» красотою, такой незнакомой и привлекательной для нас северян-москвичей. Высокая, с громадной черной косой. Карие, большие глаза задорно смеялись, и ласковая, бедовая

улыбка привлекала всех, мужчин и женщин. Была она энергичная, с большим здравым смыслом, милая, веселая-превеселая и даже разбитная; эта черта была для нас совершенно новою и занимала нас. Мария Николаевна признавалась, что летом моется огуречным рассолом, от загара, а выезжая вечером, подкрашивает щеки свеклою и губы мажет губною помадой. Ох, как далеко ушли сейчас девицы и дамы от этих старых, наивных средств!

Венчание было поздно вечером. Мария Николаевна была бледная, серьезная, спокойная, изумительно красивая, в фате, завязанной, как русский платок. Напоминала Мадонну какого-нибудь итальянского мастера.

Володя вскоре купил себе имение в Тамбовской губернии, на реке Вороне, где молодые и поселились, а зимами часто приезжали гостить в Москву. У них родились две дочки[6].

За те последние пять лет в нашу семью Третьяковых—Коншиных влился новый, свежий, немосковский элемент в лице Александры Густавовны Дункер[7], Анатолия Ильича Чайковского и Марии Николаевны Слатиной. Это внесло очень приятное разнообразие характеров.

Оставшись одиноким, Владимир Дмитриевич переехал в маленький особняк, чуть ли не в Мертвом переулке. Помнится, что около этого времени появился, «из дальних странствий возвратясь», второй сын Владимира Дмитриевича, Николай Владимирович, и поселился у отца.

Он стал ходить в контору в «Толмачи», вести иностранную корреспонденцию, которую специально изучал. Ежедневно завтракал у нас наверху. С трех часов же уходил в магазин на Ильинку. Он был неглуп, много видел, по его собственным словам, «шатался» по миру. Годами, в Берлине, Париже, Белфасте, Лондоне, Нью-Йорке и других городах, целыми днями простаивал на перекрестках главных улиц и любовался на проходящих женщин. Знал языки. Был чрезвычайно начитан. В пару дяде Яше был великий сплетник, но, при большом уме и наблюдательности, его рассказы были всегда живы, реалистичны, занятны по форме. Бывали и остроумны, и даже подчас юмористичны. Поражал же своим невероятным цинизмом. Он был, несмотря на все эти качества, одарен, как все Коншины, веселостью, добродушием и большою отзывчивостью.

После ухода от нас Наталии Васильевны следующей осенью, когда нам с Сашей минуло 17 и 16 лет, родители украсили с громадным вкусом нашу неуютную комнату, бывшую и спальней, и классной. Вместо классной сделали гостиную, а спальня осталась таковою. Поставили нам старый, но прелестный «Bechstein», два письменных столика, которые смотрели в разные стороны, уютную старую мебель. Там мы могли принимать наших друзей.

Николай Владимирович заходил к нам посплетничать часто до завтрака и всегда после него. Он расхаживал по нашей гостиной с энергией, потирал руки, рассказывал без умолку и смеялся, закидывая голову, своим раскатистым баритоном. Ему было лет тридцать (пожалуй, с хвостиком). Он знал действительно обо всем и обо всех: в Москве, России и за границей. В Москве собирал сплетни всех кругов общества, так что мы, видя сравнительно мало людей, из газет и через него, были в курсе всего происходящего, хорошего и плохого. Николай Владимирович мог иметь и, наверное, имел большое влияние на нас, на наше воображение, и пожалуй, и на психологию. Во всяком случае — на меня. Это я сознаю. Мы его любили за добродушие и доброе сердце и жалели его. Он всегда критиковал нас и возмущался, что нас держат взаперти. Почти ежедневно, входя, спрашивал: «А что, третьяковский лед еще не тронулся? Ну, куда же!». Мне часто говорил: «Верочка, ну кто тебя замуж возьмет? Кто помоложе и поглупее, говорит: ей говоришь про арбуз, а она — про Гамлета! А кто постарше и поумнее, гово-

рит: Верочка Третьякова? — это интереснейший вертопрах. Ну, кто же на тебе женится? А?». Мы заливались. Но и разыгрывали его. Так, помню, в тот день, когда папа поехал к бабушке сообщить о моей помолвке (об этом от бабушки сейчас же узнали Надя и Яша, которые жили вместе с ней в новопостроенном доме на месте старого, ильи-обыденского), мы решили ничего Николаю Владимировичу не рассказывать и заранее радовались, как дядя Яша, придя в магазин, первый сообщит Николаю Владимировичу о неожиданном радостном событии в «Толмачах», где тот только что был и перезавтракал, по своему обычаю, спрашивая своих кузин, тронулся ли третьяковский лед?

В самом начале 90-х годов, как раз в то время, как Саша (Зилоти) был еще профессором консерватории, жила-была в Москве молоденькая закавказская красавица Нина Окрамчаделова[8], ласковая, умная, зачаровавшая чуть ли не пол-Москвы, и старых, и молодых. Я ее никогда не встречала, но слышала, что под ее чары подпали оба Коншины, отец и сын.

В то время часто с юга наезжал Аркадий Зилоти[9], старший брат Саши моего, «запорожской», дикой красоты, безудержного темперамента и большой душевной доброты. Он перегонял стада быков и этим нажил в то время хорошие деньги. Купил у Сорокоумовских, известных московских меховщиков, лучшие седые бобры, заказал шапку и шинель, мечтал жениться на какой-нибудь богатой девице, ходил к свахе. Он относился ко мне замечательно мило и рассказывал мне все свои похождения в этих делах, которые меня огорчали своею циничностью. Ничего из этого не вышло, кроме того, что он где-то случайно познакомился с Ниной Окрамчаделовой, от которой сразу сошел с ума.

Сплетни переплетались и путались: то Нина выходила замуж за старика Владимира Дмитриевича, то за сына его — Николая Владимировича.

Как-то раз Аркадий влетел ко мне в ярости и объявил, что вызовет старика Коншина на дуэль. Сколько стоило мне убедить Аркадия в бессмысленности такого поступка. Мне это наконец удалось благодаря тому, что он меня любил и верил. Кто-то сосплетничал об этом намерении Владимиру Дмитриевичу. Он был невероятно польщен, что его, почти 70-летнего, может 30-летний человек считать своим соперником: остался он до конца дней своих неисправимым романтиком.

Огорчил и испугал меня в Аркадии недопустимый, казалось бы, цинизм и нигилизм по отношению к самому себе, равных которым я никогда, ни у кого в жизни не встречала.

Возможно, что это и есть настоящий атеизм: отрицать в себе божественное и верить лишь в свое животное начало. Обескураживало добродушие, с которым он говорил самые страшные вещи.

Более я его никогда не видала. Вспоминаю его с большою грустью.

ГЛАВА 18

КОНЦЕРТ РУБИНШТЕЙНА

Весною 1880 года родители взяли нас с Сашей на оба концерта Антона Григорьевича Рубинштейна[1]. В первый раз мы слышали его и также были в первый раз в большой зале Дворянского собрания; сидели в первых рядах. Как раз перед нами были места «красноворотских» Алексеевых. Алексеевы жили в собственном доме на Садовой у Красных ворот, отсюда их прозвище. Ворота эти были снесены, помнится, после революции 1917 года.

Их было шестеро: родители, два красавца сына, Володя и Костя, которых мы уже встречали у их кузин Якунчиковых; им было 17 и 16 лет; впоследствии Костя стал знаменитым режиссером и актером Московского Художественного театра — Станиславским; и две дочки Зина и Нюша[2], 14 и 13 лет; они были «Татьяной и Ольгой» не только по наружности, но и по характеру. Нас заинтересовало это знакомство, так как мы собирались вместо Кунцева переехать в усадьбу по имени «Куракино», принадлежавшую Аладьиным и только что купленную Сапожниковыми, около их шелковой фабрики, на реке Клязьме.

Сколько мы с детства навидались портретов Антона и Николая Григорьевичей![3] Сколько наслушались от родителей об игре Антона Григорьевича! Увидать его и услышать было таким волнением! А когда Антон Григорьевич вышел на эстраду под долго несмолкавший гром аплодисментов, его могучая фигура с бетховенской головой поразила нас и мы, вся молодежь, сразу почувствовали, что находимся в присутствии громадной, гениальной личности.

Он был выше среднего роста, широкий, скорее худой. Над изумительным, по линиям, лбом были зачесаны назад его темные волосы, падавшие пушисто на виски. Удлиненные, светлые, немного подслеповатые глаза, короткий нос, мужественный рот, энергичная, тяжелая походка, простота движений давали всему облику что-то величественное и трогательное.

Он начал играть вариации d-moll Генделя, фантазии c-moll Моцарта и перешел к сонате C-dur (Waldstein Sonate) Бетховена. Потом играл много Шумана, Шопена и кончил своим Valse Caprice. Играл много пьес «на бис», последним же был марш из «Ruines d'Athènes»[4] Бетховена. Мы, молодежь (смело пишу: «мы»), были поражены, обворожены, растроганы; да, этого впечатления не опишешь, его надо пережить! Мамочка, знавшая Антона Григорьевича, взяла нас с собою в артистическую. В первый раз я почувствовала, что стоит передо мною великий артист: было в нем что-то титаническое, божественное, а вместе с тем такое человеческое, глубокое и нежное, что неотразимо влекло. До сих пор не забыла я, до подробностей, как он играл всех этих авторов! В 1882 году слышали мы его еще несколько раз. В половине 80-х годов он дал цикл «Исторических концертов» в Москве, Петербурге и за границей[5]. Это было величайшим событием в музыкальной жизни Москвы.

Впоследствии, когда мой муж был профессором Московской консерватории (между 1888 и 1891 годами), мы несколько раз вместе слушали Антона Григорьевича, сидя на хорах Дворянского собрания. Сходили с ума от простоты и глубины его исполнения. Казалось, что иначе — и играть нельзя. Это была словно импровизация.

Антон Григорьевич играл замечательно всех авторов, и классиков, и романтиков. Менее часто он играл Баха, так как иногда забывал и в фугах

запутывался. Для меня он остался par excellence* исполнителем Бетховена, Шопена и Шумана и единственным исполнителем Бетховена вообще. Отдельные сонаты исполнялись специально тонко другими пианистами: Бюловым, Есиповой[6], Зилоти; но Бетховен в целом кажется мне истинным, и до сих пор, лишь в исполнении Антона Григорьевича (и впоследствии, разумеется, в меньшем масштабе, в исполнении D'Albert'a[7]).

Неподражаемыми, незабвенными остались все вещи Шопена, в особенности соната b-moll, ноктюрн c-moll, этюд a-moll, прелюды Шумана, соната cis-moll, фантазия C-dur, «Kreisleriana», «Warum», «Vogel as Prophet», «Erlkönig» Шуберта[8]... и его бисовое потрясающее исполнение «Rhuines d'Athènes», при воспоминании о котором и сейчас делается холодно. Игра его была «львиная», а иногда такая воздушная, словно птица улетела в беспредельные небеса (не забуду никогда «Si Oiseau j'étais» Henselt'a[9]).

Когда кому-нибудь, никогда не слыхавшему Рубинштейна, величайшим пианистом кажется такой-то, и когда я говорю, что Антон Григорьевич неизмеримо был выше и что он недостижимо велик, то этим людям хотелось бы мне поверить, а верится с трудом; точно так же и мне, никогда не слыхавшей Листа, хочется поверить, что Лист был несоизмеримо выше Рубинштейна. Головою должна допустить, по своему опыту, возможность, но представить и вообразить этого я не в состоянии.

* по преимуществу, преимущественно *(франц.)*.

ГЛАВА 19

СМЕРТЬ НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Незабываемым грустным впечатлением нашей юности было начало 1881 года, года утрат, которые переживали наши родители и мы с ними. Скончались, один за другим, Федор Михайлович Достоевский, Модест Петрович Мусоргский и Николай Григорьевич Рубинштейн[1].

Родители наши читали и перечитывали Достоевского почти круглый год, особенно летом, в свободное время. Читали и каждый врозь, и часто вместе. После ухода Наталии Васильевны мамочка и мы обе с Сашей читали иногда вслух, по очереди, и так прочли многое из Достоевского, кроме «Братьев Карамазовых»[2]. Мамочка взяла с меня слово, что я не буду читать этой книги раньше 25-ти лет, что я исполнила, и не жалею.

В начале 80-х годов в Москве, во время открытия памятника Пушкину, был съезд всех наших знаменитых писателей[3]. Родители бывали на всех торжествах, и мы с нетерпением ждали их рассказов.

Было незабвенное дневное публичное заседание в зале Дворянского собрания, где говорили речи Достоевский, Тургенев и другие. После речи Достоевского о Татьяне Лариной как идеальном типе русской девушки и женщины, равный которому можно найти лишь в Лизе в «Дворянском гнезде», Тургенев, после долголетней размолвки с Достоевским, бросился тут же, на эстраде, в объятия последнего. Так произошло примирение этих двух великих писателей. В зале была нескончаемая овация им обоим. Большинство публики плакало.

В той же зале был и банкет. Мамочка сидела за столом рядом с Тургеневым, который ее очень любил. Познакомилась и с Достоевским. Он долго с нею беседовал и написал ей замечательное, трогательное, восторженное письмо, которое она нам прочла и которое хранила[4].

Насколько хорошо знал отец Достоевского — я не знаю[5]. Он не любил говорить ни с кем, кроме мамочки, которую боготворил, ни о чем ему особенно дорогом.

Мы знали с детства, как оба родителя поклонялись Достоевскому, как глубоко ценили и любили его философию. Помню, каким потрясенным и разбитым отец приехал домой из Петербурга после похорон Федора Михайловича.

Огорчен был отец и смертию Мусоргского, музыку которого он любил больше всех нас в то время. Он поручил Репину, тоже безумному почитателю Мусоргского, написать его портрет в больнице, незадолго до его смерти[6]. Портрет этот (в сером халате с малиновыми отворотами), замечательный по силе, висит у нас в галерее.

Вспомнился мне по этому поводу рассказ Репина, в половине 80-х годов, в один из приездов его в Москву. Илья Ефимович, поклонник музыки Мусоргского, убеждал как-то Ивана Ивановича Шишкина[7] послушать вокальные произведения Мусоргского в Клубе художников[8] в исполнении Александры Николаевны Молас[9] (сестры Надежды Николаевны Римской-Корсаковой). Иван Иванович после концерта, прощаясь с Репиным, сказал: «Ну, Илья Ефимович, слушал я, слушал и ничего-то не понял». — «Да вы бы еще раз послушали, Иван Иванович, я убежден, что вы бы поняли всю силу и красоту». — «Нет, Илья Ефимович, если я еще раз пойду послушать, то я буду не Иван Иванович, а болван-болванович». Этот случай был не единичным даже с людьми, очень любившими музыку и интересовавшимися ею. Как-то боялись Мусоргского.

Еще в конце 1880 года начал распространяться слух о болезни Николая Григорьевича Рубинштейна. В постель он, говорили, ложиться не хочет, но, перемогаясь, продолжает работать и давать уроки своим ученикам. Ему постепенно становилось все хуже, и он решил наконец поехать за границу отдохнуть и полечиться.

Уезжали в январе в Париж Сергей Михайлович и Елена Андреевна Третьяковы. Они уговорили Николая Григорьевича ехать с ними вместе. Остановились в Grand Hôtel на B-d Capucines*; комнаты их были рядом. Скоро Николай Григорьевич слег в постель; Сергей Михайлович и Елена Андреевна проводили бóльшую часть времени около него. Они действительно были связаны близкой, сердечной дружбой. Дело шло на весну; наступил март месяц. Врач сказал Елене Андреевне, что надежды на выздоровление Николая Григорьевича — нет. Она искренно горевала, но смерти так боялась, что просила врача ее предупредить, когда конец начнет приближаться, чтобы «убежать за тридевять земель». Было несколько дней, что Николай Григорьевич себя чувствовал лучше, бодрее. Елена Андреевна почти все время сидела с ним. Он, по ее рассказам, много беседовал, даже шутил. Утром 11 марта он был особенно весел и даже начал мечтать о скором возвращении в Москву. Потом выразил желание отдохнуть. Положил свою руку на руку Елены Андреевны и начал дремать. Она, чтобы не тревожить больного, не отнимала своей руки и сидела тихо, долго-долго. Постучался и вошел врач; приблизившись к больному, нагнулся, послушал дыхание, поднял лицо, полное удивления, и сказал: «Его уже нет с нами». Елену Андреевну поразило, как незаметно подкралась эта тихая гостья — смерть. Страх пропал, но пришло горе и для Сергея Михайловича, и для нее. Эта скорбная весть облетела Москву как молния и как гром — поразила. Николай Григорьевич был молод, ему было всего 45 лет, и все надеялись, что он поправится и вернется. Николай Александрович Алексеев сообщил сам по телефону нашим родителям об этом всеобщем горе.

В конце марта, в светлый весенний вечер, привезли из-за границы тело Николая Григорьевича и поставили в университетской церкви на Большой Никитской, на углу Моховой. На другой день вечером мамочка поехала с нами обеими на панихиду. Громадная лестница была украшена тропическими растениями, стояло множество лавровых венков. Гроб утопал в несметном количестве цветов. После панихиды мы долго оставались. В тишине церкви слышно было, как плакали ученики Николая Григорьевича, стоя на коленях у гроба, полуспрятавшись в цветах. Эта церковь с того дня осталась нам вдвойне памятной.

Хоронила Николая Григорьевича вся Москва. Студенчество устроило цепь, фонари были окутаны черным крепом. Распоряжался всем Н. А. Алексеев. Нас на похороны не взяли, поехали одни родители. Похоронили Николая Григорьевича в Даниловом монастыре[10].

Николай Александрович Алексеев говорил, что любимый ученик Николая Григорьевича — Зилоти кончает консерваторию весной. Уезжая за границу, Николай Григорьевич выразил ему свое желание, чтобы он перед экзаменом сыграл «Пляску смерти»[11] (Сергею Ивановичу Танееву)[12], прибавив: «Если не вернусь...». О выпускных экзаменах, на которых присутствовал Иван Сергеевич Тургенев, Зилоти подробно рассказывает в своих «Воспоминаниях о Листе»[13].

* Бульвар Капуцинок *(франц.)*.

ГЛАВА 20

ЛЕТО В КУРАКИНЕ

Перемена нашего летнего местопребывания невольно изменила круг знакомства и привела к сближению с несколькими семьями мамонтовского рода. Переезд из дачного места в усадьбу дал более гостеприимный уклад нашей общей жизни.

Вызван был этот переезд болезнью нашей сестры Любы. Она в продолжение нескольких лет страдала острым ревматизмом, ежегодное возвращение которого врачи искали в сырости, «тянувшей» по вечерам из глубоких, заросших оврагов Кунцева.

Я уже упоминала, что усадьба «Куракино» лежала по Ярославской железной дороге. Стояла она в нескольких верстах от полустанка Тарасовка, на полпути к Троице-Сергиевой лавре, как раз между Мытищами, снабжавшими город Москву питьевой водой, и дачным поселком Пушкино.

Решив покинуть Кунцево, мамочка начала снова предаваться своей мечте купить собственную усадьбу тургеневского типа. Но получила обычный отпор со стороны нашего отца, не признававшего земельной собственности для людей, которые не обрабатывают землю своим трудом. Как торговый человек, он признавал для себя лишь городскую собственность, строил доходные дома, выстроил заведение для глухонемых и галерею для собрания картин русской живописи и считал это принципиально правильным. Мы старались понимать его точку зрения, но не могли не сочувствовать мамочке и не огорчаться.

«Куракино» было усадьбой «средней руки». Дом был бревенчатый, штукатуренный, одноэтажный, с дюжиной окон в длину фасада, с мезонином, с тремя крытыми террасами со стороны двора, по которому подъезжали к дому, огибая круглую лужайку, обрамленную кустами пионов и флоксов. С противоположной стороны, выходящей по направлению к реке Клязьме, с большого открытого балкона, над которым висел подпертый деревянными колоннами балкончик мезонина, вели ступеньки в парк. Были здесь и старинные липовые аллеи, и много лужаек, среди которых высились громадные плакучие березы, и группы сосен; множество было кустов сирени, шиповника, жасмина, жимолости. Был и пруд, покрытый кувшинками, с плакучими ивами на чужом берегу. Соловьи по веснам щелкали все вечера и ночи. Днем щебетали и пели всевозможные птички. Из-за Клязьмы, до которой шел громадный заливной луг, куковали кукушки. Было солнечно, просторно и уютно. Верстах в двух, вверх по речке, неподалеку друг от друга, много лет назад поселились брат и сестра с семьями: Сергей Владимирович Алексеев и Вера Владимировна Сапожникова. Последней в наше время уже не было в живых. На ее даче, на самом берегу Клязьмы, жил сын ее Владимир Григорьевич, женатый на кузине своей, Лилише Якунчиковой, которую мы с детства любили. Ребятишки у них тогда были еще маленькие.

Владимир Григорьевич купил Куракино, прилегавшее к земле его шелковой фабрики.

Куракино решено было сдавать, чем наши родители с радостью воспользовались. Наша семья жила в нем не менее тридцати лет и относилась в душе как к своей собственности.

Многое за те годы переменилось и у Третьяковых, и у Сапожниковых.

Я жила там девушкой всего семь лет и одно лето, приехавши из Германии, когда Саша был приглашен профессором в Московскую консервато-

рию[1]. Мне там жилось уютно и тепло, но настоящая привязанность к Куракину была всегда и сохранилась у сестры, Саши Боткиной, и отчасти у двух младших сестер, Любы и Маши.

Ведь мы переехали туда, как я уже говорила, весной 1880 года. И мне было тогда 13 лет, а младшему брату нашему — Ване — не было и двух.

Я вышла замуж весной 1887 года, Саша — осенью 1890 года, Люба — летом 1894-го и Маша — зимой 1897-го, за год до смерти обоих наших родителей. Саша жила там каждое лето со своими дочками, Шурой и Тасей[2], и при жизни родителей и после их смерти, чуть не до революции. В силе привязанности к какому-нибудь месту число прожитых там лет играет большую роль, не говоря уже о привычке. После этого краткого «лирического отступления» — продолжаю описывать.

Напротив нашего дома, на другом берегу Клязьмы, в березовом лесу, стояла маленькая бревенчатая дачка. Там жили Кукины — Николай Семенович, служивший бухгалтером у Сапожниковых, и жена его, Авдотья Александровна[3], которая с молодых лет была своим человеком в доме Веры Владимировны Сапожниковой. Позже буду еще упоминать о них.

«Любимовка», скорее усадьба, чем дача, Сергея Владимировича Алексеева стояла у большой дороги, идущей от Троицкого шоссе. Сначала пересекая реку, затем через лес и заливной луг, описывая полукруг, она прямо вела к фабрике Сапожниковых, где река наша была запружена большой плотиной с проездным мостом. Дом Алексеевых был помещичьего типа, со смежными флигелями по бокам. Во дворе, по левую руку лужайки, находились службы, а по правую — стоял двухэтажный бревенчатый театр, с большой сценой и зрительной залой в два света. Сбоку, по коридору, шли уборные для актеров, а над ними, во втором этаже, были комнаты для гостей[4].

В десяти минутах ходьбы, через парк, была деревня Комаровка, где Алексеевы построили и содержали постоянную лечебницу, во главе которой стоял Владимир Акимович Якубовский[5], талантливый врач, человек умный и привлекательный в обращении со всеми, особенно с больными. У большой дороги, на берегу Клязьмы и недалеко от дома, стояла деревянная церковка с невысокой колокольней. В ней служились всенощная и обедня по воскресеньям и праздникам. Церковь принадлежала усадьбе, но ходили в нее и крестьяне деревень Тарасовки и Комаровки, а также съезжались и все соседи. Мы приезжали на нашей лодке, которая называлась «Чайкой».

Церковь состояла из основной часовни и двух пристроек.

Сколько «замолила грехов» там милая тетя Манечка в Троицын день, окропляя своими святыми слезами каждый цветочек своего букета!

Родители наши летом в церкви не бывали. Отец уходил на долгие прогулки по всем праздникам, с раннего утра до обеда, а мамочка, в тишине, играла на фортепиано или писала письма.

Все Алексеевы приходили к обедне. Нас поражала роскошь и количество нарядов у девочек[6]. Им можно было дать гораздо больше лет, чем было им на самом деле. Даже младшие девочки Алексеевы были всегда разодеты и носили массу колец и украшений. Это было для нас ново. Третий сын, Юра[7], лет 11-ти, прислуживал в алтаре и оттуда, через полуоткрытую дверь, заглядывался на барышень. Я знала, что я ему нравлюсь, и мы весело переглядывались. Самый красивый и симпатичный впоследствии был для меня Юра. Бедный! Через сорок лет он стал в Крыму одной из самых несчастных жертв революции!

После обедни нас иногда звали к себе Зина и Нюша. Они были милые и сердечные. Зина была очень серьезная, а Нюша — веселая. Видались мы недостаточно часто, чтоб подружиться, но были в хороших отношениях.

Сергей Владимирович, небольшого роста, бритый, — типичный Алексеев, с выдающейся вперед пухлой нижней губой, которую из девяти детей унаследовало трое: Костя, Нюша и Борис[8], особенно первый, что и составляло характерную особенность его лица на сцене.

Сергей Владимирович женился, как говорили в Москве, «на красавице Яковлевой». Звали ее Елизаветой Васильевной.

У нее были удивительно красивые серые грустные глаза, серебристые волосы, лицо матовое, бледное. Ходила она, раскачиваясь и сгорбившись, и на первый взгляд казалась немолодой. Но это впечатление исчезало при первом же разговоре с ней и при ее милой, молодой улыбке.

Каждую ночь, по нескольку раз, она обходила все детские и спальни старших детей, впоследствии даже женатых, крестила их, покрывала, потом часами записывала, что надо завтра купить для каждого ребенка: любимое сладкое или нужные ребенку вещи. Ежедневно ездил в Москву посланный, привозивший горы пакетов.

Мать требовала беспрекословно от детей только одного: съесть ежедневно огромный бифштекс. По ее глубокому убеждению, это прибавляло в организме сил для его максимального роста. Этого она достигла, во всяком случае в трех старших сыновьях и в Любе. Остальные дети, как и сами родители, были не выше среднего роста. (Станиславский выглядел почти великаном на сцене.)

Елизавета Васильевна хотела охранить своих детей от развлечений вне дома. Чувствуя склонность их к театру, выстроила постоянные театры, сначала в Любимовке, а позже и в своем доме у Красных ворот, который был роскошнее оборудован[9], чем первый. Она достигла своей цели: молодежь устраивала по нескольку спектаклей в год.

У Володи и Кости гостило всегда много товарищей. У девочек же товарок не было видно: им было всего веселее в своей компании. Жизнь их — двух братьев и двух сестер — вертелась вокруг театра. Они этим не только развлекались, но и этим жили. Девочки спрашивали нас, не захотим ли мы тоже принять участие. Мы ответили, что это зависит от наших родителей, которые поблагодарили и отклонили.

Я знаю, что отец считал участие в спектаклях ядом для меня, что я могу пожелать пойти на сцену, чего он бы никогда не допустил. Позже он воспротивился, о чем я уже рассказывала, несмотря на убеждения Чайковского и Лароша, моему поступлению в консерваторию в класс специальной теории, несмотря на то, что носился с моей музыкой и особенно с моими импровизациями. Раньше этого он долго противился пригласить нам учителя рисования. И когда Наталия Васильевна убедила его сделать это для «развития глаза», согласился на приглашение Василия Семеновича Розанова[10], знаменитого учителя и плохого художника, о котором отец отзывался как о художнике, «опоганившем все присутственные места» своими портретами царей. Радовался, поддразнивая нас, что «Василий Семенович, по крайней мере, из вас художниц не сделает! Всех художниц надо на первой осине повесить; одна была приличная — Роза Бонёр[11], да и то годилась писать одних коров!». Отец, любивший искусство во всех его проявлениях, доходил в нашем воспитании до абсурда, граничившего с деспотизмом, который увеличивался с тем, как мы вырастали.

Вспоминаю, как Мария Константиновна Киричко[12] рассказывала не без ехидства, что сыновья Анны Владимировны Кисловской «искали себе невест» под условием, что они никогда не ездили верхом, не играли в любительских спектаклях и не ездили на балы. «Девочки Третьяковы были бы

для них самыми подходящими». Мария Константиновна смеялась, отлично понимая, как бы мы встретили этих женихов.

Вся семья Алексеевых была музыкальная, в особенности Володя, Нюша и Люба. Володя никогда не играл на сцене, но, будучи весьма недурным пианистом, вел музыкальную часть спектаклей. Исполнялись большей частью оперетки. У девиц были милые голоса и большие способности к сцене. У Зины — талант драматический, у Нюши — инженю; у Кости же — громадный режиссерский дар и тонкий комический талант.

Всего более осталось, из тех годов, в памяти моей исполнение, в один и тот же вечер: «Мадемуазель Нитуш» и «Маскотта»[13]; в первой — Зина, во второй — Нюша и в обеих — Костя. И сейчас слышу в ушах, как он, в «Нитуш», в испуге бормотал: «Мать настоятельница, мать настоятельница...».

Около середины 80-х годов работал в лечебнице в Комаровке студент Костя Соколов[14], интересный, красивый и симпатичный. Он проводил все свободное время в Любимовке и начал участвовать в спектаклях. У него оказался громадный опереточный талант. Люди постарше сравнивали его тогда со знаменитым Родоном[15].

Последним спектаклем, который я видела у них в Москве у Красных ворот, было чудесное исполнение «Микадо» Джильберта и Сюлливана[16].

Пишу о Любимовке и доме их у Красных ворот так много, ибо там зародился Московский Художественный театр[17].

Теперь хочется сказать кое-что о судьбе некоторых из детей, Алексеевых.

Зина годом раньше меня вышла замуж, разумеется за самого интересного из всех, кто у них бывал, — за Костю Соколова. У Зины, в год моей свадьбы, родилась дочка, тоже Зина, вышедшая впоследствии замуж за одного из сыновей Виктора Михайловича Васнецова[18]. Я навестила Зину и восхитилась лишний раз ее замечательной душой, силой воли и убежденностью. Соколовы скоро поселились в своем имении Воронежской губернии. Он лечил и вместе с Зиной устраивал любительские спектакли самого серьезного характера, в которых играли крестьяне и они сами. Были они идеалистами чистой воды.

Володя женился очень молодым на высокой, изящной, красивой молоденькой дочке пушкинского подрядчика, Прасковье Алексеевне[19]. Молодые круглый год жили с родителями Алексеевыми. Ребятишки у них рождались один за другим.

Уже когда я была замужем и жила в Лейпциге, Костя женился на Марусе Перевощиковой, сестре своего товарища Дмитрия Петровича. Маруся стала впоследствии чудеснейшей актрисой Московского Художественного театра — Лилиной. Встречалась я с нею на балах в 1885—1886 годах; я была очарована ею.

В половине 90-х годов стало бывать в Любимовке гораздо больше молодежи: соседи Штекер, где были два молодых человека, Андрей Германович и Роберт Германович и симпатичная девица Мария Германовна[20], чудесно, без устали танцевавшая немецкий вальс. Появился новый друг у Кости — Александр Андреевич Корзинкин[21], культурный, милый. Он был сыном Андрея Александровича Корзинкина[22], женатого на Рыбниковой, отец которой собрал, как помнится, русские былины и песни[23]. Страшно любил Александр Андреевич музыку, литературу, театр и с Константином Сергеевичем основал Шекспировское общество[24]. Константин Сергеевич и Александр Андреевич изредка приходили по вечерам к нам в Куракино. На прогулках по парку моим кавалером всегда бывал Александр Андреевич. Стал он бывать у нас зимою в «Толмачах», носил мне книжку за книжкой, и я ему много играла.

Познакомились мы и с его очаровательной сестрой Еленой Андреевной[25], которая бывала и у нас, и на всех обедах и спектаклях у Алексеевых.

В 1886 году, летом, было великое торжество в Любимовке — серебряная свадьба родителей[26]. А годом раньше Нюша вышла замуж за Андрея Германовича Штекера, и были обед за обедом, спектакль за спектаклем. Я проводила на этих празднествах все время с Корзинкиным, с которым подружилась.

Все наши отцы-купцы ездили в Москву в вагонах, специально для них устроенных из вагонов 3-го класса, но с новыми полированными скамейками. Набиралось купцов наших, начиная от Пушкина, Тарасовки и других станций, несметное количество. Это стало клубом. Отец наш привозил много рассказов, сплетен, но бывали и серьезные разговоры о политике и делах. Это было даже развлечением. Как-то отец приехал и говорит мне: «Меня все поздравляют с твоей свадьбой с Александром Андреевичем Корзинкиным». Я так изумилась, так как была далеко от этой мысли. «Ты с ним, может быть, кокетничала при ком-нибудь? Или вообще?» — «Нет, папочка». — «А почему?» — «Потому, что он слишком хороший». Другой раз мамочка говорит: «Папочка беспокоится. Он сказал, что если Роберт Германович Штекер сделает Веруше предложение и она примет — то меня живого в гроб уложит». — «А почему? Папочка не сказал?» — «А потому, что он немец. Ты с ним не кокетничаешь?» — «Нет, мамочка». — «А почему?» — «Потому, что он слишком неинтересный». И, мне кажется, оба родителя убедились без слов в моей постоянной мечте о Веймаре, о Зилоти. Тем более что я много разбирала «религиозного» Листа («Harmonies Poétiques et Réligieuses»[27]).

ГЛАВА 21

МАМОНТОВСКАЯ ПЛАТФОРМА

От Тарасовской платформы, по направлению к Пушкину, полотно железной дороги шло сначала по мосту через Клязьму, затем, перерезая холм, покрытый лесом, выходило в долину, к мосту другой речки, притока первой. У ската холма, на опушке леса, стояли две красивые дачи, от которых, с обеих сторон полотна, симметрично и параллельно ему, спускались дорожки к Мамонтовской платформе. Она стояла внизу, как раз перед мостом. По склону холма, до самой речки, были разведены роскошные цветники, а сбоку были оранжереи. По левую руку полотна была дача Александра Николаевича Мамонтова, а по правую — Михаила Акимовича Горбова[1].

Переехав в Куракино, мы, по желанию мамочки, сейчас же поехали навестить дядю Александра Николаевича и обещали зайти к Елизавете Ивановне Мамонтовой, жившей в лесу, на берегу той же речки.

Я сейчас же узнала дачу последней, словно виденную когда-то во сне, и вспомнила, войдя в большую комнату в два света, с полатями, что там действительно была и даже ночевала в раннем детстве. Эту дачу Каминский выстроил в русском стиле для Михаила Николаевича[2]. После его смерти и смерти матери мамочка по летам здесь жила вместе со своей любимой овдовевшей невесткой Елизаветой Ивановной (я уже писала раньше о жизни с ней мамочки, когда она осиротела).

После отъезда из дома Татьяны Алексеевны Александр Николаевич жил с двумя старшими детьми, Верой и Сашей. Жизнь детей со слепым, больным самодуром-отцом, впавшим в ханжество, — это было тяжко. Вера тремя годами была старше меня. Ей минуло 16 лет. Была она музыкальная, сердечная, с пылким воображением, одинокая, несчастная. Саша был мне ровесник, был такой же несчастный, добрый и оригинал большой руки.

Мы стали постепенно видаться. Нас довозили полторы версты, по полям ржи, в плетеной тележке — казанке — до Тарасовской платформы, а через пять минут Вера уже бежала по дорожке вниз, к поезду, нас встречать. Вечером мы приезжали обратно домой.

С 1881 года, после смерти Николая Григорьевича, начала ходить легенда, что из Парижа вместо его гроба по ошибке привезли другой, какой-то женщины, что Николая Григорьевича похоронили в Париже, а эту женщину — в Даниловом монастыре. Нас это волновало, и мы решили спросить самого Николая Григорьевича, на спиритическом сеансе. Мы писали азбуку вокруг на листе бумаги — делали пометку на блюдечке, клали руки на него. Блюдечко ходило, и стол наклонялся и ходил по комнате. Николай Григорьевич говорил с нами, и утвердительно, в интересовавшем нас вопросе. У нас развился интерес к сеансам, которые длились часами, днем, и повторялись каждый раз, как мы к Мамонтовым ездили. Масса была интересных разговоров. Но не скрою, что нервы от этого портились, а бросить не хотелось. И молчали мы об этом, боясь что нам запретят. Так продолжалось много лет.

Рассказать о нашей дружбе с Верой и Сашей особенного — нечего. Разговоры вертелись вокруг музыки, театра, вообще искусства. В продолжение семи лет, до моего замужества, а вскоре и Вериного, отношения были теплые, хорошие.

Мы обе с Сашей были старше наших лет и не чувствовали никакой разницы в возрасте с Верой. Я помню, скорее я оберегала Веру от многих ее фантазий, которые были опасны, на мой взгляд, но и так симпатичны. Она была шалая, но чудесная.

Но моей настоящей подругой оставалась Зина Якунчикова. Живя теперь летом вдалеке — с ней переписывались особенно часто, после смерти Васи, которого мы с ней потеряли как раз в первое лето нашей жизни в Куракине, в июне 1880 года. Лишь изредка Зина приезжала в Любимовку гостить к сестре своей, Лилише Сапожниковой.

Помню, что в 1881 году, 15 июля, в день именин Владимира Григорьевича Сапожникова, был у них большой обед, в саду. Были все соседи, и приехало много родственников, между которыми были дядя Савва Иванович Мамонтов, двоюродный брат мамочки, знаменитый меломан, и жена его, Елизавета Григорьевна, родная сестра именинника, Владимира Григорьевича. Были и многие из семьи Якунчиковых, Зина и Наташа — во всяком случае, помню, как сейчас.

Дядя Савва был талантлив, почти гениален, с громадным шармом, умел сразу объединить всю молодежь вокруг себя. Елизавета Григорьевна была скромная, глубокая, культурная, сердечная, всеми уважаемая и любимая, и родными и художниками, постоянно бывавшими у них в Москве и гостившими в их имении, близ станции Хотьково, «Абрамцеве», которое в прежние времена принадлежало семье Сергея Тимофеевича Аксакова[3].

Дети у Елизаветы Григорьевны были возраста детей нашей семьи: старший, Сережа, был годом меньше меня, за ним шли: Дрюша, очень талантливый и тонкий, и Вока (Всеволод). Девочки, Верушка и Шурушка, были гораздо моложе[4]. Первая из них была впоследствии близкой подругой моей младшей сестры, Маши. Мы эту семью изредка видали в городе, и то как-то случайно. Елизавета Григорьевна пригласила нас обеих с мамочкой, а также Зину и Наташу к себе на именины 5 сентября. В этот день съезжались в Абрамцево все дяди, тетки, племянники, племянницы и множество друзей. Мы, разумеется, страшно радовались туда поехать, так как известно было, что там весело как нигде.

Познакомились мы с Машей, Таней и Соней Мамонтовыми[5], там же были Зина и Наташа Якунчиковы. Было множество мальчиков Мамонтовых. Мы валялись на сене на сеновале, бегали по полям, обедали на большой террасе. На другое утро дядя Савва взял нас всех на охоту на зайцев, с гончими, в дубовую рощу, за полями. Нечасто, но все же несколько раз была я в те года в Абрамцеве.

Задумал дядя Савва выстроить церковь неподалеку от дома, в лесу[6]. В то время в Москве еще жил Репин, там же поселился уже Васнецов, и Поленов только что вернулся с Востока, из Палестины и Египта[7]. Этим воспользовался дядя Савва, поручив им всю церковную живопись будущей церкви. Помню, один год Репин с этой целью жил со своей семьей на даче близ Хотьково[8], где мы у них бывали. Васнецов с семьей жил в Абрамцеве недалеко от дома, в большой избе с верхним светом, прозванной «Яшкиным домом»[9]. Он писал там большую картину, помнится — «Богатырей»[10]. Поленов, будучи неженатым, жил в большом доме. Гостила там часто и подолгу Наташа Якунчикова. Очень была заинтересована Василием Дмитриевичем Поленовым, с которым, через некоторое время, и повенчалась в новой Абрамцевской церкви[11].

Около нее похоронен Дрюша. Он был талантливым архитектором, и чуть ли не по его проекту была выстроена эта очаровательная церковка[12].

На Рождество дядя Савва поставил у себя дома, в громадном, высоченном своем кабинете, «Снегурочку» Островского с музыкой Чайковского[13].

За что только дядя Савва не брался сам! И пел, и сочинял стихи и музыку, и рисовал, и лепил, и актерствовал, все-то у него выходило талантливо.

Заставлял друзей своих, уже не говоря о племянниках, участвовать в

своих фантазиях, как только приходила ему мысль, что такой-то или такая-то или другое может исполнить. Иногда засаживал он художников и садился сам с ними, чтобы одновременно рисовать или лепить друг друга. Так существует прекрасный бюст И. Е. Репина работы В. М. Васнецова, сделанный в подобных условиях[14].

Художники должны были не только писать декорации, рисовать костюмы, но и лицедействовать, по желанию или приказу дяди Саввы, у которого был необъятный энтузиазм, невольно заражавший других. В таких условиях постановки и исполнение пьес были художественными и дух произведения передавался целиком.

В «Снегурочке» Мороза играл Васнецов, Бермяту — Репин, Царя Берендея — дядя Савва, Снегурочку, в прологе, — Оля Мамонтова. Прекрасной, трогательной Снегурочкой в самой пьесе была Маша, Купаву играла Таня[15], Леля — Зина Якунчикова, Николай Николаевич Вентцель[16] очень «драматически» играл Мизгиря.

Характерными Бобылем и Бобылихой были Николай Семенович и Авдотья Александровна Кукины, слепого бандуриста пел Юра Мамонтов[17], скоморохами плясали Вока и Ваня[18].

При повторении «Снегурочки» следующей зимой заменены были лишь две роли: вместо дяди Саввы Берендея играл Петр Антонович Спиро[19], дав более тонкий образ мудрого легендарного царя, а в роли Леля заменила Зину Якунчикову — Наташа Мамонтова[20].

Последним спектаклем, который я видела в доме дяди Саввы, было его собственное произведение «Каморра»[21]. В то время начал участвовать в спектаклях молодой Антон Серов, как ошибочно назвал его Репин, думая, что имя «Тоша» происходит от Антона, в действительности «Тоша» было сокращенное «Валентоша», от Валентина, настоящего имени Серова. Прозвище Антон навсегда осталось за ним в доме Мамонтовых[22]. Играл он преталантливо. Пела в «Каморра» Александра Николаевна Бостанжогло-Гальнбек[23].

В половине 80-х годов дядя Савва открыл в Газетном переулке (если не путаю) итальянскую оперу[24]. Переслушали мы с Сашей там большое количество опер, которые более нигде не давались в то время.

О прежней, знаменитой, итальянской опере и помину не было. Опера в Большом театре стала главным образом русской, сохраняя лишь ставшие классическими в репертуаре иностранные, как «Гугеноты» (4-й акт которого Франц Лист считал гениальным), «Фауст», «Кармен» и проч.

У Мамонтова бывали очень талантливые артисты, сделавшие себе имя в его опере. Так, любимцами Москвы стали два очаровательных молодых певца, прекрасной наружности и хорошо игравшие, — Антонио и Франческо д'Андради[25]. Помню их в «Фаусте», «Трубадуре», «Травиате», «Джоконде», «Севильском цирюльнике» и особенно в «Кармен». Самою Кармен пела талантливая, музыкальная, но переигрывающая меццо-сопрано Любатович[26]. Сопрано была Ролла[27]. Для Джоконды была выписана даже Мария Дюран[28].

Сестра Саша увлекалась тенором Антонио, а я — баритоном Франческо д'Андради. Ездили мы по большей части с тетей Манечкой, любительницей итальянской оперы и театра вообще. Она, милая такая и удивительная, успевала даже, по субботам сходивши в 6 часов ко всенощной, везти нас в карете в Газетный переулок, в оперу! Как она увлекалась, как аплодировала! Девочки Мамонтовы, имея контрамарки, ходили в оперу почти ежедневно, и мы там встречались и вместе восторгались!

В половине 90-х годов, когда мы жили за границей, дядя Савва основал

знаменитую русскую Мамонтовскую оперу. Там расцвели таланты Шаляпина, Рахманинова (как дирижера и отчасти оперного композитора)[29], Надежды Ивановны Забела, для которой Римский-Корсаков[30] написал «Садко». Она была изумительной исполнительницей и в других операх Николая Андреевича (в «Снегурочке», «Золотом петушке»). Там же расцвели таланты Серова, Коровина[31]. К сожалению, я уже не застала этой, поистине художественной оперы. Но, вернувшись в Россию в первый год двадцатого столетия, наслаждалась и поклонялась этим талантам в отдельности. Шаляпин и Забела-Врубель были членами труппы Мариинского театра, также Коровин был декоратором этого театра вместе с Головиным[32].

Братья д'Андради бывали часто в Леонтьевском переулке у Мамонтовых. Наташа[33], которой было в те года 16, 17 и 18 лет, серьезно была увлечена Франческо, а я — Сашей Зилоти. Изо всех девочек Мамонтовых я особую нежность чувствовала к Наташе. У нее были самые романтические беседы. Мы обе скрывали наши чувства от посторонних глаз и были почти что «товарками по несчастью». Наташа училась в гимназии в одном классе с Варей Зилоти[34], сестрой Саши Зилоти. Я ее встречала у Наташи, через некоторое время мы начали с Варей переписываться. Она меня никогда Саше не выдавала. Все это для меня увеличивало романтическую атмосферу в доме «леонтьевских» Мамонтовых. Мы видались с Наташей довольно часто до самой моей свадьбы. В середине 80-х годов Маша Мамонтова была уже несколько лет замужем за Владимиром Васильевичем Якунчиковым, а Зина — за Эмилем Юльевичем Морицем. Зина была упоена счастьем с этим действительно необыкновенным, интересным человеком. Родились у нее дети, один за другим. Она нигде не бывала и ни с кем не видалась. Было очевидно, что ничего ее не интересовало вне ее мужа и ее семьи. Мы с ней виделись очень редко и совсем не видались со времени ее второго замужества[35]. Наташа заменила мне Зину. Это была единственная подруга моложе меня, но мы подходили друг другу нашим «романтизмом».

Вышедши замуж, я жила много за границей и оттуда вернулась в Россию, прямо в Петербург, в первый год двадцатого столетия. Поэтому знаю последующую судьбу Мамонтовых лишь понаслышке.

Серов, проведший свою юность и часть молодости в доме Мамонтовых как «член семьи», много раз писал всех барышень Мамонтовых, особенно часто — младших. Написал и знаменитый портрет с Верушки, еще девочкой*, сидящей за столом в Абрамцеве, перед фруктами на скатерти[36].

От нахлынувших воспоминаний о трагической судьбе многих из этих трех семей Мамонтовых в глубокой тоске кончаю эту главу...

* Картина Серова «Девочка с персиками».

ГЛАВА 22

НАШИ ХУДОЖНИКИ

Хочется рассказать о ряде художников, живших в Москве, кто постоянно, а кто временно, с которыми у нас в семье были чудесные отношения; разумеется, весьма различные с каждым из них. С некоторыми была и большая душевная близость.

Затруднение для меня в этих рассказах составляет то, что в юности впечатления чаще всего складывались из общих разговоров за столом, а самые характерные и ценные отношения наших родителей с этими художниками должны были, неминуемо, ускользать. Многое совершалось, разумеется, где-то вне нашей столовой, о чем мы могли лишь догадываться и чувствовать «в воздухе», по психологии развития этих отношений.

Только что сказанное может одинаково относиться и ко всем людям, бывавшим у нас запросто: писателям, музыкантам и просто знакомым.

Биографических данных почти ни о ком не знаю. Много монографий выпущено было после нашего ухода из России, но я не имею их под рукой, чтобы проверить. Также слишком сложно получить некоторые сведения от близких, оставшихся на родине и могущих помнить факты, кроме тех, которые остались в моей памяти. Решаюсь все же описать то немногое, что помнится, словно полулегенды, тающие в тумане прошлого...

Земля наша велика и обильна — талантами!

Перов[1] родом из остзейских баронов; Владимир Маковский — из московских дворян; Репин — чугуевец, из Запорожья[2]; Васнецов — из вятских северян; Суриков — сибиряк, из Красноярска[3].

Откуда только Россия-матушка не дарила нам друзей! Вспоминаю их лица. У одних — сильные и выразительные, у других — тонкие, прекрасные! Как их лица, так и их таланты и характеры были богато разновидны, даже почти противоположны один другому и всем остальным!

А все пути привели их в Рим — в Московскую Третьяковскую галерею, чтобы висеть рядом на ее стенах, во славу Русского Искусства! Разве это не легенда?!

В. Г. ПЕРОВ

Василий Григорьевич фон Криденер, еще в школе, так прекрасно набрасывал пером карикатуры и портреты учителей и товарищей, что последние дали ему прозвище Перов, которое он сохранил на всю жизнь своим псевдонимом, ставшим его фамилией.

Помню с детских лет, как он часто приходил к нам завтракать или обедать; его остротам, которых мы не могли понимать, и рассказам, из которых мы некоторые понимали, — не было конца; говорил он мягким голосом, серьезно, а все взрослые за столом заливались смехом, в особенности наш отец.

Василий Григорьевич был роста выше среднего, брюнет, изящной наружности. Хорошо одевался, часто ходил в коричневой бархатной жакетке. Манеры его просты и прекрасны. Когда вы смотрели на него, не могло быть сомнения: он художник, и самый тонкий. Особенно выдавали его — его руки.

Как-то, помню, привез он с собой свою молодую жену, Елизавету Егоровну[4], небольшую, полную, с круглым лицом, темными глазами и невероятно милой улыбкой. Привели они один раз к нам мальчика наших лет,

Володю Перова[5], оказалось, что он был сыном первой жены[6] Василия Григорьевича. На всю жизнь, кажется, Володя остался в дружеских отношениях со своей доброй мачехой. Елизавета Егоровна быстро сошлась с мамочкой. Будучи очень музыкальной, она любила играть у нас в четыре руки, а когда приходилось, то и в восемь рук.

Перов был профессором в Школе живописи и ваяния[7], на Мясницкой. Там ежегодно бывали в классах ученические выставки на святках и выставки «передвижников» на Страстной и Святой неделе[8]. На всех этих выставках мы бывали по многу раз, часто одни, но когда приезжали туда с мамочкой, то заходили к Перовым. У них была большая мастерская с громадным окном, завешанная и заставленная картинами; в углу стояло фортепиано. Больше ничего не помню. Мы болтали с Володей, и он иногда бывал и у нас. Так проходили года. Наша галерея все более богатела картинами и портретами работы Перова. Последние были тонки психологически, передавая и абсолютное сходство. Чтобы написать такие портреты, как Гончарова, Рубинштейна, Тургенева и особенно Достоевского[9], и суметь рассказать на полотне «всего человека», надо было быть огромным художником. Так мне представляется сейчас.

Когда мы были большими девочками, мы стали замечать, как плохо выглядел в то время Василий Григорьевич; стали слышать озабоченные разговоры о его здоровье и видели часто заплаканные глаза милой Елизаветы Егоровны, когда она приходила к завтраку повидаться и отвести душу с нашими родителями. Василий Григорьевич прямо таял.

Ранней весной 1882 года наши родители перевезли его с Елизаветой Егоровной к нам на дачу в Куракино. Он жил в уютной, светлой детской, выходившей на большой круг во дворе, на солнце.

Наши родители мучились и томились. Лечил Василия Григорьевича его брат, Анатолий Григорьевич Криденер, сын мачехи[10] Василия Григорьевича. Впоследствии А. Г. Криденер у нас часто бывал — и в Москве, и в Куракине, приезжая на воскресенье.

Понемногу Василию Григорьевичу становилось все хуже. Начал тосковать и скучать по Кузьминкам под Москвой, где любил проводить лето, был убежден, что там, в каменном флигеле, он скоро поправится. Вскоре он туда уехал[11].

В ту весну уже была готова пристройка галереи, вдоль Толмачевского переулка, то есть перпендикулярно старой[12]. Три залы наверху и столько же внизу. Ввиду того что верхний этаж старой галереи был выстроен вровень с нашей столовой и был несоразмерно высок, пол в пристройке подняли и пришлось сделать дубовую лесенку из старой галереи в новую.

Только что закончили развешивать картины в пристройке, а в старой галерее все, в том числе и весь Перов, было перевешено более просторно. Это радовало умирающего Василия Григорьевича.

Помню горе родителей наших при вести о его кончине в Кузьминках. Отпевали его в переулке на Мясницкой, близ Школы живописи и ваяния. Все мы, конечно, были в церкви, а на кладбище нас не взяли, и я не могу вспомнить, где похоронили его[13].

Помню, как мы с сестрой Сашей под этим грустным впечатлением не могли целый день ничем заняться и болтались в галерее. И как там старался нас утешить и развлечь, тоже только что вернувшийся с похорон, художник Николай Дмитриевич Кузнецов[14], который стал ежегодно, весной, приезжать в Москву во время Передвижной выставки.

Вспомнилось мне сейчас, как он в тот день, увидя меня, сидящей на лесенке в галерее задумавшись, — так мило подошел, нагнулся, заглянул

снизу мне в лицо и спросил своим потешным одесским говором: «А что с вами, Верочка?..». Я расхохоталась, и мне стало сразу легче. Было мне тогда пятнадцать лет.

В. Е. МАКОВСКИЙ

Одним из самых очаровательных, тонких, душевных людей, которых я знала в жизни, — был Владимир Егорович Маковский. Был он привлекателен и своей внешностью: ростом гораздо выше среднего, худой, живой в движениях, элегантный, с зачесанными назад темно-каштановыми волнистыми волосами, небольшой бородкой, светлыми глазами и чарующей улыбкой.

С детства и до моих 25 лет, когда я навсегда покинула Москву, я часто видала его в «Толмачах». Нередко он завтракал у нас, когда приходил утром по делу к нашему отцу, и часто запросто обедал один.

Чувствовалась большая теплота в его отношениях с обоими нашими родителями. Любил музыку до безумия. После обеда у нас всегда просил мамочку ему поиграть. Они шли в залу, а папочка оставался в столовой, курил свою сигару, читал, слушал издали и наслаждался. Начиналось и кончалось Шопеном; Владимир Егорович слушал, сидя рядом с мамочкой, облокотившись на рояль, почти всегда возвращался в столовую заплаканным и как будто облегченным. Мы, ничего не зная, чувствовали какую-то большую драму в душе его. Когда он уходил, бывало нежное прощание и просьба прийти к нам как можно скорее. Приезжал он изредка и в Кунцево, под осень, в темные вечера; сколько всего переиграла мамочка Владимиру Егоровичу.

На Рождество и весной, в день Марии Египетской, в день ангела тети Манечки, или в день рождения мамочки, устраивались в «Толмачах» большие обеды, на которых бывали многие художники, а также Владимир Егорович со своей женой, Анной Петровной[15]. Она была высокая, с элегантной фигурой, с «русским кислым носом», как выразился о себе самом когда-то в Кунцеве Иван Сергеевич Тургенев. Любила ораторствовать о «сенсационных» происшествиях громко, через стол, и употребляла кстати или некстати слова: «Я констатирую факт». Это было для нас, молодежи, достаточно, чтоб чувствовать разницу в обликах ее и удивительно простого, чуждого какой-либо безвкусицы Владимира Егоровича. Впрочем, она была очень любезная и милая.

После смерти В. Г. Перова Владимир Егорович занял его место как профессор в Школе живописи и ваяния[16]. Насколько помню, Маковские жили в той же квартире, где жили прежде Перовы, и мы к ним изредка заходили после выставок.

Не могу рассказать никаких фактов, известных нам, детям, в отношениях наших родителей с Владимиром Егоровичем.

Было и осталось впечатление, что в душе его жил целый мир поэзии, романтики. Удивляло меня тогда несоответствие между его душевным обликом и его искусством. Его картины, прекрасные и интересные, полны, за немногими исключениями, неумолимого бытового реализма.

Замечено в жизни, что лучшими комиками на сцене и клоунами в цирке бывают люди самые серьезные, вдумчивые, даже с трагическим уклоном.

Не романтизм ли (как антипод) развил в Маковском ту аналитическую сосредоточенность, которая так ярко выражена в психологии бесчисленного множества типов на его картинах?

В истории русской живописи, насколько я могу вспомнить, было только четыре семьи, которые дали ряд художников-живописцев. Кто — пару,

кто — целый «выводок», а кто — и несколько поколений. Это: Брюлловы[17], Репины[18], Маковские[19] и Бенуа[20]. У знаменитого Карла Павловича Брюллова был племянник, Павел Александрович[21], известный своими прелестными алжирскими пейзажами. У Ильи Ефимовича Репина был сын — художник, Юрий. Работ его не видала. В семье Маковских выросло сразу четыре живописца: братья Константин, Владимир, Николай и сестра-акварелистка, имени которой вспомнить не могу. Николай Егорович писал бесконечные виды Египта, довольно колоритные, но однообразные. Константин и Владимир Егорович были «знаменитыми Маковскими»: первый — в Петербурге, второй — в Москве. Владимир Егорович был художником-«жанристом», по московскому выражению, нередко впадавшим в тенденцию. Его картины сохраняют свою ценность как память об ушедших типах, ушедшем быте, ушедшей эпохе. Это более психологические моменты, чем настроения или переживания, более описательные, чем чисто живописные картины. Рисунок меня часто смущал неправильностью пропорций фигур; его живопись казалась мне не столько живописью, сколько раскраской. Я чувствую наибольшее «настроение» и вижу наибольшую «живопись» в картине, где двое старичков-помещиков, муж и жена, варят под деревьями варенье, и самое глубокое переживание — в картине «Оправданная»; драматически понятая, как бы Мадонна с ребенком[22].

Для меня Владимир Маковский остается большим художником-психологом, но отнюдь не живописцем по существу. Константин Егорович по большей части писал портреты, женские и мужские, — и иногда прекрасные. В нашей галерее висят портреты певца Петрова и Даргомыжского[23]. Константин Маковский, по моему мнению, был переоценен публикой как блестящий, популярный художник и недооценен серьезными критиками, проглядевшими, может быть, боясь его некоторой банальности, его громадный, чисто живописный талант. Один «Алексеич»[24] в Третьяковской галерее, по-моему, доказывает это. Сколько прекрасно написанных мест в его больших декоративных портретах (например, портрет его второй жены, урожденной Летковой, с детьми) и в больших полотнах, как «Боярский пир» и «Русалки»[25]. При хорошей школе его живописная техника была бы первоклассной. Может быть, я и преувеличиваю, но с детства возмущалась несправедливой и неточной, по-моему, оценкой этих двух даровитых братьев-художников. У Владимира Егоровича старший из сыновей, Александр, был портретистом, а второй, Константин, — архитектором[26]. У Константина Егоровича сын Сергей [27] был известным художественным критиком и писателем об искусстве, с очень тонким вкусом.

В семье Бенуа художественный талант унаследовался еще шире членами ее, в нескольких поколениях. Пока, насколько мне известно, в трех. Родоначальником «Бенуяды» (вроде, как говорят в Германии: «Die Bache») был Николай Бенуа, архитектор-акварелист. Из трех его сыновей, которых я знаю, двое пошли по пути отца: Леон и Альберт Николаевичи; последний был особенно знаком нам своими тонкими, восхитительными акварелями; третий сын стал знаменитым, чудесным и любимым всеми живописцем Александром Бенуа. Сестра их, жена скульптора Лансере, стала матерью двух известных художников — Николая и Евгения Лансере — и известной художницы Серебряковой, написавшей портрет своей очаровательной дочки, голенькой, лежащей на диване (портрет находится в коллекции Б. А. Бахметьева, в Нью-Йорке)[28].

У Альберта Николаевича Бенуа почти все дети талантливые акварелисты[29].

У Александра Николаевича обе дочки способные к живописи[30]. Сын его — талантливый художник-декоратор, известный своими работами в Париже и в Риме[31].

И. Е. РЕПИН

В воспоминаниях об Илье Репине придется мне снова, и не в последний раз вообще, обращаться к спасительной «живой хронологии», по примеру рассказа Чехова.

Богатство впечатлений вносил Илья Ефимович в наши юные души уже одним своим присутствием, одной своей гениальностью, чрезвычайной наблюдательностью, большим умом, переплетенным с лисьей очаровательной хитростью и меткостью. Он бывал всегда интересен и вкрадчиво уютен.

Часто приходил он с нашим отцом прямо из галереи к нашему семейному завтраку. Отношения между отцом и ним были ярки обоюдным восхищением, поклонением, теплотой и стоят совсем особняком в моей памяти. Мы заслушивались и заглядывались на них, сидящих по бокам угла стола. Несмотря на кажущееся спокойствие и сдержанность, искрились в глазах Ильи Ефимовича бесконечный темперамент, энтузиазм и веселая ирония, рядом с верой во все прекрасное.

Среднего роста, с курчавыми густыми прядями волос и бородкой, длинным носом, лисьими зелеными глазами и милой, хитрой улыбкой — он был привлекателен.

Помнится, что несколько лет подряд жил он в Москве со своей женой Верой Алексеевной, на редкость милой, тонкой и чарующей своей, почти детской, простотой, и со своими занятными ребятишками[32].

Мне представляется, что они переехали в Москву из Парижа, куда Репин был послан пенсионером по окончании Академии художеств в Петербурге[33], по классу Павла Петровича Чистякова[34].

Помнится, что Надя, вторая дочка Репиных, называлась у них «нашей парижанкой». Вера, оригинальная, похожая на отца своего, и Надя, более хорошенькая и темная, были тогда подростками лет 6-ти и 8-ми, а Юрий был лет 3-х или 4-х. Волосы на голове ему брили, оставляя длинный запорожский чуб.

Помню, но очень смутно, некоторые уголки их квартиры; ни дома, ни улицы припомнить не могу[35]. Мы к ним изредка с мамочкой заезжали. Вера Алексеевна тоже изредка бывала у нас вместе с Ильей Ефимовичем на обедах, и мы всегда радовались ее видеть и с ней поговорить.

Вспоминается мне словно сон, как в последнее наше лето в Кунцеве, лето 1879 года, приехал к нам как-то в праздник, утром, Илья Ефимович. После завтрака пошли родители наши на прогулку в знаменитую Липовую рощу, чтоб показать ее Репину; взяли с собой и нас, старших девочек. В глубине рощи Илья Ефимович сорвал несколько чудесных, темно-лиловых фиалок и незабудок, сложил их в букетик и подал мне, говоря: «Вот это соединение красок необыкновенно красиво и мое любимое сочетание».

Святки и первые дни 1883 года мы с сестрой Сашей провели с родителями в Питере, и там мы бывали у Репиных на Екатерининском канале[36]. Помню балкон, выходивший на канал. На нем стояли постели, где семья Репиных, в дохах и шапках, спала, несмотря ни на какой мороз. Эта мысль нас прямо испугала как что-то совершенно новое, неслышанное, показавшееся нам тогда почти безумием. В лето 1882 года в окрестностях Москвы, на Ходынском поле, неподалеку от Петровского дворца, была Всероссийская промышленная выставка с обширным художественным отделом. Картины Репина — прямо гремели[37].

В Москве написан был им, по заказу нашего отца, превосходный портрет бабушки Александры Даниловны, портрет Льва Николаевича Толстого, старообрядца Сютаева, поэта Афанасия Афанасьевича Шеншина-Фета, Ивана Сергеевича Тургенева[38]*.

В Москве же Репиным были написаны портреты Веры Алексеевны Репиной, спящей в кресле, дочки их Веры, сидящей на заборе на солнце[41], и другие. Если не ошибаюсь, созданы там, а может быть и написаны, изумительные по живописи и по ярко и тонко выраженной психологии картины: «Царевна Софья», «Иоанн Грозный» и «Не ждали»[42], для которой позировали Вера Алексеевна, Вера и их горничная Надя. Когда написаны обе версии «Запорожцев»[43] — не знаю. Самая ранняя картина Репина, о которой мы слышали еще до нашего знакомства с ним, была «Бурлаки»[44]. Кажется мне, что для портрета Мусоргского, написанного в больнице, незадолго до кончины последнего, в январе 1881 года в Петербурге, Репин специально ездил туда из Москвы, по желанию нашего отца[45]. Сколько гениальных портретов работы Репина приходило и вешалось на стенах нашей галереи!

Среди них особенно восхищали меня два портрета Антона Григорьевича Рубинштейна[46].

В лето, когда младшая дочка Репиных, Таня, была еще младенцем, они жили близ станции Хотьково, по Московско-Ярославской железной дороге. Дачка их стояла в молодом лесу, у самого полотна.

В то время Илья Ефимович, вместе с Васнецовым и Поленовым, расписывал маленькую церковку в селе Абрамцеве, принадлежавшем, как я уже упоминала, Савве Ивановичу Мамонтову, и написал, как помнится, престольный образ Спасителя для иконостаса той же церковки[47]. Помню, как наши родители, Наталия Васильевна и мы с сестрой Сашей ездили в Троице-Сергиеву лавру, сговорившись с Репиным, который к нам подсел в поезд в Хотькове. В Лавре мы осматривали особенно внимательно ризницу, сокровища которой показывались как музейные редкости.

На возвратном пути родители проехали прямо домой, в Куракино, а мы с Наталией Васильевной остались до вечера у Репиных. Наталия Васильевна увлекалась талантом и личностью Репина и пробеседовала с ним на балконе до самого ужина. Не забуду, с какой грустью и жалостью я смотрела на хлопоты бедной, милой Веры Алексеевны: у Тани шли зубки, она все время плакала, Вера Алексеевна то и дело убегала к ней, то ее кормить, то убаюкивать. Надо было ей еще хлопотать с ужином и с каким-то неудавшимся пирожным, и я в душе досадовала на Наталию Васильевну: зачем было оставаться и давать столько хлопот ласковой и нежной Вере Алексеевне? Плач за стеной больного младенца на руках молодой матери остался с того дня на всю жизнь для меня одним из самых грустных впечатлений в жизни женщины. Сейчас слышу за сценой плач ребенка на руках Ермоловой 2-й[48] (в пьесе «Блуждающие огни»[49], шедшей в московском Малом театре), в то время как на сцене муж — Горев[50] бурно объясняется в любви Ермоловой 1-й, по пьесе — сестре своей жены. Помню, как я глотала слезы и думала: «Не стоит жить».

* Для этого портрета Иван Сергеевич в этот приезд в Россию позировал много раз. В то время он увлекался, казалось, красивой Еленой Ивановной Бларамберг, писательницей и сестрой композитора Павла Ивановича Бларамберга[39]. Помню, как обедали у нас, совсем запросто, Иван Сергеевич, Елена Ивановна и Репин. Мы, разумеется, мало понимали в остротах Ивана Сергеевича, но веселились смехом взрослых, особенно нашего отца и Репина. Вздумали вдруг гости наши спорить о том, кто, с повязанными глазами, лучше других нарисует Венеру Милосскую. Принесли листы бумаги и карандаши. Все трое гостей завязали себе глаза. Что получилось на бумаге — нам не показали, но, украдкой, мы заметили, что у Ивана Сергеевича линии были на месте, даже закругленные и круглые, а у Репина все они были перепутаны[40].

Вспоминаю, как-то раз, в Москве, мы с сестрой Сашей заехали к Репиным. Вера Алексеевна, сидя случайно со мною одной в столовой за столом, говорила мне, как она, после целого утомительного дня, уложив свою ватагу ребят, измученная, садится за этот стол помолчать и прийти в себя в тишине.

«И вот придет Илья, начнет рассказывать о своей работе в тот день над своими картинами — и усталость моя мгновенно исчезает. Ложусь спать счастливая, полная энергии на будущий день. Тогда я забываю и свое надоевшее мне лицо, которое утром, когда я причесывалась, приводило меня, в зеркале, прямо в отчаяние своей некрасивостью».

А как она была мила! Она осталась для меня идеалом душевной женственности, идеалом подруги художника!

С половины 80-х годов, до и после моего замужества, я продолжала видеть Илью Ефимовича в доме моих родителей, когда он приезжал из Петербурга в Москву по делам. Так длилось до начала 1892 года, пока я, с мужем и детьми, не уехала надолго за границу. Свиделась я снова с семьей Репиных, лишь переехав в Петербург, в мае 1900 года. Уютно провела с ними несколько часов в их квартире в Академии художеств. Увы! Это было, в силу разных обстоятельств, разразившихся вскоре в их семье, — последнее мое свидание с ними.

В. М. ВАСНЕЦОВ

Немного позже Репиных начали бывать у нас Виктор Михайлович Васнецов и его жена, Александра Владимировна, врач по образованию, умная и скромная[51].

Виктор Михайлович с первого взгляда очень удивил нас своей наружностью типичного северянина: высокий, худой, с рыжевато-светлыми волосами, висящими словно мочалки по бокам длинного, скорее красивого лица, с прямо глядящими на вас глазами. Голос гнусавый и говор совсем особенный. Наша прислуга сразу прозвала его дровосеком, лесовиком, а мне рисовался он «лешим», так как о домовых и леших у меня не было представления как о чем-то некрасивом или недобром. Как бы подходила Виктору Михайловичу роль Деда-Мороза в «Снегурочке» Островского! Как сейчас слышу: «Любо, любо мне!».

На одной из Передвижных выставок, не слыхав еще тогда имени Васнецова, увидав висящую совсем отдельно его картину «Слово о полку Игореве»[52], я была очарована, восхищена до внутренних слез. Я любила Древнюю Русь, — а Васнецов рассказывал ее, как легенду, как балладу, и я вернулась домой с выставки совсем взволнованная. Это первое впечатление было и осталось самым сильным от эпического таланта Васнецова. Впоследствии любила я и его «Богатырей», и его «Аленушку», и его Киевскую Мадонну, стоящую на облаках, и Грозного[53], сходящего по лестнице из кремлевских теремов, и многое другое.

Отношения были с Виктором Михайловичем в нашей семье немного иные, чем с другими художниками. Между нашим отцом и Васнецовым чувствовался обоюдный громадный интерес и уважение.

Заходил он к нам часто невзначай, когда у него находилась минута отдыха или зарождающегося творчества. Забегал иногда на минутку после заката солнца, окончив работу, перекинуться словом со всеми нами. Когда приходил обедать, то засиживался. В своем творчестве не был скрытен с нами, охотно говорил о своих планах и мечтах. Любил музыку сильно, ярко, мало ее знал, но жаждал ее, искал и находил в ней вдохновение, к мамочке и ко мне обращался как к источнику, из которого черпал, слушая музыку,

новые мысли — и фантазия его летела за уносящимися звуками. «Верочка, идем! Играйте мне Бетховена» (выговаривал он это имя чисто по-русски). И вот играю ему сонату за сонатой или в четыре руки с мамочкой симфонии или квартеты. Сидит Виктор Михайлович, слушает, вдруг вскочит, ухватившись руками за голову: «Бетховен, как он говорит образно, образно! Ну вот спасибо. Побегу домой. А вы (обращаясь к нам с Сашей) дня через два, когда пойдете гулять по Полянке, — зайдите ко мне посмотреть, что у меня выходит». Мы, конечно, заходили, и показывал он нам когда — начатую картину, когда — свои панно каменного века, заказанные ему для Исторического музея[54].

Позже, после поездки в Равенну, когда обдумывал и делал наброски для росписи и для фресок Владимирского собора в Киеве[55], пристрастился (по его словам) и к Баху, к его «Пассакалии», к прелюдиям и фугам, приходил с каждым годом все чаще «за музыкой».

Когда мне было 17 лет, он сделал с меня набросок своей Царевны для картины «Иван-царевич на сером волке»[56].

Так шел год за годом. Понемногу полюбил Виктор Михайлович и Шуберта, частично и Шопена, даже заслушивался «Фауст-симфонией» Листа, которую мы любили с самой юности играть с сестрой Сашей на два фортепиано. Нравился ему и «Тассо», и «Мефисто-вальс»[57] своей фантастичностью.

Когда я стала невестой Саши Зилоти, Виктор Михайлович рассердился не на шутку: «А я думал, что вы любите музыку больше всего на свете; а вот вы любите музыканта и изменяете своей музыке. Это — великое разочарование! Я не хочу вас больше видеть!». И убежал.

Разумеется, эти слова были лишь выражением преувеличенной минутной досады и не могли бы никогда повлиять на наши отношения. Виктор Михайлович привык, в продолжение ряда лет, приходить к нам в дом всегда, когда ему хотелось слушать музыку. Отказа ни с мамочкиной, ни с моей стороны никогда не было. Он точно чувствовал неотъемлемое право на это, право художника.

Но, как ни странно, события складывались само собою именно таким образом, что нам не пришлось потом никогда видеться.

Тогда же я вскоре заболела, в январе умер мой младший брат. Свадьба наша была перед масленицей[58], и мы с мужем уехали жить в Германию. Когда мы, немного позже, жили в Москве, во время трехлетнего профессорства Зилоти в консерватории, Васнецов расписывал собор Св. Владимира в Киеве. В начале 1892 года мы уехали надолго в Западную Европу и по возвращении в Россию, в мае 1900 года, поселились не в Москве, а в Петербурге[59], откуда и бежали за границу, во время революции, в феврале 1920 года.

В последние годы в России я нередко ездила в Москву как член Совета Третьяковской галереи, при Грабаре[60]. В хлебосольной, радушной семье его жены, милейшей Вали Мещериной[61], я встречалась со многими художниками, но с Васнецовым встретиться не пришлось. Словно, подслушав вызов Виктора Михайловича, судьба решила нарушить наши многолетние добрые отношения.

В. И. СУРИКОВ

Приблизительно в тех же годах, когда мы видались с Васнецовым, поселился в Москве Василий Иванович Суриков. Родом он был из Красноярска, «почти якут», по его собственному выражению, и наружность у него была, мне кажется, типичная для того Сибирского края: небольшой, плотный, с

широким вздернутым носом, темными глазами, такими же прямыми волосами, торчащими над красивым лбом, с прелестной улыбкой, с мягким, звучным голосом. Умный-умный, со скрытой, тонкой сибирской хитростью, он был неуклюжим молодым медведем, могущим быть, казалось, и страшным, и невероятно нежным. Минутами он бывал прямо обворожительным.

Познакомились мы раньше всего с его картиной «Казнь стрельцов»[62] на одной из Передвижных выставок, вскоре после которой картина была повешена на стене нашей галереи. Какое сильное, страшное впечатление давала эта изумительная картина! Облик Петра меня так поразил, что в мою болезнь, случившуюся вскоре, я бредила им. Он являлся мне во сне, в виде кошмара, в продолжение многих лет.

Не вспомню, когда мы лично познакомились с Василием Ивановичем. Ни в его картине, ни в нем самом невозможно было сразу не почувствовать громадной силы гения. Он стал заходить к нам из галереи, с нашим отцом, к завтраку. Как-то позвал мамочку и нас с Сашей к себе, показать свою новую, еще не оконченную картину «Меншиков в Березове»[63]. Когда мы приехали к нему, мы услыхали его звучный голос: «Лиля!»[64]. Вышла к нам милая, молодая, скорее красивая, скажу даже очаровательная женщина, бледная, с лучистыми темными глазами, темной косой. Она была всегда, и впоследствии, конфузливая, но приветливая. Квартира была у них чрезвычайно маленькая и холодная. Чтобы видеть картину его, стоявшую на мольберте в первой комнате, надо было уйти вглубь передней и оттуда смотреть через дверь, открытую на обе половинки. Невероятной силой, невероятной грустью повеяло от фигур детей Меншикова, особенно от старшей дочки, сидящей у колен отца, на скамеечке, по всей вероятности. Она кутается в шубу, очевидно ее знобит, она расхварывается. Исторически известно, что вскоре она умерла от оспы. Как далеко несутся на лицах детей мысли о покинутом, потерянном! И эта сокрушенная мощь на лице затравленного человека, еще недавнего временщика!

Посмотрев картину, мы пошли в детскую, где нас встретили две девочки: старшая, Оля, лет шести, портрет отца, и младшая, Лиля[65], более миловидная. Мы посидели у них с часок, было у них очень уютно.

Со следующей Передвижной выставки «Меншиков» был привезен в нашу галерею и повешен неподалеку от «Стрельцов».

В половине 80-х годов наняли Суриковы на лето избу в Мытищах[66]. Село это знаменито центральным водопроводом для снабжения всей Москвы питьевой водой. Лежит оно на Троицком, собственно Ярославском, шоссе, по которому столетиями шли целый год, особенно летом, беспрерывные вереницы богомольцев, направлявшихся сначала в Хотьковский монастырь, затем в Троице-Сергиеву лавру; шли со всех краев России, сначала поклониться мощам множества московских угодников, а в Лавре — мощам Сергия Преподобного. Разнообразию типов — не было конца. Мы сразу догадались, что Суриков задумал писать картину с толпой, народную историческую картину.

Село Мытищи отстояло от деревни Тарасовки по тому же шоссе, только верст на 10 ближе к Москве. Суриков писал захлебываясь всех странников, проходивших мимо его избы, интересных ему по типу.

Когда смеркалось, часто он пешком «отмахивал», по его выражению, десять верст и появлялся неожиданно у нас в Куракине. Пили чай на балконе, живо, интересно беседовали; потом переходили в дом, где в гостиной засаживали меня, грешную, за фортепиано, и надолго. Василий Иванович всегда тихо и звучно просил: «Баха, Баха, пожалуйста!». Игрались из «Wohl-

temperirtes Clavier»* прелюд за прелюдом, фуга за фугой; игралась и органная токката, и фуга d-moll в переложении Таузига[67], тогда — малоизвестная, а в настоящее время везде заигранная, но Василий Иванович трогался более всего самыми красивыми, и на мой вкус, прелюдами в оригинале, особенно любил прелюд f-moll, который приходилось каждый раз ему повторять по нескольку раз.

Темнело. Приезжал из Москвы отец наш, всегда душевно радовался найти у нас Василия Ивановича, который обычно оставался обедать. А если шел дождик, то и вечером музыка продолжалась, к удовольствию и отца. К осени, как дни становились короче, Василий Иванович все чаще приходил «послушать Баха» и за дружеской беседой отдохнуть от утомительного дня писания прохожих странников, с которыми не обходилось иногда без недоразумений всякого рода.

На следующей Передвижной выставке увидали мы выставленную в отдельной комнате «Боярыню Морозову»[68]. И поняли, зачем Василию Ивановичу понадобились все эти оригинальные, сильные, а иногда даже страшные лица, которые он нам показывал в этюдах, летом, когда мы, катаясь, заезжали к ним в Мытищи.

«Боярыня Морозова», разумеется, тоже висит в нашей галерее, украшая самую дальнюю стену анфилады пяти зал пристройки, идущей вдоль Толмачевского переулка.

Не помню более, в каком именно году была выстроена вторая пристройка. Первая пристройка состояла из трех зал в нижнем этаже и стольких же — в верхнем. Она была готова, как я уже писала, незадолго до смерти В. Г. Перова, весной 1882 года. Вторая пристройка, состоявшая из двух зал внизу и двух наверху, была готова года за два, если не ошибаюсь, до моего замужества. Во всяком случае, в середине 80-х годов. Досадно, что хронологическая память так у меня хромает. Приятно было, на нашем домашнем языке, всю галерею делить на «верхнюю» и «нижнюю», на «старую» — параллельно церковной ограде — и «новую», вдоль Толмачевского переулка. Позже были выстроены залы вдоль протопоповской земли, перпендикулярно Толмачевскому переулку. Была выстроена пристройка к дому, в северной его части, по три комнаты в каждом из двух этажей[69]. В бельэтаже долго жили сестра Люба, брат Миша и их воспитательница, Ольга Николаевна Волкова. В средней (бывшей Мишиной комнате) родилась моя старшая дочка, Вера, осенью 1890 года, а в третьей, бывшей Любиной комнате, скончался наш отец, 4 декабря 1898 года. Позже все эти комнаты были переделаны в одну большую залу. После смерти родителей и наш семейный дом вошел в состав галереи[70]. В большой зале, где жили наши фортепиано, повешена коллекция икон. С ней висят «Стрельцы», «Меншиков» и «Никита Пустосвят»[71] Перова. Картина «Меншиков в Березове» для меня самая лирическая, хотя, возможно, что и более слабая, из трех картин Сурикова в нашей гелерее. «Боярыня Морозова» рядом с «Явлением Христа народу» А. А. Иванова в Румянцевском музее и «Тайной вечерей» Н. Н. Ге в Музее Александра Третьего[72], по моему мнению, самые великие русские картины.

Не без волнения я заканчиваю мои воспоминания о В. И. Сурикове, о величайшем, гениальном, стихийном живописце русском. Контакт с гениальной личностью, хотя бы в продолжение недолгих лет, оставляет невольно навсегда глубокое впечатление на душу человека.

В ближайшие годы ко времени, о котором рассказываю, я, выйдя замуж, по большей части жила за границей. Слышала, что Оля Сурикова, удиви-

* «Хорошо темперированный клавир» *(нем.)*.

тельно милая душа, скончалась молодой[73], а младшая, Лиля, вышла впоследствии замуж за очень талантливого художника Щербиновского[74].

Н. Н. ГЁ

Было три периода в моей жизни, когда я много видалась с русскими художниками. Первый период занял целую четверть века, от моего детства до переезда моего, и надолго, в Западную Европу, то есть от 1866 по 1892 год.

Назову имена художников этого периода, приблизительно в хронологическом порядке, по времени знакомства с ними: Горавский[75], Лагорио, Трутовский[76], Рицциони, Айвазовский, Боткин, Рачков, Перов, скульптор Антокольский[77], Прянишников, Владимир Маковский, Константин Маковский, Ге, Максимов, Крамской, Верещагин, Репин, Васнецов, Суриков, Поленов[78], Куинджи[79], Кузнецов, Бодаревский[80], Мясоедов[81], Брюллов, Ярошенко[82], Шишкин, Чистяков, Левитан.

Второй период — три года, прожитых в Париже (от 1892 до 1895 года), которые дали моему мужу и мне дружеские отношения более чем с полдюжиной художников: Боголюбовым[83], Харламовым[84], Леманом[85], Romманом[86], Гриценко[87], Ткаченко[88], Ендогуровым[89] и другими.

В третий период, в Петербурге, от 1900 по 1920 год, в продолжение двух десятилетий, мы видались со многими художниками «Мира искусства», сплотившимися вокруг Дягилева[90]: с Серовым, Врубелем[91], Сомовым[92], Бенуа, Бакстом, Добужинским[93], Грабарем, Милиоти[94], Яремичем[95], Коровиным и Головиным.

Целый полувековой калейдоскоп! Забежав вперед, для общей картины знакомства в моей жизни с русскими художниками, возвращаюсь в рамки воспоминаний.

С большой симпатией вспоминаю всегда большого художника Николая Николаевича Ге и умную, милую жену его, Анну Петровну, урожденную Забелло[96]. Несмотря на духовную близость их с нашими родителями, видали мы их редко, живя в различных краях России. Когда приезжали они из имения Забелло, на Украине[97], бывали у нас часто, обедали, завтракали.

Это были люди с большим шармом, громадной культуры, полные возвышенного настроения.

Как высоко отец наш ценил талант Н. Н. Ге, показывает очень красочный разговор, за завтраком у нас, с Михаилом Петровичем Боткиным, приехавшим из Петербурга весной 1882 года, по делам устройства художественного отдела Всероссийской промышленной выставки[98] на Ходынском поле. Михаил Петрович, со свойственной хитрецой и дипломатичностью, начал в шутливом тоне рассказывать Павлу Михайловичу, как великий князь Владимир Александрович, в качестве президента Академии художеств[99], выражал ему, Михаилу Петровичу, мечту видеть среди Художественного отдела на Ходынском поле коллекцию картин Третьякова. «Но я сказал великому князю, — прибавил Михаил Петрович, — что об этом я и заикнуться не посмею, что нет на свете тех сил и того средства, которые бы могли заставить Павла Михайловича Третьякова согласиться на такое рискованное дело». — «Напрасно вы так думаете, Михаил Петрович, — возразил Павел Михайлович, потирая нос платком и хитро улыбаясь, — такое средство есть». Боткин изумился: «Да неужели есть, Павел Михайлович? Какое же?» — «Да вот, я сам, с радостью, перевезу все мои картины на Ходынку, если великий князь даст распоряжение подарить в мою галерею «Тайную вечерю» Ге».

Зная эту картину по гравюре, висевшей на стене у мамочки в кабинете, мы поняли отца, когда увидали ее в оригинале в Академии в Петербурге на

святках того же года. Теперь она висит в Русском музее, по крайней мере висела до нашего бегства из Петербурга. С детства мы с грустью и интересом рассматривали в галерее картину «Петр и царевич Алексей»[100]. Интересен был нам и портрет Искандера, как в то время называли Герцена[101]. Впоследствии невероятной силой частью привлекали, а частью отталкивали крупные картины Ге, изображающие сцены с Пилатом, суда над Христом и его крестные страдания. Картины эти стихийные, неумолимо-реальные. Некоторые висят в Третьяковской галерее[102].

Николай Николаевич Ге был почитателем Льва Николаевича Толстого, и как писателя, и как философа, относился к нему с большой объективностью. Наш отец ценил и любил беседы с Николаем Николаевичем Ге, но иногда мило подшучивал над ним или рассказывал нам о своих с ним беседах, если приезд Николая Николаевича случался в то время, как нас в городе не было. Вспоминаю последнюю беседу, о которой отец рассказывал, заливаясь тихим смехом, мамочке и мне, в Куракине, летом 1888 года, когда мы с моим Сашей в них гостили:

«Заходил ко мне в «Толмачи» сегодня утром милейший Николай Николаевич Ге, чудесный человек, но и чудак же: спрашивает меня, как наши молодые, Вера с Сашей, живут, по-божьи или не по-божьи. Я ответил, что по-божьи, т. к. Вера Сашу слушается и делает все, как он хочет». — «Ну, а у нас наоборот, — разъяснил Николай Николаевич, — наши молодые живут не по-божьи: Петрушка слушается Катю[103] и делает все, как она хочет».

В. Д. ПОЛЕНОВ

О Василии Дмитриевиче Поленове, которого очень ценю и люблю как настоящего романтического художника, не могу не сказать хоть несколько слов. Я изредка его встречала в продолжение многих лет у наших родителей, иногда у Якунчиковых или в доме Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны Мамонтовых. Разговаривать мне с ним почти не пришлось и вспоминаю о нем, с большой симпатией, лишь по впечатлению от его гармонической личности. Он происходил из очень культурной семьи, был исключительно хорошо воспитан[104]. Помню, тетя Зина Якунчикова, как-то летом, в Введенском, после обычного у них многолюдного обеда, сказала нам, молодежи: «А вы все замечайте и учитесь, как Василий Дмитриевич себя держит, как просто и как внимательно ко всему окружающему. Обратите внимание, как красиво он чистит апельсин, как все, что он делает, — эстетично». Тетя Зина сама была эстетом.

Василий Дмитриевич был высокий, хорошо сложенный, держался прямо и свободно. Был лицом невероятно дурен, но обладал громадным шармом. Жил он много за границей. Бывал у нас чрезвычайно редко. В галерее нашей сначала появилась его картина «Представление новобрачной», интриговавшая всю молодежь. Любовались мы и жалели этих трех девушек, очаровательных, запуганных и несчастных. Второй картиной было «Больное дитя»[105]. Это для меня одна из самых трогательных картин на свете. Молодая мать, а может быть, старшая сестра, лицом и фигурой напоминает Марию Николаевну Климентову*, которой в то время Василий Дмитриевич сильно был увлечен.

* Климентова создала Татьяну в только что тогда написанных Чайковским «Лирических сценах» из «Евгения Онегина», в 1878 году, по просьбе Николая Григорьевича Рубинштейна. На выпускном экзамене в консерватории она пела «Фиделио». Была долгие годы любимицей московской оперной публики. Была лучшей Татьяной, лучшей Тамарой[106]. Вышла она замуж за С. А. Муромцева, знаменитого политического деятеля первой Думы.

Написаны эти обе большие картины так тонко, реально, сочно и колоритно в скромной гамме красок.

Ездил Василий Дмитриевич надолго в Палестину, писать этюды для задуманной и впоследствии написанной громадной картины «Христос и грешница»[107]. Ряд палестинских этюдов висит в нашей галерее. Люблю очень идущего по берегу Тивериадского озера Христа. Сама картина не знаю где находится[108]. В ней мне нравилась гамма красок, многие типы, даже самого Христа, так небанально понятого.

Я уже упоминала о том, что Поленов, вместе с Репиным и Васнецовым, расписывали церковку в Абрамцеве, имении Саввы Ивановича Мамонтова (в бывшем имении С. Т. Аксакова), под Хотьковом. В этой церковке Василий Дмитриевич венчался с Наташей Якунчиковой, боготворившей его до конца жизни.

Поленовы жили в Москве в старинном барском особнячке с колоннами, с садом. Помню дом — и снаружи, и внутри, — а в какой части города он стоял, не могу вспомнить.

Две небольшие картины, написанные там, находятся также в нашей галерее. На одной изображен сад с двумя идущими женскими фигурами: бабушки и внучки — взрослой девицы в розовом платье. На другой чудесно написан светлый обширный двор, поросший зеленой травой. Налево забор и дом, вдали на солнце блестят купола приходской церкви. Это такая настоящая Москва, трогательная, полная поэзии, прошлого[109]. Сколько тепла!

У Василия Дмитриевича и Наташи, такой милой, сердечной, культурной, было несколько детей. Сначала два мальчика, затем две девочки[110]. Больше — не могу вспомнить. Бывали мы у них с мамочкой очень редко, заезжали лишь днем ненадолго. В Москве все как-то жили особняком, в семье, у каждого была своя яркая, внутренняя жизнь и видеться всем было прямо некогда.

Помню, как потеряли Поленовы своего первенца — Федю. Казалось, что Василий Дмитриевич этого горя не переживет. Вспоминаю сейчас, что как раз в то лето они жили в Жуковке[111], в красивом небольшом имении Набоковых, на высоком берегу Клязьмы, близ села Болшева, в нескольких верстах от Куракина.

Василий Дмитриевич, помню, целыми днями там работал на столярном станке по совету врача, чтобы механическое занятие могло его отвлечь и дать возможность, хоть временно, забывать свое неутешное горе.

Это были последние встречи мои с Поленовыми. Я была уже замужем, Саша — сын был тогда маленький, Саша — муж только что принял профессорство в консерватории, по просьбе Сергея Ивановича Танеева, только что принявшего на себя директорство. У меня родились ребенок за ребенком, у Наташи — тоже. Мы случайно, но радостно встречались в доме дяди Саввы Ивановича Мамонтова. Хорошо помню симпатичную и высококультурную сестру Поленова, Елену Дмитриевну[112]. Была она талантливым художником, сделала и поэтичные иллюстрации русских сказок, была верным другом Наташи.

В. В. ВЕРЕЩАГИН

Моя галерея портретов художников толмачевского периода была бы неполной, если бы я не рассказала моего впечатления от гениального явления в лице Василия Васильевича Верещагина, как впоследствии я говорила о близком человеке семьи Зилоти — Вере Федоровне Комиссаржевской[113]. Она была как личность бесконечно талантливее своего всеми признанного

таланта. Не умаляя, а возвышая ее способности до универсальности, также хочется сказать и о В. В. Верещагине, что он был как личность неизмеримо гениальнее своего всеми признанного гения.

Чтобы охарактеризовать Верещагина, сделаю отступление.

В мои зрелые годы кто-то просил меня сравнить и охарактеризовать два явления, два проявления гения: Листа и Рубинштейна. Не любя сравнивать вообще, я тогда постаралась выяснить себе, как всего короче, ярче и вернее можно обрисовать характер гения каждого из них: Рубинштейн был лев, царь; Лист был и лев на земле, и орел в небесах, и змий в преисподней и в вечности, как символ мудрости. Рубинштейн — одноликий; Лист — многоликий. В Рубинштейне жил Бог; в Листе — и Бог, и Мефистофель. В Листе был религиозный дуализм; в Шумане — ему самому осязаемый — дуализм романтический: в нем жили и Эвзебиус, и Флорентан[114]. Всего ближе было бы сказать, что в Верещагине поразительно объединились орел и ягненок.

Появление Верещагина захватывало дух. Его орлиный взгляд неумолимо притягивает к себе. И поражало, что в то время, как его титанически мощная рука сжимала вашу детскую руку, слышалось его тихое, почти детски-ласковое: «Здравствуйте».

Громадного роста, красиво сложенный, с движениями пантеры, с небольшой головой, светлым лбом, проницательными глазами, орлиным носом, каштановыми волосами и удлиненной бородой — в большинстве случаев в спортивной тужурке, — появлялся он прямо из галереи, через смежную дверь — в нашу столовую; один, а как-то, помню, и со своей женой, маленькой, беленькой, некрасивой немкой с умными глазами[115]. Когда Василий Васильевич знакомил ее с нами, детьми, он сказал: «Das ist meine kleine Frau»*, поднял ее на руки, пробежал вокруг стола и посадил ее на стул. По тому, как неудивленно смеялись наши родители на эту веселую шутку, ясно было, что они хорошо были знакомы с супругами Верещагиными.

Жили они в те времена в Мюнхене, где с ними и видались не раз проездом из Италии наши родители[116]. Приезжал Верещагин в Россию редко, по делам устройства своих выставок.

О судьбе его хивинской коллекции картин я уже рассказывала по поводу размолвки между нашим отцом и Дмитрием Петровичем Боткиным. Из-за судьбы этой коллекции, сначала подаренной отцом Обществу любителей художеств, председателем которого был Д. П. Боткин, затем, за ненахождением Обществом места для коллекции, повешенной в галерее нашего отца.

В те ранние годы мы, дети, Василия Васильевича еще не встречали.

Помню его позже, особенно во время выставки его коллекции Балканской войны с изображением императора Александра Второго, следящего за битвой с высокого холма, Скобелева — скачущего на своем белом коне перед нашими войсками, и всех ужасов, бесконечных, безграничных ужасов войны. На черном фоне, при электрическом освещении эти картины, живые как жизнь, поражали, трогали, ужасали, сражали; помню, как изуродованный часовой глядел на вас с немой мукой, а за картинами где-то неслись звуки фисгармонии, певучие, тихие, жалобные... Сейчас слышу, как раздирали душу звуки «Песни без слов» Мендельсона; не было почти никого из публики, кто бы не вытирал слез, а я рыдала, спрятавшись в темный угол комнаты[117]. Верещагин любил музыку и знал ее силу; знал и силу благородной пропаганды, пропаганды гуманистических чувств. Помню, как-то наш отец сказал в дни этой выставки: «Верещагин — гениальный штукарь, но — и гениальный человек, переживший ужас человеческой бойни».

* Это моя маленькая жена *(нем.)*.

Почти весь Верещагин целиком висит в Третьяковской галерее. Сначала «Хивинская экспедиция», за ней все этюды Индии и последней — «Балканская война»[118]. Если первая интересует прежде всего своей архитектурностью, вторая прельщает красотой красок, словно камней самоцветных, третья подавляет тоской за все человеческие ужасы, но и возвышает своим героическим духом. Несмотря на всю чарующую прелесть его Erscheinung, его «явления», нельзя было ни минуты забывать геройского, трагического уклона во всей его манере говорить и двигаться. Да и жизнь его завершилась среди трагедии «Петропавловска» вместе с адмиралом Макаровым, на Дальнем Востоке. Эта гибель, помню, потрясла всю Россию[119].

Переношусь в иную атмосферу в воспоминаниях о двух сравнительно молодых художниках, одесситах, приезжавших с начала 80-х годов на север, по вёснам, во время Передвижных выставок, сначала в Петербург, затем в Москву. Это были два приятеля-антипода и по наружности, и по характеру, и по уму, и по таланту — Николай Дмитриевич Кузнецов и Николай Корнилиевич Бодаревский[120].

Гостя в Москве всю весну, они заходили к нам чуть ли не ежедневно, в продолжение целого ряда лет; часто у нас обедали и были, попросту говоря, нашими кавалерами; ухаживали за нами. Наша милая тетя Манечка над ними подсмеивалась, подшучивала и прозвала их: «капорцы и оливки», также «халва и рахат-лукум». Они были неразлучны. Кузнецову нравилась Саша, Бодаревскому — я.

В Дворянском собрании во время концертов с «депутатского» подъезда ждал нас всегда слуга наш, Андрей Маркович (Андрея Осиповича Мудрогеленко уже не было в живых), с громадным белым узлом, в котором завязывались наши «ротонды», суконные светло-серые ботики и белые пуховые платочки, на случай мороза. Наши художники выхватывали наши вещи из рук Андрея Марковича и старались завязать на наших шеях теплые платочки, и накинуть на нас шубы, и, главное, надеть на нас и застегнуть ботики. Все это проделывалось с шумом и южным темпераментом и натиском, которые смешили и нас, и мамочку.

Помню премьеру оперы «Мазепа» Чайковского, которую мы уже изучили и не могли дождаться услышать (а услышали не без частичного разочарования). Обычно в Большой театр брался нам бенуар, на левой стороне, дальний от сцены, № 8. Наши художники все антракты простояли в партере около нашей ложи. Разумеется, пошли сплетни по Белокаменной, что это наши женихи. Нас это изводило. Николай Владимирович Коншин, наш кузен, о котором я уже много рассказывала, приходя из конторы к нам наверх завтракать, дразнил нас, что художники вот-вот сделают нам предложение и неминуемо получат «арбуз», то есть отказ, по московскому выражению; и заранее представлял их лица и неистово смеялся. Он любил сплетни превыше всего.

Как-то наш отец пришел к завтраку и сердито сказал: «Говорят, что Кузнецов собирается сделать Саше предложение. Как же он может жениться, когда, как я слышал, он имеет семью и детей».

После отъезда Кузнецова в имение своей матери, с которой он всегда жил вместе с братом своим, Дмитрием Дмитриевичем[121], мы услышали, что Николай Дмитриевич действительно женился на ключнице в их имении. Следующей весной Николай Дмитриевич сам нам рассказывал, как мать его позвала к себе и выразила желание, чтобы он женился на матери своих двух очаровательных ребятишек, тем более, что она достойная,

добрая и умная[122]. Николая Дмитриевича мать благословила, повенчала честь-честью и отправила молодую за границу, научиться манерам и языкам.

Мать была либеральная, интеллигентная, всю жизнь всем интересовалась. Ездила на открытие Суэцкого канала; вообще держала знамя семьи высоко.

Николай Дмитриевич был похож на свою тонкую гречанку-мать, но был по типу грубее. Был высокий, плотный, с черными миндалевидными елейными, но хитрыми глазами, со сросшимися над носом густыми бровями, черными усами. Когда приходилось нам танцевать, казался он косолапо-комичным. Как человек был он очень милый, сердечный, прежде всего — невероятно даровитый и художник большого таланта.

Судя уже по одному портрету Петра Ильича Чайковского, висящему в нашей галерее, сомневаться в этом невозможно. Для меня этот портрет единственный, в котором кроме физического сходства выражен и весь патетизм Чайковского как самая характерная и стихийная черта его музыки[123].

Вспоминая о Николае Корнилиевиче Бодаревском через целое полустолетие, перевидав за мою долгую жизнь бесчисленное множество людей разных типов и национальностей, должна сказать, что не встречала человека «объективно» более красивого по чистоте линий и тонкости «раскраски» его «скульптурного» облика. Он был высок ростом, движения его были пластичны. Борода и волнистые волосы, зачесанные назад, были русые, с золотистым оттенком, черты лица правильны, нос, в профиль чуть-чуть срезанный вверх, не был лишен оригинальности; глаза, светло-карие, тоже золотистого оттенка, были своеобразного разреза, цвет лица светло-терракотово-золотистый. Все были в гармонии. Не было ни слащавости, ни банальности. Легко было его себе представить рыцарем, в латах, из какой-нибудь средневековой легенды. Чувствовалось в нем глубокое сознание неотразимости своей красоты. Он брал ее как неотъемлемое и само собой понятное, а потому держал себя скромно. Одевался со вкусом, в гармонии со своей внешностью, все казалось сросшимся с ним самим. Говорил он медленно и монотонно. Беседовать с ним было мне не о чем. Болтать же и шутить — не рисковала. Когда мы познакомились, мне было всего 15 лет, но мы были обе с Сашей взрослыми девушками. Музыку любили они с Кузнецовым оба, разумеется музыку романтическую. Кузнецов даже мог очень мило сыграть «Aveu» из «Карнавала» Шумана[124]. Как все русские помещики — любители музыки вообще и «романсной» в частности, — обожали Шумана, затем Чайковского и доплыли постепенно до Грига[125].

Саша болтала с Кузнецовым, а мне занимать Бодаревского легче было, играя ему весь вечер. То, от доски до доски, «Евгения Онегина», то «Руслана», а позже и «Кармен» Бизе и даже его же «Арлезьен»[126].

«Кармен» гремела в Петербурге с осени 1882 года; пела и сводила всех с ума в этой роли Ферни-Джермано[127]. Отец наш, бывши в числе поклонников и этой оперы, и исполнительницы, «стрелял в Питер» то и дело, чтоб послушать лишний раз. Когда на святках того же года мы попали с родителями в Петербург, Ферни-Джермано уже уехала, и мы услышали «Кармен» в первый раз в жизни весной 1885 года, в Париже, с создательницей этой роли — Галли-Марье[128]. Тогда же видели мы первое представление «Arlésienne» Бизе[129]. Были мы обе с Сашей обворожены и покорены гением Бизе. Обе эти пьесы были сейчас же куплены и не сходили с нашего фортепиано. Без конца разносились эти звуки по толмачевскому дому, на радость наших столовых горничных, а также и молодых конторщиков, работавших иногда поздно внизу, как раз под нашей залой.

Какой-то весной заехали мы с мамочкой в общую мастерскую наших приятелей, многократно нас приглашавших посмотреть их картины.

Картины Кузнецова показались нам менее интересными, чем портреты его работы. Картины Бодаревского были всегда лиричны, но мало ярки. Более других нравились мне барышни в украинских костюмах на высоком берегу Днепра, смотрящие вдаль[130].

Бодаревский часто упрашивал меня позировать ему для портрета, но я отговаривалась за недостатком свободного времени. До самой моей свадьбы мы все время брали уроки у лучших профессоров литературы и истории и много времени посвящали музыке.

В один прекрасный день, в половине лета 1886 года, вдруг приежает в Куракино Бодаревский, элегантнее, чем когда-либо, с чудесным, громадным, серой гладкой шерсти псом, с фотографическим аппаратом, складным мольбертом и ящиком красок. С плохо скрываемым победоносным видом, как будто его приезд само собой понятен. Я знала, что никто его не приглашал. У меня прямо сердце упало: зачем? к чему? Ясно, чтобы написать мой портрет. Так не хотелось ни портрета, ни терять летний досуг, посвящаемый нами на чтение и изучение еще не известной нам музыки, старой и новейшей. Родители были вежливы, но ясно было мне, что и им этот «никчемушний» приезд был некстати, а отказаться позировать такому многолетнему знакомому — мне казалось для него обидным. Со следующего утра начались ежедневные сеансы под громадными березами, под горкой, в платье и шляпе. Снимал фотографии без конца и грустил, что нигде не выходила моя улыбка. Еще бы! Портрет подвигался не так, как ему хотелось, особенно тягостно стало, когда начались излияния чувств. «Ведь я никогда не скрывала от вас, что интересуюсь одним молодым русским пианистом в Веймаре». — «А я думал, вы вызываете меня на ревность». — «Я не скрывала от вас, что никогда не смогу разделить ваших чувств». — «Но ведь я же должен был вам нравиться...». — «Почему же: должен?». — «Вы были такая мо-о-лоденькая, а я был такой красивый». Боже мой, боже мой!

Моя сестра Люба, на три года моложе меня, из-за кустов смотрела на наши сеансы, огорчалась, боясь, что вдруг выйду за него замуж. Потом убегала в свою комнату и ревела. Узнав об этом, я сказала, что, если выйду замуж, то только за Зилоти. Она поверила и успокоилась вполне.

К счастью, в те дни приехала к нам гостить милая Александра Николаевна Пуговкина, двоюродная племянница нашего отца.

Я была положительно разбита жалостью к Бодаревскому. Александра Николаевна меня ободряла, но и понимала, что и сержусь и злюсь, безуспешно стараясь утешить и вразумить такого непонятливого человека. Он так и не понял никогда, что можно было остаться равнодушной к его, правда, замечательной красоте, считая это с моей стороны каким-то просто недоразумением.

Он портрета моего, к счастью, так и не написал, уехал разбитый, молча. Мои милые родители ни слова не спрашивали во все те мучительные для меня дни и ничего не спросили и после его отъезда. Я была так тронута и благодарна им.

В декабре того же года я стала невестой Саши Зилоти, нас благословили, и он уехал за границу, до весны. На святках приехал Бодаревский в Москву, пришел «с визитом», как говорилось в Белокаменной, поздравил и пожелал мне счастья. «Поздравьте и меня, я только что женился»[131]. Действительно, я его от души поздравила и была тронута его корректностью и добрым отношением.

ГЛАВА 23

ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

В начале 80-х годов мы чаще и чаще слышали от нашего отца о его свиданиях со Львом Николаевичем Толстым: то последний заходил побеседовать с отцом, то отец заезжал к Льву Николаевичу.

Беседы их всегда касались их мнений и взглядов о делании добра, о благотворительности, о терпимости, о непротивлении злу, об искусстве, о религии и о всех вопросах, в то время интересовавших Толстого. Он только что написал свою «Исповедь» и «В чем моя вера»[1]. Это было начало расцвета его философских идей. Мы зачитывались его писаниями и с интересом слушали рассказы отца о его разговорах с Толстым; они почти все время спорили. Как-то отец сказал Толстому: «Вот когда вы, Лев Николаевич, научитесь прощать обиды, то тогда я поверю в искренность вашего учения о непротивлении злу». Рассказывая это, отец ехидно-добродушно улыбался.

В то время Толстые решили, как мы вскоре узнали, жить по зимам в Москве, для образования своих многочисленных детей, и купили себе домособняк в Хамовниках. Старший сын их, Сергей, поступил в университет, а старшая дочь, Татьяна, поступила в Училище живописи и ваяния на Мясницкой[2]. Татьяна была в классе Иллариона Михайловича Прянишникова[3], вместе с Николашей Третьяковым, моим двоюродным братом.

Прянишников был талантливым художником-«жанристом». Делал он всю жизнь успехи в технике живописи, чего нельзя было не заметить при хронологическом изучении его картин, висящих в Третьяковской галерее. Думаю, что он должен был быть поэтому хорошим преподавателем живописного искусства.

Бывал он у нас редко. Был оригиналом в употреблении слов; так, по рассказам Николаши, когда в классе Прянишникову что-нибудь не нравилось в этюде ученика, он говаривал: «Это разве написано; это набуровкано».

Татьяна была в приятельских отношениях с Николашей, который ее както и привел к нам. Ей хотелось сделать копии с некоторых картин в галерее. Отец наш ей это разрешил как ученице Училища.

Таня приходила к нам к 10-ти часам утра, у нас завтракала и работала до трех часов, потом пила с нами чай. Ей было 17 лет, а мне 15; мы скоро подружились. Была она простая, сердечная, веселая, оригинальная и, в своем роде, очень интересная, напоминая и отца своего, и свою мать.

Переехав в Москву, Софья Андреевна сделала визит мамочке, которая вскоре ей его отдала. Софья Андреевна начала приезжать к нам изредка днем, к чаю. Была она высокая, привлекательная, женственная, ласковая, веселая, разговорчивая, умная. Ей было тогда лет 38. Она очаровала меня совершенно, и я до сих пор не могу вспоминать о ней без нежности[4]. Она как-то сказала мне: «Ох, как сложно быть женой знаменитого человека. Женой писателя — трудно, а женой философа — еще труднее». Иногда увозила Таню с собой; обычно приходил за Таней ее второй брат, Илья[5], которому тогда было всего 14 лет*, изредка и сам Лев Николаевич.

Три вещи поразили меня при встрече с ним тогда у нас: первая, что он был невысокого роста, плотный (что подчеркивали рубашка, высокие сапоги, поддевка и картуз для улицы); вторая — проницательность взгляда его

* Лет через сорок мы встретились с Ильей Львовичем в Нью-Йорке, где он жил, как и мы, и читал лекции о своем отце. Был слишком, неприятно похож на него физически, чертами лица, — без его остроты и силы. Как человек Илья Львович был очень симпатичен, необыкновенно ласков и прост. В Нью-Йорке и скончался.

голубых глаз из-под леса бровей и третья — его широкая, ласковая улыбка, во все его доброе лицо. Эти глаза и эту улыбку я сразу полюбила и сохранила эту любовь навсегда, несмотря ни на какие рассуждения впоследствии. При чувстве нежности к Софье Андреевне и чувстве поклонения Льву Николаевичу — писателю, у меня не могло быть в сердце моем «суда» над ним. Была и есть лишь бесконечная жалость за все грубые трения и все страдания, вынесенные, к несчастью, на суд людской.

Отец наш поклонялся Толстому, как романисту и великому писателю. Как «философу» же — гораздо менее и не раз говаривал, что Лев Николаевич — гениален, а умна за него Софья Андреевна. Софью Андреевну он ценил и любил.

Приходя к нам, Лев Николаевич шутил с нами, а иногда полусердито спрашивал, прививают ли нам заразу «бесовского скакания и плясания», водят ли нас в балет и в театр вообще.

Между Таней и Львом Николаевичем ясно было обоюдное обожание. Она, перед уходом, не раз распускала у нас в столовой свою густую каштановую косу и, подавая Льву Николаевичу гребень, с лаской капризного ребенка говорила: «Отец, расчеши мне волосы, заплети мне косу, никто не умеет заплести косы так ровно, как ты». Лев Николаевич весело, ласково, умело исполнял Танино желание, закалывал косу в «шиньон», и они отправлялись в путь — пешком домой, так как полотно, ящик с красками и мольберт оставались в галерее в чуланчике под лестницей.

Кроме Тани Толстой, в ту зиму и в последующие, в галерее копировало несколько учеников Училища живописи и ваяния. Между ними были два брата Левитана, из которых Исаак стал знаменитейшим русским пейзажистом-лириком[6]. Мне никогда в жизни не привелось с ним ни познакомиться, ни встретиться. Левитан, Коровин, Аполлинарий Васнецов[7] были друзьями моей сестры Любы, жившей в Москве более долгое время, когда таланты этих молодых художников уже расцвели.

Вне времени копирования в галерее мы с Таней почти не видались. Наш отец предпочитал для нас знакомство с девицами нашего круга. Я не помню, чтобы он запрещал, но это чувствовалось и как-то оно выходило само собой.

После моего замужества мне не приходилось более встречаться с Толстым. Живя снова в Москве (с 1888 по 1891 год), когда Зилоти занимал место профессора консерватории по просьбе Сергея Ивановича Танеева, я часто от последнего слышала рассказы о Толстых, у которых он постоянно бывал. В те годы случались у них, наверное, несогласия, но все же жили они, казалось, дружно.

Как-то Сергей Иванович зашел к нам вечером прямо от Толстых и, со всей своей смешливостью, рассказал о только что случившемся занятном маленьком приключении. Когда Сергей Иванович пришел в Хамовники, на его звонок вышла Таня, немного смущенная, извиняясь, что maman наелась капусты и, почувствовав себя плохо, легла в постель. Сергей Иванович выразил сожаление и собрался уходить, но Таня просила остаться и, усадив Сергея Ивановича в гостиной, начала что-то рассказывать. Вдруг в дверь влетел один из младших братьев Тани, крича: «Таня, у maman мальчик родился»[8]. Таня растерялась, Сергей Иванович заспешил уходить, но, прощаясь, со свойственным ему милым «ехидством» и заливаясь смехом, заметил: «Вот так капуста с осложнением!» — и оба с Таней расхохотались.

Весной 1889 года я ожидала нашего второго ребенка[9]; пришла как-то мамочка и рассказала, что накануне, в концерте, видела Таню Толстую, которая сидела неподалеку от нее. Со своего места Таня громко и ласково

спросила: «Вера Николаевна, а что Вера, уже родила или еще нет? Поцелуйте ее». Типичная непосредственная Таня! Верная себе, неизменно милая и добрая, через четверть века, наперекор всем и всему, привела она свою несчастную мать к одру умирающего отца.

Помню, что в те годы в Москве как-то ездил к Толстым, по приглашению Софьи Андреевны, Петр Ильич, а также и Зилоти. Оба они вынесли тягостное и неприятное впечатление от беседы со Львом Николаевичем. Ужасались абсурдными, по их мнению, мыслями его о музыке и об искусстве вообще. Меня это огорчало, и не хотелось этого принять из любви моей ко Льву Николаевичу. Живя и за границей, и в России, все время с трепетным интересом и волнением слушали мы противоречивые толки о жизни Толстого и Толстых, все осложнявшейся и постепенно переходившей из драмы в настоящую трагедию. «Не могу молчать» потрясло всех — и в России, и во всем культурном мире[10]. Весть об уходе Льва Николаевича разнеслась по всей земле и достигла нас и наших, уже взрослых, детей в Петербурге. Не забуду никогда этого утра! Весь мир волновался и был удовлетворен, как и я, тем, что Лев Николаевич наконец исполнил свою волю, но думать не могла я о несчастной Софье Андреевне![11].

ГЛАВА 24

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ

Летом 1882 года, как я уже раз упоминала, была в Москве, на Ходынском поле, Всероссийская выставка, с громадным Художественным отделом и Музыкальным павильоном, деревянным, полукруглым, в виде амфитеатра, со стеклянным потолком. Там ежедневно давались различные концерты. По воскресеньям нередко наши родители ездили с нами обеими, Сашей и мною, на выставку, и днем бывали мы на симфонических концертах с оркестром ИРМО (Императорского Русского музыкального общества) под управлением разных русских музыкантов. Всего не вспомнить мне сейчас. Самыми яркими остались воспоминания, как Сергей Иванович Танеев играл фантазию с оркестром (собственно, 3-й концерт) Петра Ильича[1]; как молодой Котек, вскоре умерший от чахотки, любимец Петра Ильича, чудесно играл его скрипичный концерт, который нас навеки очаровал. Этот же концерт вскоре исполнил и Адольф Давыдович Бродский, друг Петра Ильича[2].

Большой нашей симпатией пользовался Арно Гильф, игравший уже в продолжение нескольких лет на первом пульте вторых скрипок. Концертмейстером был Иван Войцехович Гржимали, а первой виолончелью — Фитценхаген[3]: участие в оркестре ИРМО было обязательным для профессоров консерватории[4].

Гильф был занятной наружности, небольшого роста, со странной походкой — набок. Похож был на львенка, со светлыми кошачьими глазами, золотисто-каштановой шапкой зачесанных назад волос, с сердитым видом, когда был серьезен, но все лицо его делалось сморщенным и потешным, когда он внезапно разражался диким смехом при шутках товарищей в оркестре, до начала концерта, голова его откидывалась назад, и pince-nez летело с его близоруких глаз.

Разумеется, нам хотелось с ним познакомиться, что и случилось следующей зимой.

Слушали мы хор Агренева-Славянского[5], псевдорусского стиля. Боярские костюмы хора были банальны, безвкусны. Хотя отец и считал, что Славянский сделал много для распространения народной русской песни, — нам этот стиль был не по душе. Мы любили песни в оригинальном виде, в исполнении самих крестьян.

Слушали мы цыган, которые нас обворожили и унесли в новый романтический мир.

В Художественном отделе было много картин, много хорошего. Над всем царил Репин[6].

С этим летом связано у меня воспоминание о Дмитрии Васильевиче Григоровиче.

Как директор Школы поощрения художеств в Петербурге, он много способствовал устройству на выставке Отдела прикладного искусства[7]. Жил он все то лето в Москве и по воскресеньям нередко приезжал к нам в Куракино с «часовым» поездом, прямо к завтраку, и оставался до последнего вечернего поезда.

Мы в Куракине ходили в русских старинных сарафанах, так и выезжали, на удовольствие Дмитрия Васильевича, его встречать на Тарасовскую платформу. Был он к нам, молодежи, внимателен, ласков и держал себя невероятно живо и молодо. Нельзя было не назвать его красавцем в полном и небанальном смысле слова. Очень высокий, тонкий, чудесно одетый, по большей части в серое, с седыми пушистыми волосами, седыми баками, с краси-

выми серыми глазами, быстрыми движениями и невероятным потоком слов. Рассказывал он живо, иногда очень интересно, но нас поражал бесконечный материал сплетен о людях. В каких-то фантастических цифрах он подсчитывал их ежегодные доходы. Наш отец относился к нему страшно мило, ласково и поддразнивал его, а после отъезда Дмитрия Васильевича на поезд не мог не вспоминать и не смеяться снова над тем, сколько нелепого вылетало из уст его, и прибавлял: «Ну и вральман же милейший Дмитрий Васильевич!». У меня осталось от него впечатление добрейшего, светского человека, и никогда, глядя на него, нельзя было поверить, что им были написаны «Гуттаперчевый мальчик», «Переселенцы» и «Рыбаки», которые в ранней юности мы любили читать[8]. Портрет его в галерее отца изумительно его передает[9].

Заезжал под осень в Куракино и Я. П. Полонский, с красивой женой и двумя детьми, очень интеллигентными, проездом из деревни Тургенева, где они гостили лето[10].

Заглядывали к нам и приезжавшие на выставку многие петербургские художники, помнится: Шишкин, Мясоедов, Ярошенко, П. А. и В. А. Брюлловы[11].

Лето было очень оживленное и для отца нашего утомительное. Часто после выставки мы обедали в Петровском парке у Алексеевых или у Эрихсонов[12] и возвращались поздно в Куракино, а на следующее утро отец снова рано уезжал до вечера в Москву.

ГЛАВА 25

КОНЦЕРТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Осенью 1882 года мне минуло 16 лет, нам взяли абонемент на концерты Музыкального общества. Родители наши, как действительные члены, имели два кресла в первых рядах, а мы с Сашей и тетей Манечкой сидели на хорах. Эти концерты давались по-прежнему в зале Дворянского собрания.

После смерти Николая Григорьевича, с осени 1881 года, дирижировал этими концертами Антон Григорьевич и затем Николай Альбертович Губерт, профессор свободного сочинения в Московской консерватории и друг Петра Ильича[1]. К весне был приглашен на несколько концертов, на пробу, Макс Эрдмансдёрфер, из Занзерсгаузена, женатый на ученице Листа — Паулине Фихтнер[2].

Почему выбор остановился на немецком дирижере — не пойму и сейчас. Неужели не было либо одного либо нескольких русских дирижеров, которые могли бы чередоваться? Эрдмансдёрфер приглашался дирекцией ИРМО из года в год в продолжение семи лет.

Как вспоминаю сейчас, Эрдмансдёрфер был «хлесткий» дирижер, с большим виртуозным опытом. Его исполнение нередко страдало дешевыми эффектами, в стиле придворного оркестра какой-нибудь германской Resident-Stadt*. Эрдмансдёрфер и выходил первое время на эстраду с шапоклаком и белыми перчатками в руке, так неподходяще к нашей Белокаменной.

У супругов Эрдмансдёрфер были рекомендательные письма к мамочке и к тете Зине Якунчиковой, у которых и начали бывать. Также приглашались к директорам ИРМО: Сергею Михайловичу Третьякову и Николаю Александровичу Алексееву. У них мы довольно часто вместе обедали.

Эрдмансдёрферу было тогда 32 года, а его жене — лет 35. Жена его была красива, умна «как черт» и элегантна, как истая венка. Жили они в меблированных комнатах у Никитских ворот. Приехав к ним в первый раз с визитом, мы сразу заметили сидящего у окна Арно Гильфа, который, оказалось, жил в тех же меблированных комнатах. Вблизи и еще более при разговоре он нам страшно понравился. Мы как-то сразу подружились. Когда супруги Эрдмансдёрфер у нас обедали, приглашала мамочка и Гильфа. Он говорил на лейпцигском, то есть саксонском, диалекте. Мы с Сашей говорили по-немецки свободно, но с остзейским акцентом, над которым подсмеивались наши новые друзья. Мы невольно скоро отучились. Практика для нас в этом языке была громадная.

Гильфу было 24 года. Он был очень умен, интеллигентен, хорошо воспитан, чрезвычайно музыкален и талантлив. Он начал часто приходить к нам по воскресеньям днем, со скрипкой, и мы с ним часами играли сонаты Бетховена и особенно охотно сонаты Моцарта, а то засаживал меня за фортепиано одну и всего чаще просил ему играть Шопена. Иногда уходили мы в галерею: картины Гильф очень любил. Случилось как-то, что в три часа, когда публика разошлась, мы начали играть в лошадки, рысью бегали по длинным залам, что, при его кривой походке, было потешно, и веселились мы как дети. Видались мы и в артистической после концертов. В антракте же он приходил к нам на хоры. Так пролетело два года.

* столица, резиденция *(нем.)*.

Почему-то в то время потребовали возвращения в Германию всех мужчин призывного возраста, и Гильфу пришлось уехать в Лейпциг[3].

Прощаясь, мы расставались, по его желанию, навсегда; он окружал меня большой нежностью, на которую я не находила такого же ответа в своем сердце. Всю ночь я безутешно плакала. Ведь я теряла друга и почти что учителя по исполнению камерной музыки. Было нестерпимо грустно.

Возвратившись в Москву, он к нам не зашел. Весной 1886 года, вспоминается, встретились мы в доме дяди моего, Сергея Михайловича Третьякова, на музыкальном вечере, на котором играл Л. С. Ауэр[4] и пела М. Н. Климентова. Встретились мы так просто, тепло. Весь вечер сидели вместе, разговаривая о музыке и о Германии, которую я тогда уже знала, по путешествию с родителями осенью 1884 года. Прошедшего или возможности видаться — мы не коснулись.

Еще раз, совсем неожиданно, жизнь нас столкнула лет через двенадцать, в Лейпциге, в доме музыкального писателя и критика Фритча[5], принимавшего деятельное участие в организации созданного Сашей Зилоти Общества Liszt-Verein и Сашиного личного друга[6].

Вернусь к Эрдмансдёрферу. За годы его дирижерства мы переслушали много классической и романтической оркестровой музыки, не только первоклассной (которую мы знали по исполнению мамочки и Елены Осиповны Риба), но и второстепенной, включавшей массу сочинений Раффа, Гольдмарка[7] и других немецких авторов. Французы в то время почти совсем не исполнялись, а русские композиторы лишь изредка. Самым ценным для меня было знакомство с оркестровыми сочинениями Листа.

Переслушали мы за те годы массу хороших и многих знаменитых артистов. Почти все концерты для фортепиано, скрипки или виолончели слышали мы в первый раз.

Эрдмансдёрфер становился благороднее и проще под влиянием серьезных требований русской публики. Приезжал на зиму в Москву, уезжая на лето в Баварию. Постепенно стали они бывать у нас реже. Отчасти оттого, что у них завелся большой круг знакомств, а отчасти главным образом оттого, что нашему отцу, года через два, надоели слишком частые обеды с разговорами на иностранных языках, которые он понимал, но на которых не говорил (мамочка говорила прекрасно по-немецки и по-французски). Эти смешанные разговоры были отцу утомительны и неинтересны; он, помню, улыбаясь, как-то выразил это, напевая полуговорком из оперетки «Прекрасная Елена»: «Много цветов, слишком много цветов»[8]. Отношения оставались дружественные.

Русские музыканты, верные памяти Николая Григорьевича, ненавидели Эрдмансдёрфера, «немца», и мечтали видеть палочку Николая Григорьевича в руке русского дирижера. Было немало недовольства и интриг. Н. А. Алексеев жаловался: «Я думал, что нет ничего хуже на свете гувернанток и кучеров, а теперь вижу, что артисты куда хуже».

Сам Эрдмансдёрфер был человек способный, но плохой дипломат; за него была дипломатична и ловка Полина Францевна, как звала наша дирекция его жену. Через нее С. М. Третьяков и Н. А. Алексеев вели свою политику в ИРМО.

Когда С. И. Танеев, по собственному желанию, передал свой директорский «жезл» в руки профессора консерватории В. И. Сафонова — естественным образом и дирижерский «жезл» перешел в его руки[9]. Казалось, наступила тишина и спокойствие. В действительности же — лишь на самое короткое время. Сафонов был диктатором современного типа. Умел с невероят-

ной ловкостью выводить из терпения опасных ему людей: так ушел Чайковский[10], ушел Брандуков, ушел Зилоти[11]. Танеев боролся не на жизнь, а на смерть, посадив себе сам беду на голову[12].

С царством Сафонова прекратилась наша связь с Музыкальным обществом.

В январе 1892 года покинули мы с Сашей Зилоти нашу Белокаменную и, кажется, — навеки.

ГЛАВА 26

ЗИЛОТИ

В начале апреля 1883 года мы с сестрой Сашей и мамочкой отдавали супругам Эрдмансдёрфер прощальный визит перед отъездом их в Германию. У них было с дюжину гостей. Раздался звонок. В открытую дверь гостиной видно было, как в переднюю вошел долговязый молодой человек. Скинув шубу, он старался снять с шеи белый длинный шарф. Вошел в гостиную быстро, болтая руками вдоль своей длинной фигуры. У него было бледное лицо с зеленоватым оттенком, небольшие карие глаза, большой нос и необыкновенно красивый рот. Сестра Саша шепнула мне: «Да ведь это тот самый шпинат, которого мы видели на хорах в концерте». Это был Зилоти[1].

Мамочка и мы обе разговорились с ним. Оказалось, что он на днях уезжает с супругами Эрдмансдёрфер в Германию к Листу[2]. Мамочка спросила его, знает ли он немецкий язык. «В детстве я говорил, а сейчас я даже не смогу спросить себе стакан чаю». Говорил он с каким-то особенным сопением. Через полчаса мы простились, выразив ему самые теплые пожелания успеха.

Его образ был олицетворением шарма. Я еще тогда не слыхала его игры, но много слышала о нем как о любимом ученике Николая Григорьевича, который называл его в классе «сапун-пашой»[3], а Москва называла его «Сашей Зилоти». Я знала, что он окончил курс в консерватории после смерти Николая Григорьевича, как раз два года назад, когда играл на экзамене «Пляску Смерти»[4].

Через несколько недель приснился он мне, не на земле, а в небе. Он летел на меня и глядел мне прямо в глаза. Проснулась я в большом волнении.

Через несколько времени снова снится он мне, но уже на земле, входящим к нам в дом, но дом фантастический. И мы беседуем, беседуем о чем-то важном: о мыслях, идеях, о музыке. Этот сон произвел на меня громадное впечатление.

Все лето, в Куракине, снился мне он. Наши беседы становились все дружественнее. Я начинала его узнавать как человека.

В октябре вернулись из-за границы Эрдмансдёрферы. Он зашел к нам сейчас же поздороваться и на третьем слове заговорил о Зилоти. О том, что он ничего не делает, играет в карты, ухаживает. Обручился с хорошенькой евреечкой, сестрой одного ученика Листа и дочкой лейпцигского мехового торговца. Дирекция ИРМО разозлилась и перестала ему посылать деньги на житье[5].

Меня это задело и показалось неточным. Ведь я его уже знала. Правда, только во сне, но что-то внутри, глубоко в душе сказало мне: «Ну пусть Фанни хорошенькая — все равно он будет твой».

При первой встрече госпожа Эрдмансдёрфер сказала мне, что я произвела впечатление на Зилоти: «Die klein Frl. Tretiakoff». — «Die kleinere ist die Älteste, die grössere ist die Jüngste». — «Die kleinere von Wuchs»*. Мне не поверилось, но зачем ему было это ей говорить? А она никогда мне не лгала.

Прошла зимняя пора. Шестого марта 1884 года был объявлен концерт Зилоти, в Дворянском собрании[6]. Мамочка была в этот вечер занята, и поехала с нами милая наша тетя Манечка.

* Маленькая барышня Третьякова. — Маленькая — старше, высокая — младше. — Маленькая ростом *(нем.)*.

Зилоти очаровал меня своей игрой. Соната Листа «Après la lecture de Dante»* меня поразила и сразила, а «Пештский карнавал» поднял на дыбы всю залу и меня вместе с ней. Слушала я и слышала в душе снова: «Пусть Фанни, не знаю как, но все равно он будет моим».

В то время ухаживал за мной молодой князь Кудашев[7], я заставила его аплодировать во всю мочь, так как сама стеснялась от слишком большого волнения, которое, по возможности, хотела скрыть. Милая тетя Манечка аплодировала и кричала «браво!», что делала, когда приходила в энтузиазм. Меня это так радовало. Тетя Манечка была моим истинным другом.

В апреле дядя мой, Сергей Михайлович, как член дирекции Музыкального общества, устроил для Зилоти большой вечер. Была масса гостей, вся московская аристократия, музыканты, художники. Из «купцов» были приглашены Еленой Андреевной лишь мы как неизбежные родственники.

Помню, как Зилоти играл «Данте-Сонату», As-dur балладу, Es-dur, «Consolation»** Листа и под конец «Пештский карнавал», остальное не помню — ни что он играл, ни как. Помню лишь, что было все для меня божественно хорошо. В антракте гости расположились пить чай в гостиной, а мы остались в зале. С сестрой Сашей беседовал Константин Егорович Маковский, а со мною — Владимир Егорович. Зилоти тихо сидел на диване в аванзале. «Я подойду к нему?» — сказала я вопросительно милому Владимиру Егоровичу. «Да, разумеется, пойдите, Верочка». Как я только сделала несколько шагов, Зилоти вскочил мне навстречу: «Как я рад вас видеть!». Я обалдела, спешу сказать ему, как чудно он играет. От волнения трещу все быстрее. «Ну, что там, вы лучше расскажите, что вы делали за этот год». — «Разве это интересно?» — «Мне — да». Он был такой же ручной, как когда мне снился. «Обещайте, что будем ужинать вместе».

На наше счастье, не было Tischordnung***, и мы сели за один из круглых столиков: мамочка, а против нее мы обе по бокам Зилоти. О чем-то говорили. «Неправда ли, вы так думаете?» — вспомнила я из одного из снов. «Как же вы могли сомневаться?» — «Да я вас ведь не знаю». — «Да, правда, вы меня не знаете, но скоро узнаете», — засмеялся он.

Голова закружилась у меня.

Мы собирались осенью ехать с родителями, в первый раз за границу, в Германию. «Когда будете в Лейпциге — отыщите меня, как я рад-то буду. Адрес мой всегда можете узнать у Franz'a Jost'a, 1, Petersteinweg. Я либо в Лейпциге буду, либо у Листа в Веймаре».

Мамочка обещала и пригласила его как-нибудь зайти к нам. Он выбрал один из ближайших дней, в 11 часов утра: посмотреть галерею и завтракать у нас.

В назначенный день в одиннадцатом часу я все поглядывала в окно, в наши ворота, которые были всегда целый день открыты. Без пяти одиннадцать на извозчике приехал какой-то молодой человек и, позвонив, оставил записку от Зилоти: «Мои прелестные друзья, Николай Сергеевич Зверев заболел, и я должен дать уроки за него. Приду в другой раз непременно, если позволите». Эта пунктуальность была и осталась навсегда особенностью характера Зилоти.

Через несколько дней давался в Большом театре консерваторский ученический спектакль. Поставили «Волшебную флейту» Моцарта[8]. Как и всегда, в Большом театре нам брали бенуар № 8, последний с левой стороны.

Во время первого акта я чувствую, что кто-то смотрит на меня сверху,

* «После чтения Данте» *(франц.)*.
** «Утешение» *(франц.)*.
*** распределение мест за столом *(нем.)*.

справа. Поворачиваю голову — и вижу Зилоти в одной из центральных лож 2-го яруса правой стороны, улыбающегося и кивающего головой. Он окружен незнакомыми мне лицами: пожилым господином, седым и бритым, пожилой дамой и несколькими юными лицами. В антракте слышу стук в дверь аванложи. Открываю — Зилоти.

«Как же я этого не знал, что вы будете здесь? А я сижу с Николаем Сергеевичем, Анной Сергеевной и «зверятами»[9].

Так называл Зверев своих юных воспитанников. В каждом антракте Зилоти прибегал к нам. Во время исполнения оперы я все смотрела украдкой направо вверх, ничего не слыхала, лишь смутно вижу сейчас пеструю фигуру Трезвинского[10] в роли Папагена, да еще фигуры трех каких-то черных дам. Одну из них, помню, пела Лачинова, будущий мой друг Лиля Аренская[11]. В последнем антракте мы простились с Зилоти «до осени». Так сказала мамочка. Он неожиданно должен был уехать в Веймар раньше, чем предполагал.

«Бедная моя головушка», — подумала я. «Бедная моя Верушечка», — подумала, наверное, мамочка. Она понимала меня без слов.

Вскоре, в самом начале мая, по нашему обычаю, переехали мы на дачу. Жили всегда тихо все лето и нередко заживались, в хорошую осень, до самого Покрова. Это было уже наше пятое лето в Куракине.

Да, всю долгую зиму мечтала я о весне, о лете, о тепле. Среди спящей, скованной природы я тосковала от холода, тьмы, галок и ворон в саду и еще больше от жгучего, захватывающего дыхание мороза и блестящего на солнце и хрустящего под ногами снега. Оттаивала душой лишь с оттепелью или с чуть заметным морозцем, когда тихий снежок мягко падал звездочками с неба. Говорила мамочке, что хочется мне, как медведю, забраться в берлогу на все темное, холодное время и спать. И проснуться лишь, когда солнце начнет греть, когда зажурчат ручьи по улицам, когда наступит день Алексея Божьего человека[12] — «с гор потоки», когда начнется оживание и общее воскресение природы.

И вот каждый год, без обмана, весна приходила, пришла и теперь.

В Куракине, как мы стали взрослыми и свободными, начиналось приволье. Я наслаждалась ощущением себя как неотъемлемой частички чудесной природы. Все благоухало и звучало. Первые ночи, бывало, и не спишь, слушаешь с замиранием сердца, как трещат соловьи в кустах акации или в кустах сирени под нашими высокими окнами, всегда открытыми в тихую погоду. Ландыши под липами и березами, лютики, фиалки и кувшинчики на маленьком заливе нашей милой речки Клязьмы, текущей в Оку, а с Окой вместе — в Волгу, кукушки за рекой, перепела на лугах после заката солнца. Позже, летом, пестрые ковры цветов расстилаются на лугах, гудение мириад пчел на липовом цвету по всем аллеям в парке. А затем золотая осень с синим небом и горящими закатами, прогулками за шоссе, в молодой лес, из которого приносим полные корзины белых грибов-боровиков, подосиновиков, березовиков, маслят, а то и рыжиков и опенок. Нет ничего дороже, ласковее душе и московскому сердцу подмосковной скромной, милой природы. Ходишь и хвалишь Бога.

А в это лето я и совсем ног под собой не чувствовала, словно летала поверх дорожек и тропинок, и счастливая, и горестная.

Куракинский день, под крылышком мамочки и тети Манечки, с книжками и фортепиано, не молчавшим во весь день, пролетал быстро, слишком быстро. Его хотелось удержать, как мечту. Столько хотелось прочесть, столько хотелось переиграть — и нового, и старого из музыкальной литературы. Тетя Манечка достала у Гутхейла[13], как и всегда, массу нот, интересо-

вавших меня, достала, разумеется, «Данте-Сонату» и «Пештский карнавал». Эти пьесы были для меня слишком трудными, чтобы их играть прилично. Да и не хотелось их играть, чтобы не признаться слишком явно в своем настроении. Я жадно слушала их, читая глазами ноты, и вспоминала, как их играл Зилоти.

Мои беседы с Зилоти, во сне, продолжались. Помню, как, сидя в один чудесный, жаркий день в уютной нашей комнате на большом кретоновом диване, мы с сестрой Сашей разговаривали о наших мечтах в данную минуту. «Ну, что бы ты сейчас хотела?» — спросила меня Саша. «Слетать в Веймар, — ответила я, — хоть на мгновение».

Как-то во второй половине лета мамочка спросила меня, когда намыливала мне волосы над большим тазом: «А как ты думаешь, что делает теперь ваш новый друг Зилоти? Где-то он сейчас обретается?» — «Либо в Веймаре, либо в Лейпциге, мамочка». — «А ведь мы ему обещали его разыскать, если поедем через Лейпциг?» — «Да, мамочка». — «А тебе было бы очень приятно его видеть?» — «Очень, мамочка».

ГЛАВА 27

ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

Пришла и осень, и мы начали сборы в поездку за границу. Это слово волшебно звучало и волновало. Папочка по вечерам на даче любил стричь сухие ветки на сирени или пройтись по парку, потом обычно приходил в гостиную с книжкой, садился в совсем особенное кресло, оставшееся при Куракинском доме от прежних владельцев (кресло было низкое, круглое, подлокотники начинались низко, подымались откосо вверх и поддерживали руки, державшие книгу). Любил папочка тогда слушать музыку. Чего-чего я ему не переиграла за 7 лет моей жизни в Куракине!

Мы несколько раз ездили с мамочкой в город к Маргарите Оттовне, вдове мамочкиного брата Кирилла и матери наших маленьких красавиц кузин Маргоши и Лели.

Маргарита Оттовна имела мастерскую белья и платьев. Наверное, наши родители решили, что нам нужно брать с собой. Мамочка имела большой опыт в этом, путешествуя столько раз в жизни с папочкой по Италии и Сицилии. Сшили нам темно-синие костюмы, очень тонкого сукна, и блузы французского кашемира красновато-малинового цвета с синими шелковыми галстуками; сшиты были и тальмы темно-синие, почти черные, покрывавшие платья, на случай дождя. Шляпы нам сделали из легкого темно-синего фетра — мужского фасона, с провалом посередине, как сейчас носят все мужчины.

На всех трех, мамочку и нас двух, полагался всего один небольшой ручной чемодан. У каждой из нас была сумочка в руках и зонтик. Лишь обуви у каждой было по запасной паре и по две смены белья.

Предполагалось путешествовать не более 6—7-ми недель. Решено было этой осенью изучить Германию, а будущей весной — Францию, так как наши родители их недостаточно знали. Наш отъезд был назначен на десятые числа сентября. Я и не ожидала, что так грустно будет расставаться с тетей Манечкой и нашими самыми младшими сестрой и братом, Машей и Ваней, которым было 9 и 5 лет. Они оба, красивые и милые, вносили столько радости в жизнь своих старших сестер.

Выехали мы с вечерним поездом с Николаевского вокзала. Утром были в Петербурге. Переехали на извозчиках на Варшавский вокзал, оттуда шел поезд на Вержболово. На другой день в обед приехали в Эйдкунен, где меняли поезд[1]. За вещами пришел Gepäckträger*; Schaffner** прокричал «einsteigen»***, и понеслись мы по распланированной, возделанной равнине, расчищенным рощам и лесам.

На третье утро рано приехали мы в Берлин, остановились в «Central Hotel»[2]. Лил дождь, и специфически пахло на улицах кислыми карамельками. Сколько впоследствии ни бывала я в Берлине, от впечатления дождя и кислых карамелек я отделаться не могла. Берлин остался навеки мне антипатичным.

Сразу установился точный распорядок дня: раннее вставание, после кофе до обеда, который бывал обычно в час дня, — осмотр музеев и достопримечательностей, после обеда отдых в комнате, с 4-х часов до ужина прогулки и катание по городу, часто загород, после ужина ежедневно театр, утром за кофе решали вместе, читая афиши, на какой спектакль заказать билеты.

* носильщик *(нем.)*.
** кондуктор, проводник *(нем.)*.
*** занимайте места *(нем.)*.

В первое же утро пошли в Kaiser Fridrich Museum[3]. Подымаясь по мраморной лестнице, наткнулись на Елизавету Григорьевну Мамонтову, жену дяди Саввы Ивановича, и на Наташу Поленову, урожденную Якунчикову.

В музее было много интересного. Из знаменитых музеев это был второй, который мы видели в жизни; первым был два года назад Эрмитаж, поразивший нас своим богатством прекрасных картин, знакомых нам давно по репродукциям. Отец нам каталогов давать избегал, часто сам указывая на самое ценное, по его мнению, независимо от популярности или непопулярности произведения, а скоро стал нас экзаменовать: «Ну, а это, скажи, кто?». Мы все реже ошибались, разбираясь все лучше в стиле, эпохе и постепенно и в авторах картин, нам незнакомых.

Кроме этого музея, ничего не нравилось в городе. Даже и Тиргартен[4] мало прельстил. Очаровал зоологический сад и аквариум. Город был большим, оживленным, но, в сущности, безвкусным. Что мы оценили полностью — это оперу[5].

Помню, ездили мы в какую-то загородную санаторию для нервнобольных. Там лечилась наша приятельница Анночка Риба, младшая дочка нашего учителя; вскоре она совсем помешалась и умерла. В Берлине же в то время жила ее старшая сестра, Людмила Осиповна, с матерью своей — Марией Осиповной. Заходили мы и к ним. Людмила Осиповна была чем-то больна и тоже вскоре скончалась и похоронена рядом с бедной Анночкой[6].

Из Берлина поехали мы в Дрезден, остановились в Hotel Bellevue, в германском старом стиле, на берегу Эльбы, вблизи Брюльской террасы, Королевского дворца и знаменитой картинной галереи, в которой мы прямо пропадали[7]. Несмотря на предубеждение многих в то время и молчание отца, чтобы на нас не влиять, Сикстинская Мадонна Рафаэля меня поразила выражением глаз, которые то закрывались, то снова открывались, и улыбка, чуть заметная, скользила и снова исчезала. Сколько раз в жизни, попадая в Дрезден, я смотрела на нее, — это изумительное впечатление сохранялось[8].

Показывая нам другую знаменитую Мадонну, Гольбейна, отец просил нас ее хорошенько рассмотреть, хитро улыбался, но причины не сказал[9]. Много картин мы пересмотрели, всё ближе знакомясь с итальянцами, голландцами, германцами, и начинали в них разбираться.

Слышали мы в Королевской придворной опере в то время известную оперу «Der Trompeter von Seckingen» и «Lohengrin», которого пел знаменитый тенор Винкельман[10]. Слышали мы эту оперу в первый раз, так как в Москве ее еще тогда не давали. Разумеется, впечатление от музыки и самой легенды было громадное и чарующее.

Ездили мы кататься на пароходе по Эльбе, чтобы посмотреть Саксонскую Швейцарию. Река была не полноводной, как мы ожидали, а полувысохшей, и за недостатком воды, вверх по реке, мы до красот Швейцарии и не доплыли.

Мы были близко от Лейпцига. Папочка хотел осмотреть его завтра днем, чтобы ночевать уже в Веймаре. Как я волновалась и как молила судьбу... Я чувствовала, как волнуется и мамочка. На другое утро, в вагоне, на полпути, она, набравшись храбрости, не глядя на нас, говорит: «Папочка, мы прошлой весной обещали молодому русскому пианисту Зилоти отыскать его, если поедем в Лейпциг. Он об этом очень просил и дал адрес музыкального магазина, в котором мы можем узнать, где он находится, чтобы с ним повидаться». Отец наш насупился и сердито сказал: «Ведь вы же знаете, что я во время путешествия знакомств терпеть не могу!». И все молча ехали дальше.

В Лейпциге шел дождик. Музей пренеинтересный, шлепали по грязи на ярмарке и по европейской торговой улице.

Тоска меня съедала. Чувствовала, что мамочка меня жалеет, хотелось плакать[11].

Приехали к вечеру в Веймар, остановились в Hotel Erbprinz — первой из двух отмеченных звездочкой в «гиде»[12]. Улица была узенькая, да и весь город казался вечером узеньким и темным.

Ужинали мы в маленькой столовой, направо от передней; налево была видна большая столовая.

Служил нам курносенький, курчавый мальчик, очень смешливый и этим симпатичный. Подали нам Karpfen*, который был полон костей и мало нам понравился. Насытившись супом и компотом, мы вышли побродить по городу, который сразу очаровал нас своей чисто германской, для нас совсем новой атмосферой. Вышли на какую-то площадь, затем свернули в какую-то улицу. По левой стороне, в нижнем этаже, кто-то прекрасно играл. Мы постояли — послушали. Тоска моя росла, и еще пуще хотелось плакать. Я знала, что немало молодых пианистов живут по летам в этом городке, во время пребывания здесь Листа. Игра только что слышанного нами пианиста совершенно была не похожа на игру Зилоти, но он где-нибудь здесь мог сейчас тоже играть. Ночью я, разумеется, не спала и проплакала всю ночь напролет[13]. В окне, на фоне неба, при свете фонаря видела я Зилоти, смотрящего на меня, как бывало во сне. Но я знала, что не сплю, так как лежала с открытыми глазами. Среди ночи под окнами раздался шумный говор и смех веселившейся молодежи: «Боже мой, а ведь, может быть, между ними находится Зилоти. Наверное, он еще здесь, ибо Лист так рано на зиму в Рим не уезжает». От бессонной ночи меня лихорадило.

После кофе, в той же маленькой столовой, когда папочка вышел на минуту и смешливый мальчик нам что-то подавал, мамочка спросила его:

— В Веймаре ли еще маэстро Лист?

— Да, он еще здесь, и его ученики часто приходят сюда обедать.

«И зачем это мамочка спрашивает? Не все ли равно, раз я Зилоти увидеть не смогу».

Пошли смотреть город. На площади стоит знаменитый театр, а перед ним — памятник Гёте и Шиллеру вместе. Зашли в дом Шиллера, в дом Гёте, в музей. Осмотрели дворец, где в чудесном зале, при герцогине Марии Павловне, Гёте и Шиллер читали свои великие произведения[14].

Возвратились мы в отель как раз к обеду. В столовой был накрыт большой стол с массой приборов. По внешним сторонам стола, параллельно двум стенам, стояли стулья против света, а по внутренним — спиной к окнам, перед которыми стоял длинный стол с газетами и журналами. Пройдя через пустую столовую, мы сели рядом в гостиной. Родители — у окна, а мы, девочки, у стены, и в открытую дверь видели, как начали с шумом входить молодые люди, то поодиночке, а то группами. Все они бросались к столу с газетами. Кто их брал в руки, а кто над ними нагибался.

Вдруг Саша толкает меня: «А здесь знакомые есть». — «Ах, не все ли равно, мне неинтересно», — ответила я усталым голосом. «Нет, интересно», — прибавила Саша, хитро улыбаясь. Начинаю всматриваться в профиль фигуры, наклонившейся над газетой, вглядываюсь пристальнее. Еще мгновение — и я направляюсь к этой фигуре, которая выпрямляется, оборачивается, и мы встречаемся изумленными глазами: «Зачем вы здесь? Нет, зачем вы здесь? — воскликнул Зилоти. — Как же я этого даже во сне не видал? — Быстро жмет руки нам обеим, затем и подошедшим родителям: — Ну как я рад, что мы здесь случайно встретились! Откуда вы? Как я счастлив

* карп *(нем.)*.

повидать снова своих русских! Ведь я, пожалуй, скоро по-русски разучусь говорить».

Слышу, папочка, с очаровательной улыбкой, говорит:

«А мы собирались вас вчера разыскать в Лейпциге, да дождик помешал». — «Не верьте вы ему, — тихо смеюсь я, — в пути он нелюдимый, а сейчас, увидев, что вы не страшный, — обрадовался нашей встрече».

Болтая быстро и радостно, Зилоти усадил меня и Сашу через прибор, оставив себе место между нами, а родителей — против нас, спиной к стене. Я сидела по его левую руку. Вся молодежь за столом на нас смотрела с любопытством, кто прямо, а кто украдкой.

«Если бы я знал, что вы здесь были вчера вечером, я бы забежал к вам поздороваться. Ведь нас, несколько товарищей, ужинало рядом в отеле. Мы так засиделись, что нас просто выгнали на улицу. Мы протестовали, но это не помогло». — «Тогда было, наверное, очень поздно, и мы уже видели третий сон», — заметил папочка. «А я не спала и слышала шум и смех на улице». — «Правда?» — спросил Зилоти, и мы рассмеялись.

Начались расспросы и рассказы с обеих сторон. Мамочка тихо сидела. Я чувствовала, что она счастлива за меня. «Meister еще здесь, сегодня в 4 часа как раз у нас, то есть у него, урок, если бы вы согласились, — обратился Зилоти к мамочке, — я сейчас после обеда сбегал бы к старику и попросил бы разрешение вас с ним познакомить. Я так хочу, чтобы вы его видели».

Поблагодарив Зилоти, мамочка просила это устроить. «Ну, а как ваши занятия? Вы довольны?» — спросила мамочка, которая до сих пор мало говорила, предоставляя ход жизни — самой жизни. «Занятия с Meister'ом прямо не опишешь, нет таких слов, чтоб объяснить, как это велико. Часто Meister становится у крышки рояля, против вас, и счастливы вы, если сумеете прочесть в выражении его лица и по движению рук, что он хочет сказать. Иногда он простирает руки, выпрямляется и летит словно орел».

Шел обед. Подали, помню, Erbsten-suppe mit Schweinsahren*, любимый суп Зилоти, как он пояснил, затем шпинат с крутонами и яйцами. Мы с Сашей переглянулись и засмеялись. Что подавали дальше — не помню, чего-то много, все казалось изумительно вкусным. Еще никогда с тех пор, как я стала взрослой, я не чувствовала себя такой счастливой!

После обеда Зилоти попросил нас его подождать в гостиной, покуда он вернется «от старика», а также просил позволения провести день с нами. Скоро он прибежал.

«Meister нас ждет и очень рад connaître mes compatriotes**. Он к русским очень хорошо относится», — весело прибавил Зилоти. Мы все вместе пошли на кладбище, где стоит церковь Св. Марии Магдалины, выстроенная герцогиней Марией Павловной, сестрой Александра и Николая Первых. Спустились мы в склеп, где стоят гробницы Гёте и Шиллера[15], у изголовья Гёте — золотой лавровый венок, у Шиллера — серебряный. Было в склепе сыро, и мы с радостью вырвались на солнце, которое в этот день светило особенно ярко. Зилоти шел с накинутым на плечи осенним пальто.

С кладбища прошли мы по улице, на которую выходил die Gaertnerei***, домик, где жил Лист по летам, по приглашению герцога, на опушке Королевского парка[16]. Затем шли по Amalienstrasse. «А вот где я живу», — вдруг сказал Зилоти и остановил нас у окна в нижнем этаже небольшого домика, по правой стороне улицы. — Если хотите — войдите, я хочу вам показать мою комнату». Вход был через дворик. Комната была небольшая, светлая,

* гороховый суп со свининой *(нем.)*.
** познакомиться с моими друзьями *(нем.)*.
*** садоводство, садовый участок *(нем.)*.

чистая. В углу стояла железная кровать, накрытая белым покрывалом; рояль стоял посреди комнаты, повернутый так, что играющий сидел спиной к окну. Комната была угловая и по этому одному уже уютная. Стоял комод и небольшой письменный стол.

«Вот теперь будете знать, как живет за границей бедный русский пианист», — как-то задумчиво сказал Зилоти, когда мы выходили из его комнаты во дворик. Мне было так трогательно на душе. Мы шли по парку. «Откуда у вас такие прелестные шляпы с канавкой? Я никогда в жизни таких не видал. Я хочу тоже шляпу с канавкой». И мы смеялись, как дети, всему, что друг другу говорили...

«А вот направо и дом, где живет старик». Мы вошли во двор, где толпилась молодежь. Внизу, у входа, встретила нас пожилая, высокая, красиво сложенная женщина: «Pauline, das sind meine Freunde aus Russland»*, — сказал ей Зилоти и нам ее представил: — Frau Pauline Appel, meine grosse Freundin»**.

Она подала нам всем руку, а также познакомила нас со своей замужней дочерью. Это была знаменитая кухарка Листа, жившая у него с молодости. Видно было сразу, что она дружески относится к Зилоти. Он сыпал словами в чисто немецких выражениях, шутил с ней, и она ему шутливо-метко отвечала. И все более делалось ясно, что она его очень любит и, наверное, балует. «Ведь первое время, когда я ни души не знал в Веймаре, я просиживал вечера у Паулины. Я у нее и немецкому языку научился», — сказал Зилоти, когда мы поднимались наверх.

В длинной комнате, с большими окнами на три стороны, с полосатыми драпировками, знакомой теперь всем музыкантам и путешественникам, бывавшим в Веймаре, уже было большое количество молодежи, успевшей туда прийти, покуда мы беседовали с Паулиной. Направо, в глубине комнаты, сидел Meister у стола. Он встал и пошел нам навстречу. Подводя нас к нему, Зилоти произнес: «Meister, darf ich Ihnen meine russische Freunde Vorsteller?»***. Лист поздоровался с родителями, затем с нами. В нем была такая простота и такое величие. Не верилось, что это человеческое существо. Поразили и приковали меня его пристальный взгляд, полный доброты, слегка приподнятые брови с отражением невероятной грусти и скользящая ирония в его улыбке. Помню, как я растерялась от громадного впечатления. Слезы сжали горло. Я не воображала, что на свете может существовать такой человек.

Лист что-то говорил мамочке по-французски, и она ему отвечала, тоже, видно было, ошеломленная и растроганная. Через несколько минут начался урок. Кто-то начал что-то играть. Зилоти утащил нас с Сашей в небольшую столовую и познакомил со стоящим в углу молодым человеком, с длинными волосами и сложенными на груди руками: «Это мой друг Артур Фридгейм, он играет гораздо лучше меня».[17] — «Ну, Сашка, брось». — «Я говорю правду», — сказал Зилоти, обращаясь к нам. «Сашка, отстань», — сказал, смеясь, мотая головой, точно защищаясь, Фридгейм.

Мы сразу же его узнали, так как слышали его предыдущей зимой в Музыкальном обществе в Москве. Играл он концерт Бетховена G-moll и концерт Листа Es-dur. Игра его была тогда прекрасная, блестящая, но несколько суховатая. Облик у него был артистический и чрезвычайно симпатичный. Он был старше Зилоти на несколько лет и был воспитан в Петербурге, в Annen Schule.

* Паулина, это мои русские друзья *(нем.)*.
** Фрау Паулина Аппель, мой большой друг *(нем.)*.
*** Маэстро, могу ли я вам представить моих русских друзей? *(нем.)*.

В один из перерывов между пьесами Зилоти, по предупреждению мамочки, что мы долго оставаться не будем, чтобы не утомлять Meister'a, провел нас с ним проститься и его поблагодарить. Зилоти проводил нас до нашей гостиницы и снова убежал к Листу, обещав зайти за нами перед театром, куда хотел непременно пойти с нами. Давали «La Dame Blanche» Boildieu*. Эту оперу мы уже слышали в детстве в консерватории**. Ни его, ни нас эта опера более не интересовала, но хотелось побыть вместе и взглянуть на театр, где столько великого происходило во времена Гёте и Шиллера, да и во времена Листа, когда он еще дирижировал веймарской оперой.

Мы только что сели в маленькой столовой выпить чего-нибудь, как смешливый мальчик ворвался в дверь, неся три букета: мамочке — из более темных цветов, а нам с Сашей — по белому, из туберoз и дикого осеннего жасмина, в резных картонках.

— Откуда это? — спросила мамочка, хитро улыбаясь.

— Я не могу вам сказать, Зилоти мне запретил.

Мы все расхохотались.

«Ну как это любезно, это такое баловство», — сказала мамочка Зилоти, когда он пришел за нами. «Я, ей-богу, не виноват», — засмеялся он. Я сидела как заколдованная.

Мы вместе зашли в какую-то кофейную закусить и отправились в театр. «Вы не удивитесь, когда мы будем садиться на наши места, если вся публика начнет оборачиваться и смотреть. Ведь город маленький, и все жители знают Листа, да и всех нас». У нас были места на первом балконе в самом центре. Как мы вошли вместе с Зилоти — все начали оборачиваться, вставать, смотреть, даже в бинокли. «Ну, что я вам говорил! Я знаю свой Веймар! Вам неприятно?» — спросил меня тихо Зилоти. «Ах, нисколько! — ответила я, — даже очень занятно». Я сидела на крайнем месте у прохода, рядом со мной налево — Зилоти, затем Саша и родители. Оперы как бы и не существовало. Мне помнится, что, как только поднялся занавес, Зилоти, наклонившись ко мне, тихо и быстро начал говорить, со своим характерным сопением: «Да, я хотел вам сказать все о себе, я бросил жениться***. Вы, наверно, слышали, что я вскоре после моего приезда за границу обручился с Фанни Кан. И случилось это так: один раз, когда я сидел у нее, вошла в комнату ее мать и спросила, не в качестве ли жениха Фанни я у них бываю. Я сказал «да», подумав, что, если я скажу «нет», то меня не будут принимать. Фанни была очень хорошенькая, и мне было занятно за ней ухаживать. Когда я написал об этом Звереву, Буслаеву и родителям, мой отец, разумеется, был настолько против, что готов был меня проклясть, если я женюсь на еврейке. Мама моя молчала. Но не в этом дело. Я возил Фанни в Веймар представить Листу. Когда я пришел следующий раз к нему, чтоб узнать его мнение, он сказал, что она действительно хорошенькая, но мне показалось, что он был как-то холоден. Когда же я пришел ему сообщить, ровно через год, что разошелся с Фанни, он не мог скрыть своей радости и крикнул своему лакею: «Мишка, принесите шампанского». Я пил за здоровье старика, который сказал мне, что, если я когда-нибудь вздумаю жениться, то лучше жениться на девушке одного со мной вероисповедания, это первое условие, чтобы друг друга понимать».

«Фанни совсем меня не понимала. Когда я ей один раз долго играл, она

* «Белая дама» Буальдье *(франц.)*.

** Зилоти сам тогда играл в оркестре, как он нам рассказывал.

*** Моя память ручается за подлинность и точность слов и выражений Зилоти, часто неправильных, которые были характерны для его веймарского периода, когда ему почти никогда не приходилось говорить по-русски.

тотчас же после этого просила меня подарить ей заводной органчик. Это меня очень обидело. Порвав с Фанни, я возвращался в Веймар и по дороге, переезжая через реку, бросил кольцо из окна вагона. Кольцо стукнулось о каменную загородку моста, подпрыгнуло несколько раз и упало прямо в воду. Я вам когда-нибудь все расскажу. Я более не хочу жениться...» — «Для артиста это и лучше, может быть», — сказала я. — «Но зато друзья мы хорошие, — тихо заметил он, глядя прямо в глаза, украдкой пожав мою руку. — Куда вы едете отсюда?» — «В Эйзенах». — «Как бы я хотел поехать с вами, но старик обещал мне сняться со мной, здесь, у Louis Held'a, как раз завтра. На днях мое рождение, мне минет 21 год. Ух, какой я старик!».

Мы рассмеялись.

Притащил он конфет. Помню, коробка была квадратная, обклеенная глянцевитой темно-лиловой бумагой. В ней был шоколад и какие-то фиалки из сахара. Угостив родителей, мы втроем, молодежь, ели конфету за конфетой.

«Давайте больше есть конфет, чтобы не было так тяжко расставаться», — приговаривал Зилоти со вздохом, полушутливым, полумолящим голосом. Затем, словно после промелькнувшей мысли, наклонившись ко мне, едва слышно прибавил: «Бедная моя головушка!».

Он довел нас до дому, там, в маленькой столовой, выпили мы пива и начали прощаться. «Когда вы вернетесь в Москву?» — спросил Зилоти. — «В начале ноября, вероятно», — ответил папочка. — «Я там уже буду. Я должен явиться в комиссию по воинской повинности. Мне на днях минет 21 год[18]. Ух, как я боюсь! Хотя Алексеев (Николай Александрович, голова города Москвы и член дирекции ИРМО) мне весной обещал помочь, в случае чего освободить, если будет возможно. Так до скорого свидания в Москве. Буду думать о вас, как вы путешествуете, вспомните и вы меня, хоть изредка».

И, что-то напевая и закрывая за собой стеклянную дверь, скрылся в полутемноте.

До утра лежала я, одурманенная туберозами и воспоминаниями чудесной встречи. «Как могло это случиться без Божьей воли?» — спрашивал меня мой внутренний голос.

А на другое утро, и очень рано, с букетами в руках мы покинули Веймар. Останавливались в Готе, видели музей и дворец, затем остановились в Эрфурте, видели собор. К вечеру приехали в Эйзенах — город Баха. Мечтали о Тюрингенских лесах, о Вартбурге, в связи с «Тангейзером»[19].

Действительно, Тюрингенский лес в золотую осень был полон неотразимой германской поэзии.

Видели в лесах и Drachen Schucht*, и замок Wilhelmstädte**. К вечеру пошел дождь, и родители решили посидеть дома, немного отдохнуть, а мамочка собралась нам вымыть волосы.

Я была разбита, сломлена, лежала на постели под германским балдахином, почти без чувств, вдыхая волшебный запах тубероз и глотая тихо катившиеся слезы.

Мамочка позвала Сашу в свою комнату рядом с нашей и вымыла ей волосы. Когда Саша вернулась и за собой затворила дверь, она сказала мне: «Когда мама мне мылила голову, она спросила меня: «Что это, Зилоти Верушу в лоск уложил?» — «А ты что ответила?» — спросила я Сашу. «А я ответила: то есть как?».

* Ущелье драконов *(нем.)*.
** Вильгельмштадт *(нем.)*.

ГЛАВА 28

СНОВА ДОМА

В начале ноября мы вернулись домой. Шесть недель путешествия показались нам целой вечностью — по количеству новых впечатлений. Радость была большая снова увидеть тетю Манечку, наших ребятишек, сестру Машу и брата Ваню, нашу комнату, наши рояли и галерею. Сразу завертелось зимнее колесо с уроками музыки, немецкого языка, также французского и английского, с уроками истории, с концертами, театрами и выездами на скучные родственные обеды.

Когда мы приехали, Зилоти был уже в Москве и скоро пришел к нам, принес нам показать свою фотографию с Листом[1] и свои собственные, которые мы, разумеется, у него стащили. Я поставила фотографию с Листом в рамке в центре своего письменного стола. Это несколько лет подряд интриговало моих подруг.

Зилоти рассказал, что уже являлся в комиссию по воинской повинности, но не вышел шириной в груди, чему несказанно радовался, и что должен являться еще два года подряд.

Вообще был он очень высок, тонок. Гнулся, жаловался, что после игры у него болит спина между лопатками и он должен ложиться ненадолго, иногда несколько раз в день. Рассказывал, что в конце зимы поедет играть в Антверпен, куда дал ему рекомендацию Лист[2].

Эту зиму приходил он довольно часто, когда бывал в Москве между концертами в разных городах России[3]. Обыкновенно приходил в 11 часов утра. Мы уходили втроем с Сашей в галерею до самого завтрака, или он нам играл в зале. Играл много Листа, из его оркестровых сочинений, старался нас удивить неизвестными нам вещами, что ему никогда не удавалось, и это его веселило.

Помню, начал он играть «Маргариту» — из «Фауст-симфонии» — и был изумлен, что мы знали эту чудесную вещь почти наизусть. Помню, как он, остановившись на том месте, где Маргарита обрывает лепестки: «Любит — не любит — любит...», вопросительно посмотрел на меня. Я замерла.

Особенно поразило его, что мы хорошо знали «Mephistowalzer».

Как-то он просил меня непременно ему сыграть что-нибудь. Я сыграла две мазурки Шопена, a-moll, oeuvres posthumes; в средней части одной из них он меня остановил: «Кто вам показал это? Один Николай Григорьевич мог бы это сделать». Я ответила, что мне никто не показывал, это само собою логично и понятно.

Играли мы с ним в четыре руки из «Костюмированного бала» Рубинштейна и веселились. Затем он нам играл из сонаты h-moll Шопена. Сыграл и adagio. После этого не хотелось ничего слушать, а лишь молча хранить это впечатление...

Среди зимы как-то привел с собой своего брата — Владимира Ильича, который был мировым судьей в Старобельске Харьковской губернии. Он был года на три старше Зилоти, еще выше ростом, тонкий, красивый, с длинным носом и симпатичный. Приходили они вместе несколько раз. После отъезда Володи Саша Зилоти как-то сказал нам: «Ну и погиб же человек!» — «Отчего?» — испуганно спросили мы. «По вашей милости», — улыбнувшись, обратился он к Саше. И сколько потом лет Володя все еще «погибал»...

В январе 1885 года был танцевальный вечер у наших Мамонтовых в Леонтьевском переулке. Чуть ли не в Татьянин день, в день ангела Тани[4].

Поднявшись по лестнице, мы встретились с входящим Зилоти, во фраке. С ним была его сестра Варя, которую я перед тем незадолго как-то встретила у Наташи[5]. Они были товарками по гимназии.

Нетрудно было убедиться, что Зилоти никогда не танцевал, так как в кадрили подавал свою руку, как дама, что было смешно, но как-то очень мило. Легких танцев, как в то время называлось, он танцевать и не пробовал, а сидел с мамочкой и что-то с ней серьезно обсуждал.

Когда мы ехали домой, она сказала нам, чтобы мы съездили к нашему фотографу, Дьяговченко[6], и снялись в куртушках, как мы называли русские шушуны, которые мы зимой носили в комнатах на плечах. И прибавила: «Раз меня об этом просили». Нетрудно было догадаться, кто просил. Разумеется, мы это исполнили в один из ближайших дней.

В скором времени Зилоти уехал за границу, на целый год. Прощаясь, он сказал: «Приезжайте жить в Веймар». Это он говорил уже не раз. Если б я могла тогда поверить, как серьезно это говорилось, как трудно было бы мне к нему не убежать! Где-то, глубоко притаившись, жила мечта, почти надежда, что придет когда-нибудь, да, когда-нибудь, время, когда Зилоти и я перестанем прятаться и молчать — и сможем сказать друг другу самое важное. «Мы были молоды тогда» — и очень горды!

Когда наши фотографии были готовы, мы послали ему по две разные с каждой из нас. Они были необыкновенно удачны — похожи по выражению, без прикрас. И написали несколько слов.

В начале апреля поехали мы с родителями во Францию и Бельгию. Так же налегке, как и прошлой осенью.

ГЛАВА 29

ПИСЬМО ОТ ЗИЛОТИ

Во второй половине мая 1885 года вернулись мы домой из нашего второго путешествия с родителями. Не успели мы осмотреть несколько намеченных городов Бельгии, получили известие, что у Николаши и Александры Густавовны Третьяковых родилась дочка, их третий ребенок. Родилась она слабенькой, и мамочка, обещав быть крестной матерью, спешила окрестить маленькую Олю[1].

Вскоре после крестин, в Сущевском доме[2], Третьяковы переехали на дачу, неподалеку от Куракина, в имение Набоковых Жуковку, близ села Болшева, на высоком берегу Клязьмы. Мы, по приезде, тоже тотчас же переехали в Куракино, и летнее колесо сразу завертелось: чтение, фортепиано, частые поездки к Николаше и Густавовне, как ее из нежности называли наши родители.

Оля росла трудно, хворала, была нервная, непокойная, Александра Густавовна за ней ходила день и ночь с особенной нежностью. Все трое детей были красивы[3], с большим шармом, как их родители. Отношения у нас были с ними по-прежнему чудесные, какими и сохранились навсегда.

Каждое лето проходило словно по трафарету: как у соседей, так и у нас праздновались все дни ангела, дни рождения, дни свадьбы; бывали многолюдные обеды. Это, скорее, портило наше лето. Мы любили будни, свободу и тишину. Любили изредка ездить в город за покупками личных вещей.

В одну из таких поездок, проезжая на извозчике по Канаве, около Кадашевского переулка, удивилась я, увидев идущую по тротуару Варю Зилоти. Я остановила извозчика. Оказалось, что Варя шла из нашей галереи. «Вы уже на даче?» — спросила она. «Да, а ты когда едешь в деревню?» — «На днях». — «Имеешь ли известия от Саши?» — Это имя было так ново по звуку. Я его выговорила в первый раз. — «Саша редко пишет. Писал как-то маме, что много работает, но чувствует себя не особенно».

«Хочешь писать мне?» — прощаясь, спросила Варя. «Очень хочу», — радостно ответила я. Варя сказала мне свой адрес: Козловско-Воронежская ж. д., станция Муравьевка, село Знаменское. А я, во избежание всяких осложнений с родителями, просила ее посылать письма ко мне — Саше Юргенсон, с которой они были в одном классе гимназии и летом переписывались, прося ее пересылать письма моей сестре Любе, которая будет их передавать мне. Очень сложный, но самый верный путь. Я почувствовала при первой встрече с Варей, что могу положиться на нее и что она меня никогда не выдаст и потому была с ней откровенна с самого первого дня знакомства у Наташи, которая была мне верным другом. Так как мы могли говорить втроем. Встреча, такая неожиданная, с Варей была, несомненно, тоже делом рук Божиих. Я была счастлива, что буду, хоть изредка, слышать о Зилоти.

Мы летом, как я уже писала, часто ездили к Вере Мамонтовой[4]. Как-то возвращаясь оттуда поздно вечером вместе с мамочкой, которая изредка ездила навещать своего слепого брата, взяли нашу почту на Тарасовской платформе. При свете фонаря я сразу узнала на одном из конвертов почерк Зилоти. Ловко подсунула это письмо под другие и дома, выйдя из экипажа, спрятала его в карман. Я настолько волновалась, что распечатала его дня через два, при сестре Саше, с которой его вместе и прочли. Штемпель был из Киля[5]. Письмо, как сейчас помню, начиналось так: «Мои прелестные друзья!». Благодарил за фотографии. Описывал, как в самом конце весны,

по желанию Листа, должен был спешно выучить «Мефисто-вальс», чтоб сыграть его в одном концерте; работал «как оглашенный, переутомил себе руку: будучи в нервном возбуждении, как-то выбежал на улицу без пальто, прозяб и заболел; «Мефисто» играл в концерте больным, но играл удачно, «старик остался доволен».

Болезнь же руки становилась все серьезнее, и ему посоветовали ехать в Киль к знаменитому хирургу.

Писал, что до безумия мучился мыслью о руке и что «старик мучился не менее меня самого. По совету хирурга начал купаться в море, но после первого же раза почувствовал себя так плохо, что сказал доктору: «Как вы хотите, а купаться я более не буду». Врач не только согласился, увидав плохой результат, но прямо именным указом запретил мне на всю жизнь купаться в холодном море».

Рассказывал, как товарищи уговаривали его поехать кататься на парусной лодке. Поднялась буря, и было так страшно, что он лег на дно, покрыл глаза картузом и только молился. Давал клятву Богу более под парусами не кататься.

В Киле же делали ему операцию в носу: «Выжигали что-то так, что дым шел». Жгли без местного наркоза. Держали его пять человек, и была такая боль, что он их всех пятерых «разбросал в разные углы». Писал о своей заветной мечте основать в Веймаре Общество Листа, но из-за запрещения Листа решил это сделать в Лейпциге. «И при моей настойчивости старик в конце концов уступил и согласился, прибавив: ничего с вами не поделаешь». Письмо заканчивалось словами: «Помолитесь за меня, чтоб моя рука прошла!».

Письмо это, милое и грустное, почти целиком осталось в моей памяти.

При моей любви к мамочке и ее нежном отношении ко мне я не была в состоянии не сказать ей о получении этого письма и не рассказать его содержание. Она была трогательно мила, интересовалась и радовалась. Но на другой день позвала меня к себе, умоляла дать ей слово, что я переписываться с Зилоти не буду, что его письмо было ответом на наше письмо с фотографиями и с нашей стороны такового не требует. Сразу я почувствовала новую тактику и давление со стороны отца. Но почему? Из-за каких-нибудь сплетен, которыми Москва всегда была богата? Я собралась закусить удила. Сказала, что переписываться пока не собираюсь. Если бы хотела, то сумела бы легко ее обманывать и о письме ни слова не говорить. Тогда мамочка начала меня убеждать, что Зилоти слабого здоровья, что у него, наверное, чахотка, что если я буду ему писать и мы захотим жениться, то едва ли папочка даст согласие ввиду плохого здоровья «Александра Ильича», и тогда я доставлю ему такое огорчение, что «уложу его в гроб». Эти слова меня так испугали, что, по глупости, по молодости, по излишней честности, дала слово мамочке не писать и сдержала мое обещание до конца. Пуще всего испугалась могущих быть разговоров с отцом. Я почувствовала, к моему огорчению, что его боюсь. Да и говорить о чем? Могло быть отнято и то немногое, что я имела.

Варе написала о получении письма от Саши (я в письмах к ней привыкла его так называть), рассказала о его болезни, мучительном настроении и умоляла ее написать мне всю правду о его здоровье вообще. Варя тотчас же ответила, что легкие у него в полном порядке, но очень нервен и впечатлителен, в чем ничего удивительного нет. «Мама моя просит тебя, чтобы ты о Сашином здоровье не беспокоилась»[6]. Как я была ей благодарна и как тронута! Самая большая радость для меня стала переписка с Варей; я имела друга не только в ее лице, но и в лице ее матери.

ГЛАВА 29

В ноябре приехал Зилоти в Москву во второй раз являться в воинскую комиссию. Пришел, по обычаю своему, поздороваться с нами, сообщив, что в комиссии его снова забраковали из-за недостаточной, по росту его, ширине груди. Стал рассказывать с энтузиазмом об основании им Общества Листа, для чего переехал уже летом в Лейпциг. Первым, кому он сообщил о своей мечте, был Артур Фридгейм. Он, как верный листианец, сочувствовал от всей души и помогал всем, чем мог. К ним присоединились издатели музыкальных газет, критики и музыканты. Решили прежде всего исполнить «Фауст-Симфонию». Дирижер лейпцигских театров Никиш (имя которого я услышала тогда впервые) согласился дирижировать[7].

Рассказал, что незадолго до концерта он и Фридгейм исполнили эту симфонию несколько раз в концертах Общества Листа, в зале старого Гевандхауза[8], на два фортепиано, для ознакомления широкой публики с нею. После оркестрового исполнения оба побежали к Никишу, бросились ему на шею, целовали его руки: «Ничего подобного мы в жизни не переживали».

Все это нам было чрезвычайно интересно слышать при нашей любви к этой симфонии.

В этот приезд Зилоти почти все время провел в Петербурге, где играл в концерте ИРМО, под управлением Бюлова[9].

Дал несколько своих концертов[10]. Брат его, Сергей Ильич, и отец старались ввести его в светские и придворные круги, что было ему «весьма скучно и ненужно», но огорчать брата и отца не желал[11].

Как-то Зилоти и Николай Сергеевич Зверев, с которым мы незадолго до того познакомились, вместе обедали у нас, запросто. Гостей не было. Родители занимали Зверева, а мы, сидя с Зилоти поодаль, могли беседовать отдельно. Он был совершенно поглощен своей деятельностью в Обществе Листа, радовался, что Лист доволен. Рассказывал о Никише, какой он гениальный дирижер и интересный человек, а также о своей новой дружбе с Халиром[12]. О своем успехе говорить не любил. Брал это, очень возможно, даже при всей своей скромности, как само собою понятное в жизни артиста.

Начал называть меня «ваше превосходительство», чтобы как-нибудь обращаться ко мне. До тех пор мы друг друга никак не называли.

Помню, что в этот день, за обедом, мы друг другу жаловались, что жить легко — лишь легкомысленным людям. Мы оба стали старше, серьезнее и еще упорнее в нашем молчании, не видя выхода. Словно нашла коса на камень.

В эту зиму я начала замечать, что он каждый раз уходил страшно грустный, а когда уезжал за границу, прощанье наше, почти без слов, казалось мне, а может быть и ему, днем тяжелой разлуки.

ГЛАВА 30

МОЯ БОЛЕЗНЬ

С осени началась у меня нервная болезнь, выражавшаяся в так называемых неврастенических параличах. То на несколько часов наступала слепота, и я страшно пугалась, то язык мой отказывался выражать мысли. Лежала я часто с чрезвычайно низкой температурой и невероятно медленным пульсом. «Наполеоновским», — дразнил меня врач.

Нашего дорогого доктора Эдуарда Ивановича Юргенса уже не было в живых. Втерся к нам, через дядю Яшу Гартунга, его приятель — Альберт Христианович Репман[1], известный физик и врач. Наверное, он был более физик, чем опытный врач, потому что меня совсем измучил. Мое состояние осложнилось кардиальгией. Страдания были ужасны. Репман делал мне уколы морфия. Я просто не понимала опасности, а мамочка в наивном доверии к врачам или просто из деликатности не протестовала. Уколы были настолько против моей натуры, что не только не утоляли боли, но, наоборот, делали мое состояние лишь еще тяжелее. И настолько мне было невыносимо, что я отказалась от них, угрожая мамочке найти способ покончить с собой. Она перепугалась и уступила мне; я потребовала, чтобы мне нашли врача, которому можно было бы верить.

К мамочке ездил изредка известный гинеколог Оскар Яковлевич Прево[2]. Я его любила и просила мамочку позволения лечиться у него, будучи убеждена, что он знает в терапевтии, во всяком случае, более Репмана, который обиделся и перестал к нам ездить.

Вскоре после отъезда Зилоти, как-то за завтраком, уже под конец его, отец начал рассказывать и возмущаться нашумевшей в Москве историей в одной артистической семье. И, не глядя на меня, сказал: «Недаром написана пьеса «Гений и беспутство»[3], хуже артистов в семейной жизни никого нет. Если кто-нибудь из девочек вздумает выйти замуж за артиста, так и знайте, что я своего согласия никогда не дам». Слова его звучали, как заученный урок или как приготовленная тирада. Мамочка сидела ни жива, ни мертва. Отец, как бы демонстративно, встал из-за стола и ушел вниз, в контору. Коротко — и ясно.

Мы с Сашей тихонько ушли в нашу комнату. Легла я на диван в спальне, меня лихорадило.

Зилоти звал меня в Веймар. Как хочется сейчас же уйти к нему. А уйти не смею, чтобы не лечь тяжестью на его плечи. Зарабатывать в Германии мне нечем. Учительниц музыки там и без меня много. Русский и французский языки им не нужны; да еще теперь, такая больная, куда я гожусь? Я должна, должна его забыть. Ему ведь всего 22 года, и весь путь его впереди… К счастью, он не знает, как я люблю его, и меня понемногу забудет.

Я сердилась на отца и горевала.

Явился через некоторое время еще перекрестный «неврастенический» паралич, правой руки и левой ноги, приходя и уходя внезапно, казалось, без всякой физической причины. Болезнь моя начала меня удручать. Играть мне было трудно, и я была в тоске. В бессонные ночи лежишь, а дума все та же звучит в ушах: должна его забыть, должна забыть.

Во второй половине зимы, то есть в самом начале января 1886 года, Антон Григорьевич начал давать в Москве и Петербурге, по очереди, свою знаменитую серию «Исторических концертов». Давал их потом в Европе, в музыкальных центрах.

Эти концерты были большим счастьем для меня. Ходила я на них, воз-

вращаясь полная энтузиазма и больная, получая надежду и утешение, в которых я нуждалась. Исполнение Антона Григорьевича было титаническое по простоте и величию. Оно осталось со мной навсегда. Мы ходили в эти концерты по-прежнему вчетвером и всегда заходили в артистическую поблагодарить Антона Григорьевича за то, за что и благодарить нельзя, а можно только благословлять.

Вспоминается мне по поводу этих концертов очаровательное явление в лице Анны Алексеевны (если не ошибаюсь в ее отчестве) Задонской, поклонницы и бывшей ученицы Антона Григорьевича[4]. Она приезжала из Петербурга на его концерты и несколько раз завтракала у нас. Она была до того поэтична красива, до того мила и непосредственна, что не только нравилась нам и мамочке, но и отец наш ею восхищался. Один раз после завтрака у нас мы все пошли в галерею, отец хотел ей показать, как висит грудной портрет Антона Григорьевича. Был одновременно написан и другой, коленный, с дирижерской палочкой в руке, который был повешен в галерее гораздо позднее[5]. Задонская, увидев портрет, бросилась перед ним на колени; отец засмеялся: «Вот какая вы экспансивная!» — «Но я же его обожаю! Он святее всех Антониев Падуанских и Печерских»[6]. — «И я его обожаю», — ответил отец, почти захлебываясь от смеха. Задонская рассказала нам, как когда-то, во время урока с Антоном Григорьевичем, у нее никак не выходил ноктюрн Шопена. Расстраивалась, что не может понять, как его надо играть. Тогда Антон Григорьевич взял ее за плечи, подвел к зеркалу и сказал: «Ну, да вы только взгляните на себя в зеркале, взгляните на ваши глаза, и вы поймете, что такое ноктюрн Шопена». Действительно, глаза у нее были темно-синие. Столько было поэзии в них, а говорила она так безыскусственно, как говорят умные дети, что невозможно было не подпасть под ее шарм.

Отец мой старался на меня не смотреть, но я замечала, как он украдкой внимательным, испытующим взором видел, как я таю. Он, собственно, растерялся и не знал, что предпринять, чтоб мне помочь и меня утешить. В этом я не могу сомневаться. Но переломить себя не мог, в сущности, чувствовал себя виноватым в моей болезни, а поступок свой, принципиально разумеется, считал правильным. Знал он мое поклонение Антону Григорьевичу, и пришла ему мысль (а может быть, через мамочку, не все ли равно?) подарить мне тот самый рояль Беккера[7], на котором Антон Григорьевич играл все свои «Исторические концерты». При моем настроении принимать подарки от отца не хотела, но, почувствовав, что это был не подарок, а желание доставить радость мне — любителю-музыканту, я поблагодарила его и сказала, что меня это очень трогает. Вскоре рояль уже стоял в нашей толмачевской зале, рядом с новым «Бехштейном», старый «Бехштейн», наш любимый, стоял всегда в нашей комнате с Сашей.

«Беккер» был по механизму легче, чем «Бехштейн», для моей больной руки. Я могла хоть разбирать понемногу новые пьесы и играть наши любимые оперы. Видно было, как отец начал расцветать. Но разговаривать мы с ним не могли.

Мамочка, бедная, растерялась еще пуще отца. Ведь она, я знала душой, мучилась не менее меня. Она начала умолять меня развлекаться, выезжать. Это обычный обманчивый способ.

Радовалась, когда вдруг меня что-нибудь заинтересует.

Приехал из Петербурга молодой композитор Аренский для исполнения своей симфонии. Его фортепианный концерт играл Павел Августович Пабст. Вскоре после этого или немного позже Аренский был приглашен профессором по курсу гармонии в Московскую консерваторию[8]. Я знала,

что он ученик Римского-Корсакова. Мне захотелось с ним познакомиться, и это устроила госпожа Эрдмансдёрфер, пригласив Аренского и нас. Он играл нам некоторые части своей симфонии, показался удивительно симпатичным и интересным, несмотря на большую некрасивость. «Das ist eine angenehme Hässlichkeit»*, — сказала Полина Францевна, когда Аренский ушел. Почему-то мамочка его к нам не пригласила. Я уже перестала вообще спрашивать: почему? Продолжалось с самого начала зимы посещение театров, Малого и театра Paradise. Увлекались мы вновь приехавшим Поссартом[9]; много раз видели снова «Гамлета»; и раз семь смотрели в том году поставленного «Манфреда» Байрона с музыкой Шумана[10]. Эта музыка стала нередко раздаваться в «Толмачах». Увлекались Людвигом Барнаем, чудесным Гамлетом, Макбетом, Уриэль Акостой и Кином в особенности, смелая красота и его глубокий, чудный голос были неотразимы[11].

Начались в ту зиму приглашения на танцевальные вечера особенно часто; наши родители просили нас не отказываться; нам сшили по нескольку чудесных вечерних платьев. Бывали в большинстве случаев вечера у неинтересных людей, и бывало скучно. Симпатично было на вечере у Новиковых, на Пречистенском бульваре. Они только что переехали из Петербурга и были милыми, интеллигентными людьми. Дочь Ивана Алексеевича, Ольга Ивановна, была рослая, с петербургскими, хорошими манерами и чрезвычайно симпатичная[12]. На этом вечере очаровала меня чудно танцевавшая, женственная Маруся Перевощикова, впоследствии ставшая чудеснейшей актрисой Московского Художественного театра, Лилиной, и женой К. С. Алексеева-Станиславского. Там танцевала я с очень симпатичным Николаем Федоровичем Рахманиновым[13], который с большим интересом расспрашивал меня о семье Рахманиновых в Знаменке. Познакомились мы предыдущим летом на спектакле в Любимовке у Алексеевых с барышнями Абрикосовыми, Соней и Любой, которые были нашего возраста и очень милые. Соня была нервная, как я, недавно вернулась из Парижа от Шарко[14]. Была она очень красивая, русского типа. Мы начали у них изредка бывать, днем и на вечерах.

Но самое интересное и невероятно приятное знакомство было с семьей Петра Петровича Боткина. В старинном помещичьем дому, окруженном садом, на Маросейке, жили еще родители многочисленной знаменитой семьи Боткиных, в которой были и врачи, и художники, и писатели, и коллекционеры, а одна из дочерей была женой поэта Фета[15]. Отец этой семьи, Петр Кононович, был основателем их чайной фирмы. В мое время главой фирмы и семьи Боткиных был Петр Петрович. Его жена, Надежда Кондратьевна, урожденная Шапошникова, была всю жизнь больная, постоянно лежала, умная, милая, казалась мне духовно выше их всех и очень несчастной. Три дочери их, Анна Петровна, Надежда Петровна и Вера Петровна, были удивительно внимательные и, несмотря на их некрасивость, — с громадным шармом[16]. Вера Петровна** была года на три старше меня.

Первый раз мы были в их доме на танцевальном вечере. Была масса молодежи. Это был самый веселый бал в моей жизни.

По воскресеньям с 4-х часов они принимали, и мы, чувствуя себя там необыкновенно хорошо, зачастили к ним, иногда оставались и обедать. Бывало много барышень и еще больше молодых людей: Николай Иванович Гучков, Федор и Михаил Владимировичи Боткины, Николай Иванович Боткин — художник[18], Челноковы, Шапошниковы, Самгины, Кашперовы[19] и

* Это приятная некрасивость *(нем.)*.

** Вера Петровна немного позже меня, в конце 80-х годов, вышла замуж за Николая Ивановича Гучкова, будущего голову города Москвы[17].

много других лиц, которые сейчас ускользают из моей памяти. Все это ухаживало и веселилось, а хозяева только и думали, как бы быть приятными своим гостям; окружали всех вместе и каждого отдельно теплотой и лаской. Я в первый раз видела такое широкое, душевное гостеприимство, подобного которому до сих пор, до моей глубокой старости, — не встречала.

Так протекала зима, и дело шло к весне. У нас по-прежнему бывали, как начиналась Передвижная выставка, Кузнецов и Бодаревский. Милейший Корзинкин, которому я больше играть не могла, по-прежнему носил мне книжки: Платона, Спенсера[20] и других философов. По-прежнему Дункер писал мне неудачно-иронические письма, оканчивая курс Института инженеров путей сообщения в Петербурге[21]. Ходили художники и старые, серьезные родственники. Все то же самое! То же самое!

На отца я была настолько раздражена, что хотелось выкинуть что-нибудь безумное, чтоб доказать ему назло, а отчасти и себе самой, что я не серьезный человек, а «вертопрах», как называл меня, говорят, Илья Семенович Остроухов[22]. И пусть! Нервы все равно были у меня никуда не годны. Просилась у мамочки уйти в сестры милосердия, но она попросту ответила: «Ну, куда тебе, особенно сейчас, Верушечка». И правда, ну куда я гожусь, хоть бы ненадолго забыться...

На вечерах у Боткиных и у Сапожниковых все время почти танцевала с Шурой Кашперовым. Я знала его еще со времени вечеров у Юргенсонов. Он был всего годом старше меня, был еще в кадетском корпусе, производил впечатление лентяя и ловеласа, но что-то серьезное мелькало на его красивом лице. Он идеально танцевал немецкий вальс, чудесно знал языки, был умницей, полон иронии, говорил певучим, глубоким басом, любил, по его словам, петь, был музыкален, как и вся его семья. Отец его был певцом, композитором; они были поволжскими помещиками, соседями писателя Александра Николаевича Островского*.

У Кашперовых было много детей, некоторые из них бывали у Боткиных. Екатерина Владимировна была актрисой; Николай Владимирович — военным, во всяком случае в то время, высокий, тонкий, с серыми «морскими» глазами, с зачесанными назад волосами, словно какой-то архангел воинственный на византийской иконе. Встречала и Владимира Владимировича — очень милого по виду, небольшого роста. Большая, интересная, культурная семья. Заинтересова́л меня Шура своей несообразностью: почти ребенок и в то же время философ. С ним можно было говорить о чем угодно: об искусстве, музыке, театре, литературе, можно было болтать вздор, смело шутить, не боясь быть неверно понятой.

Если б я попросила мамочку пригласить его к нам — я получила бы верный отказ. Я устроилась иначе: когда мамочка уезжала иногда днем надолго, я по телефону вызывала Шуру в нашу галерею. Там мы болтали, а как-то раз, самым нахальным образом, провела его из галереи, через нашу столовую, прямо в залу. Он пел мне, с моим аккомпанементом, каватину Мефистофеля, во время молитвы Маргариты в церкви, в «Фаусте». Пел музыкально, красивым мягким басом. А я растрогалась, представляя себя Маргаритой, а Фаустом — Зилоти. Я знала, что ни тетя Манечка, ни Саша, ни прислуга, обожавшая меня, — не выдадут. Изредка видались, а летом, когда он уехал на Волгу, — переписывались. Я его не обманывала. И он, с первого дня, не делал себе иллюзий. Мы оба, не по возрасту, были разочарованы жизнью, понимали, что увлечение наше мимолетное, были совершенно отк-

* Через много лет я познакомилась с Софией Владимировной Кашперовой, которая была в молодости невестой сына Островского; она похоронила его и безутешно оплакивала[23].

ровенны, чувствовали, что у каждого на сердце что-то тяжелое и не расспрашивали.

Рассказывал, что его мать[24] и сестра бранили его, как он, недоучившийся кадет, смеет ухаживать за барышней такой семьи, как наша. Он им отвечал, что он это понимает, но дружба с такой барышней останется лучшим воспоминанием его юности. Мать все же просила его, чтобы он не писал мне. После поездки на Волгу он вернулся к семье, которая жила на даче в Мазилове, близ Кунцева. Мы чуть ли не каждое лето ездили туда ненадолго гостить, к тете Наде, дяде Яше и к бабушке. Я попросила у мамочки позволения туда поехать. Она ответила с несвойственной ей определенностью, что ни за что не пустит, так как в Мазилове живут Кашперовы: Кашперов еще мальчишка, и это мое знакомство «ни к чему». Вышел «скандал в благородном семействе». Я и сама понимала, что это знакомство ни к чему, но я разозлилась, посчитала возмутительным такой «контроль». Меня, в 19 лет, опекать, как подростка. Я наговорила с три короба. А в глубине души почувствовала облегчение, что перестану себя презирать. Написала Шуре правду, что, если его мать просила перестать писать, то моя — просто запретила — и баста. Никогда, в будущем, уже не встречала его.

С Варей не переставала переписываться. Она знала обо мне все и жалела меня. Знала я, что и ее мать меня понимала и тоже жалела. И это было моим утешением.

По ночам я все время много плакала. Стала, как говорят, «ревой», которой раньше никогда не была, и в душе своих слез очень стыдилась. Где-то я тогда прочла, что Лист часто и подолгу плакал во время своих романтических отношений с графиней д'Агу[25]. Эта мысль о нем меня успокаивала.

ГЛАВА 31

СМЕРТЬ ЛИСТА. ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

Рука моя за лето понемногу перестала болеть, я могла снова серьезно заниматься игрой на фортепиано и была на седьмом небе. Уроки музыки я еще зимой перестала брать. Иосиф Вячеславович Риба обиделся, истолковав это влиянием Зилоти и Зверева. Отчасти он был прав; я всегда была ему благодарна за музыкальное образование, данное им мне, но хотелось улучшить чисто фортепианную технику. Зная, что Зверев был специалистом по этой части, я просила мамочку разрешить мне заниматься с ним, но она, чтобы не обидеть Рибу, наотрез отказала. Он никогда не был мне симпатичен, и я решила уроков с ним не возобновлять, чему помогла моя болезнь. Я прилежно засела сама за работу. Было еще только начало июля, и можно было на даче, в тишине, много успеть.

Увлекалась не только Бахом, в оригинале, но и листовскими переложениями его органных прелюдий и фуг. Нравилась мне также токката и фуга d-moll в переложении Таузига[1]. Последние вещи были новостью в нашем доме.

Увлекалась, разучивая фантазию f-moll Шопена, которую не слыхала ни от кого. Играла как могла уже несколько лет и была счастлива услышать ее наконец от Антона Григорьевича в его «Исторических концертах». У мамочки было много нот в ранних изданиях, как Шуберт, Шуман; а Шопен был в первом издании. Все проигрывалось по множеству раз. У нас с мамочкой выработалось уже давно разделение наших «репертуаров». Все, что играла она, я не трогала, зная, что этим делаю ей приятное. И учила то, чего она не играла. Например, мамочка играла Шопена скерцо h-moll и b-moll, а я — cis-moll и E-dur; она играла баллады g-moll и As-dur, а я — F-dur и f-moll. Я учила в детстве все сонаты Бетховена подряд для музыкального образования, но не исполняла для гостей ни одной «мамочкиной» сонаты. Когда я стала взрослой девушкой, моими любимыми сонатами, которые я играла, были: Пасторальная, сонаты ор. 90 c-moll, ор. 101 A-dur, ор. 110 As-dur и особенно соната ор. 109 E-dur, она для меня осталась на всю жизнь одной из любимейших вещей в музыке. Так мы делили пьесы всей фортепианной литературы.

Отец ценил это. Он любил игру обеих нас и понимал индивидуальность каждой. Не имея в Куракине двух роялей, наш с Сашей «оркестровый» Лист спал, но разносились звуки «Concolation» и многих пьес из «Années de pélérinage»*. Лирический Лист становился мне все ближе с каждым годом, и скрывать этого мне более было ни к чему.

Отношения с родителями улучшились. Отец, очевидно, перестал мучиться с тех пор, как я начала поправляться. Мамочка успокоилась, слыша пьесы Листа, счастливая тем, как я чувствовала, что я осталась верной себе. Я знала, что она боялась за меня, все время моего раздражения на отца, чтобы я не сделала какого-нибудь «coup de tête»** или «mariage de raison»***. Ей бояться более было нечего. Со своей стороны я знала, что Зилоти я забыть не в силах, и мечтала, что, когда он станет на ноги и если меня не забудет и снова позовет меня к себе, — то я к нему убегу. Так решивши, плакать и сердиться на отца перестала. Мой двоюродный брат Саша Мамонтов, очень мне преданный, обещал, что в любую минуту, когда я

* «Годы странствий» *(франц.)*.
** необдуманный поступок *(франц.)*.
*** брак по расчету *(франц.)*.

захочу бежать за границу, он мне достанет нужные деньги и устроит мне паспорт, имея где-то «руку». Оставалось терпеливо ждать и молчать.

Отец стал очень нежен, размечтался даже ехать с нами осенью путешествовать.

Приехал он как-то из города, смущенно-нежно поцеловал меня и пошел в спальню переодеться. Я пошла к себе. Выйдя в гостиную, которая лежала между нашими комнатами, он сел в большое кресло и тихо спросил: «Верушка, ты здесь?» — «Да, папочка, а что?» — спросила я через открытую дверь, продолжая что-то делать. «Веруша, — послышался снова его голос, — не знаю, как тебе сообщить большое горе для тебя», — и остановился. Остановилось и мое сердце, и я ждала в ужасе. «Постарайся принять как можно спокойнее: Лист умер, в Байрейте»[2]. Да, отец был прав, это было для меня большое, неожиданное горе. Само по себе — и вдвойне за Зилоти. Какое одиночество настанет для него!

Прошла в гостиную и нежно-нежно, молча, поцеловала отца. Была растрогана его пониманием и вниманием ко мне. Вышла мамочка, молча села на диван. Когда отец вышел из комнаты, она сказала мне: «Бедный Зилоти». — «Да, мамочка», — тихо ответила я.

Отец принес мне газеты, привезенные из города, и приносил их мне последующие дни; о жизни Листа и его похоронах на кладбище в Байрейте. В газетах писали, что он неоднократно выражал желание быть похороненным там, где его застигнет смерть. Через несколько дней газеты перестали писать, и родители об этом тоже более не упоминали.

Одиночество Зилоти и вся незаместимость этой утраты меня сокрушали: еще труднее будет ему теперь продвигаться на своем пути. Хотелось написать ему несколько слов сочувствия. Я сознавала, что никого нет на свете, кто бы так понимал его горе и жалел его, как я. Но я боялась, что мое письмо будет в своем роде «письмом Татьяны», и не сомневалась, что Зилоти, в час горя, сейчас же все бросит и приедет за мной, своим другом. Как я могла на это решиться при тогдашних условиях? Зная, как он горд! И решила молчать, а сама горевала и бегала то и дело в комнату к тете Манечке, которая не только понимала меня, но и выражала мне это в ласковых беседах со мной. Я от нее ничего и не скрывала.

Через несколько недель Варя пишет мне, что Саша спрашивает, не собираемся ли мы за границу. А если да, то когда мы думаем быть в Берлине и где остановимся. Если его концерт в Лейпциге совпадет с таким временем — он хотел бы нас пригласить и просить приехать*.

По непростительной минутной слабости я написала Варе, что едем за границу в сентябре и в Берлине остановимся, как и в последний раз, в отеле Дю Норд.

А когда, в сентябре, мы подъезжали к Берлину, на меня напал такой страх, что я начала умолять мамочку не останавливаться в Hotel du Nord, а также не спрашивать меня о причине. И мы остановились в другом отеле. Я умоляла мамочку уехать поскорее из Берлина — и в тот же вечер, без единого слова, выехали мы с экспрессом в Аахен. Я бежала... Из Аахена — в Льеж, из Льежа — в Гент. В Генте я начала бояться то пространства, то узких улиц. В Лилле я заболела и умоляла мамочку поскорее свезти меня в Париж полечиться.

В Париже мы остановились в стареньком отеле, но проводили бóльшую часть времени у Овденко. У меня начался сильный кашель — меня показали знаменитому Ратэн. Он нашел легкие в полном порядке, а кашель — на

* Теперь я знаю, что предполагаемый концерт осуществился и был дан в память Листа, в котором Никиш дирижировал впервые в Лейпциге «Данте-симфонию».

нервной почве. Савва Григорьевич Овденко хорошо знал Шарко, устроил нам сейчас же свидание с ним.

Шарко произвел на меня громадное впечатление. Похож он был на Наполеона. Глядя на него, я поверила во все творимые им чудеса силой внушения, о которых слышала от Сони Абрикосовой и от ее сестры Грани[3], бывшей товарки сына Шарко, по Сорбонне.

Сначала беседовал доктор с мамочкой, наедине. Потом, осмотрев меня, сказал мне, чтобы я постаралась устроить свою жизнь как мне хочется, и думает, что мои нервы сами собой поправятся. Я ответила ему, что знаю это, но прошу его мне помочь на тот случай, если бы моя жизнь не устроилась по моему желанию. Он дал нам адрес водолечебного заведения доктора Бенибарда. Туда мы с мамочкой должны были ходить два раза в день, пешком, что брало не менее получаса в один конец. Разгоряченной, мне давали ледяные души. Довольно сердитое средство!

Когда все было налажено, отец уехал в Испанию, куда, оказалось, мы должны были с ним ехать. В Испанию, о которой я с детства мечтала. На Рождество, при трескучих морозах, нередко плакала, что я в Москве, в холоде, а не в тепле — в Севилье.

Что же поделаешь? Более всех мне было жалко бедную Сашу, что из-за меня она должна была сидеть в Париже вместо интересного путешествия. Она переносила это так сердечно и мило.

Мамочка взяла напрокат пианино. Играть, к счастью, я могла. Особенно нравилось мне учить балладу Шопена, которая навсегда связалась с настроением того времени.

Я уже упоминала в этих записках, что мы встретились у доктора Бенибарда с милой Марией Семеновной Церленди, матерью Маши Пустоваловой[4]; два раза в день видались в этой водолечебнице, вместе часто завтракали около Лувра, иногда заходили друг к другу и очень подружились. Жили в Hotel de Bade Щукины, наши знакомые по Кунцеву, Иван Васильевич, муж Екатерины Петровны, урожденной Боткиной, и дочь его Нина[5], с которой мы постоянно видались. Ходили часто мы в драматические театры, а по воскресеньям на концертах Колонна[6] много переслушали французской музыки, особенно Берлиоза, которого Колонн дирижировал колоритно и увлекательно.

У Овденко мы обедали очень часто. Савва Григорьевич любил музыку и был сам любителем-скрипачом. Берег свою хорошую скрипку пуще глаза.

Изредка приходил к ним обедать один молодой чилиец, «маленький чилиец», как его называл Овденко. Он был скрипачом, учеником Парижской консерватории. Мы с ним после обеда иногда играли. Савва Григорьевич был знаком со многими артистами. Знал известного престарелого скрипача, учителя многих знаменитостей, которого все в Париже с величайшим уважением именовали le Pére Léo nard[7]. Как-то Овденко ему рассказал, что бывает у них русская девица, которая играет сонаты Баха для скрипки и фортепиано. Леонард заинтересовался, пришел к Овденко запросто обедать, принес с собой скрипку и все шесть сонат Баха. Вечером мы с ним сыграли две сонаты. Леонард восхищался: «Какие русские музыкальные». Я была горда и счастлива, что такая честь выпала на мою долю. Я была первая, от которой я сама слышала эти сонаты; мамочка их играла еще барышней.

Париж, тот прежний Париж, я обожала. Здоровье мое, мне казалось, поправлялось.

В 20-х числах ноября я получила письмо от Вари. Она писала, что приехал в Москву Саша. «Выходя из вагона, сразу накинулся на меня: где Треть-

яковы? Зачем ты мне наврала, я им писал в Берлин заказным, мне мое письмо вернули». — «Третьяковы в Берлине почти не останавливались, они в Париже; Вера больна и там лечится». Саша начал приставать, чтобы Варя показала ему мои письма. Варя отказалась. Тогда он, в отсутствие Вари, перерыл ее комод и прочел мои письма. Когда Варя вернулась домой, он покаялся и просил ее написать мне, что ему необходимо со мной поговорить, чтобы я непременно приехала к 6 декабря. Он в Симфоническом собрании Музыкального общества играет, между прочим, мою любимую сонату Бетховена, ор. 109, и хочет, чтобы я ее слышала от него.

Это письмо было от Любы, со вложением Вариного. Принесла мне его мамочка как раз в то время, как я лежала, отдыхала, что делала ежедневно между завтраком и вторым «путешествием» в водолечебницу. Ложилась в то время и мамочка, так как уставала от ходьбы. Дверь между нашими комнатами оставалась всегда открытой, и мы любили иногда, лежа, перекинуться словечком.

Прочитав и перечитав письмо и немного придя в себя, я сказала мамочке, что хочу быть в Москве к 6 декабря. «Имеет ли это что-нибудь общее со днем именин Николаши Третьякова?» — спросила мамочка с большим волнением в голосе. Я сообразила, что ее могло испугать мое решение faire un mariage*, то есть в конце концов дать согласие Константину Густавовичу Дункеру, брату Александры Густавовны[8]. «Нет, мамочка, — весело сказала я, — 6 декабря, в субботу, концерт Музыкального общества. Играет Зилоти, и я непременно хочу его слышать»[9]. — «Сегодня же я пошлю телеграмму папочке в Гибралтар, что ты поправилась и готова ехать 1 или 2 декабря в Москву», — сразу согласилась мамочка. Я вскочила с постели, побежала к мамочке и молча начала душить ее поцелуями.

На другое утро получили ответную телеграмму от отца, что выезжает и просит задержать спальные места.

Отец вернулся в хорошем настроении. Поздоровавшись, весело сказал: «Ну и загостились же мы этот раз за границей, пора и восвояси».

Всю дорогу рассказывал о чудесах Испании.

5 декабря, рано утром, мы были уже в «Толмачах».

* выйти замуж назло *(франц.)*.

ГЛАВА 32

СОГЛАСИЕ ОТЦА

Путь и все волнения меня настолько утомили, что мамочка уложила меня на сутки в постель, а сама то и дело наведывалась. Она, как никто, умела своим появлением и милым лучистым взором сразу согреть. Да и тетя Манечка забегала ко мне каждую свободную минуту между хлопотами с нашим большим хозяйством, клала мне под подушку то грушу, то апельсин, то мандарин и расспрашивала меня про моего «сердечного дружка». Разумеется, я тотчас же ей все рассказывала.

6 декабря, в субботу вечером, приехав в Дворянское собрание, как всегда, с депутатского подъезда, мы встретились в раздевальне с входящими туда Зверевым и Зилоти. «Ну, как я рад, что вы смогли приехать», — сказал он мне, здороваясь, и спросил, будем ли мы завтра в консерватории на оратории Генделя. «Разумеется, будем», — ответила я. «Мне необходимо поговорить с вами», — прибавил он, прощаясь, и пошел в артистическую, а мы пошли в залу.

Последние года два у нас с Сашей были свои именные места, как и у действительных членов ИРМО, и сидели мы теперь рядом с родителями.

Как играл Зилоти сонату E-dur — я никогда не забуду. Играл так серьезно, просто, чудесно! После сонаты мамочка нас увезла домой. Действительно, сил у меня было так мало. И опять она уложила меня в постель на все воскресенье, до вечера. Вечером же поехали в консерваторию, которая в то время еще помещалась в старом здании. Зилоти ждал нас при входе в залу наверху. Мы сразу сели вместе в заднем ряду. Были в зале все профессора и масса музыкантов, во главе с Петром Ильичом, Ларошем и Танеевым.

Мы сразу увидали, что поговорить как следует не удастся. Говорили едва слышно. «Вы на меня не сердитесь, что я прочел ваши письма, — начал Зилоти без вопроса в голосе, — но мне надо было знать правду». — «Наоборот, я очень рада, теперь вы знаете все и мне так гораздо легче». — «Завтра я уезжаю дней на десять, играть в Харьков, и как только вернусь — сейчас же приду к вам поговорить с вами и решить, что будем делать». — «Вы знаете, что я согласна на все, что вы решите. Теперь давайте тихо слушать музыку, чтобы не было подозрений», — прибавила я. Но мне было не до музыки. Я спрашивала себя, какой может быть выход? Бежать без благословения родителей, отложить нашу свадьбу до бесконечности? Я так устала ждать, что, казалось мне, более сил не хватит. Как дожить до его возвращения из Харькова?

Слабость была ужасная. Мамочка беспокоилась, но ничего не спрашивала. Через несколько дней пригласила мне моего любимца, доктора Прево. Я ему верила. Он осмотрел меня у мамочки внизу, нашел меня далеко не в блестящем состоянии и собирался серьезно лечить. Как только он уехал, прибежала тетя Манечка. Я видела, как они обе с мамочкой были огорчены моим видом. Меня взяло такое отчаянье: опять болеть, опять лечиться, такая безвыходность впереди. Мне сделалось дурно. Я очнулась на постели у мамочки. Увидя в слезах ее и тетю Манечку, я сама начала глотать слезы. Вдруг мамочка нежно говорит мне: «Верушечка, успокойся, ведь папочка согласен на твою свадьбу». — «На какую? Он, наверное, воображает себе совсем другое». — «Нет, он будет счастлив, если вы повенчаетесь с Александром Ильичом».

Я была так поражена, что охватить этого ни головой, ни душой не могла. Не в силах была вымолвить ни слова. Взяла руки мамочки и тети Манечки

в свои и прижала их к себе. Мамочка умоляла меня заснуть «часочек до обеда», там же, у нее. Тетя Манечка убежала. Было, помню, пять часов. Мамочка села рядом в своем кабинете что-то писать. Обед прошел своим обычным чередом, все были в хорошем настроении; сидела я и все еще не верилось, что это — сказка наяву!

Вечером, часов в девять, когда я сидела в нашей спальне на диване и что-то читала, — пришел вдруг отец, тихонько сел на диван, рядом со мной, и сказал: «Давай с тобой говорить так спокойно, как о платьях, о «тряпках». Я виноват перед тобой, что тебя так измучил, но я хотел, чтобы ты хорошенько обдумала и испытала свое чувство». — «Папочка, милый, это было жестокое испытание». — «Я знаю, но теперь и тебе, и нам ясно, что это не увлечение, а проверенное чувство привязанности на всю жизнь. Я спокоен, что ты знаешь, на что идешь, и выходишь замуж по рассудку». — «Папочка, миленький, я не думала, чтобы кто-нибудь мог допустить во мне хоть капельку рассудка». — «Я все думал: ты так любишь детей и так любишь музыку. Выходя замуж за артиста, ты будешь иметь все. Зилоти чудесный молодой человек и громадный талант. Я страшно счастлив за тебя и уверен, что ты скоро совсем поправишься. Теперь ведь необходимо вам вдвоем с ним поговорить и все обсудить. Ведь вам — вместе жить. Когда ты можешь его увидеть?» Я сказала, что он уехал в Харьков играть и обещал прийти ко мне как только вернется. Отец просил сообщить Зилоти о сегодняшнем разговоре.

Отец, собираясь уходить, вдруг обратился ко мне с поразившим меня вопросом: «Скажи, почему ты в свое время не вышла замуж за Петра Ильича? Ведь он же за тобой ухаживал». — «Папочка, дорогой, что ты? Я счастлива и горда его вниманием ко мне. Мы действительно хорошие друзья с ним». — «Я-то боялся, между вами уже слишком большая разница в годах». Я подумала: «Какой папочка наивный в жизни!» — и порадовалась за него.

Прощаясь, мы с отцом, с облегченной душой, крепко обнялись. Позже пришла мамочка, затем тетя Манечка. Мы долго не могли разойтись, все стояли и радостно болтали.

«Ты теперь будешь спать?» — «Буду, мамочка».

На другое утро я написала Варе о нашем разговоре с отцом и просила ее сообщить маме и Саше, когда его встретит на вокзале. Просила, чтобы Саша предупредил о дне и часе, когда соберется прийти ко мне.

Через несколько дней, 16 декабря, я получила рано утром, с посланным, записочку от Зилоти, что приехал и придет сегодня же, в два часа. Я сейчас же поделилась моей радостью с сестрой Сашей и побежала к родителям и к тете Манечке. Ровно в два часа раздался звонок, и через минуту Зилоти вбежал быстро по лестнице, улыбаясь во все лицо. Встретив его на верхней площадке, я провела его в нашу с Сашей гостиную, и мы уселись на наших любимых французских складных стульях, вышитых золотом, близ камина. Я, от волнения, — спиной к окну.

«Как вы съездили в Харьков?» — скрывая мое волнение, спросила я. «Ну что там Харьков? Вы лучше скажите, когда мы женимся? — весело сказал Зилоти, взяв меня за мизинец правой руки, лежавшей на столике, стоявшем между нами. — Как я счастлив, что все благополучно устроилось! А ты знаешь, после того как старик скончался, меня забрала такая тоска, такое одиночество, что я уложил свой чемодан, чтоб ехать в Москву за тобой. В Берлине, перед моим отъездом, я ужинал у моих друзей. За столом хозяйка спросила меня, уверен ли я, что ты пойдешь за меня замуж? Чувством я знал, что ты меня любишь, но ведь ты мне этого никогда не говорила. Я так смутился, что вернулся обратно в Лейпциг». Этим было все сказано. Я была

горда и тронута. Он взял мою голову своими длинными руками, накрест, и прижал к своему коричневому бархатному пиджаку, пахнувшему шипром. Этот запах и запах туберозы навсегда связались с Зилоти.

«Я думаю, самое лучшее — докончить сезон. После Пасхи мы обвенчаемся, и я тебя увезу в Лейпциг. Идет?» — «Идет». — «Я хотел бы поговорить с твоим отцом и Верой Николаевной».

Я побежала вниз за мамочкой. Она моментально пришла вместе со мной. Ее чудные серые лучистые глаза светились как звезды, она вся сияла. Назначила Зилоти свидание на вечер, у отца в кабинете, внизу. Я сбегала за тетей Манечкой, за сестрами Сашей и Любой. Саша и без слов была трогательно-мила. А Люба расплакалась. «Ну что вы ревете? Перестаньте! — уговаривал Любу Зилоти. — Я, ей-богу, человек хороший». Все рассмеялись.

Когда Зилоти ушел, мамочка нежно спросила меня: «Верушечка, тебе больше ничего на свете не надо?» — «Ничего, мамочка!».

После обеда, часов в восемь, я слышала из своей комнаты звонок, шаги по проходу под лестницей «антрэ» и звук закрывавшейся двери в мамочкин кабинет. Я тихо и радостно сидела и ждала.

Вот открылась мамочкина дверь и закрылась. Слышу, несется по лестнице Зилоти на своих долговязых ногах и, влетев как метеор, кричит мне: «Ну, теперь мы с тобой жених и невеста!». Через минуту пришли мои родители, поздравили нас, сказали, что очень счастливы, и прошли в столовую, а мы с ним еще поболтали.

Рассказал мне, как иногда, еще лежа в постели, мечтал, что вдруг почтальон принесет от меня письмо; а то мечтал, что вот раздастся стук в дверь — и я войду, закутанная в густую вуаль. Рассказал также, что моя карточка, в русской «куртушке», еще с Веймара стояла у него на письменном столе. Фридгейм и другие товарищи знали, что это портрет его невесты, и дразнили: «Usurpaterchen»*. Так они звали Зилоти. «Ведь это же ненадолго, если женишься — через шесть недель разойдешься». Нам казалось это невозможным, и мы громко смеялись. Вдруг Зилоти вскочил: «Хочу успеть забежать к маме и ей все рассказать». Проводив его, я побежала в столовую, к родителям. Они оба вместе рассказали мне, смеясь, что в конце разговора внизу мамочка спросила Зилоти, слышал ли он, как ужасно «бедная Вера Павловна кашляет?» — «Про кого это вы говорите?» — с недоумением в голосе в свою очередь спросил Зилоти. Отец мой его поддразнил: «Хорош, не знает, на ком женится». — «Ах, это вы про Веру говорите. Она ни разу даже не поперхнулась».

* Здесь — «маленький узурпатор» *(нем.)*.

ГЛАВА 33

ОБРУЧЕНИЕ

На следующее утро поехала я одна к бабушке Александре Даниловне. Она, всегда холодная с виду и неласковая, встретила меня сердечно, тепло и сразу благословила меня иконой Нечаянной Радости, о чем я уже рассказывала в одной из предыдущих глав этих воспоминаний.

Я была ее крестницей. Отец мой ездил всю свою жизнь, ежедневно, «к маменьке поздороваться».

Нет сомнения, что она была в курсе всего, что происходило в нашей семье. Не мог отец ей не рассказывать всех подробностей моего «романа» с Зилоти. Она так искренно радовалась моему счастью, она слушала с таким интересом, глядя на меня своими почти белыми, старческими, умными глазами, что мы с ней вдруг, неожиданно стали друзьями.

На второй день нашей помолвки мы с Зилоти поехали к его матери и к Звереву.

Мать жила на Страстном бульваре, в доме женской гимназии, на самом верхнем этаже. При входе, в передней, мы сразу обняли друг друга. «Мама», — шептала я. «Вера», — слышала я голос мамы. «Ну, покажись, какая ты», — быстро говорила мама, снимая с меня меховую шапку и рассматривая меня. Тут же была нежная встреча с Варей. Рядом с ней скакала на одной ножке Маша[1]. Ей было тогда лет пятнадцать, была она прехорошенькая. Мама потащила меня за руку через большую общую комнату в свою проходную спальню, за перегородку. Там она быстро и угловато, от волнения, перекрестила меня и так же быстро начала говорить: «Я так рада, так рада за Сашу и за тебя! Я уже вчера послала открытое письмо Илье Матвеевичу в Старобельск, о вашей помолвке. Нарочно открытое письмо, чтобы прочли все на почте и узнал бы об этом весь город до него. Он так не хотел, чтобы Саша женился, что мы с Варей все от него скрывали. Только ты, когда он приедет, не обращай никакого внимания, если он чего-нибудь тебе наговорит. И Саше не говори ни слова, что я тебе сказала». Меня удивила и глубоко тронула мамина ласка, заботливость, откровенность и, главное, ее доверие ко мне. С этого, первого, свидания жили мы с ней душа в душу, несмотря на многие недоразумения, случавшиеся в будущем, между семьями Третьяковых и Зилоти.

В то время было ей 53 года, а скончалась она во время революции, в Москве, около Вари, которая за ней ходила, и было ей около 90 лет. Мы жили уже в Америке. Помнится, я лежала в Нью-Йорке со сломанной ногой, когда мы получили письмо от Вари, что мать скончалась среди ночи, во сне[2].

Была она высокая, гибкая как лилия, красивая, со смуглым цветом лица и слегка монгольским разрезом прекрасных серых глаз.

Если б я могла охарактеризовать ее одним словом — я бы сказала, что она была олицетворением благородства.

От мамы поехали мы к Звереву. Он жил в Оружейном переулке, близ Смоленского бульвара. Встретил нас Николай Сергеевич с таким «барственным» радушием, но и не без маленьких колкостей, что было характерно для него.

Я только тут его рассмотрела. Ему шла роль хозяина дома. Очень высокий, тонкий, с бритым острым лицом, горбатым носом, умными серыми глазами, белыми, волнистыми, зачесанными назад волосами, прекрасно одетый, — он был аристократом, в лучшем смысле слова. Он был барином-

шестидесятником, либералом. В молодости окончил Петербургский университет, по юридическому факультету; одновременно с этим брал уроки музыки у знаменитого Александра Дюбюка[3]. После освобождения крестьян в 1863 году отдал всю землю своего подмосковного имения в собственность крестьянам. Его примеру последовала и его сестра, Анна Сергеевна. Они поселились в Москве. Он начал давать уроки музыки и стал скоро очень известным. Николай Григорьевич Рубинштейн, при открытии консерватории в 1866 году, пригласил Зверева преподавателем по классу фортепиано, чем он и оставался до самой смерти, в октябре 1893 года.

Николай Сергеевич познакомил меня со своей старенькой, высокой, представительной сестрой, Анной Сергеевной. Она была настолько доброй и радушной, что было невозможно не полюбить ее сразу. Там же была ее приятельница Александра Васильевна, которая мне тут же рассказала, что «Саша, вернувшись намедни от вас, спросил меня, как делают барышням предложение?». Я ему сказала, что кавалер становится на коленки, целует ручку барышне и предлагает свою руку и сердце, а Саша мне на это говорит, смеясь: «Вот ничего этого я не сказал ей».

Пришли «зверята» из консерватории: Мотя Пресман, которому было 16 лет, Сережа Рахманинов и Леля Максимов, которым было приблизительно по 14-ти лет. «Мо», так звал Пресмана Николай Сергеевич, был добродушным, полным. Сережа был маленький, толстый, с лицом круглым как луна и уморительно говорил «шам» вместо «сам»; у Лели* были очаровательные черные глаза с изогнутыми бровями.

На другой день после нашего посещения матери Саши и Зверева Саша прислал мне утром, с посыльным, записочку, что заболел, лежит и просит Веру Николаевну, чтобы она нас с сестрой Сашей отпустила его навестить. Там нас встретила Варя. Саша лежал в спальне Николая Сергеевича. Мы несколько дней подряд ездили к нему, покуда он болел. А как немного поправился, начал собираться за границу, к началу второй половины концертного сезона.

Перед его отъездом нас, по русскому обычаю, обручили. Обручал нас толмачевский батюшка Василий Петрович Нечаев. Бабушка благословила меня той же иконой Нечаянной Радости, а отец и мать — иконой Христа Спасителя. Этот образ отец подарил мне в день моего шестнадцатилетия, и висел он с тех пор в головах моей постели.

После благословения, вечером, был у нас большой обед. Накрыт был стол покоем, в нашей столовой. Петр Ильич прийти в себя не мог от удивления: он не подозревал о нашем романе с Зилоти. Сел за столом с мамочкой напротив нас с Зилоти, никак не мог простить, что я скрыла от него свое увлечение. Через стол шептал мне: «Дрянная девчонка, не могла ты мне раньше сказать, я бы тебе давно все устроил». Я смеялась и уверяла его, что это случилось и так неожиданно рано, так как Саше недавно минуло всего 23 года. Где было ему еще раньше обзаводиться женой, такой обузой! «А я-то, старый дурак, спрашивал себя в консерватории: чего это Третьякова мешает Зилоти музыку слушать, — смеялся Петр Ильич , обращаясь через стол к Саше Юргенсон, поддразнивал: — Ах, вот где было почтовое отделение!». Действительно, Варины письма пересылала Любе Саша Юргенсон, а Люба мне.

* «Мо», в будущем Матвей Леонтьевич Пресман, окончил Московскую консерваторию по классу Сафонова, стал известным педагогом в России. Сережа — в будущем известный всему миру пианист, композитор и дирижер. Лёля — Леонид Александрович Максимов — был одним из самых блестящих пианистов и всю свою короткую жизнь концертировал в России. Рахманинов и Максимов были оба учениками Зилоти в Московской консерватории с 1888 до 1891 года.

Уходя домой, Петр Ильич сказал Саше: «Прежде я был вашим учителем, а теперь я твой кузен и ты должен мне говорить «ты». Ну, говори: «Прощай, Петя!». Саша протестовал, говоря, что не в силах этого сделать. Петр Ильич ухватил его за горло, сказал, что задушит, а не отпустит, пока он его не послушается. Саша ежился, ежился и выпалил: «Прощай, Петр Ильич». Так Саша и стал его называть полным именем, говоря «ты».

Это было последнее мое свидание с Петром Ильичом в наших милых «Толмачах». Он вскоре уехал в Италию, до поздней весны. И венчалась я без него[4].

Кончая эти воспоминания о двадцати годах, прожитых мной в «Толмачах», я не уверена, что, при моем преклонном возрасте, успею написать вторую книгу, о целом полвеке нашей совместной жизни за границей и в С.-Петербурге, где, должно быть, рассказала бы много подробностей о наших дальнейших дружеских встречах с Петром Ильичом. Потому хочу, хоть вкратце, рассказать здесь о них, а также о семье Чайковских. В год нашей женитьбы, поздно осенью 1887 года, приехал Петр Ильич в Лейпциг. Это был его первый приезд в Германию в качестве композитора и дирижера. Помню, Петр Ильич брал с собой Сашу в Берлин и в Прагу, где Зилоти играл b-moll-ный концерт[5]. Жили мы за городом, в особняке с садиком. Почти ежедневно видались с Петром Ильичом в продолжение нескольких месяцев. В то время родился у меня старший сын, я не выезжала, а всего чаще собирались у нас по вечерам, с Григами, Бродским и Сапельниковым[6], с которым Петр Ильич был в дружественных отношениях. Григ нам много и чудесно пела под аккомпанемент своего мужа[7].

Много виделись с Петром Ильичом в продолжение трех лет, когда Саша был профессором Московской консерватории (с осени 1888-го по весну 1891 года). Часто собирались у нас обедать и играть в винт одни мужчины. Изредка целой компанией, во главе с П. И. Юргенсоном[8], издателем Петра Ильича, ездили к нему в Клин. Особенно близко сошлись мы в Париже весной 1892 года; жили мы вместе в отеле Ришпанс, недалеко от церкви Мадлен. Почти всю зиму 1892/93 года Петр Ильич дирижировал в Европе и Америке и то и дело проводил время в Париже, инкогнито, что ему редко, разумеется, удавалось[9]. Мы жили тогда на авеню Трудэн, у подножия собора, который в то время отстраивался, и мимо нас везли знаменитый колокол «La Savyarde»[10]. В свои приезды Петр Ильич приходил к нам ежедневно. Вместе обедали, чаще у нас, а иногда в ресторане, ходили вместе гулять, часто и в театр. В ту зиму в Париже жил также Модест, брат Петра Ильича, драматург, со своим воспитанником Колей Конради, глухонемым, который, несмотря на это, был большой культуры[11]. Они оба часто у нас обедали и проводили вечер, то одни, то с Петром Ильичом. Мы оба подружились с Модестом и остались близкими до его смерти в 1915 году.

В январе 1893 года в Париже родилась наша вторая дочка, Оксана. Покуда я поправлялась, Петр Ильич ежедневно навещал меня, сидел подолгу около меня на моей постели и беседам нашим не было конца. То и дело спрашивал меня с волнением в голосе: «Веруша, как ты думаешь, я еще долго проживу? Хоть лет пятнадцать? Я панически боюсь смерти!». Пожелал крестить «милую чучелку» — Оксану.

Когда уезжал в Россию, прощался, почти с отчаянием: «Скажи мне, что я долго буду жить!». А смерть жестоко его подкараулила и унесла в октябре того же года, 25-го числа, в Петербурге... Странно всегда звучали слова Петра Ильича, что пока Зверев жив, и он жив, а как Зверев умрет — и он скоро умрет. Оно так и случилось. Зверев скончался в начале октября, за несколько недель до Чайковского[12].

Мне кажется, что я знала его бесконечное число лет, словно всю жизнь, а на самом деле — всего одиннадцать с половиной лет, превратившихся в моем чувстве — в вечность. Паня, как звала Парашу вся семья Чайковских и к которой они относились с большой нежностью, прожила с Анатолием Ильичом более двадцати лет, «душа в душу», как она выразилась в письме ко мне после смерти своего мужа, в начале этого столетия, тоже в Петербурге. Анатолий Ильич был долгое время губернатором в Тифлисе. Саша Зилоти несколько раз концертировал на Кавказе[13] в продолжение нашего десятилетнего пребывания в Европе, много бывал у Чайковских и подружился с ними обоими.

ГЛАВА 34

САШИНА СЕМЬЯ

Саша уехал в Лейпциг перед самым Рождеством, до поздней весны. Я его не провожала и начала, счастливая, сразу жить минутой его возвращения.

На праздниках, помнится, на второй день, часов в двенадцать пришел «с визитом» отец Саши, Илья Матвеевич, с младшим Сашиным братом, Митей[1], меня очаровавшим и ставшим очень скоро моим большим другом.

Илья Матвеевич был маленький, худенький, с характерным молдаванским лицом, маленькими серыми глазами, большим носом, коротким бритым подбородком; носил коротенькие бакенбарды. Был он отставным военным и предводителем дворянства в Старобельске Харьковской губернии, где у него было имение. Был совершенно новым типом для меня. Сказал мне много странностей, переплетенных почти циничной (как мне казалось) философией, и оставил меня в полном недоумении. К счастью, мама, Юлия Аркадьевна, меня просила не обращать внимания на его разговоры. Он скоро уехал на Юг, в свое имение, которое, по его словам, должны были скоро продавать с торгов, что его беспокоило и огорчало. Я, собственно, узнала его через полтора года, осенью 1888 года, когда Саша принял, по просьбе Сергея Ивановича Танеева, место профессора в Московской консерватории. Я поняла, что странности и кажущаяся циничность у Ильи Матвеевича происходили оттого, что он был в личной жизни глубоко несчастен. Был, наоборот, чистый, хороший человек, чрезвычайно добрый (передавший эту доброту всем своим детям), умный, энергичный, очень религиозный и правдивый, но был, по моему мнению, неврастеником.

Уезжая с Сашей за границу на долгий срок, в январе 1892 года, расстались мы, к сожалению, не простившись. Он требовал, чтоб я отказалась от поездки, обосновывая это тем, что он лучше меня сумеет сделать карьеру Саше и что Саша должен обеспечить раньше всего отца и создать ему положение, а потом уже думать о себе и о своей семье. Я возражала, что Саша сам (без него и без меня) сумеет пройти путь, достойный его громадного таланта. Илья Матвеевич на меня сердился и тайно уехал из Москвы, накануне нашего отъезда. Вот подобные его действия я и объясняю неврастенией.

На святках, как-то днем, пришел ко мне знаменитый профессор русской словесности Федор Иванович Буслаев, чтобы познакомиться, по его словам, со мной — «Сашиной нареченной». Принес мне два тома своих сочинений, под заглавием «Мои досуги»[2], с трогательной надписью; Федор Иванович был в то время уже в весьма преклонном возрасте, а потому его приходом я была особенно польщена, обрадована и тронута. Он просидел со мной несколько часов, окутал меня такой лаской, что я совсем растерялась и сразу его полюбила.

Хочу объяснить, как выпало на долю Саше исключительное счастье стать его учеником.

Федор Иванович был женат на Людмиле Яковлевне, урожденной Троновой, помещице Волоколамского уезда Московской губернии. Троновы и Зверевы были соседями по имениям. Николай Сергеевич и Анна Сергеевна Зверевы были в молодости в дружеских отношениях с Людмилой Яковлевной и ее сестрой, Фаиной Яковлевной[3], сошлись и с Буслаевым после его женитьбы.

Когда Саша стал взрослым юношей, Николай Сергеевич просил Федора Ивановича пополнить и расширить знания Саши по всеобщей литературе.

Обладая универсальностью знаний в науке и искусстве, он занимался с Сашей с трогательной любовью в продолжение нескольких лет, по нескольку раз в неделю, не считая часов. Изучил с ним Библию, Данте, Шекспира, Гёте и других классиков, иностранных и русских. Заставлял писать сочинения, и, когда, в будущем, Саша писал хорошим слогом, Федор Иванович с гордостью говорил мне: «Маленькая, ведь мой ученичок, мой ученичок».

Познакомилась я и с семьей Сатиных[4]. Сашина тетка, сестра и крестница Юлии Аркадьевны, была совсем молодая женщина, 34-х лет, хорошенькая, живая как ртуть и очень сердечная. Мы с ней стали просто подругами в самое короткое время и «навсегда». Ее муж, Александр Александрович, был богатырь — огромного роста, широкий, черный как смоль, с серыми добрыми глазами. Родственники, друзья и все люди, приходившие в прикосновение с ним, его прямо обожали. Разумеется, и я в том числе, и Саша. Все мы звали его «дядей Сатиным». Мне казалось, что я их знала всегда. Мне было у них уютно, и, наверное, видалась бы я с ними часто до возвращения Саши, если бы не случилось в нашей семье большого горя, о котором расскажу в следующей главе.

ГЛАВА 35

ВАНЕЧКА

В начале ноября 1878 года родился у наших родителей второй сын, чудесный мальчик Ванечка.

Когда мамочку спрашивали, в честь кого она дала это имя, она отвечала: «В Ивана-царевича и в Иванушку-дурачка, героев русских сказок».

Ванечка рос красавцем-богатырем, но с невероятно впечатлительной, тонкой душой. И своей радостностью внес в нашу юную жизнь вторую радость; первой была Маша, которой было в то время года четыре, а нам с Сашей было 12 и 11 лет. Обожали мы Машу, заобожали сразу и Ваню.

Маша и Ваня — звучало тоже сказочно. Да и они сами были оба такие прелестные, обаятельно-красивые и милые.

Нас, детей, стало три пары: я и Саша — сестра, Люба и больной, ненормальный Миша и наши маленькие любимцы Маша и Ваня.

Они оба родились в нижнем этаже, в спальне родителей, а росли в детской, в бельэтаже, где выросли и мы, четверо старших, по очереди уступая место новорожденным, переезжали наверх, на третий этаж, под крылышко тети Манечки.

Во время царства Наталии Васильевны Фофановой (нашей с Сашей — сестрой воспитательницы, о которой я много уже писала), нас, двоих старших, перевели в прежнюю спальню родителей и смежный кабинет мамочки, из верхнего этажа — в бельэтаж. Спальня была душная, а кабинет холодный, имея две наружные стены. По совету Наталии Васильевны, сходившей с ума по гигиене, стенка между этими комнатами была снята; были поставлены для поддержки потолка две колонки резного полированного ореха; получилась одна громадная комната, окнами на две стороны; там и спали, и учились. Когда мне минуло шестнадцать лет и Наталия Васильевна нас добровольно покинула, родители отделали эту комнату, устроив нам спальню в прежней своей спальне, а бывший кабинет мамочки стал нашей гостиной. Прибыл ковер, повесили оливковые шелковые драпировки между колоннами, поставили нам туда старый «Бехштейн», два письменных столика, кресла, стулья. Это стало нашим заколдованным царством. На рояле лежали наши любимые ноты. Там упражнялась в игре на фортепиано сестра Саша, а я — в зале, на новом «Бехштейне». Звуки фортепиано неслись почти целый день, через «антрэ», по всему дому, то из залы, то от нас.

Когда подрос Ванечка, он нередко забирался в нашу комнату послушать музыку, которую очень любил. Он был чрезвычайно музыкален, слышал и схватывал все сразу. Там я стала давать ему уроки игры на фортепиано и параллельно объяснять ему гармонию и разрешение аккордов. Мы оба занимались с энтузиазмом, и были эти занятия большим счастьем для меня. Память была у него феноменальная.

Волосы были у него светло-русые, волнистые, и падали подчас на лоб высоким, непослушным клоком. Нос был с горбинкой, как у нашего папы-крестного, Сергея Михайловича Третьякова, глаза были серые, лучистые, мамочкины; как и у нее, то были они задумчивыми, глядя в бесконечность, то светились как звезды. Брови были тоже, как у мамочки, то изгибались вопросительно, а то выражали недоумение.

Сначала была у Маши и Вани няня Иллария Ефимовна, умная, желчная и злого характера; детей наших, по-своему, ревниво обожала. Когда они подросли, пригласила мамочка им воспитательницу, тихую, скромную Ека-

терину Григорьевну Померанцеву, одну из бесконечного числа мамочкиных стипендиаток.

После отъезда Наталии Васильевны для уроков французского языка была приглашена г-жа Шеффер, вдова, воспитывавшая своего единственного сына Эдуарда дома, в Швейцарии.

Была она образованная, очень развитая, ярая кальвинистка. Она жила у нас и по летам в Куракине для практики французского языка нам и особенно Маше и Ване. Любы и Миши она не касалась. Их воспитательница, Ольга Николаевна Волкова, знала французский язык в совершенстве.

Ваня заменял ей сына; она понимала Ваню, его богатую, чуткую душу; понимала и все его шалости, старалась давать ему, четырехлетнему, но очень сильному и развитому, по возможности, много свободы, следуя, как товарищ, за ним по полям, лугам, лесам, на речку и много беседуя с ним, как со взрослым. Интересовался он всем и был необычайно чувствителен ко всему происходящему вокруг. Я сейчас удивляюсь, почему и тогда, и позже не было у него знакомых мальчиков — товарищей; играл он либо с Машей, либо бывал с воспитательницей.

Родители без памяти любили его, но не баловали и не «носились» с ним; это была спокойная радость иметь наконец в семье своей здорового, нормального, одаренного сына, на которого оба родителя могли возлагать все свои надежды.

Г-жа Шеффер очень хорошо относилась к Екатерине Григорьевне, которую няня Иллария Ефимовна ненавидела, ревнуя к ней детей наших, и готова была ее сжить со света. Историям и интригам няньки не было конца.

Мы с сестрой Сашей принимали это близко к сердцу и, под влиянием Шеффер, начали требовать от мамочки удаления Илларии Ефимовны из нашего дома. Как мучительно трудно и тяжело было мамочке разрубить этот гордиев узел. В нашем дому, где было столько прислуг и столько сплетен! Но сколько это мамочке ни стоило, она наше требование уважила и рассталась с Илларией Ефимовной. Это был единственный случай, что мы с Сашей энергично вмешались в строй толмачевской жизни. Милая и умная тетя Манечка держалась в стороне.

Ванечку родители перевели из детской спать к себе в спальню. Его кроватка с тех пор стояла в ногах их постелей. Так мамочка, ласковая и нежная, лишний раз поздно вечером, ложась спать, или среди ночи могла перекрестить Ванечку, а утром перемолвиться лишним словом.

Рассказывала мамочка, что как-то под Рождество, в сочельник, когда пришла ложиться, услыхала тихие, сдержанные рыдания: «Что с тобой, Ванечка? Болит что-нибудь?» — «Нет, но на дворе праздник, а я никому доброго не сделал». А было ему тогда лет семь, не более.

В сезоне 1885/86 года мы обе, вместе с отцом, особенно увлекались немецким театром Георга Парадиза. Между многими интересными пьесами был поставлен для Эрнста Поссарта «Манфред» Байрона с музыкой Шумана. Помню, на одного «Манфреда» ходили мы более полдюжины раз; восхищались и часто играли мы обе эту музыку в нашей комнате. Ванечка всегда принимал участие в наших увлечениях и нередко забегал послушать «Онегина», «Кармен», «Руслана», «Манфреда».

В одно из воскресений сидела я у себя в комнате одна и начала играть музыку к «Манфреду», подряд; это было перед сумерками. Когда я дошла до прощания Манфреда с солнцем, я услыхала рыдания из-под рояля. Нагнувшись, я увидала Ванечку. Он туда спрятался, чтобы послушать опять эту, знакомую ему, музыку, а мне не мешать. «Ванечка, что ты, милый?» — «Да понимаешь ли ты, что значит в последний раз видеть луч солнца?».

Ванечка был счастлив, что я выхожу замуж и выбрала «Александра Ильича», которого он очень любил. Когда, после нашего обручения, Зилоти уехал в Европу, я снова заболела. Меня уложили в классной комнате (бывшей нашей детской, с лежанкой в углу, где, в будущем, после моего замужества, поселились родители и где мамочка 25 марта, в день Благовещения, в 1899 году скончалась). Положили меня среди комнаты, к окнам; давали каждые полчаса мясной сок и ложечку шампанского; температура была, помню, ниже 34, а пульс 60. Запретили мне разговаривать. Это — мне-то? самой «словоохотливой», как выражался мой отец! И никого, кроме родителей, тети Манечки и сестры Саши, ко мне не пускали.

Как-то, идя спать, Ванечка приоткрыл скважину в моей двери; слышу шепот его: «Верочка, покойной ночи тебе, желаю тебе земного счастья».

Это было в первых числах января, а в двадцатых — его отняла у нас скарлатина, осложнившаяся менингитом. Ему перед тем, в ноябре, минуло восемь лет[1]...

Во время Ваниной агонии милая Варвара Ивановна и тетя Манечка, обнявшись, плакали, причитая: «Какие мы счастливые с вами, что это горе случилось в присутствии родителей, а не без них. Ведь мы бы замучились в сомнениях, все ли мы сделали, что было в наших силах?»

Они рассказывали мне, что в бреду Ванечка как-то весело сказал: «А я возьму папочкины калоши, поставлю их в передней на виду, позову Верочку, она подумает, что это Александр Ильич приехал. Как она рада будет...».

ГЛАВА 36

СМЕРТЬ ВАНЕЧКИ

Ванечка скончался ночью. Рано утром пришла ко мне мамочка, тихая, спокойная, лишь слезы, как жемчужины, падали из ее глаз: «Верушечка, Бог взял у нас Ванечку. Одевайся поскорее, пойдем в столовую папочку утешать».

Горю бедного отца моего не было границ. Он плакал судорожно и горько, как ребенок, в абсолютном отчаянии. Самый невыносимо тяжелый момент был, когда вскоре пришел пить кофе мой брат Миша, шестнадцатилетний, неразумный, но не лишенный отзывчивости; он подошел к отцу и едва внятно сказал: «Как жаль, что Ванечка умер...».

А после кофе, когда Миша ушел к себе, отец, будучи глубоко религиозным, сказал тете Манечке: «Как неисповедима воля Божия, взять у нас здорового сына и оставить нам больного...». И стал тосковать пуще прежнего. Мы, девочки, облепили наших несчастных родителей, думали лишь об одном, как утешить отца, вместе с мамочкой, такой героиней.

Ванечка болел и скончался внизу, в спальне родителей, где родился и жил последние годы.

Меня к больному отец не пускал, говоря, что я уже наполовину не принадлежу к семье своей и он ответственности за меня брать не смеет. И на похороны не пустил, а просил меня уехать до вечера к моей кузине, Вере Мамонтовой, так как после выноса должны были делать дезинфекцию в доме. Мне казалось тогда, как кажется и теперь, что мне было бы легче пережить это горе со всеми моими, среди полной его тяжести. Сестра Саша от Ванечки не отходила, и я ей завидовала, хотя знала, что меня нежно берегли, но все же где-то глубоко закрадывалась горечь, точно действительно я стала наполовину чужая, и это было мне невыразимо тяжко.

Пришла мамочка на другой день похорон. Начала просить сделать свадьбу мою с Зилоти теперь, как можно скорее. Просила, чтобы, повенчавшись, мы остались некоторое время в Москве, в какой-нибудь гостинице, чтобы дать ей возможность постепенно привыкнуть к мысли о моем отъезде за границу. Ей трудно было пережить уход из семьи двоих детей сразу.

Мы послали телеграмму Саше Зилоти в Антверпен, где он в те дни должен был играть.

Зилоти отменил оставшиеся концерты и сейчас же выехал в Москву.

Я проводила почти все время с тетей Манечкой, от которой не скрывала своей душевной окаменелости; горе парализовало радость приезда Саши, а радость парализовала горькое горе. Меня точно не было. «А ты молись, и Бог пришлет тебе слезы, оживит твою душу, чтобы ты приняла с верой свое счастье. А твоего дружка Ванечку вечно будешь любить и помнить». Эти слова так тронули меня, так оживили; я долго плакала на плече у тети Манечки и начала, словно воскрешенная, с благодарностью и нежностью ждать приезда Саши моего.

Не хватило бы сил у родителей моих венчать нас у Николы в Толмачах, где только что отпевали Ванечку. Дядя Костя (Константин Васильевич Рукавишников, муж мамочкиной сестры, нашей тети Дуни), навещавший нас ежедневно в нашем горе, просил, чтобы мы венчались в его церкви, то есть церкви Рукавишниковского исправительного приюта[1]. Венчание назначили на 6 февраля, последнюю пятницу перед Великим постом, вечером, в 8 часов, с возможно меньшим освещением. Хор Московской императорской оперы предложил пропеть венчание, под управлением

мамочкиного брата, Виктора Николаевича Мамонтова, постоянного регента этого хора.

Кто-то что-то тихо устраивал. Отец пожелал, чтобы мое подвенечное платье и другие платья к отъезду были сшиты домом Пикаф, давнишним съемщиком в доме братьев П. и С. Третьяковых на Кузнецком мосту[2]. И начали ко мне то и дело ездить с примерками.

Вслед за приездом Саши съехались, с разных концов России, и все его братья: Аркадий, смелой запорожской красоты; Володя, которого я уже знала несколько лет; Сережа — лейтенант балтийского флота, и Митя, уже раз приходивший ко мне с отцом, все очень симпатичные и простые. Митя был мне ровесником. По моей просьбе поехали мы накануне свадьбы в студию И. Г. Дьяговченко на Кузнецком мосту, чтобы сняться всем вместе с мамой Юлией Аркадьевной на память об этом единственном дне в жизни ее, когда около нее собрались все семеро ее детей; я явилась восьмой в их семью. Отца Зилоти в городе не было, на свадьбу он не приехал. Не был на свадьбе и Николай Сергеевич Зверев, ни за что не хотевший прийти. Отцу Зилоти не нравилось, что Саша женится не на дворянке, а на купчихе, а Звереву — что Саша женится так рано. В этом было у обоих, мне кажется, чувство своеобразной ревности. Юлия Аркадьевна была ко мне необыкновенно мила. Мамочка моя, в неутешном горе своем, молча, украдкой, целовала меня; ее ласка и молчание говорили мне больше, чем все слова мира. Ни жалоб, ни мольбы. Жизнь Ванечки, пронесшаяся как метеор, была для нее подарком Божиим, данным и взятым, или проглянувшим и скрывшимся лучом солнца.

ГЛАВА 37

МОЯ СВАДЬБА

Накануне свадьбы Саша Зилоти исповедовался и приобщался у своего учителя Закона Божия и церковного пения, по крюкам, отца Дмитрия Васильевича Разумовского, настоятеля церкви Вознесения на Большой Никитской. Отец Разумовский был большая умница, большой знаток в богословии и был любимцем всей консерватории[1]. Он выразил желание совершить обряд нашего венчания.

В день нашей свадьбы, как полагалось по старинному московскому обычаю, я своего жениха не видала. Одевала меня милая моя тетя Манечка как самая близкая мне почтенная девица, тоже по обычаю старого времени. Она крестила каждый предмет моего одеяния, пришивала крошечные кусочки хлеба и соли, зашитые в ладанку, клала червонцы в мои туфли.

Я была покойна, а по горлу скатывались слезы, тихие и счастливые.

Траура по Ванечке никто не носил, ни одного дня. Мамочка надела на свадьбу кирпичное кашемировое платье, сестры — белые, какие были; тетя Манечка — черное бархатное, с гранатовой брошкой на вороте.

Меня благословили в нашей зале бабушка и родители. Я стояла и кланялась в землю перед ними уверенно, лишь коленки мои изменили мне, когда я вставала перед иконой в мамочкиных руках. Я зашаталась и нашла опору на ее плече, по моей щеке лились ее и мои счастливые слезы.

Сашин брат, Сережа, приехал за мной с чудным букетом.

Милая тетя Манечка последняя перекрестила меня, отпуская на всю жизнь из дорогих «Толмачей».

Ехала я в церковь в карете с мамочкой, сестрой Сашей и Мишей, несчастным оставшимся братом, который «вез» образ, не понимая важности этой минуты.

Отец мой, при входе в церковь, когда запел хор встречу мне, взял меня под руку, нежно прижал мой локоть, довел меня до половины церкви и поставил на левой стороне.

Помню, как во всем моем беспредельном счастье мне захотелось взглянуть на Сашу, какой у него сегодня вид. Я обернулась и, увидав его, стоящего далеко направо, поразилась снова его оригинальной красотой. Стоявший сзади меня мой кузен, Николай Александрович Алексеев, шепнул мне в ухо: «Видишь, Веруша, не сбежал». Тут же увидала дядю Сатина, Сашиного посаженого отца, и Федора Ивановича Буслаева и подумала, что его присутствие принесет нам счастье.

Через минуту отец Дмитрий Васильевич привел Сашу ко мне, держа его руку епитрахилью, и, взяв и мою руку так же, повел нас вместе к аналою в середине церкви. Он, со своим умным, добрым, «византийским» лицом, со своими стройными, музыкальными возгласами и тихими, проникновенными словами, любя Сашу, благословлял нас, чувствовалось, от всего сердца, от всей души.

Хор пел художественно-стройно, почти вполголоса. Тускло мигали свечи, в полутьме церкви пение разносилось по сводам как будто голоса каких-то неземных существ. Особенно «Отче наш» оставило на нас обоих впечатление, которое мы часто вспоминали.

Когда мы становились на разостланную перед нами полосу розового атласа, я сознательно подождала и дала Саше ступить первому, чтобы, согласно старой примете, дать ему первенство в нашей будущей семье.

А когда нас водили вокруг аналоя и пели «Исайя ликуй», перед третьим

разом, Сережа Зилоти, державший над Сашей венец, шепнул мне: «Верушка, еще можешь отказаться, время есть». — «Нет, ни за что», — счастливая, ответила я ему.

По окончании обряда отец Дмитрий Васильевич благословил нас крестом, поздравил и произнес тихим голосом: «Любите друг друга», — трогательно и красиво.

Так как толмачевский дом считался еще зараженным, то из церкви поехали мы в отель, имени которого я не помню, выбранный моими родителями, где-то около Никольского проезда.

Совсем не помню, кто именно был с нами, кроме самых близких нам обоим.

Осталось дорогим воспоминанием, как сердечна, трогательна в своей простоте была ко мне сестра Саша, подруга всей моей девичьей жизни.

ГЛАВА 38

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В МОСКВЕ

На следующий день пришел к завтраку Сережа Зилоти, Сашин любимый брат, с которым они выросли, будучи погодками, как выросли мы с сестрой Сашей.

Днем мы к первому поехали к Николаю Сергеевичу Звереву. Он пересилил себя, был любезен и ласков. Об Анне Сергеевне и говорить нечего. Ласковее и быть невозможно. Была суббота, и Николай Сергеевич пригласил нас на следующий день к обычному у них воскресному обеду, в 4 часа. От Зверева мы заехали к маме Юлии Аркадьевне и обедали в «Толмачах», в семье. Через несколько дней переехали мы из неуютной гостиницы в более уютный «Славянский базар», на Никольской, с чудесным рестораном. Саша любил в те времена холодный кровавый ростбиф. Мамочка, заехавшая к нам как-то утром, долго смотрела, как Саша, перед утренним кофе, уплетал кусок за куском. Приехавши домой, рассказывает она тете Манечке и прибавляет: «Господь с ним, пусть его кушает». Эти слова остались на всю жизнь поговоркой у нас в доме.

Зашла к нам в «Славянский базар», со мной познакомиться, «Нютка», Анна Ивановна Страхова[1], Сашина товарка по консерватории, жившая тоже долго у Зверевых и дружившая с Анной Сергеевной. Мы с ней сразу сошлись. Она стала мне верным, любящим другом.

У Зверева мы обедали каждое воскресенье, покуда оставались в Москве, и перевидали многих его учеников, бывших и настоящих. Приезжали мы к обеду, всегда заранее. Как-то Николай Сергеевич, окончив урок, привел с собой в гостиную маленького кадетика, очень скромного, симпатичного, лицом напоминавшего лягушечку, — это был четырнадцатилетний Саша Скрябин. Он нам сыграл скерцо h-moll Шопена, а затем свой собственный этюд cis-moll, только что им сочиненный.

Часто Николай Сергеевич заставлял кого-нибудь из учеников играть нам то Сережу Рахманинова, то Лёлю Максимова, то Самуельсона, то Кенемана. Вся молодежь оставалась у него обедать. Стол накрывался человек на двадцать пять. Еда была первоклассная, в простоте и изобилии. Бывали щи с кашей или борщ с ватрушками, рубленые котлеты с разной зеленью, огурцами и соленьями и традиционный песочный пирог с абрикосовым вареньем.

С Николаем Сергеевичем установились у нас чудесные отношения, с дразнением и колкостями не от злого языка, но от доброго сердца. Он както рассказал мне, что перед нашей помолвкой приехал к нему Павел Михайлович спросить, почему Зилоти женится на его дочери? «Я ответил, что не знаю почему, но знаю, что не на деньгах». Павел Михайлович поблагодарил и прибавил, что именно это подтверждение ему хотелось слышать от него, учителя и воспитателя Зилоти.

Павел Михайлович чрезвычайно уважал Николая Сергеевича за всю его деятельность, которую высоко ценил. Гораздо позже, после смерти обоих, узнали мы случайно, что отец мой ездил навещать больного Зверева. Как-то нашел его дающим урок в гостиной. Он лежал на полу, на матрасе, рядом с фортепиано. Сраженный тем, что видел, участливо расспрашивал больного о его работе и заработке и, вернувшись домой, послал Николаю Сергеевичу чек, дававший ему возможность «отдохнуть» и не давать уроков. Николай Сергеевич скончался в октябре 1893 года от рака желудка.

Бывали мы часто вечерами у Буслаевых. Жена его Людмила Яковлевна, и свояченица, Фаина Яковлевна, были очень некрасивые, очень милые — и

обожали Сашу, полюбили и меня. Федор Иванович баловал нас своей лаской и своими беседами, всегда такими интересными. Все вспоминал нашу свадьбу. Как Саша стоял, улыбаясь, а я «порхала» около него в церкви, во время поздравления. Я могла это слушать без конца как выражение любви Федора Ивановича к нам.

Несколько раз обедали мы у Сатиных. У них мы чувствовали себя совсем своими, какими остались, более чем через полвека, и сейчас. Дети их, все четверо, были очень симпатичны, особенно их старший сын, Саша, с которым я очень подружилась, живя в их тамбовском имении Ивановке[2]. Саша был само очарование, сама тонкость, сама доброта и сама деликатность.

Встретили мы там учителя детей — Григория Львовича Грауэрмана[3]. Он был керченский уроженец, врач, окончивший университет в Москве. Лицо южанина, волосы — вороньего крыла, глаза — кишмиш. Очаровательная улыбка смягчала и освещала лицо нашего будущего долголетнего друга. Тогда он пел довольно зычным баритоном и знал всю «романсную» и оперную литературу наизусть.

Ежедневно заезжали мы днем к маме Юлии Аркадьевне. Обедали обычно в «Толмачах». Там, по вечерам, Саша часто играл — в утешение моим родителям.

Из моих родных бывали мы и обедали запросто, вместе с моей семьей, у бабушки Александры Даниловны, которая жила все в том же илья-обыденском доме, лишь перестроенном, вместе с дядей Яшей и тетей Надей Гартунг.

Петра Ильича в городе не было. Я уже упоминала, что он уехал после Рождества в Италию.

Несколько раз виделись с Сергеем Ивановичем Танеевым, удивительно умным и симпатичным.

Несколько недель в Москве пролетели быстро, и пришла пора собираться нам в путь-дорогу, чтобы поскорее Саше начать работать, готовить репертуар для будущего сезона.

Наградили меня, против моего желания, старой мамочкиной «каммерюнгферой», Линой Карловной, той самой, которая первая взяла меня на руки после моего рождения. Нашили мне всего слишком много. Я ужаснулась куче нашего багажа. Но мамочка так желала, и я покорилась.

Все мои, каждый по-своему, радовались нашему счастью. Обе матери баловали меня своими ласками и советами, а я их любила, ими гордилась, ими, такими красавицами, такими музыкальными и такими чудесными. Они обе были идеальным типом русских женщин и такими непохожими друг на друга. Между ними и мной не было никогда ни малейших недоразумений, и храню я память их с великой любовью и нежностью.

Из «Толмачей» всего грустнее мне было уезжать от тети Манечки. Мои родители и сестры ездили за границу часто и обещали то и дело меня навещать. Тетя Манечка за границей никогда не была, и я знала, что ко мне не приедет: «Толмачей», с их многочисленными жителями, покинуть не сможет. В минуты нахлынувшей тоски расставания Саша говорил мне: «А ты думай, что ты не от них едешь, а со мной едешь».

Выехали мы на 6-й неделе Великого поста. Уезжала я такая счастливая, что и описать было бы невозможно: уезжала с Сашей Зилоти, «in die grosse Welt», как сказал Гёте, помнится, во второй части своего «Фауста».

Июль, 1939

ПРИМЕЧАНИЯ

ОТ АВТОРА

[1] Зилоти Вера Павловна (урожд. Третьякова, 1866—1940), старшая дочь П. М. Третьякова, основателя Третьяковской галереи в Москве. Жена пианиста, дирижера и музыкального деятеля А. И. Зилоти (с 1887). После смерти П. М. Третьякова В. П. Зилоти, как и ее сестра А. П. Боткина, в соответствии с завещанием создателя музея, входила в состав Совета по управлению галереей, активно участвовала в его работе. Посвящение автора адресовано третьей дочери В. П. Зилоти — Зилоти Кириене Александровне (в замуж. — Лазарева, 1895—?).

[2] Семья Зилоти покинула Россию в 1919 г., эмигрировав в Финляндию, затем в Германию; с 1922 г. поселилась в США.

[3] Автор цитирует название известного рассказа А. П. Чехова (1885), впервые напечатанного в журнале «Осколки» (№ 8, 23 февр.) и вошедшего во все четырнадцать изданий сборника Чехова «Пестрые рассказы» (СПб., 1886—1899) и собрания его сочинений.

[4] Родители автора были хорошо знакомы с Иваном Сергеевичем Тургеневым (1818—1883), который, по словам современницы, «был одним из воспитателей нашего поколения, не будь у нас Тургенева, мы были бы хуже» (цит. по: *Коган Д. З.* Мамонтовский кружок. М., 1970, с. 48).

[5] Зверев Николай Сергеевич (1832—1893), пианист, преподаватель Московской консерватории по классу фортепиано (1870—1893). Профессор (с 1883). Учитель и воспитатель А. И. Зилоти, С. В. Рахманинова, М. Л. Пресмана и других (см. примеч. 9 к главе 26).

[6] Буслаев Федор Иванович (1818—1891), историк, художественный критик, мемуарист. Исследователь древнерусской поэзии, искусства и быта. Профессор Московского университета (1847—1881). В начале 1870-х гг., в годы учения у Н. С. Зверева, А. И. Зилоти изучал под руководством Буслаева литературу.

[7] Зилоти Александр Ильич (1863—1945), пианист. Окончил Московскую консерваторию, где учился у Н. С. Зверева, Н. Г. Рубинштейна, П. И. Чайковского. Совершенствовался у Ф. Листа (с 1883). Профессор Московской консерватории по классу фортепиано (1888—1891). Дирижер Московского филармонического общества (1901—1902); общественный деятель, организатор и дирижер симфонических концертов в Петербурге («Концерты А. И. Зилоти», 1903—1917); основатель «Общедоступных концертов» и «Народных концертов», «Русского Музыкального фонда» (при содействии М. Горького) для помощи нуждающимся музыкантам. После отъезда из России выступал как пианист; более десяти лет (с 1926) преподавал фортепиано в Музыкальном институте (Джульярдской школе) при Колумбийском университете в США.

[8] В. Н. Третьякова, вспоминая раннее детство автора, упомянула в «Детском альбоме», что Вера (В. П. Зилоти) родилась «за Москвой-рекой и Канавой, в Лаврушинском переулке, в приходе церкви Николая в Толмачах» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5286, л. 4).

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства, археолог.

ГЛАВА 1
ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

[1] Третьякова Вера Николаевна (урожд. Мамонтова, 1844—1899), одаренная пианистка-любительница, ученица И. В. Риба (см. примеч. 30 к главе 5); жена П. М. Третьякова (с 1865). Состояла попечительницей Городского начального женского училища и членом попечительского комитета Арнольдовского училища для глухонемых детей обоего пола. Активная благотворительная деятельность В. Н. Третьяковой отмечена для потомства в надписи на ее надгробии (см.: Московский некрополь. СПб., 1908, т. 3, с. 220).

[2] Мудрогеленко Андрей Осипович (ум. 1881). 21 декабря 1881 г. В. Н. Третьякова записала в дневнике: «Сегодня умер наш милый человек Андрей Осипович» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 15).

[3] В. П. Зилоти родилась 6 октября 1866 г.

[4] Третьяков Сергей Михайлович (1834—1892), младший брат П. М. Третьякова, отца автора. Компаньон торговой фирмы «Братья П. и С. Третьяковы и В. Коншин», совладелец льнопрядильной фабрики в Костроме. Московский городской голова (1877—1881). С 1874 г. член Совета Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Один из учредителей и директоров Московского отделения Русского музыкального общества, близкий друг Н. Г. Рубинштейна. Коллекционер произведений искусства, преимущественно работ иностранных художников. Принадлежавшая С. М. Третьякову коллекция после его смерти, согласно воле завещателя, вошла в состав собрания П. М. Третьякова и вместе с ним была передана в 1892 г. в дар городу Москве.

[5] Имеются в виду дети В. Н. и П. М. Третьяковых: Вера (1866—1940), Александра (1867—1959), Любовь (1870—1928), Михаил (1871—1912), Мария (1875—1952?), Иван (1878—1887).

[6] Третьякова Александра Даниловна (урожд. Борисова, 1812—1899), жена Михаила Захарьевича Третьякова (см. примеч. 9 к наст.

главе), дочь крупного коммерсанта по вывозу сала в Англию.

[7] Мамонтов Николай Николаевич (1836—1896), совладелец семейной фирмы «Торговый дом Бр. Мамонтовых и К°», которая была создана в 1865 г. на базе фабрики сургуча, смолки, пробок и обработки щетины, основанной его отцом, Н. Ф. Мамонтовым, в 1854 г. (см. примеч. 2 к главе 4).

[8] Третьяков Павел Михайлович (1832—1898), московский купец и фабрикант (см. примеч. 4 к наст. главе). Основатель первого общедоступного городского музея русской живописи — Московской городской художественной галереи братьев П. и С. М. Третьяковых.

[9] Третьяков Михаил Захарьевич (1801—1850), московский купец 2-й гильдии, члены которой, по свидетельству его внучки А. П. Боткиной, имели право торговать, «чем хотели, исключая торговлю на судах», и не могли «держать фабрик» (*Боткина А. П.* Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве, 1960, с. 17).

[10] Третьякова Елена Андреевна (урожд. Матвеева), вторая жена С. М. Третьякова (с 1866).

[11] П. М. Третьяков знал и любил творчество А. Н. Островского (1823—1886), драматурга, писателя, общественного деятеля. Выражение «странный человек» взято им, по-видимому, из пьесы «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), в которой оно принадлежит слуге Софьи Игнатьевны Турусиной, Григорию (действие третье, явление второе).

[12] Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894), композитор, пианист, дирижер. Основатель (1859) и один из первых директоров Русского музыкального общества (с 1869 — Императорское Русское музыкальное общество). В 1862—1867 и 1887—1891 гг. — профессор и директор Петербургской консерватории.

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881), пианист, дирижер, педагог. Учредитель (1860) и первый руководитель Московского отделения Русского музыкального общества; основатель (1866) и первый директор Московской консерватории.

Рубинштейн Григорий Романович (1807—1847). С 1831 г. (по другим данным — с 1832) — московский купец 3-й гильдии, владелец кузнечной мастерской и карандашной фабрики «Рубинстаун», позже основал булавочную фабрику. Семья Рубинштейнов жила в Москве «сначала где-то в районе реки Яузы», позже переехала на Ордынку, в Замоскворечье (*Баренбойм Л.* Антон Григорьевич Рубинштейн. Л., 1957, с. 19).

[13] Н. Г. Рубинштейн и С. М. Третьяков стояли у истоков образования Московского отделения Русского музыкального общества и Московской консерватории, вместе работали в ее дирекции (см. примеч. 4 и 12 к наст. главе). С. М. и Е. А. Третьяковы сопровождали Рубинштейна во время его последней поездки за границу для лечения. Н. Г. Рубинштейн скончался на руках Е. А. Третьяковой в Париже.

[14] Третьякова Мария Ивановна (1824—1894), двоюродная сестра П. М. Третьякова, дочь Ивана Захарьевича Третьякова (см. примеч. 4 к главе 3).

[15] Речь идет о старинном приятеле и компаньоне в делах братьев П. М. и С. М. Третьяковых — саратовском купце и общественном деятеле Тимофее Ефимовиче Жегине (1821/1824—1873), его жене Екатерине Францевне (урожд. Шехтель, ум. 1896) и дочери Ольге (в замуж. Поповой, 1852—?).

[16] Имеются в виду: Ольга (см. примеч. 15 к наст. главе), Мария (в замуж. — Леднева, 1855—?), Вера (1856—?), Елизавета (в замуж. — Циммерман, 1857—?) и Наталья (в замуж. — Шехтель, 1861—?).

[17] По-видимому, это слегка измененная реплика Любима Торцова из комедии А. Н. Островского «Бедность не порок», в роли которого огромный успех имел в те годы П. М. Садовский (действие первое, явление одиннадцатое).

[18] Третьякова Любовь Павловна (в первом браке Гриценко, во втором — Бакст), третья дочь В. Н. и П. М. Третьяковых (см. примеч. 5 к наст. главе). Все сведения о семьях Третьяковых и Мамонтовых взяты из родословных, составленных Л. П. Гриценко-Бакст в 1915 г. и хранящихся в Отделе рукописей Гос. Третьяковской галереи.

[19] Свадьба О. Т. Жегиной и А. М. Попова (ок. 1851—?), сына старинного приятеля ее отца, состоялась в 1871 г. Свадебным подарком Третьяковых молодым был пейзаж работы художника Л. Л. Каменева.

[20] Попов Николай Александрович (1871—1949), театральный деятель, режиссер, драматург, историк театра. Автор первой монографии о К. С. Станиславском (1910), воспоминаний о работе К. С. Станиславского в Обществе искусства и литературы в Москве. Заслуженный артист Республики (1927).

[21] Жегин Николай Тимофеевич родился не в 1871, как Н. А. Попов, а в 1873 г. (ум. 1937). В. Н. Третьякова была его крестной матерью. Музыкальный деятель. С 1916 г. (по завещанию М. И. Чайковского) — хранитель Дома-музея П. И. Чайковского в Клину (с 1923 — заведующий; с 1929 — директор). Собиратель архивных, иконографических и эпистолярных материалов о П. И. Чайковском и его современниках. Принимал участие в публикациях переписки и дневников композитора.

ГЛАВА 2

У НИКОЛЫ В ТОЛМАЧАХ

[1] Церковь построена в 1697 г. Трапезная и колокольня перестроены в 1833 г. архитектором Ф. М. Шестаковым.

[2] Нечаев Василий Петрович (1823—1905),

окончил Московскую Духовную академию (1848), доктор богословия, автор многих печатных трудов. Позже — Виссарион, епископ Костромской и Галичский.

Нечаева Варвара Никифоровна — скончалась, вероятно, в 1887 г., так как в декабре 1887 г. В. П. Нечаев благодарил П. М. Третьякова за сочувствие и участие в постигшем его горе (см.: ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 2486, л. 1). О детях В. П. и В. Н. Нечаевых сведений не обнаружено. В. П. Нечаев был священником в церкви Св. Николая Чудотворца в Толмачах с 1855 г. (см.: ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 1 об.).

[3] Речь идет о дьяконе Федоре Алексеевиче Соловьеве, в 1898 г. принял монашество под именем Алексий, скончался в 1928 г.; Александре Андреевиче Успенском и Василии Александровиче Беляеве, которые служили в церкви Св. Николая Чудотворца в Толмачах в начале 1880-х гг.

[4] Кастальский Александр Дмитриевич (1856—1926), композитор, руководитель народных хоров, профессор Московской консерватории (1922—1926). Один из основателей Народной консерватории в Москве (1906).

[5] Семья Ферапонтовых в 1880-е гг. жила в собственном доме по Большому Толмачевскому переулку. Глава семьи, Андрей Николаевич, владел книжными магазинами в Третьяковском проезде и на Никольской. О дочерях сведений не обнаружено. У А. Н. и Е. М. Ферапонтовых были сыновья: Петр, Сергей, Иван и Мефодий. А. Н. Ферапонтов был старостой церкви Св. Николая Чудотворца в Толмачах (см.: ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 1 об.).

[6] Мамонтов Валериан Николаевич (1840—1855), один из семнадцати детей В. С. и Н. Ф. Мамонтовых. Учился в петербургском Институте Корпуса гражданских инженеров (Горный корпус), где скончался скоропостижно во время эпидемии скарлатины.

[7] Третьякова Александра Павловна (в замуж. — Боткина), вторая по старшинству дочь В. Н. и П. М. Третьяковых (см. примеч. 5 к наст. главе). Член первого после смерти П. М. Третьякова Совета галереи (одновременно с В. А. Серовым и И. С. Остроуховым), принимала деятельное участие в его работе, в особенности в вопросах комплектования собрания музея. Автор книги воспоминаний «Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве», неоднократно переиздававшейся.

ГЛАВА 3

НАШИ «ТОЛМАЧИ»

[1] Дом с земельным участком в «Толмачах» был куплен братьями Третьяковыми у администрации по делам купцов Шестовых в 1851 г., перед свадьбой Елизаветы Михайловны Третьяковой с Владимиром Дмитриевичем Коншиным (см. примеч. 9 к главе 4). Купец 2-й гильдии П. В. Шестов купил дом в 1798 г. у Е. М. Кологривовой (см.: ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 4709, л. 1).

[2] Речь идет о двоюродных сестрах П. М. Третьякова, дочерях Ивана Захарьевича Третьякова: Анне (1822—1892), Елизавете (1827—1904), Наталье (1829—1893) и Надежде (1831—1897).

[3] Портрет М. И. Третьяковой работы Николая Васильевича Неврева (1830—1904) был подарен П. М. Третьяковым галерее в 1895 г. (ныне — в ГТГ). Художник был, как свидетельствовала В. Н. Третьякова, «старым знакомым и близким человеком семьи Третьяковых» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 19 об.).

[4] Третьяков Иван Захарьевич (1790—1859), московский купец 3-й гильдии. Его жена, Александра Петровна, скончалась в 1867 г.

Бабий городок в Замоскворечье был «родовым гнездом» Третьяковых. Поблизости от церкви Ивана Воина (1707—1717), рядом с церковью Св. Николая Чудотворца в Голутвине жили и родители П. М. Третьякова, дед и бабушка автора.

[5] Соц Мария Ивановна (ок. 1844—?), воспитательница В. П. и А. П. Третьяковых, когда им было «3 и 4 года», то есть в 1870 г. «Старый друг, одних лет со мной», — писала о ней В. Н. Третьякова (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 24).

[6] Третьякова Елизавета Сергеевна (урожд. Мазурина, 1837—1860), первая жена С. М. Третьякова, тетка автора, мать Третьякова Николая Сергеевича, двоюродного брата В. П. Зилоти (см. примеч. 15 к главе 4).

[7] Степанида Захаровна скончалась в декабре 1896 г. в доме А. Д. Третьяковой, где доживала свой век «на покое» (см.: ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6207, л. 1 об.). Она, как и другие служившие в доме горничные, дворники, сторожа, «по большей части ‹...› жили и старели на своем деле. Это была традиция. Это была привязанность» (*Боткина А. П.* Указ соч., с. 262).

[8] Боткины: Дмитрий Петрович (1829—1899), коллекционер, собиратель произведений русских и иностранных художников, часть которых поступила к нему в 1869 г. после банкротства откупщика, владельца художественной галереи В. А. Кокорева; председатель Московского общества любителей художеств (1877—1899), и Софья Сергеевна (урожд. Мазурина, 1840—1889), сестра первой жены С. М. Третьякова. Д. П. Боткин — старинный приятель отца автора, дружба их прервалась на время в начале 1870-х гг. в связи с недоразумениями, возникшими при приобретении Туркестанской серии картин художника В. В. Верещагина. С 1870 г., после смерти В. П. Боткина, возглавил семейную фирму, торговавшую чаем.

[9] Каминские: Софья Михайловна (урожд. Третьякова, 1839—1902), тетка В. П. Зилоти, и ее муж, Александр Степанович (1829—1897), архитектор и педагог (см. также примеч. 27 к главе 4), преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1881—1897).

По проектам Каминского были построены: часовня над склепом Мамонтовых в Алексеевском монастыре (нач. 1860-х), Третьяковский проезд (1869—1871), дом С. М. Третьякова на Пречистенском бульваре (ныне — Гоголевский бульвар, 1871—1875), залы художественной галереи П. М. Третьякова (1872—1874, 1882, 1885, 1892 и 1897); в 1873—1875 гг. перестроил здание Московской биржи.

[10] Торвальдсен Бертель (1768/1770—1844), датский скульптор, крупнейший представитель классицизма, один из вождей академического направления.

В собрании Третьяковской галереи хранится акварель художника Н. Н. Гриценко (см. примеч. 26 к главе 9), мужа Л. П. Третьяковой, сестры автора воспоминаний, изображающая эту лестницу с барельефами (1895).

[11] Третьякова Мария Павловна (в замуж. — Боткина), младшая сестра В. П. Зилоти (см. примеч. 5 к главе 1).

[12] Речь идет о Марии Сергеевне Третьяковой, дочери Е. С. и С. М. Третьяковых, умершей младенцем (1860). Автор ошибся: Е. С. Третьякова скончалась на 23-м году жизни. См. примеч. 6 к наст. главе.

[13] Известная фортепианная фабрика в Берлине, основанная фортепианным мастером Фридрихом Вильгельмом Карлом Бехштейном (1826—1900) в 1854 г.

[14] Имеется в виду льняная мануфактура в Костроме (позже — «Товарищество Большой Костромской мануфактуры»), основанная братьями П. М. и С. М. Третьяковыми, их зятем В. Д. Коншиным и К. Я. Кашиным в 1866 г. В 1880-е гг. к прядильне, ставшей к концу столетия крупнейшей в мире по числу работавших в ней веретен, была добавлена льноткацкая фабрика.

Кашин Константин Яковлевич (ум. 1880), костромской купец, служивший до поступления на мануфактуру Третьяковых директором льнопрядильной компании Брюханова, Зотовых и Михиной.

[15] См. примеч. 2 к главе 1. Автор ошибся: в год смерти А. О. Мудрогеленко ей было 15, а не 13 лет.

[16] После смерти А. О. Мудрогеленко, как отметила В. Н. Третьякова в дневнике, «остались у меня на руках 2 мальчика, 13 и 8 лет» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 15 об.).

Мудрогель (Мудрогеленко) Николай Андреевич (1868—1942), старший музейный служащий Третьяковской галереи (с 1882). За спасение ценностей галереи от наводнения в 1908 г. Московская городская дума наградила его золотой медалью, а в 1923 г. за самоотверженный труд в галерее профсоюз работников просвещения присвоил ему звание «Герой труда». Автор воспоминаний «Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее» (впервые напечатаны в журнале «Новый мир», 1940, № 7).

Мудрогеленко Василий Андреевич (ок. 1873—?), младший сын А. О. Мудрогеленко.

[17] Речь идет о постановлении Совета Народных Комиссаров от 3 июня 1918 г. о национализации Третьяковской галереи, по которому «Московская городская Художественная галерея им. П. и С. М. Третьяковых», являющаяся «по своему культурному и художественному значению учреждением, выполняющим общегосударственные просветительные функции», в связи с требованиями интересов рабочего класса «вошла в сеть общегосударственных музеев, направляемых в своей деятельности Народным Комиссариатом Просвещения», изменив свой статус городского музея на государственный (Декреты Советской власти. Т. 2. М., 1959, с. 389—390).

[18] Щуров Петр Игнатьевич (ум. 1885), окончил в 1856 г. Коммерческое училище в Москве, в том же году поступил на службу к П. М. Третьякову.

[19] Имеются в виду произведения: Константина Николаевича Филиппова (1830—1878) — «Военная дорога между Севастополем и Симферополем во время Крымской войны» (1858), за которое художник в 1858 г. получил большую золотую медаль; картина была куплена Третьяковым в 1869 г. у В. А. Кокорева; Валерия Ивановича Якоби (1834—1902) — «Привал арестантов» (1861), также принесшее ему большую золотую медаль Академии художеств; Третьяков приобрел картину в 1861 г. у автора; Михаила Петровича Клодта фон Юргенсбурга (1835—1914) — «Последняя весна» (1861), также удостоенное Академией большой золотой медали и купленное Третьяковым у автора в 1861 г. (все — в ГТГ).

[20] Первым произведением художника Ореста Адамовича Кипренского (1782—1836), поступившим в собрание Третьякова в 1870 г., был «Автопортрет» (1828), приобретенный у Н. И. Подключникова. Затем, в 1882 и 1883 гг., были куплены: «Портрет графини Е. П. Ростопчиной» (1809, у графа А. Ф. Ростопчина) и «Портрет доктора Мазарони» (1829, у Н. Д. Быкова). До 1893 г. коллекция работ Кипренского, принадлежащая П. М. Третьякову, пополнилась «Портретом Шишмарева», поступившим из семьи Шишмаревых. В 1893 г., уже после передачи галереи в дар городу Москве, были приобретены у А. А. Милюковой портреты сенатора Б. С. Хвостова и Д. Н. Хвостовой (оба — 1814). Все — в ГТГ.

[21] Среди девятнадцати портретов, исполненных Василием Андреевичем Тропининым (1776/1780—1857), принадлежавших П. М. Третьякову, были первоклассные работы художника: «Портрет А. В. Тропинина, сына художника» (ок. 1818), «Портрет Булакова» (1823), «Портрет К. Г. Равича» (1823), «Портрет графини Н. А. Зубовой» (1834), приобретенный собирателем в 1865 г. у И. Я. Родионова; «Портрет К. П. Брюллова» (1836), принадлежавший ранее сыну художника — А. В. Тропинину (все — в ГТГ), а также «Портрет А. С. Пушкина» (1827, ныне — во Всесоюзном музее А. С. Пушкина).

[22] Собранию П. М. Третьякова принадлежали произведения Карла Павловича Брюллова (1799—1852): «Портрет актера А. Н. Рамазанова» (1821/1822?), купленный у Н. А. Рамазановой; «Вечерня» и «Пифферари перед образом Мадонны» (оба — 1825), приобретенные у графа П. К. Ферзена в 1871 г.; «Портрет великой княгини Елены Павловны» (1829); «Портрет Е. И. Дурновой» (1836) и «Портрет художника Я. Ф. Яненко в латах» (1841), поступившие из собрания В. А. Кокорева; «Портрет писателя Н. В. Кукольника» (1836), купленный в 1877 г. у его вдовы А. И. Работиной; «Портрет Пл. В. Кукольника» (ок. 1837), приобретенный у И. А. Пузыревского в 1885 г.; «Портрет архитектора И. А. Монигетти» (1840), купленный у В. И. Сахновской в 1885 г.; «Портрет писателя А. Н. Струговщикова» (1840), поступивший в 1871 г. от В. А. Дюбюка. В 1893 г., уже после передачи галереи в дар городу Москве, П. М. Третьяковым был куплен парадный портрет «Всадница (Портрет Джованины и Амацилии Паччини, воспитанниц графини Ю. П. Самойловой)» (1832). Все — в ГТГ.

[23] Речь идет о «Портрете археолога Микель-Анджело Ланчи», исполненном К. П. Брюлловым в 1851 г., купленном П. М. Третьяковым в 1860 г. у В. Франки-Ланчи, племянницы археолога (ГТГ). Сестра автора, А. П. Боткина, вспоминает, что портрет Микель-Анджело Ланчи «заставлял нас отворачиваться и ускорять шаги ‹...› так жутко делалось от глаз этого старика в красном, которые, казалось, следят за всяким твоим движением» (*Боткина А. П.* Указ соч., с. 85).

[24] Федор Антонович Моллер (1812—1874) исполнил несколько вариантов-повторений «Портрета писателя Николая Васильевича Гоголя». П. М. Третьякову принадлежал оригинал, написанный художником в 1840 г. (ныне — в Ивановском областном художественном музее).

[25] Речь идет о пейзажах Сильвестра Феодосиевича Щедрина (1791—1830): «Водопад в Тиволи» (1822), приобретенный в 1887 г. у М. К. Николаевой (во втором браке — княгини Тенишевой) через княжну Е. К. Святополк-Четвертинскую; «Старый Рим» (1824); «Новый Рим. Замок Святого Ангела» (1825); «Терраса в Сорренто» (1825); «Малая гавань в Сорренто» (1826); «Грот Матроманио на острове Капри» (1827) и «Большая гавань на острове Капри» (1827—1828), купленных П. М. Третьяковым у Д. Е. Бернардаки в 1868 г.; «В Сорренто»; «Веранда, обвитая виноградом», «Лунная ночь в Неаполе» (оба — 1828); два «Вида в окрестностях Сорренто. Вечер» (ок. 1828). Кроме того, П. М. Третьякову принадлежал «Автопортрет» Сильв. Ф. Щедрина (1817), приобретенный в 1869 г. у А. А. Щедрина, племянника художника. Все — в ГТГ.

[26] Имеется в виду пейзаж Льва Феликсовича Лагорио (1827—1905) «Фонтан Аннибала в Рокка-ди-Папа близ Рима», за который художник в 1860 г. был удостоен Академией художеств звания профессора. В 1861 г. его купил у автора П. М. Третьяков. В 1860 г. Третьяков приобрел у художника произведения: «Нормандский берег», «На острове Капри. Береговые утесы», «На острове Капри. Рыбацкий домик», «На острове Капри. Берег в ненастье» (все — 1859. ГТГ). В 1867 г. у автора был куплен этюд «Старое дерево», в 1883-м — пейзаж «Батум» (1882), оба — в ГТГ.

[27] А. П. Боткина уточняет, что «Портреты Струговщикова, Рамазанова, доктора К. А. Яниша (работы К. П. Брюллова. — *Н. П.*) висели внизу, в кабинете отца, который приходился под столовой» (*Боткина А. П.* Указ. соч., с. 85), что не противоречит воспоминаниям автора.

[28] Мать автора, В. Н. Третьякова, вспоминала: «Вера незаметно, но изучивала содержание картин, даже запоминала имена художников, помогая мне назвать их, если я забывала фамилии. Меня многие утешали, что для первого возраста ребенка лучше Вашей обстановки нельзя было желать. Вследствие впечатления глаза, ты должна была размышлять, а музыка развивала в тебе другие стороны, более духовные, чувствительные» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5286, л. 13).

[29] Имеются в виду П. И. Щуров (см. примеч. 18 к наст. главе) и Р. В. Кормилицын, московский мещанин, который сохранил связь с семьей Третьяковых до конца жизни Павла Михайловича. В 1896 г. он был свидетелем при составлении П. М. Третьяковым завещания (*Боткина А. П.* Указ. соч., с. 332).

[30] Щуров Сергей Петрович (1866—1930) окончил, как и отец, Коммерческое училище в Москве, впоследствии — чиновник при библиотеке Публичного и Румянцевского музея в Москве, московский домовладелец; его жена — Елена Львовна (урожд. Киреева, во втором браке — Надурская).

[31] М. М. Шумовский, как было в обычаях семьи, в 1890-е гг. доживал свой век в доме Третьяковых в Большом Голутвинском переулке (см.: «Вся Москва», 1900, с. 372).

[32] Гикиш Егор Егорович (ум. до 1900), московский купец, немец по национальности. Агент по продаже шампанских вин.

[33] Боткин Павел Петрович (1827—1885), один из совладельцев чайной фирмы, основанной его отцом — П. К. Боткиным (см. примеч. 6 к главе 30). Жил постоянно в Петербурге, друг семьи Третьяковых.

[34] Рачков Николай Ефимович (1825—1895), живописец. В 1880-е гг. состоял, как и П. М. Третьяков, членом Комитета Московского общества любителей художеств. В собрании Третьякова было несколько работ художника: «Накануне праздника» (1868, ныне — в ГРМ), «У калитки» (1871), «Портрет художника Д. Э. Гагена» (1876; обе — в ГТГ).

[35] Автор ошибся: врачом Московской городской глазной больницы был не Сергей Николаевич Лодыженский, а Сергей Николаевич Ложечников (1840—1911), известный

врач-окулист, старинный знакомый семьи Мамонтовых. В качестве домашнего доктора он сопровождал деда автора, Н. Ф. Мамонтова, за границу в 1860 г., присутствовал при кончине последнего.

Маклаков Алексей Николаевич (ум. 1895), профессор Московского университета, главный врач Московской глазной больницы.

[36] Третьякова Прасковья Петровна (1831—188?), дочь Петра Захарьевича Третьякова (1792/1793—1832), купца 3-й гильдии.

[37] Вагина Екатерина Федоровна (ок. 1811 — после 1881), двоюродная сестра Веры Степановны Мамонтовой (урожд. Вагиной, 1810—1864), бабушки автора со стороны матери.

[38] Куклинская Анастасия (Настасья) Сампсоновна, старинная приятельница В. Н. Третьяковой, матери автора. Последняя писала о ней: «С 14-летнего возраста я нахожусь с ней в дружбе. Мать моя, Вера Степановна, ласкала, любила Н[астасью] С[ампсоновну], занималась рукоделием; шила нам, на всю семью Мамонтовых. <...> После смерти моей матери я заботилась о ней и, вот уже 15 лет я замужем, но продолжаю быть с ней в самых лучших отношениях. <...> Тетю Настю — так имеем мы обыкновение ее звать, мои дети очень любят, да и взрослые немало наговорятся с ней и нахохочутся — веселый она человек! Жаль, что спокон века больна. <...> Молодец, примерная в своей честности и прямотою девушка! Люблю ее ужасно, и вся моя семья, да и знакомые чувствуют симпатию к ней» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 26). Руководительница класса рукоделия для девочек в Арнольдовском училище для глухонемых детей.

[39] Блёзе, Софья Ивановна и Вера Ивановна, дочери В. С. и И. И. Блёзе, знакомых семьи Мамонтовых и Третьяковых.

[40] Мамонтова Зинаида Николаевна (в замуж. — Якунчикова, 1843—1919), старшая сестра В. Н. Третьяковой, тетка автора. Вторая жена Василия Ивановича Якунчикова. Мать художницы Марии Васильевны Вебер, пианистки Веры Васильевны Вульф и Зинаиды Васильевны Мориц (во втором браке — де Грен).

[41] См. примеч. 1 к главе 1. В состав попечительского совета Арнольдовского училища для глухонемых детей В. Н. Третьякова вошла в 1876 г. П. М. Третьяков состоял членом попечительского совета училища с момента его основания (в 1863), жертвовал училищу крупные суммы, а в начале 1890-х гг. выстроил на свои средства больницу для учеников на 32 койки.

Автор упоминает также Женскую учительскую семинарию при братстве Св. Равноапостольной Марии в Москве, называвшуюся в обиходе по имени председательницы ее попечительского совета — В. И. Чепелевской, в доме которой на Зубовском бульваре и размещалось это учебное заведение.

[42] Юргенс Анна Карловна, жена гофмедика, врача Московской дворцовой конторы Эдуарда Ивановича Юргенса, лечившего семью Третьяковых с конца 1860-х гг. Э. И. Юргенс был одним из врачей, пользовавших П. М. Третьякова во время его последней, предсмертной болезни.

[43] Имеются в виду: Елизавета Михайловна Коншина (урожд. Третьякова, 1835—1870); Софья Михайловна Каминская (см. примеч. 9 к наст. главе); Надежда Михайловна Гартунг (урожд. Третьякова, 1849—1939); Зинаида Николаевна Якунчикова (см. примеч. 40 к наст. главе) и Евдокия (Авдотья) Николаевна Рукавишникова (урожд. Мамонтова, 1849—1921).

ГЛАВА 4

ТРЕТЬЯКОВЫ

[1] Вернее, один из источников сведений, использованных автором. Без сомнения, она хорошо знала материалы семейного архива Третьяковых, в особенности дневники и «Записи для детей», которые вела ее мать; это подтверждает и И. Э. Грабарь, попечитель, а позднее — в советское время — первый директор галереи. Сообщая в 1918 г. Совету галереи о предпринятом им изучении архива Третьяковых, Грабарь указал, что получил его для использования от члена Совета В. П. Зилоти (ОР ГТГ, ф. 8.II, ед. хр. 1144, л. 5—5 об.).

[2] Мамонтов Николай Федорович (1805—1860), купец и откупщик, переселившийся в Москву в начале 1850-х гг. из Смоленской губернии. В 1854 г. «на реке Яузе, в бывшем помещении пивоваренного завода <...> Николай Федорович Мамонтов открыл фабрику сургуча, смолки и пробок, чем и положил основание фирме «Промышленное и торговое товарищество Бр. А. и Н. Мамонтовых». С 1856 г. на фабрике была организована также обработка щетины. Торговля велась в Москве, на Нижегородской ярмарке и в Англии (см.: Промышленное и торговое товарищество Бр. А. и Н. Мамонтовых. 1854—1909. М., 1909, с. 1).

О Мамонтовой Вере Степановне см. примеч. 37 к главе 3.

[3] Местонахождение портрета А. П. Третьяковой не установлено. В собрании галереи хранится портрет ее мужа, И. З. Третьякова (сепия), работы Н. В. Неврева, поступивший в дар от автора.

[4] Огинский (Огиньский) Михаил Клеофас (1765—1833), граф. Польский композитор и политический деятель. В 1794 г. принял участие в восстании, возглавляемом Т. Костюшко. После подавления восстания эмигрировал. С 1802 г., после амнистии, жил в России (с 1810 — сенатор). Последние годы провел в Италии. В 1810-е гг. в России были изданы два сборника полонезов и романсов Огинского. Трудно сказать, о каком из полонезов композитора идет речь: наиболее известны из них — «Раз-

дел Польши» (фа мажор) и «Прощание с родиной» (фа минор).

[5] Речь идет об исполненном Ильей Ефимовичем Репиным (1844—1930) по заказу П. М. Третьякова портрете А. Д. Третьяковой (1878, ГТГ).

[6] У А. Д. и М. З. Третьяковых было десять, а не одиннадцать детей: Павел (см. примеч. 8 к главе 1); Сергей (см. примеч. 4 к главе 1); Елизавета (см. примеч. 43 к главе 3); Даниил (Данила, 1836—1848); Софья (см. примеч. 9 к главе 3); Александра (1843—1848); Николай (1844—1848), Михаил (1846—1848) и Надежда (см. примеч. 43 к главе 3). Четверо из них, а не трое, как помнилось В. П. Зилоти, скончались в 1848 г.

[7] Н. М. Третьякова (в замуж. Гартунг) родилась в 1849 г.

[8] Коншин Владимир Дмитриевич (ум. 1915). С 1859 г. — компаньон фирмы «Братья П. и С. Третьяковы и В. Коншин». С 1866 г. — один из директоров «Товарищества Новокостромской мануфактуры П. и С. Третьяковы и В. Коншин». В сентябре 1896 г. предполагалось празднование 55-летнего юбилея участия В. Д. Коншина в торговых и мануфактурных делах фирмы, то есть он был привлечен М. З. Третьяковым к делу около 1841 г.

[9] Свадьба Е. М. Третьяковой и В. Д. Коншина состоялась 13 января 1852 г.

[10] В. Н. Третьякова писала в начале 1880-х гг. в «Дневнике»: «Коншин Владимир Дмитриевич, наш зять, в душе добрый человек, но часто и по принципу, и потому, чтобы сказали хорошо о нем, делает он доброе. Вообще человек неглубокий и двусторонний, т. е. обращающий внимание излишнее на мнение света, почему не пользуется в жизни многим, что доставляет наслаждение или жизнь человеку. Сентиментально-неудовлетворенный вдовец, поющий сладкие романсы и говорящий сладко стихи без запятых и двоеточий, и плачущий о том, что сердце увядает, что леденит его холодный свет, что одинокой [мошкой] должен проходить среди людей, а вместе с тем подчиняется вполне мнению света. Человек очень ласковый и пробавляется маленьким вниманием всех, отвечая вдвое на ласку. Несчастный отец, исковерканный несчастьем с двумя сыновьями, которые совсем погибли, он утешен дочкою Александрой Владимировной Алексеевой» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 23—23 об.).

[11] См. примеч. 1 к главе 3.

[12] См. примеч. 6 к главе 3. Свадьба Е. С. Мазуриной и С. М. Третьякова состоялась в 1856 г. Жениху было 22 года, невесте — 19 лет.

[13] Бозио Анджолина (1830—1859), итальянская оперная певица (сопрано). Гастролировала в России в 1855—1859 гг.

Маркези ди Кастроне Матильда (урожд. Грауман, 1821—1914), немецкая певица (меццо-сопрано), педагог. Член Национальной академии «Санта Чечилия» в Риме. Автор работы «Практический метод пения» (1861), автобиографии «Воспоминания о моей жизни» (1877). Много гастролировала в Европе.

В рецензиях П. И. Чайковского, посвященных оперным спектаклям в Петербурге и Москве, встречаются упоминания о певице Карлотте Маркези (ум. 1872), вероятно, однофамилице Матильды Маркези ди Кастроне.

Ольдридж (Олдридж) Айра Фредерик (ок. 1805—1867), знаменитый американский актер, трагик. Гастролировал в России в 1858 и 1867 гг.

Живокини Василий Игнатьевич (1805/1807(1808?)—1874), актер Малого театра в Москве (1824—1874), комик.

Самойлов Василий Васильевич (1813—1887), драматический актер. Премьер труппы Александринского театра в Петербурге, где служил в 1834/1835—1875 гг. Представитель известной театральной семьи Самойловых: сын певца В. М. Самойлова и оперной и драматической актрисы С. В. Самойловой.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), актер Малого театра, комик. Портрет М. С. Щепкина работы Н. В. Неврева (1862, ныне — в собр. Малого театра) был первым в галерее портретов деятелей отечественной науки и культуры, задуманной и осуществленной П. М. Третьяковым.

[14] П. М. Третьяков женился на В. Н. Мамонтовой в 1865 г.

[15] Сын Е. С. и С. М. Третьяковых, Николай Сергеевич Третьяков, родился 6 декабря 1857 г., скончался в 1896 г. Живописец, секретарь Московского общества любителей художеств. В 1896 г. он принес в дар галерее свой труд — картину «Утром на даче» (1888), за которую получил первую серебряную медаль от Академии художеств (на картине изображена семья автора). Актер-любитель, принимавший активное участие в спектаклях Общества искусства и литературы. Выступал как художественный критик.

[16] Автор ошибается: М. И. Третьякова (род. 1824) была значительно старше Е. С. Третьяковой (род. 1837) и С. М. Третьяковой (род. 1839).

[17] См. примеч. 15 к наст. главе и примеч. 12 к главе 3.

[18] См. примеч. 8 к главе 3. В. П. Зилоти ошиблась: дочь С. С. и Д. П. Боткиных звали не Еленой, а Елизаветой. В первом браке Е. Д. Боткина была замужем за инженером К. Г. Дункером, братом жены Н. С. Третьякова; во втором — за Н. И. Щукиным. Ей посвящено несколько стихотворений А. А. Фета, жена которого — Мария Петровна (урожд. Боткина) — приходилась ей теткой.

Боткин Сергей Дмитриевич (1867—?), камер-юнкер; Боткин Петр Дмитриевич (1865—1931), коммерции советник, гласный Московской городской думы (1897—1900), один из директоров Товарищества Новотаволжанского свеклосахарного завода Боткиных. Коллекционер, в собрании которого были произведения Добиньи, Руссо, Милле, Фортуни и других иностранных художников. В 1905 г. тридцать одно полотно было продано

владельцем известному французскому торговцу произведениями искусства Гупилю за 500 000 франков. О потере этой коллекции для России сожалели современники (см.: ОР ГТГ, ф. 48, ед. хр. 389, л. 3 об.). П. Д. Боткин собирал также письма и рисунки русских писателей; ему принадлежал, в частности, архив А. А. Фета, его родственника (по отцу); рукописи и письма И. С. Тургенева. В 1920-е гг. эти архивы были проданы им Литературному музею в Москве.

[19] Автор ошибся. Варвара Сергеевна Мазурина была замужем за Алексеем Яковлевичем Прохоровым (1847—1888), совладельцем и пайщиком Товарищества мануфактур «Козьма Прохоров и Сыновья» (Трехгорной мануфактуры), а не за Иваном Яковлевичем Прохоровым, братом А. Я. Прохорова. Женой Ивана Яковлевича Прохорова (1836—1881), возродившего Трехгорную мануфактуру после кризиса 1860-х гг., была Анна Александровна (урожд. Алексеева, 1840—1909). У Анны Александровны и Ивана Яковлевича Прохоровых были дети:

Сергей Иванович (1858—1899), химик по образованию. После второго курса естественного отделения физико-математического факультета Московского университета перешел в Школу химиков в Мюльгаузене (Германия). Директор правления Товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры, ведал технической стороной производства (1881—1899), товарищ председателя и председатель Общества для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности (1893—1899); один из инициаторов и учредителей Московского прядильно-ткацкого училища. Известный благотворитель. Был женат на Анне Сергеевне Алексеевой;

Николай Иванович (1860—1915), окончил юридический факультет Московского университета. Вел коммерческие дела фирмы. Директор правления Товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры (1885—1915). Почетный попечитель Мануфактурно-технического училища при Товариществе, член Учетного ссудного комитета по торгово-промышленному кредиту в Московской конторе Государственного банка и др. учреждений. В 1912 г. возведен в потомственное дворянство. Был женат на Татьяне Григорьевне Полуэктовой;

Анисья Ивановна (1861—?) была замужем за воронежским предводителем дворянства и позже — членом IV Государственной думы Александром Ивановичем Алехиным, а не за Гвоздановичем, как пишет В. П. Зилоти; мать прославленного шахматиста;

Варвара Ивановна (1864—?) вышла замуж за мужа покойного сестры своей, Любови Ивановны (1857—1881), дворянина Сергея Кирилловича Соколова-Бородкина, а не за Бородкина, как утверждает автор; фамилию Гвозданович носила в первом браке Екатерина Ивановна Прохорова (1865—1913), а не ее сестра, Анисья Ивановна, как пишет В. П. Зилоти. Е. И. Гвозданович во втором браке была за скульптором, профессором — руководителем скульптурных мастерских Высшего художественного училища при Петербургской Академии художеств (с 1894), академиком (с 1892), ректором Высшего художественного училища (1900—1902, 1906—1911), членом-учредителем Общества им. А. И. Куинджи (с 1909) Владимиром Александровичем Беклемишевым (1861—1919 или 1920). Е. И. Беклемишева занималась скульптурой (псевдоним — Мишева). Была, как вспоминал художник М. В. Нестеров, «во всех отношениях блестящая, живая, одаренная» натура (*Нестеров М. В.* Давние дни. М., 1959, с. 192).

[20] Алексеева Анна Сергеевна (урожд. Мазурина, 1836—1901), жена Андрея Александровича Алексеева. Кроме Сергея Андреевича (1857—?) у А. С. и А. А. Алексеевых было еще два сына и две, а не три дочери.

[21] Мазурин Алексей Сергеевич (ок. 1846 — после 1912) обладал меньшим, чем у братьев, состоянием. Известен как прекрасный фотограф-любитель. Служил управляющим домами драматурга В. А. Крылова. Был женат на Марии Васильевне Ильинской, актрисе Малого театра, на сцене которого она дебютировала после окончания Театрального училища в 1878 г. Брак этот был недолог. Осенью 1882 г. М. В. Ильинская перевелась в Александринский театр в Петербург, где лишь с 1887 г. заняла заметное место в репертуаре. По отзыву А. Н. Островского, была «очень маленькой женщиной с очень большим апломбом; бойкости, развязности и смелости» в которой было «несравненно больше, чем таланта» (*Островский А. Н.* Собр. соч. в 12-ти тт. Т. 10. М., 1978, с. 215). По другим источникам, ее талант отличали «простота, естественность, искренний сердечный тон, изящество и тонкая, чисто кружевная отделка ролей» (Отдел рукописей Театрального музея им. А. А. Бахрушина, ф. 172, ед. хр. 314, л. 5).

[22] Мазурин Митрофан Сергеевич (1834—1880), глава Реутовской мануфактуры, коммерции советник. Коллекционер, собранию которого принадлежали этюды А. А. Иванова, произведения А. П. Боголюбова, А. А. Харламова и других художников.

Мазурина Надежда Митрофановна (в замуж. — Брандукова, 1861—1911), дочь М. С. Мазурина и его жены, балерины-итальянки Лауры Яковлевны. Окончила Московскую консерваторию по классу С. И. Танеева. Учредила стипендию своего имени для студентов консерватории.

[23] Брандуков Анатолий Андреевич (1856—1930), виолончелист-виртуоз, талант которого высоко ценили современники. Чайковский посвятил ему пьесу для виолончели с оркестром «Pezzo capriccioso». Педагог, композитор и дирижер. Профессор Московской консерватории (1921—1930); профессор (с 1890) и директор Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества (1906—1917/1919).

Участник «Концертов А. И. Зилоти», друг С. В. Рахманинова. Муж Н. М. Мазуриной (с 1903).

[24] Зилоти Александр Александрович (1887—1950), художник. О Брандукове Александре Анатольевиче сведений не найдено.

[25] С. М. Третьяков увлекся коллекционированием произведений искусства в начале 1870-х гг. Он собирал преимущественно работы французских мастеров XIX столетия, среди которых главенствовали пейзажи художников-барбизонцев. Собранию С. М. Третьякова принадлежали картины Т. Руссо, К. Коро, Н. Диаза де ла Пенья, Ш. Ф. Добиньи, знаменитое полотно Ж. Бастьен-Лепажа «Деревенская любовь», «Любители гравюр» М. Фортуни. Были в его коллекции живописи и скульптуры работы русских художников. По завещанию С. М. Третьякова П. М. Третьяков получил право отобрать для галереи «все то, что он найдет нужным с тем, чтобы взятые им художественные произведения получили то же назначение, какое он даст своей коллекции» (цит. по: Государственная Третьяковская галерея. Очерки истории. Л., 1981, с. 303). После смерти С. М. Третьякова в 1892 г. бóльшая часть его собрания поступила в галерею и, вместе с коллекцией П. М. Третьякова, была передана в дар городу Москве. Ныне бóльшая часть произведений иностранных мастеров из собрания С. М. Третьякова хранится в Гос. музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве и Гос. Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

[26] См. примеч. 10 к главе 1.

[27] Каминский Александр Степанович (см. примеч. 9 к главе 3) с 1848 г. — вольноприходящий ученик Петербургской Академии художеств; в 1854-м был удостоен второй золотой медали, в 1856-м звания художника. В. П. Зилоти ошибается, указывая на пребывание Каминского в Риме в качестве пенсионера Академии: не получив большой золотой медали, он не имел на это права.

[28] С. М. Третьякова и А. С. Каминский повенчались в ноябре 1862 г.

[29] Каминская Александра Александровна (в первом браке — Эрихсон, во втором — Солнцева, ок. 1863—?); Каминский Павел Александрович (1865 — после 1894), был женат на Надежде Веньяминовне Ахшарумовой (во втором браке — княгине Оболенской).

[30] Мамонтов Михаил Николаевич (1829—1863), дядя автора, старший брат В. Н. Третьяковой.

Мамонтова Елизавета Ивановна (урожд. Баранова, 1836—?), жена М. Н. Мамонтова. Происходила из семьи крупных фабрикантов города Александрова. По отзыву ее племянницы, А. П. Боткиной, была, «как и братья ее, хорошо образована и даже слушала лекции в Collège de France <...> очень развита, с передовыми взглядами той эпохи» (*Боткина А. П.* Указ соч., с. 61—62). Мать В. П. Зилоти, В. Н. Третьякова, писала о своей невестке: «... прелестная, симпатичная, умная, развитая и образованная женщина. Любим мы друг друга сильно и почти не разлучались после смерти ее мужа, спали в одной комнате и, казалось, никогда не расстались бы, если бы не мое замужество» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 25).

[31] См. примеч. 40 к главе 3. Якунчиков Василий Иванович (1827—1907), фабрикант, один из учредителей Воскресенской мануфактуры, лесопромышленник. Скрипач-любитель. Член Русского музыкального общества, один из учредителей Московского отделения. Принимал участие в финансировании строительства здания Московской консерватории на Большой Никитской улице. С 1861 г. — муж З. Н. Мамонтовой.

[32] Гуммель (Хуммель) Иоганн Непомук (1778—1837), австрийский пианист, композитор.

Бетховен Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор, пианист и дирижер.

[33] В конце 1860-х гг. Е. И. Мамонтова основала в Москве Общество вспомоществования гувернанткам, домашним учительницам и воспитательницам, являясь его бессменной председательницей. При Обществе существовали педагогические курсы и дешевые квартиры для членов Общества на Арбате.

[34] Венчание В. Н. Мамонтовой и П. М. Третьякова состоялось в церкви Преподобного Сергия в Кирееве.

Мамонтов Иван Федорович (1802—1869), купец 1-й гильдии (с 1843). Разбогател на винных откупах в Западной Сибири. С 1849 г. поселился в Москве, где возглавлял откупное хозяйство Московской губернии вплоть до ликвидации откупов в 1863 г. В 1857 г. вместе с В. А. Кокоревым основал в Москве Закаспийское торговое товарищество. Владелец контрольного пакета акций железной дороги от Москвы до Троице-Сергиевой лавры. Интересовался изобразительным искусством, приобретал произведения художников. В 1850-е гг. в доме И. Ф. Мамонтова бывали И. К. Айвазовский и Ф. И. Иордан. Друг В. А. Кокорева, Ф. В. Чижова, М. П. Погодина. Отец Саввы Ивановича Мамонтова (см. примеч. 46 к наст. главе).

[35] А. П. Боткина, в отличие от автора воспоминаний, утверждает, что картины голландских художников были куплены П. М. Третьяковым в Москве, на Сухаревом рынке (см.: *Боткина А. П.* Указ. соч., с. 26—27). «Я помню, — пишет А. П. Боткина в главе «Начало собирательства», — семь вещей, большей частью неизвестных мастеров. Была большая картина «Возвращение блудного сына» <...> Другая большая вещь была Мадонна в окружении святых. Был пейзаж с большим деревом де Бота. Были две парные вещи Марселиса — змеи, охотящиеся за бабочками. Одна из них была подписана. Эти две картины, как и два парных архитектурных пейзажа работы Пьеро Капелли, были очень красивы» (там же, с. 38).

[36] Овденко (Авденко) Савва Григорьевич (1820—1894), служил в торговом агентстве

Триля и Обри в Париже. Доверенное лицо фирмы «Братья П. и С. Третьяковы и В. Коншин» за границей. О его жене сведений не обнаружено.

[37] Щукины — владельцы мануфактурного торгового дома «И. В. Щукин с сыновьями» в Москве, основатель которого, Иван Васильевич Щукин (1817—1890), был также одним из учредителей Русского коммерческого банка, «Товарищества Ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера» и Трехгорного пивоваренного завода. Многие из его сыновей (у И. В. Щукина было одиннадцать детей) увлекались коллекционированием.

[38] Свадьба В. П. Третьяковой и А. И. Зилоти состоялась 6 февраля 1887 г. У них было шестеро детей: Александр (см. примеч. 24 к наст. главе), Иван (1889—1896), Вера (1890—?), Оксана (1893—?), Кириена (1895—?), ей посвящена настоящая книга, Лев (Левко, 1897—?), владелец рамочной мастерской в США.

[39] Оксана Александровна Зилоти родилась 2 января 1893 г. Крестница П. И. Чайковского. В годы первой мировой войны была медицинской сестрой; занималась организацией концертов отца.

[40] В. П. Зилоти ошиблась: Ваня Зилоти скончался в последних числах января 1896 г.

[41] Покушение произошло в 1892 г. Сведений о Ревашале не обнаружено.

[42] В апреле 1882 г. В. Н., П. М. и А. Д. Третьяковы уехали за границу, сведений о посещении ими И. С. Тургенева не обнаружено. Писатель скончался 22 августа (3 сентября) 1883 г. в Буживале, близ Парижа.

[43] В частности, А. П. Боткиной на аукционе в Париже был приобретен портрет С. Г. Овденко работы И. Е. Репина (1876, ныне — в ГРМ).

[44] См. копию указа Московского Окружного суда от 24 августа 1899 г. об утверждении «домашнего завещания» П. М. Третьякова (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 4519).

[45] Василий Семенович, А. И. Шолохов, П. И. Хохлов — лица неустановленные.

[46] Мамонтов Савва Иванович (1841—1918), двоюродный брат В. Н. Третьяковой, матери автора. Промышленник, владелец ряда крупных предприятий; строитель Донецкой каменноугольной и Московско-Ярославско-Архангельской железных дорог. Меценат, выдающийся деятель в области русского искусства. Основатель Московской Частной русской оперы (1885), Художественных кустарных мастерских в Абрамцеве под Москвой; член-учредитель Комитета по устройству Музея изящных искусств в Москве. Субсидировал (вместе с княгиней М. К. Тенишевой и В. В. фон Мекком) издание журнала «Мир искусства» (1898—1904).

[47] Весной 1899 г. А. И. Зилоти концертировал в Петербурге и Костроме. В программу его концертов входила Шестая симфония, Первый концерт для фортепиано с оркестром и Славянский марш П. И. Чайковского.

[48] В. П. Зилоти в 1900-х гг. состояла членом Правления Новокостромской льняной мануфактуры.

[49] Кашин Николай Константинович, директор-распорядитель льняной мануфактуры в Костроме (1885—1905). Благодаря его знаниям и энергии объем производства фабрики к началу XX в. достиг колоссальных размеров.

ГЛАВА 5
РАЗГУЛЯЙ

[1] Кокорев Василий Александрович (1817—1889), откупщик, промышленник. Основатель Закаспийского торгового товарищества, строитель Уральской горнозаводской железной дороги. Коллекционер, владелец первой в Москве публичной (с 1862) художественной галереи, просуществовавшей несколько лет (до 1869). Собиратель кустарных изделий, создатель «Хранилища народного рукоделия». Меценат, организатор в Тверской губернии так называемой Академической дачи. Автор публицистических, либерального толка, статей. В собрании П. М. Третьякова было несколько картин из коллекции Кокорева.

В. П. Зилоти, по-видимому, ошибается. Современный биограф В. А. Кокорева указывает, что компаньоном последнего в делах винного откупа был Иван Федорович, а не Николай Федорович Мамонтов (см. примеч. 2 к главе 4). Многолетнее же сотрудничество Кокорева и И. Ф. Мамонтова началось в 1845 г. В начале 1860-х гг., после ряда деловых неудач Кокорева, их союз распался. В 1870-е гг. деятельность И. Ф. Мамонтова продолжалась уже без участия «задушевного» и «бесценного» друга, каким был для него ранее Кокорев.

Не был Кокорев и «западником». Скорее, по кругу знакомств и интересов он был ближе к славянофилам, хотя ему были чужды идеалы воинствующего панславизма, постулат самодержавия и связанных с ними представлений о сословном приоритете дворянства (см.: *Аронзон Е. Р.* От Киреева до Абрамцева. К биографии Саввы Ивановича Мамонтова (1841—1918) — «Панорама искусств' 6», М., 1983, с. 362—366, 374).

[2] Чайковский Петр Ильич (1840—1893), композитор, дирижер и педагог. Профессор Московской консерватории (1866—1878), почетный член Русского музыкального общества.

Ларош Герман Августович (1845—1904), музыкальный критик и педагог. Автор исследований: «Глинка и его значение в истории музыки» (1867), «Исторический метод преподавания теории музыки» (1872); антагонист В. В. Стасова и Ц. А. Кюи в оценке роли консерваторского образования для музыкантов. Профессор Московской консерватории по классу теории композиции и истории музыки

(1867—1870, 1883—1886), профессор Петербургской консерватории (1872—1879).

[3] См. примеч. 34 к главе 4. Как свидетельствует биограф И. Ф. Мамонтова, последний «едва ли не половину жизни собственноручно мыл шкалики, разливал вино, измерял градусы. Контрольный пакет акций железной дороги от Москвы до Троицкой лавры — венец его предпринимательства. В основу же мамонтовского богатства легли доходы по откупам» (*Арензон Е. Р.* Указ соч., с. 360). Однако уже в начале 1860-х гг. И. Ф. Мамонтов играл значительную роль в купеческом обществе и городском управлении Москвы, был крупным акционером и директором Общества Московско-Ярославской железной дороги.

[4] Мамонтова Мария Тихоновна (урожд. Лахтина, 1811—1852).

[5] См. примеч. 37 к главе 3. В. С. Мамонтова пользовалась любовью и уважением в семье. З. Н. Якунчикова, старшая сестра В. Н. Третьяковой, писала последней: «Тебе главная польза, самая действительная: быть всегда с маменькой нашей, умной, серьезной, по справедливости достойной глубокого уважения» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5860, л. 1).

[6] Картина до революции находилась у Саввы Николаевича Мамонтова; в 1917—1918 гг. была в квартире Владимира Саввовича Мамонтова на Красной Пресне при фабрике «Лакокраска», принадлежавшей «С. Н. Мамонтову и наследникам»; после национализации фабрики в 1918 г. и эмиграции В. С. Мамонтова и его жены исчезла из их дома (см.: ОР ГТГ, ф. 125, ед. хр. 3153, л. 1).

А. П. Боткина сообщает об этом групповом портрете, автор и местонахождение которого ныне неизвестны: «Николай Федорович — «патриарх большой семьи» — неутомимо заботился об этой семье. Чтобы всегда иметь перед глазами лица отсутствующих детей и друзей, он заказал какому-то анонимному художнику в Перми написать картину, на которой были изображены все существовавшие тогда члены его семьи, а на задней стене, в виде фона, висящая картина с написанной на ней семьей брата и с близкими друзьями. Картина, начатая в 1849 г. в Перми, была окончена в 1850 г. в Москве. Иван Федорович сделал подробное описание этой картины, отметив все имена, даты и места рождения изображенных лиц» (*Боткина А. П.* Указ. соч., с. 59; см. также: ОР ГТГ, ф. 125, ед. хр. 3153, л. 2—4 об., копия, снятая Л. П. Гриценко-Бакст в 1918 г.).

[7] Бах Иоганн Себастьян (1685—1750), немецкий композитор, органист.

Шопен Фридерик (1810—1849), польский композитор, пианист.

Лист Ференц (Франц) (1811—1886), венгерский композитор, пианист, дирижер, педагог, общественный деятель.

[8] Речь идет о Мамонтовых: Софье (родилась и скончалась в 1828 г.); Михаиле (1829—1863); Александре (1832—1900); Владимире (1833—?); Николае (1836—1896); Викторе (1839—1903); Валериане (1840—1855); Зинаиде (1843—1919); Вере (1844—1899); Иване (1846—1899); Кирилле (1848—1879?); Евдокии (1849—1921); Савве (1853—1918). Имена четверых, умерших детьми, сыновей не установлены.

[9] О самодурстве как отличительном свойстве характера мужчин из семьи Мамонтовых упоминает и В. Н. Третьякова. Упомянув о брате, И. Н. Мамонтове, она подчеркнула присутствие «немалого самодурства» в его характере (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 29).

[10] Мамонтов Александр Николаевич (см. примеч. 8 к наст. главе), третий ребенок в семье В. С. и Н. Ф. Мамонтовых. Отзыв автора совпадает с характеристикой брата, сохранившейся в записях В. Н. Третьяковой. В 1881 г. это был «слепой, покинутый женой муж и отец, желающий много сделать для детей, опомнившись, что был им до сих пор чужой» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 16 об.). А. Н. Мамонтов был старшим компаньоном основанного в 1865 г. «Торгового дома Бр. Мамонтовых и К°». После выхода в начале 1870-х гг. из дела В. Н. Мамонтова, А. Н. и Н. Н. Мамонтовы образовали «Торговый дом Бр. А. и Н. Мамонтовых», которым они руководили до 1879 г., когда дело перешло в собственность Ивана и Саввы Николаевичей Мамонтовых (см. примеч. 2 к главе 4). А. Н. Мамонтов был также одним из директоров правления Шуйско-Ивановской железной дороги; принимал участие в издании многотомного труда Н. П. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина».

[11] Позже фабрика была переведена на Звенигородское шоссе. Компаньоном этого «Товарищества» был и П. М. Третьяков, отец автора.

О Мамонтове Иване Николаевиче см. примеч. 8, 9 и 51 к наст. главе.

Мамонтов Савва Николаевич (см. примеч. 8 к наст. главе), коммерции советник, директор «Промышленного и торгового товарищества Бр. А. и Н. Мамонтовых», гласный Московской думы, выборный Московского биржевого общества.

[12] Мамонтова Татьяна Алексеевна (урожд. Хлудова, 1844 — после 1901). В. Н. Третьякова писала о ней в дневнике: «Жена брата Александра. Жила с ним 20 лет, была и счастлива по-своему, а в последнее время в особенности страдала от болезненного состояния мужа, которое и довело его до слепоты. Женщина она — эгоист в крайней степени, никогда никакой заботы ни об ком; ни доброты, ни ласки никому и особенно жестка с своим несчастным мужем. Умна, красива, грациозна, игрива, криклива. В ней течет грубая, пылкая кровь Хлудовых!» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 28).

[13] Хлудов Василий Алексеевич (ок. 1841—до 1917), представитель в третьем поколении «Торгового дома С., Н., Д., А., и Г. Ивана Хлудова сыновья», владельцев «Пае-

вого Товарищества Егорьевской мануфактуры». Одними из первых в России Хлудовы установили торговые связи с Германией, Англией, Северо-Американскими Соединенными Штатами, Туркестаном. Занимались торговлей хлопком и производством тканей из хлопка. Окончил Петербургский университет.

У В. А. Хлудова были три сестры и три брата. В Среднюю Азию ездил по торговым делам Иван Алексеевич Хлудов (1839—1868), наиболее известный в деловых кругах. Скончался он в Самарканде. Тигра привез из путешествия по Востоку, как свидетельствует П. И. Щукин, не Василий, а его брат — Михаил Алексеевич Хлудов (ок. 1842—до 1912). См.: Воспоминания П. И. Щукина. М., 1912, ч. 3, с. 5.

[14] Хлудова Вера Александровна (ум. после 1917), потомственная почетная гражданка, попечительница Детской больницы имени М. А. Хлудова, являвшейся университетской клиникой детских болезней; казначей братства Св. Петра Митрополита, основанного ее свекром, А. И. Хлудовым; член Московского филармонического общества. В. А. Хлудова была вдовой Михаила Алексеевича, а не Василия Алексеевича Хлудова, как указывает автор.

[15] Вероятно, В. П. Зилоти ошиблась. Судя по сведениям, сохранившимся в переписке В. Н. и П. М. Третьяковых, Т. А. Мамонтовой и К. Е. Маковского (1839—1915), художник в 1875—1877 гг. работал над портретом Татьяны Алексеевны Мамонтовой (урожд. Хлудовой), а не Веры Александровны Хлудовой. В феврале 1875 г. В. Н. Третьякова писала мужу: «Видно, Конст[антин] Маковский не соберется к нам на масленице и портрет Т[атьяны] А[лексеевны] будет ждать другого, более благоприятного случая» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6320, л. 1). В 1877 г. портрет был окончен (см. там же, ед. хр. 2343, л. 1). 1 марта 1879 г. собиратель, потребовав от К. Е. Маковского возврата долга, напомнил художнику: «Сумму эту Вы должны были бы возвратить мне очень давно, когда получили деньги за портрет г[оспо]жи Мамонтовой» (там же, ед. хр. 4751, л. 124). Портретов Т. А. Мамонтовой и В. А. Хлудовой в собрании Третьякова не было.

[16] Речь идет о детях А. Н. и Т. А. Мамонтовых: Вере Александровне (в замуж. — Зотовой, 1863—после 1917); Александре Александровиче (1867—1909); Марине Александровне (в замуж. — Костаревой, 1869—?) и Елене Александровне (1873—1880?). Мужем В. А. Мамонтовой стал в 1887 г. инженер-механик Н. К. Зотов (ум. после 1914). Известно, что у них было две дочери — Вера и Зинаида.

[17] Снегирев Владимир Федорович (1847—1916), гинеколог, доктор медицины (с 1873). Профессор Московского университета. Автор ряда трудов по акушерству и гинекологии, воспоминаний о Г. А. Захарьине. Общественный деятель.

[18] См. отзыв о Т. А. Мамонтовой В. Н. Третьяковой (в примеч. 12 к наст. главе).

[19] См. примеч. 8 к наст. главе и примеч. 7 к главе 1.

В. Н. Третьякова писала об Анне Петровне Мамонтовой (1848—1934): «Хорошая, умная, добрая женщина. Отличная мать, хозяйка и жена. До замужества зарабатывала сама свой хлеб, хотя и была воспитана в довольстве у тетушки. Самостоятельность знакома ей и нашла первое время отпор в муже. Борьба была немалая, но А[нна] П[етровна] отстояла. Молодец!» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 28 об.).

[20] «Кюба» — один из дорогих ресторанов в Петербурге на Большой Морской улице, называвшийся так по имени владельца.

Коровин Константин Алексеевич (1861—1939), живописец, пейзажист, работал в области театрально-декорационного искусства.

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938), певец (бас); артист Московской Частной русской оперы (с 1896), организованной С. И. Мамонтовым, двоюродным дядей автора. С 1899 г. артист Императорских театров. С 1922 г. жил за границей.

[21] В 1904 г. Шаляпин приобрел у Коровина участок земли (Ратухинскую пустошь), неподалеку от станции Итларь Ярославской железной дороги, где построил дачу. Ближайшим к имению Шаляпина селом, стоявшим на Владимирской дороге, было Старово.

[22] История с боярством рода Третьяковых, очевидно, вымысел Коровина. В 1774 г. прапрадед автора, небогатый купец города Малый Ярославец Елисей Мартынович, переселился в Москву с семьей — женой Василисой Трифоновной, дочерью малоярославского купца Бычкова, и двумя сыновьями — Захаром и Осипом. Захару Елисеевичу Третьякову (1748—1816), прадеду автора, в год казни Емельяна Пугачева (ок. 1742—1775) было уже 27 лет, его дети родились в 1790-х гг. Следовательно, о крестниках Пугачева в роду В. П. Зилоти не может быть и речи. Кроме того, вождь крестьянского восстания был казнен в Москве, на Болоте, а не отправлен на каторгу, как пишет автор.

[23] Речь идет об Аполлинарии Ивановне Коровиной.

[24] Семейная жизнь А. П. и Н. Н. Мамонтовых не ладилась. В 1891 г. супруги разъехались; сойдясь ненадолго в 1894 г., они вскоре вновь расстались (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6525).

[25] Имеются в виду: Инна Николаевна Мамонтова (в замуж. — Шевалдышева, 1874—1942); Мария Николаевна (в замуж. — Мамонтова, ок. 1880—1910). Ее мужем стал Михаил Иванович Мамонтов, сын дяди автора — Ивана Николаевича и его жены Екатерины Александровны (урожд. Робер; см. примеч. 14 к главе 8).

[26] См. примеч. 2 к наст. главе. Речь идет о детях А. П. и Г. А. Ларошей: Зинаиде Германовне (ум. после 1917), вышедшей замуж за

Крашенинникова Федора Николаевича (ум. после 1917), который в 1900-е гг. не был профессором, а лишь сверхштатным ассистентом Московского университета; в 1910-х гг. — преподаватель физико-математического факультета московских Высших женских курсов; а также об Ольге Германовне (в замуж. — Авьерино).

Пабст Павел Августович (1854—1897), пианист и композитор; преподаватель (с 1878), профессор Московской консерватории (с 1881).

Скрябин Александр Николаевич (1872—1915), композитор и пианист, преподавал в Московской консерватории (1898—1903).

Буюкли Всеволод Иванович (1873—ок. 1920), пианист и педагог, ученик П. А. Пабста.

Левин Иосиф Аркадьевич (1874—1944), пианист; преподаватель Московской консерватории (1902—1905) и Джульярдской музыкальной школы в Нью-Йорке (с 1919).

Авьерино Николай Константинович (1872—1948), скрипач, альтист, дирижер, педагог.

[27] Третьим ребенком А. П. и Г. А. Ларошей был сын — Евгений Германович. У А. П. и Н. Н. Мамонтовых, как свидетельствует В. Н. Третьякова, воспитывались лишь дочери критика (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 28 об.).

[28] Мамонтов Виктор Николаевич (см. примеч. 8 к наст. главе) в конце 1860-х гг. входил в правление «Торгового дома Бр. Мамонтовых и К°», в начале 1870-х гг. вышел из него. В. Н. Третьякова писала о нем в 1881 г.: «40 лет, брат мой. Был женат на Анне Ивановне, разъехались скромно, хотя дети их — дочь 14 лет Анюта и сын 12 Володя пишут отцу и тем поддерживается связь между супругами. Виктор по натуре музыкант и в настоящее время помощник дирижера в Большом театре, разучивает с хорами их партии. С любовью занимается своим делом, считая его важнейшим. Он прав, без этого бы мы не слушали оперы и не наслаждались бы хорами, как это бывает не раз в последнее время. Виктор честен, скромен, как в жизни, так и в своих требованиях. Потеряв состояние, он счастливо живет и на 1000 рублей. Я характеризую его таким образом: un peu d'amour, un peu d'argenteux, un peu d'musique. Видно, ждет, чтобы я сама пришла к нему, на зов мой не идет ко мне. Он крайне деликатный человек» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 29—29 об.).

[29] Шишова Пелагея Харитоновна, воспитанница Николаевского института благородных девиц. В 1861 г., по окончании службы в семье, получила от В. С. Мамонтовой, бабушки автора, свидетельство, в котором отмечались ее добросовестность и выражалась «живейшая благодарность» за труд (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5807, л. 1).

Евфимия Ивановна, вероятно Собекинская, — знакомая Н. С. Куклинской, старинного друга женской половины семьи Мамонтовых.

[30] Риба Иосиф Вячеславович (1821—1895), пианист, педагог, автор «Рациональной методики фортепианной игры», изданной в начале 1880-х гг. (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5791, л. 1 об.). Риба «играл, — как вспоминала А. П. Боткина, — большую роль в семье Мамонтовых, в двух поколениях. Не будучи сам пианистом-виртуозом, он и ученикам своим не передал этого качества, но прививал им любовь к классической музыке, безукоризненный вкус и благородство в исполнении» (*Боткина А. П.* Указ. соч., с. 61). Очень ценила Риба как педагога и человека мать автора — В. Н. Третьякова.

[31] Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор.

[32] См. примеч. 31 к главе 4.

[33] Первой женой В. И. Якунчикова была Екатерина Владимировна (урожд. Алексеева, 1833—1858), тетка К. С. Станиславского (Алексеева). В. П. Зилоти ошиблась, свадьба З. Н. Мамонтовой и В. И. Якунчикова состоялась не в 1860, а в 1861 г.

[34] Якунчиковы: Владимир Васильевич (1855—1916), фабрикант, один из директоров правления Торгово-промышленного Товарищества А. и В. Сапожниковых. Создатель ценной библиотеки по искусству. Меценат, субсидировал кустарные вышивальные мастерские в Абрамцеве, которыми, после смерти Е. Д. Поленовой (см. примеч. 112 к главе 22), руководила его жена, Мария Федоровна (см. примеч. 7 к главе 7). Один из устроителей Отдела русского искусства на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. На средства В. В. Якунчикова были сняты копии с произведений художников эпохи Возрождения для Музея изящных искусств в Москве.

Елизавета Васильевна, «Лилиша» (в замуж. — Сапожникова, 1856—1937). В 1900-е гг. — кандидат в директора правления Торгово-промышленного Товарищества А. и В. Сапожниковых.

Наталья Васильевна (в замуж. — Поленова, 1858—1931). Жена художника В. Д. Поленова. Первый историк Абрамцевского художественного кружка, автор книг: «Е. Д. Поленова» (1902), «Абрамцево» (1922). Общественный деятель по народному образованию.

[35] Сапожникова Вера Владимировна (урожд. Алексеева, 1823—1877), жена купца Григория Григорьевича Сапожникова (1810—1847), тетка К. С. Станиславского (Алексеева). Их дети:

Александр Григорьевич (1842—1877) и Владимир Григорьевич (1843—1916), владельцы фабрики парчовых и шелковых тканей, знамен, штандартов и мебельной ткани (Торгово-промышленное Товарищество А. и В. Сапожниковых). В. Г. Сапожникову, который был учеником В. А. Гартмана, фирма была обязана особыми успехами. С 1912 г. — председатель Правления Товарищества; член Московской городской думы, Купеческого и Биржевого обществ, Совета торговли и мануфактур; более пятидесяти лет состоял членом

попечительского совета Практической академии в Москве. В 1909 г. получил потомственное дворянство. Муж Елизаветы Васильевны Якунчиковой;

Елизавета Григорьевна (в замуж. — Мамонтова, 1847—1908), жена Саввы Ивановича Мамонтова (см. примеч. 46 к главе 4), одна из создательниц Абрамцевского кружка, кустарных мастерских в Абрамцеве. Близкий друг художницы Е. Д. Поленовой.

В. П. Зилоти ошиблась. У Екатерины Владимировны Якунчиковой кроме упомянутых были еще две сестры и брат: Надежда Владимировна (в замуж. — Беклемишева, 1825—1885), Семен Владимирович (1827—1870/1873) и Татьяна Владимировна (в замуж. — Костомарова, 1839—1892).

[36] Кисловская Анна Владимировна (урожд. Алексеева, 1831—1891), жена полковника Генерального штаба инженера Льва Дмитриевича Кисловского (1821—1881). У Кисловских было три сына: Дмитрий (1855—?), Лев (1888—1907), Андрей и две дочери: Надежда (в замуж. — Халютина) и Вера (ум. после 1932). Дочери увлекались театром.

Бродерсен Андрей Иванович преподавал в 1880-х гг. гимнастику, служил в приходском училище при французской католической церкви Св. Людовика на Малой Лубянке в Москве.

[37] Алексеев Александр Владимирович (1821—1882), сын основателя фирмы «Товарищество Владимир Алексеев», объединявшей хлопкоочистительные заводы и шерстомойни; совладелец овцеводческих и коневодческих заводов, золотоканительной фабрики, позднее — кабельного завода.

Шурин А. В. Алексеева, Василий Михайлович Бостанжогло, был другом семьи родителей автора воспоминаний и дядей второй жены С. М. Третьякова (ум. 1876).

Алексеев Николай Александрович (1852—1893), сын Е. М. и А. В. Алексеевых, фабрикант, московский городской голова (1885—1893), один из директоров Московской консерватории. Был женат на Александре Владимировне Коншиной (1853—1903), двоюродной сестре В. П. Зилоти. Родители автора благоволили молодой паре. В. Н. Третьякова записала в дневнике в 1881 г.: «Алексеевы Николай Александрович и Александра Владимировна <...> Первый — молодой, 28 л[ет], очень дельный фабрикант и общественный деятель. Правду режет сплеча, почему часто имеет врагов. Веселый собеседник, хороший муж и почтительный сын. Вторая — моя племянница, добрейшая, умная, сердечная женщина, с большим тактом в жизни. Большая говорунья, интересующаяся всем женщина; только болезненность мешает ей пользоваться всеми благами жизни. Хорошая мать и сердечная родственница! Отличный она человек!» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 23).

В. П. Зилоти упоминает дочерей Е. М. и А. В. Алексеевых: Марию Александровну (1855—1936), вышедшую замуж за Сергея Ивановича Четверикова (1850—1929; см. также примеч. 19 к главе 7) и Елизавету Александровну (1869—1937, в замуж. — Руперти). Третьей дочерью, имя которой пропущено автором, была Александра Александровна (1863—1912), жена Дмитрия Ивановича Четверикова (1858—1909; см. также примеч. 21 к главе 7).

[38] Алексеев Сергей Владимирович (1836—1893), глава фирмы «Товарищество Владимир Алексеев», совладелец золотоканительной фабрики в Москве. Его жена — Алексеева Елизавета Васильевна (урожд. Яковлева, 1841—1904).

В. П. Зилоти ошиблась, у Е. В. и С. В. Алексеевых было не девять, а десять детей (см. примеч. 6, 7, 8 к главе 20).

Алексеев Владимир Сергеевич (1861—1939), глава фирмы после смерти отца, С. В. Алексеева. Обладая большими музыкальными способностями, принимал участие в спектаклях Алексеевского кружка (см. примеч. 4 к главе 20), главным образом как музыкант. Впоследствии, взяв на себя ведение дел фирмы Алексеевых, уделял музыке и театру только свободное время. После революции работал в школе Московского Художественного театра, Оперной студии Большого театра, затем в Оперном театре им. К. С. Станиславского с момента их основания и до конца жизни. Режиссер, театральный педагог; заслуженный артист РСФСР. Занимался также переводами оперных либретто.

Алексеев (Станиславский) Константин Сергеевич (1863—1938), актер, режиссер и теоретик театрального искусства, один из создателей Московского Художественного театра. Народный артист СССР (1936). Автор воспоминаний «Моя жизнь в искусстве» и ряда трудов по теории актерского мастерства.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), режиссер, педагог, драматург. Один из основателей Московского Художественного театра. Народный артист СССР (1936).

[39] У З. Н. и В. И. Якунчиковых было девять детей: Сергей (род. и ум. 1862), Зинаида (1863/1864—1929), Василий (1865—1880), Ольга (1867—1917), Вера (род. и ум. 1870), Мария (1870—1902), Вера (1871—1923), Николай (1873—1931), Елена (1882?—1888). См. также примеч. 6 к главе 11.

Якунчикова Мария Васильевна (в замуж. Вебер), живописец-пейзажист и офортист. Друг Е. Д. Поленовой.

Вебер Лев Николаевич (1869/1870—1956), врач-невропатолог, муж М. В. Якунчиковой (с 1897). Их дети: Вебер Степан Львович (1898—1988/1989), архитектор; Вебер Яков Львович (1901—1953), агроном.

В. П. Зилоти ошибается, Л. Н. Вебер не был кузеном М. В. Якунчиковой. Ее двоюродным братом был сын Варвары Ивановны фон Гольштейн (ум. 1903, урожд. Якунчиковой). Владимир Августович Гольштейн, второй муж матери Л. Н. Вебера — Александры Василь-

евны Гольштейн (урожд. Баулер, в 1-м браке — Вебер), свекрови М. В. Якунчиковой-Вебер.

[40] Следует отметить, что В. Н. Третьякова, мать автора, несколько иначе описывает общение двоюродных сестер, отмечая, что Маша Якунчикова и в детстве не стремилась к сближению.

[41] Якунчикова Зинаида Васильевна (1863/1864—1929), крестница В. Н. Третьяковой. Ее первым мужем был Эмиль Юльевич Мориц, во втором браке она носила фамилию «де Грен», а не «Грей», как указывается в современных изданиях.

[42] В 1892 г. В. А. Серов написал портрет З. В. Мориц, который, по мнению знатоков, считается его лучшей работой и подтверждает суждение художника Виктора Михайловича Васнецова (1848—1926) о классическом характере ее красоты.

[43] «Введенское» — имение под Звенигородом, перешедшее в собственность В. И. Якунчикова в середине 1860-х гг. Центральный дом усадьбы (впоследствии неоднократно перестраивавшийся), как и весь ее архитектурный ансамбль, был создан на рубеже XVIII—XIX вв. архитектором Н. А. Львовым по заказу князя П. В. Лопухина. Красота архитектуры, живописность окрестностей, гостеприимство хозяев привлекали во Введенское людей искусства: в имении гостили и работали В. Э. Борисов-Мусатов, П. И. Чайковский, А. П. Чехов. Многие произведения М. В. Якунчиковой-Вебер исполнены во Введенском или навеяны воспоминаниями о нем.

Имение было продано В. И. Якунчиковым в 1884-м, а не в 1882 г., как указывает автор.

[44] Захарьин Григорий Антонович (1829—1897), директор терапевтической клиники Московского университета. Любопытно, что отец автора воспоминаний, П. М. Третьяков, отдавая должное знаниям и таланту Захарьина-врача, был убежден, что Захарьин, занимая громадное место «во врачебной науке», не оставит по себе «светлой памяти в народе» (цит. по: Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков. 1869—1887. М., 1953, с. 290).

[45] Мамонов Николай Евграфович (1829—1888), врач, основатель Московского общества русских врачей. Доктор медицины (с 1867). В 1870—1873 гг. редактировал «Московскую Медицинскую газету», автор ряда статей в ней. С 1876 г. — вице-директор Медицинского департамента Министерства внутренних дел, с 1881 г. — директор. Инициатор и организатор издания «Материалы для истории медицины в России» (СПб., 1881—1885), автор ряда научных трудов.

[46] Мамонтова Маргарита Оттовна (урожд. Лёвенштейн, 1852—1898).

[47] По другим источникам — в Ницце.

[48] Мамонтова Маргарита Кирилловна, «Маргоша» (в замуж. — Морозова; 1873—1958), пианистка, ученица А. Н. Скрябина и Н. К. Метнера; действительный член и член дирекции Московского отделения Русского музыкального общества (1907—1909), основатель знаменитого в 1990-е гг. литературно-музыкального салона. Учредительница издательства «Путь», издательница журнала того же названия (1900-е гг.); финансировала «Московский еженедельник». Мемуарист. Учредительница и активная участница Московского религиозно-философского общества. Близкий друг философа князя Е. Н. Трубецкого (см. примеч. 50 к наст. главе).

В 1910 г. М. К. Морозова принесла в дар Третьяковской галерее коллекцию картин русских и французских художников, собранных ее мужем — Михаилом Абрамовичем Морозовым (1870—1903), миллионером, совладельцем Тверской мануфактуры; историком по образованию, автором научных трудов, романистом, художественным критиком (псевдоним — Михаил Юрьев, М. Ю.), общественным деятелем.

Мамонтова Елена Кирилловна (в замуж. — Вострякова, 1875/1876—1958), жена московского фабриканта Р. Д. Вострякова.

[49] Скрябина Вера Ивановна (урожд. Исакович; 1875—1920), пианистка, окончила Московскую консерваторию с золотой медалью. Первая жена композитора А. Н. Скрябина (с 1897) как исполнительница славилась интерпретацией произведений мужа. Преподавала в Московской консерватории (с 1905), с 1916 г. — в Петербургской консерватории, куда перешла по приглашению А. К. Глазунова.

[50] Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), философ, богослов, поэт, критик, публицист. Сын С. М. Соловьева, историка. С начала 1880-х гг. с ним были знакомы родители автора, интересовавшиеся его воззрениями (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6348, л. 2).

Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920), князь. Правовед. Профессор Киевского, а затем Московского университета; религиозный философ; виднейший деятель либерального движения, один из лидеров правого крыла кадетской партии (1905—1906), позже организатор близкой к октябристам партии «Мирного обновления», член Государственного совета.

[51] Мамонтов Иван Николаевич (см. примеч. 8 к наст. главе), совладелец «Торгового дома Иван и Савва Мамонтовы», организованного в конце 1879 г. и торговавшего впоследствии под фирмой «Промышленное и торговое товарищество Бр. А. и Н. Мамонтовых» в Москве. В 1889 г. И. Н. Мамонтов был на пороге разорения, вышел из дела; принимал в 1890-х гг. деятельное участие в создании «Товарищества Мальцевских заводов», активно вербуя для него акционеров (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 2334). Кандидат права, председатель финансовой комиссии Московской городской думы, почетный мировой судья.

[52] У Е. А. и И. Н. Мамонтовых были

дети: Александр, Михаил, Екатерина (в замуж. — Андреева, 1870—?), Софья (в замуж. — Виддер, 1876—1929), Дмитрий, Сергей и Прасковья (в замуж. — Авьерино).

[53] Автор ошибся: девичьей фамилией Н. С. Мамонтовой была не «Шереметева», а Шереметевская (ум. в 1952 в Париже).

Романов Михаил Александрович (1878—1918), великий князь, третий сын императора Александра III. В 1899 г. (до рождения наследника Алексея в 1904 г.) был объявлен наследником престола. Состоял шефом 129-го бессарабского полка и 5-й гвардейской батареи. Речь идет об их сыне Георгии, погибшем в автомобильной катастрофе в конце 1930-х гг.

[54] Речь идет о Мамонтовой Евдокии Николаевне (см. примеч. 8 к наст. главе). Рукавишников Константин Васильевич (1848—1915), купец, известный благотворитель. Московский городской голова (1893—1896).

[55] Рукавишников Василий Никитич (?—1879), московский фабрикант, владелец заводов на Урале, и Рукавишникова Елизавета Кузьминична (ум. в 1899) — родители К. В. Рукавишникова.

[56] Рукавишников Николай Васильевич (1845—1875), директор Московского Рукавишниковского исправительного приюта для малолетних преступников. Вместе с братом, К. В. Рукавишниковым, пожертвовал на устройство и содержание приюта более 430 тыс. рублей.

[57] См. примеч. 8 и 11 к наст. главе. После выхода из фамильного дела И. Н. Мамонтова С. Н. Мамонтов остался главным распорядителем и владельцем фирмы, преобразованной в 1889 г. в «Промышленное и торговое товарищество Бр. А. и Н. Мамонтовых». С этого времени начался наиболее блестящий период в деятельности товарищества: помимо спиртовых лаков и политур фабрика стала выпускать масляные краски, москательные товары, славившиеся высоким качеством.

[58] Мамонтова Евгения Федоровна (ум. 1896), принимала активное участие в делах фирмы «Промышленное и торговое товарищество Бр. А. и Н. Мамонтовых» в качестве одного из директоров ее правления.

[59] У Е. Ф. и С. Н. Мамонтовых было семеро детей: Наталья (в замуж. — Третьякова, 1883—1945); Федор (ум. после 1910); Вера (в замуж. — баронесса Кноп, 1887—?); Николай, Владимир, Зинаида (в замуж. — баронесса Кноп, 1891—?); Алексей (ум. после 1910).

[60] Третьяков Сергей Николаевич (1882—1942), директор Товарищества Большой Костромской мануфактуры «Братья П. и С. Третьяковы и В. Коншин» (с 1905); занимал видное положение в торгово-промышленных кругах России — бессменный председатель Всероссийского льнопромышленного общества, старшина Московского Биржевого комитета, председатель Экономического совета при Временном правительстве. Член Совета Московской городской художественной галереи братьев П. и С. М. Третьяковых (1909—1913). Умер в концлагере под Берлином.

[61] Речь идет об Ирине Сергеевне Третьяковой (1906—1966), Сергее Сергеевиче Третьякове (1907—1973), летчике, и о Татьяне Сергеевне Третьяковой (ум. в 1959 в Нью-Йорке). Все они детей не имели.

[62] См. примеч. 52 к настоящ. главе. Потомками Саввы Николаевича Мамонтова по мужской линии являлись сыновья Владимир, Федор, Алексей, Николай. У В. С. Мамонтова и его жены Александры Ивановны (урожд. Курлиной) был сын Кирилл. У Н. С. Мамонтова и его жены Екатерины Андреевны (урожд. Девильер) было два сына: Лев и Николай. У А. И. Мамонтова и его жены Ольги Ивановны (урожд. Олениной) было шестеро сыновей: Иван, Михаил, Николай, Лев, Ростислав, Александр, и дочь Ирина. У М. И. Мамонтова и его жены Марии Николаевны (урожд. Мамонтовой) было трое детей: Даниил, Анна и Екатерина. Д. И. Мамонтов женат не был. У С. И. Мамонтова и его жены Натальи Сергеевны (урожд. Шереметевской) была дочь Наталья.

ГЛАВА 6

НАШЕ ДЕТСТВО

[1] А. Д. Третьякова поселилась в 1-м Ильинском переулке, в доме № 6/7, который после ее смерти перешел во владение Н. М. Гартунг.

[2] Храм Христа Спасителя (1837—1883) был построен по проекту архитектора К. А. Тона. Работы по строительству и отделке здания продолжались более пятидесяти лет. Живописными работами в храме руководил художник А. Т. Марков. Несмотря на то, что к его росписям в разное время были привлечены многие известные художники, в том числе И. Н. Крамской, Г. И. Семирадский, В. И. Суриков, они не стали заметным событием в истории русской живописи.

Нефф Тимофей Андреевич (1805—1876), портретист, жанрист, исторический живописец.

[3] Коле Третьякову, племяннику П. М. Третьякова, в год свадьбы последнего было восемь, а не десять лет, как пишет автор (см. примеч. 15 к главе 4).

Сведений о Карле Федоровиче Бювло не обнаружено. Протопопов Василий Васильевич (ок. 1800—1885), «бывший кассир в магазине Третьяковых» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5286, л. 56 об.). Жил «на покое» во флигеле дома А. Д. Третьяковой по 1-му Ильинскому переулку.

[4] Третьяков Михаил Павлович, старший сын В. Н. и П. М. Третьяковых, родился 10 июня 1871 г.

[5] М. П. Третьяков скончался в 1912 г.

[6] Третьяков Иван Павлович (см. примеч. 5 к главе 1), младший сын В. Н. и П. М. Третьяковых, родился 5 сентября. См. также примеч. 11 к главе 3.

[7] Дикгоф Генрих Генрихович, обер-пастор евангелистско-лютеранской церкви Св. Апостолов Петра и Павла в Космодемьянском переулке в Москве. Член совета учебного заведения при ней и законоучитель Константиновского Межевого института.

[8] Гартунг Яков Федорович (1841—1900), купец, потомственный почетный гражданин города Москвы. Служил на ситценабивной фабрике «Товарищества Эмиля Цинделя» на Дербеневской набережной в Москве.

[9] Судя по воспоминаниям современников, имение Хвощинских «Волынское» было популярно как дачное место среди московского купечества уже в 1840-х гг. Оно располагалось «на 6-й версте от Москвы по Дорогомиловскому шоссе» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5286, л. 5).

Расцвет Кунцева как дачного места пришелся на 1860-е гг. В 1865 г. К. Т. Солдатенков приобрел у Л. Н. Нарышкина часть Кунцева, другой частью Кунцева владели купцы и известные благотворители Солодовниковы и их сестра — Анна Герасимовна (1812—?). В Кунцеве в 1860—1870-е гг. летом постоянно жили родственные Третьяковым семьи П. П. и Д. П. Боткиных, В. Д. Коншина, семьи Морозовых, Крестовниковых, а также Ф. И. Буслаева, актера Шумского и других.

Третьяковы поселились в Кунцеве в 1869 г. (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 38 об.).

[10] Наполеон I Бонапарт (1769—1821), французский император.

[11] Блёзе Владимир Иванович (ок. 1850—?), в 1870-е гг. — студент-юрист Дерптского университета, слушал также лекции на историко-филологическом факультете. Сотрудничал в газете «Новое время» в качестве переводчика. Был влюблен в В. Н. Третьякову, мать автора. Автор упоминает Софью Блёзе.

[12] Действительно, 29 января 1877 г. В. И. Блёзе писал В. Н. Третьяковой: «Я нашел, простите мою откровенность — в Вас большое сходство с Анной Сергеевной Одинцовой» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5375, л. 1). Видимо, В. И. Блёзе усматривал сходство в общественном положении и характерах В. Н. Третьяковой и красивой, благополучной, рассудительной, не решившейся на рискованный шаг в жизни героиней романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», впервые опубликованного в 1862 г. в журнале «Русский вестник», вызвавшего при своем появлении многочисленные и противоречивые отклики современников.

[13] Вальтер Мария Ивановна (в замуж. — Вернер, 1847 — после 1897), гувернантка Веры и Саши Третьяковых в 1871—1873 гг. Отличалась «серьезностью, рассудительностью», разносторонностью интересов (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5860, л. 1). Добрые отношения М. И. Вернер с семьей Третьяковых продолжались долгие годы, о чем свидетельствует сохранившаяся в архиве семьи Третьяковых переписка.

Зонтаг Анна Петровна (урожд. Юшкова, 1786—1864), детская писательница, автор повестей и сказок. Из ее сочинений наиболее известна «Священная история для детей, выбранная из Ветхого и Нового заветов» (СПб., 1837). Мемуаристка, племянница и корреспондент В. А. Жуковского.

[14] Церкви, о которых упоминает В. П. Зилоти, сохранились, однако автор, вспоминая их названия, допускает неточности. Речь идет о церкви Воскресения Христова (а не Св. Николая, как пишет автор) в Кадашах, расположенной не на Ордынке, а во 2-м Кадашевском переулке. Построена в 1652—1678 гг.; обновлена в 1687—1695 и 1713 гг., переделки были в 1802, 1860, 1902 гг. Церковь Николая Чудотворца «в Пыжах» построена в 1647—1672 гг. Обновлена в 1895 г.

Церковь Иверской Божьей Матери, иначе, по приделу, называвшейся церковью «Георгия Великомученика, что на Всполье» (а также «в Ордынцах»), была построена в 1673 г. и находилась на Большой Ордынке. Нынешнее здание построено на месте старого в 1788—1794 гг. Главный храм перестроен в 1798—1802 гг., обновлен в 1888—1900 гг.

Церковь Великомученицы Екатерины «на Всполье» на Большой Ордынке возведена в 1657 г. и достроена в 1766—1767 гг. архитектором К. И. Бланком. В 1869 г. были перестроены ее зимняя церковь и колокольня. Обновлена в 1877 г.

Церковь Св. Григория, епископа Неокесарийского построена зодчими Иваном Кузнечиком и Карпом Губой (1667—1679, обновлена в 1896 г.) на средства царя Алексея Михайловича. Изразцовый пояс на здании церкви создан мастером С. Полубесом. Действительно, в начале 1870-х годов семья Е. Н. и К. В. Рукавишниковых переехала из дома на Тверском бульваре в дом на Большой Полянке, откуда лишь в 1879 году, после смерти В. Н. Рукавишникова, переселилась на Большую Никитскую улицу.

[15] Черкасский Владимир Александрович (1824—1878), князь, общественный деятель, публицист, близкий славянофильским кругам. Московский городской голова в начале 1870-х гг. В 1878 г. П. М. Третьяков вел переговоры с И. Н. Крамским относительно портрета В. А. Черкасского, заказанного художнику Московской городской думой (см.: Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков, с. 224).

Барановы — вероятно, представители семьи московских купцов и фабрикантов, владельцев «Товарищества Троицко-Александровской мануфактуры» и «Торгового дома Александра и Асафа Ивановичей Барановых». В 1880-е гг. в Замоскворечье жили Е. И. Баранова с сыном, к которым, несмотря на их богатство, безуспешно обращался И. В. Цветаев с просьбой о пожертвовании на строительство Музея изящных искусств. С семьей Барановых Третьяковы были в дальнем родстве (через Мамонтовых).

Щербатов Александр Алексеевич (1829—1902), князь. Общественный деятель, московский городской голова (с 1862), член комитета Политехнического музея прикладных знаний. В архиве А. П. Боткиной, сестры автора,

сохранилась фотография князя А. А. Щербатова, подаренная ее родителям с надписью: «В знак дружбы».

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), один из виднейших деятелей славянофильства, публицист, поэт. Редактор-издатель газет «День», «Москва», «Русь». Принимал активное участие в создании и деятельности Славянского благотворительного комитета, денежную помощь которому оказывал и П. М. Третьяков. Автор адреса, подписанного князем А. А. Щербатовым, Ю. Ф. Самариным и другими членами Думы о сочувствии москвичей отказу правительства от стеснительных для России условий Парижского трактата 1857 г., вызвавшего неудовольствие официальных кругов и, как следствие, уход А. А. Щербатова с поста московского городского головы. В 1878 г. за речь, в которой критиковалась русская политика на Берлинском конгрессе, И. С. Аксаков был временно выслан из Москвы. Позже был близок к обер-прокурору Синода К. С. Победоносцеву.

Станкевич Александр Владимирович (1821—1912), младший брат Н. В. Станкевича, главы Московского литературно-философского кружка 1830-х гг., издатель его переписки. Писатель, биограф Т. Н. Грановского. Общественный деятель, многолетний член Московской городской думы. Член Московского общества любителей художеств; многолетний член, как и П. М. Третьяков, Совета Московского художественного общества.

Самарины: Юрий Федорович (1819—1876), общественный деятель, публицист славянофильского направления; гласный Московской городской думы в 1870-е гг.; в 1878 г. И. Н. Крамским по заказу П. М. Третьякова был написан его портрет (ГТГ); Дмитрий Федорович (1831—1901), гласный московского земства; публицист, издатель сочинений брата, Ю. Ф. Самарина, и, возможно, Николай Федорович (1829—1892), мировой посредник Богородского уезда Московской губернии, позже предводитель дворянства той же губернии.

Чичерины: Борис Николаевич (1828—1904), юрист, публицист, историк, профессор Московского университета (1861—1883), либеральный общественный деятель; Владимир Николаевич (1830—1903), земский деятель, предводитель дворянства Кирсановского уезда (1869—1878).

[16] Соллогуб Мария Федоровна (урожд. Самарина, 1821—1888), графиня. Соллогуб Федор Львович (1848—1890), граф. Окончив Московский университет, служил по судейскому ведомству, затем занялся живописью. Работал в качестве театрального художника в императорских и частных театрах. Драматург. Соллогуб Наталья Михайловна (урожд. баронесса Боде, 1851—1915), графиня. Жена графа Ф. Л. Соллогуба (с 1873), писательница и переводчица. Ей посвящено несколько стихотворений А. А. Фета.

Дети Третьяковы часто гуляли в саду-парке городской усадьбы Соллогубов в Большом Толмачевском переулке, являющейся памятником архитектуры XVIII в.

[17] Имеется в виду исполненный Иваном Николаевичем Крамским (1837—1887) по заказу П. М. Третьякова «Портрет писателя Льва Николаевича Толстого» (1873, ГТГ).

[18] А. П. Боткина вспоминает, что впервые увидела И. С. Тургенева в августе 1878 г. на даче в Кунцеве: «Нас, детей, не отослали в мезонин спать в обычное время — или забыли, или оставили нарочно, чтобы мы видели и запомнили великого писателя» (*Боткина А. П.* Указ. соч., с 234). С родителями автора писатель познакомился, по-видимому, в начале 1870-х гг.

[19] Вернер Иван Иванович, муж М. И. Вальтер, в 1870-е гг. — командир 20-го галицийского полка, служил также на Балканах и в Турции (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5473, л. 4).

ГЛАВА 7

ОТ ДЕТСТВА К ОТРОЧЕСТВУ

[1] Музыкальная одаренность В. П. Зилоти проявилась уже в раннем детстве, слушатели отмечали в ее игре особую духовность и «огонь». «Вера, как девочка с музыкальной фантазией <...> начала с 7-летнего возраста сочинять и довольно оригинально, — свидетельствует В. Н. Третьякова, мать автора. — Ее соч[инения] записаны в отдельную тетрадку» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 22). В юности В. П. Зилоти мечтала учиться в консерватории, серьезно занявшись композицией.

[2] Морозова Мария Федоровна (урожд. Симонова, 1830—1911), жена Тимофея Саввича Морозова — текстильного фабриканта, владельца Никольской мануфактуры (с 1873 — «Товарищество Никольской мануфактуры С. Морозова, сын и К°»).

[3] Гарниш Клара Ивановна, гувернантка, поступившая на службу к Третьяковым осенью 1873 г. и прослужившая до сентября 1874 г. Она не пришлась ко двору. «Эта госпожа, — писала В. Н. Третьякова, — с первого взгляда не была мне симпатична, показалась грубой немкой при сильной комплекции. Заведомо знала я, что она слывет очень строгой. <...> Я заметила в Кларе Ивановне сухость к детям в обращении и желание показать, что ласка излишняя, да и какая бы ни была, даже родителей — и та ни к чему путному не приведет», хотя у К. И. Гарниш были и несомненные достоинства: любовь к порядку и чистоте (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5286, л. 36—37 об.).

[4] См. примеч. 36 к главе 5.

[5] Вероятно, буква «М» перед фамилией будущей тещи К. С. Алексеева (Станиславского) означает «madame» (франц.), так как ее звали Ольгой Тимофеевной. Речь идет далее о Перевощикове Дмитрии Петровиче (ок. 1860—1897), присяжном поверенном, сыне О. Т. и П. Д. Перевощиковых; о сыновьях М. Ф. и Т. С. Морозовых: Савве Тимофеевиче (1863—1905), впоследствии —

крупнейшем промышленнике, химике по образованию, главе «Товарищества Никольской мануфактуры С. Морозова, сын и К°», одном из пайщиков и директоров Московского Художественного театра, и Сергее Тимофеевиче (1862—1944), фабриканте, одном из директоров правления Никольской мануфактуры; основателе и заведующем Кустарного музея в Москве (с 1889). Сергей Морозов, вместе с С. И. Мамонтовым и Г. А. Рачинским, был также учредителем Общества для распространения художественно-промышленного образования. Друг художника И. И. Левитана.

[6] Перевощикова Мария Петровна (в замуж. — Алексеева, по сцене — Лилина, 1866—1943), дочь московского нотариуса, внучка известного астронома. Актриса Московского Художественного театра, народная артистка РСФСР. Жена К. С. Станиславского (Алексеева, с 1889). Ее театральный путь начался в любительских спектаклях. С 1888 г. участвовала в спектаклях Общества искусства и литературы, куда была приглашена К. С. Алексеевым. Верная помощница мужа в его педагогической деятельности, которую продолжала и после его смерти. Любимая актриса А. П. Чехова.

[7] См. примеч. 5 к наст. главе.

Якунчикова Мария Федоровна (урожд. Мамонтова, 1864—1951), жена Владимира Васильевича Якунчикова, двоюродного брата В. П. Зилоти. Активно занималась возрождением русского прикладного искусства и организацией кустарных промыслов. В селе Соломенки Тамбовской губернии ею были оборудованы вышивальные и швейные мастерские (1891). После смерти Е. Д. Поленовой руководила Абрамцевской кустарно-резчицкой и вышивальной мастерской, в советское время основала «Артель вышивальщиц» в Тарусе.

[8] Банза Эмилия Конрадовна (ок. 1870—?), дочь московского коммерсанта, члена правления «Торгового дома Вогау и К°», а также других промышленных товариществ в Москве, Московского архитектурного общества и члена-учредителя Комитета по устройству Музея изящных искусств Конрада (Кондратия) Карловича Банза и Эмилии Максимовны Банза (урожд. Вогау).

Герман Рудольф Васильевич, московский купец. В 1990-е гг. он жил по-прежнему в доме Вогау (на Воронцовской улице), владельцев «Торгового дома Вогау и К°» по продаже сахара и чая.

[9] Островская Александра Николаевна — сводная сестра драматурга от второго брака его отца, Н. Ф. Островского, с Э. А. фон Тессин.

[10] Островская Мария Николаевна, сводная сестра драматурга от второго брака его отца, Н. Ф. Островского, с Э. А. фон Тессин.

[11] См. примеч. 33 к главе 4.

[12] См. примеч. 37 к главе 5.

[13] Коншина Прасковья Владимировна (1860/1864—1940), двоюродная сестра автора, жена А. И. Чайковского, брата композитора. В. Н. Третьякова писала о ней: «По натуре умна, натуральна, проста без лести — все веские достоинства, при этом — без образования, без сознания долга, без всякого дела — только пользующаяся жизнью в доме отца, не отказывающего ей ни в чем. Она росла — почти одна и теперь выезжает с братом Владимиром. Очень красива собой, свежая, нравится мужчинам. Симпатичная девушка!» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 23 об.).

[14] Речь идет о Елизавете Васильевне и Наталье Васильевне Якунчиковых, падчерицах З. Н. Якунчиковой (см. примеч. 34 к главе 5).

[15] Морозовы: Алевтина Тимофеевна (в замуж. — Спримон, 1850—1876), Юлия Тимофеевна (в замуж. — Крестовникова, 1858—?) и Александра Тимофеевна (в замуж. — Назарова). У М. Ф. и Т. С. Морозовых (см. примеч. 2 к наст. главе) была еще одна дочь — Анна Тимофеевна (в замуж. — Карпова, 1849—1924).

[16] Возможно, В. П. Зилоти имела в виду старшую сестру С. И. и Д. И. Четвериковых, Марию, в замужестве Протопопову (ок. 1849—?), а не Екатерину.

[17] Риба: Людмила Иосифовна (ум. до 1885), старшая дочь И. В. Риба; Елена Иосифовна, средняя дочь И. В. Риба, — учительница музыки, в начале 1880-х гг. давала уроки младшей из сестер Третьяковых, Марии. Об Анне Иосифовне Риба сведений не обнаружено. «Вся семья Риба привязана к нам, — писала Вера Николаевна Третьякова, — а мы — к ней» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 22 об.).

[18] См. примеч. 29 к главе 4.

[19] Речь идет о Н. М. и Я. Ф. Гартунгах (см. примеч. 7 к главе 4 и примеч. 8 к главе 6).

О М. А. и С. И. Четвериковых см. примеч. 37 к главе 5. Четвериков Сергей Иванович, владелец Городищенской суконной фабрики, ставшей под его управлением лучшей в России; занимал руководящие посты в «Товариществе Владимир Алексеев»; был душеприказчиком, вместе с К. С. Алексеевым (Станиславским), вдовы Н. А. Алексеева, Александры Владимировны Алексеевой, двоюродной сестры автора; деятель Биржевого комитета в Москве, один из лидеров прогрессистов, автор воспоминаний «Безвозвратно ушедшая Россия. Несколько страниц из книги моей жизни» (Берлин, б/д).

Ученик И. В. Риба, занимавшийся композицией у И. Воячека, Сергей Иванович с теплотой вспоминал «собрания» в доме Третьяковых: «Жена Павла Михайловича Третьякова, известного собирателя галереи его имени, хотя давно была замужем, но продолжала брать уроки у Риба. По его инициативе и под его руководством в доме Третьяковых два раза в месяц происходили музыкальные собрания для игры в 8 рук классической музыкальной литературы. Одним из партнеров в этот квартет Риба и ввел меня в этот дом. Это было начало собирания П. М. своей коллекции. В дни наших музыкальных собраний он также

созывал своих единомышленников — художников, получивших название «передвижников». Вечером, после окончания, все собирались ужинать за общим столом. По желанию художников, он неизменно состоял из холодного ростбифа и горячих вареников, а как напиток подавался исключительно квас, правда, чрезвычайно вкусный. Помню присутствие художников: Перова, Крамского, Рачкова, Лагорио и др. Помню, что как раз в это время была куплена П. М. картина Крамского «Христос в пустыне». Я, конечно, сидел, не смея вставить ни одного своего слова, но юная душа моя ярко воспринимала то, что приходилось слышать. Вскоре после этого Риба, пользуясь тем, что в его квартире был большой зал, решил устроить два раза в месяц собрания в исполнении своих учеников» (Четвериков С. И. Указ. соч., с. 70).

В. Н. Третьякова писала о супругах Четвериковых: «...талантливый человек к музыке, но направил все свои стремления и способности на свое коммерческое фабричное дело и под влиянием родственников-материалистов и сам последнее художественное чутье затушил «коммерцией». Жаль его! Близкий он мне человек и музыкант, следовательно, отчасти и по духу; но последнее время расчет и сухость, неталантливость жены его совсем превратят его в обыкновенного человека» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 20 об.). В 1921 г. М. А. и С. А. Четвериковы эмигрировали в Швейцарию.

[20] О Ложечникове Сергее Николаевиче см. примеч. 35 к главе 3.

Башкиров Вениамин Александрович — старый друг семьи Третьяковых, по свидетельству В. Н. Третьяковой, матери автора.

[21] Духанин, возможно, — Федор Васильевич, врач. Белокопытов — лицо неустановленное.

Четвериков Дмитрий Иванович, брат С. И. Четверикова и совладелец Городищенской суконной фабрики, в управлении которой играл вторые роли. В 1881 г. В. Н. Третьякова в записях дневника характеризовала его как молодого человека «с большими способностями к музыке, но с дурным направлением в ней, пустым, мелким, хотя и имеет хорошего учителя — Риба <...>. Он был хороший гимназист, хороший студент и хороший товарищ. Не выделяется ничем перед другими» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 21). Был женат на сестре М. А. Четвериковой, Александре Александровне Алексеевой. См. примеч. 37 к главе 5.

Эрихсон Роберт Эрнестович (ок. 1855—?), «сын старых приятелей Третьяковых. Великолепный сын, умный, честный малый, учился хорошо и много, но, сделавшись специалистом — технологом, как бы убоялся труда настоящего, и стало проглядывать барство или, вернее сказать, испорчен лишним <...> рублем, который он имеет» (ОР ГТГ, ф. 1, там же, л. 20 об. — 21); инженер, служивший в Электротехническом контроле Москвы.

Эрихсон Адольф Эрнестович (1862—?), архитектор, основные проекты которого были осуществлены в Москве в 1890—1900-х гг.: новый корпус музея П. И. Щукина на Малой Грузинской улице, здание типографии И. Д. Сытина на Тверском бульваре, торговые и доходные дома.

Коншин Владимир Владимирович, двоюродный брат автора. В. Н. Третьякова была о племяннике не слишком высокого мнения. В 1881 г. она писала о нем: «Студент. По наружности сладкий, но может нравиться <...>. Все-таки не верится, что этот человек действительно солидных правил» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 23 об.). Позже В. В. Коншин стал директором Большой Костромской льняной мануфактуры, правопреемником и владельцем торгового дома «Братья П. и С. Третьяковы и В. Коншин», членом попечительского совета Усачевско-Черняевского женского училища. Был женат на Марии Николаевне Слатиной.

[22] Речь идет о симфонических концертах, устройство которых с момента своего основания в Москве практиковало Русское музыкальное общество (с 1865 — Московское отделение Русского музыкального общества) в Колонном зале Дворянского (Благородного) собрания, первым дирижером которых был Н. Г. Рубинштейн.

[23] Часть фотографий из альбома В. Н. Третьяковой, о которых упоминает автор, сохранилась (собрание Е. С. Хохловой, Москва).

Патти Аделина (в первом браке — маркиза де Ко, во втором — Николини, 1843—1919), итальянская певица (колоратурное сопрано). Автор музыки к нескольким романсам. В 1869—1877 гг. гастролировала в России.

Патти Карлотта (1835—1889), старшая сестра А. Патти. Выступала, преимущественно, как концертная певица. Гастролировала в России.

О Маркези см. примеч. 13 к главе 4.

Скальки (Лолли) София (1850—1922), итальянская певица (контральто), гастролировала в России.

Змероски, певица (колоратурное сопрано), гастролировала в России в составе итальянской труппы в начале 1870-х гг. П. И. Чайковский в одной из рецензий назвал ее голос «золотым» (*Чайковский П. И.* Музыкальные фельетоны и заметки. 1868—1876. М., 1898, с. 209).

Альбони Мариэтта (наст. имя — Мария Анна Марция, 1826—1894), итальянская певица (контральто), ученица Д. Россини (1792—1868). В 1844—1845 и 1852 гг. выступала в России.

Нильсон Кристина (1843—1921), шведская певица (сопрано). Пела в России в 1870-х — 1875 гг. В книге расходов В. Н. Третьяковой сохранилась запись о покупке двух билетов на «бенефис Нильсон» в ноябре 1877 г. (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6748, л. 28).

Николини Эрнесто (1833—1898), итальян-

ский певец (тенор), муж А. Патти. «Всемирная иллюстрация» писала о пении Николини 26 февраля 1872 г.: «В прошлый четверг дебютировал в «Риголетто» г. Николини. Успех был полный. Голос у г-на Николини не силен, но манера пения, игра и наружные средства так хороши, что заставляют забывать некоторые недостатки. В «Риголетто» ему пришлось соперничать с г. Марини, и его красивая наружность, разнообразная манера, умение держать себя на сцене и свободное исполнение партии совсем уничтожили нашего прежнего любимца <...>. Г. Николини побаловал нас и игрой, которою все, до сих пор бывшие у нас, тенора, совершенно пренебрегали, заботясь только о невыразимой нежности любовных излияний (гг. Станко, Марини, Корси и др.), г. Николини сумел осмыслить свою роль и придать ей оттенок характера» (№ 165, с. 143).

Станьо Роберто (наст. имя и фамилия — Винченцо Андриоли, 1840—1897), итальянский певец (драматический тенор).

Котоньи Антонио (1831—1918), итальянский певец (баритон), в 1872—1894 гг. неоднократно гастролировал в России; в 1894—1898 гг. преподавал пение в Петербургской консерватории.

[24] Мельников Иван Александрович (1832—1906), певец (лирико-драматический баритон), режиссер. В 1867—1892 гг. — солист Мариинского театра; в 1890—1892 гг. работал как режиссер. Партия Руслана в опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила» принадлежала к лучшим его достижениям в оперном искусстве.

Петров Осип Афанасьевич (1807—1878), певец (бас). Артист оперной труппы Петербургских императорских театров (с 1830). Первый исполнитель партий Ивана Сусанина и Руслана в операх М. И. Глинки, созданных композитором в расчете на феноменальный голос Петрова. В опере А. Н. Серова «Вражья сила» Петров прославился исполнением партии Ерёмки.

[25] Шекспир Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт.

Росси Эрнесто (1827—1896), итальянский трагик. Пять раз (в 1877, 1878, 1890, 1895 и 1896) гастролировал в России, исполняя, как правило, роли в шекспировских пьесах, хотя не чуждался и русского репертуара.

[26] В. Н. Третьякова была лично знакома с артистом, который был ей представлен в доме С. М. и Е. А. Третьяковых. В ее записях, сделанных «для памяти», отмечено, что с 29 марта по 18 апреля 1877 г. она побывала на 12 спектаклях с участием Росси (пьесы Шекспира «Гамлет», «Макбет», «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Шейлок», а также драмы Дюма, Делавиня). См.: ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5287, л. 16—16 об.).

[27] Самарин Иван Васильевич (1817—1885), актер, педагог и драматург. Дебютировал учеником Театрального училища в Малом театре в Москве (1833), с 1837 г. зачислен в штат театра, где прослужил до конца жизни. С 1862 г. преподавал в Театральном училище; с 1872 г. вел класс декламации в Московской консерватории, с 1874 по 1885 г. — драматический класс там же.

Федотова Гликерия Николаевна (урожд. Позднякова, 1846—1925), актриса Малого театра (1862—1905), оставила сцену из-за болезни ног. Педагог, народная артистка Республики (1924).

Ермолова Мария Николаевна (1853—1928), актриса Малого театра (1870—1920), народная артистка Республики (1920). Дебютировала 30 января 1870 г. в роли Эмилии Галотти в пьесе Г. Э. Лессинга «Эмилия Галотти» в бенефис Н. М. Медведевой.

[28] Речь идет о посещении оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» (первоначальное, авторское название — «Иван Сусанин»).

Кадмина Евлалия Павловна (1853—1881), певица (меццо-сопрано) и драматическая актриса. По окончании Московской консерватории (1873) в том же году дебютировала в Большом театре в партии Вани в опере Глинки «Жизнь за царя». Покончила жизнь самоубийством, приняв яд во время спектакля «Василиса Мелентьева», в котором играла главную роль. История самоубийства Кадминой, подробности которого стали известны И. С. Тургеневу от знакомых, легла в основу сюжета последней повести писателя, «После смерти. Клара Милич», впервые опубликованной в журнале «Вестник Европы» (1883, № 1).

Александрова-Кочетова Александра Дормидонтовна (урожд. Соколова, в замуж. — Кочетова, по сцене — Александрова, 1833—1902), певица (лирико-драматическое сопрано); в 1866—1880-х гг. — профессор Московской консерватории. Автор музыки к нескольким романсам.

Додонов Александр Михайлович (1837—1914), певец (тенор); в 1869—1891 гг. — солист Большого театра; педагог, преподавал в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества. Учитель Л. В. Собинова.

[29] Чинизелли — семья итальянских цирковых артистов, владевших цирками в течение нескольких десятилетий и гастролировавших в России. В начале 1880-х гг. цирк работал в Москве; в 1881 г., после смерти владельца, он перешел под управление Саламонского.

[30] «Конек-Горбунок» (или «Царь-Девица») — балет (по одноименной сказке П. П. Ершова) композитора Ч. Пуньи (1802—1870). Первое представление балета в Москве состоялось 1 декабря 1866 г.

Дети Третьяковы были на этом спектакле в феврале 1875 г. (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6320, л. 1 об.).

«Дочь фараона» — балет (по роману Т. Готье «Роман мумии») композитора Ч. Пуньи. Первое представление балета в Москве состоялось 17 ноября 1864 г.

Собещанская Анна Иосифовна (в замуж. — Гиллерт, 1842—1918), первая танцовщица и балерина Большого театра в Москве (1862—

1879). Исполнительница роли Царь-Девицы в балете «Конек-Горбунок» и Мумии-Аспиччии в балете «Дочь фараона».

[31] У В. П. Третьяковой пристрастия к опере также обозначились довольно рано: в феврале 1875 г. В. Н. Третьякова писала Павлу Михайловичу в Петербург: «В пятницу идет «Конек-Горбунок» и, представьте себе, моя Вера (ей было девять лет. — *Н. П.*) решительно высказала свое всегдашнее мнение, что все-таки она предпочитает оперу балету, и я уже решилась заплатить несколько рублей больше, чтобы получить ложу на завтрашнее представление «Аскол[ьдовой] мог[илы]» и «Волшебн[ую] флейту» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6320, л. 1 об. — 2).

«Аскольдова могила» — опера композитора А. Н. Верстовского (1799—1862) по либретто, написанному М. Н. Загоскиным. Премьера оперы состоялась в Большом театре в Москве в 1835 г.

[32] Вероятно, автор имеет в виду камерные (в отличие от симфонических) концерты, организованные силами Московского отделения Русского музыкального общества. Николай Григорьевич Рубинштейн принимал постоянное деятельнейшее участие и в тех, и в других как дирижер и пианист. Кроме того, он давал ежегодно бенефисный концерт, в котором обычно исполнялось одно-два симфонических произведения, а затем основная часть времени отводилась для сольной игры Рубинштейна. Программы этих концертов постоянно обновлялись.

[33] Лауб Фердинанд (1832—1875), чешский скрипач-виртуоз, композитор. Возглавлял струнный квартет Московского отделения Русского музыкального общества. Профессор Московской консерватории (1866—1874). П. И. Чайковский посвятил Третий квартет памяти Ф. Лауба.

Гржимали Иван Войцехович (1844—1915), русский скрипач, по национальности чех. Возглавлял струнный квартет Московского отделения Русского музыкального общества (1874—1900). Преподавал в Московской консерватории (с 1869), профессор (1874—1915). Автор пособия для начинающих скрипачей и других методических трудов.

Гербер Юлий Густавович (1831—1883), русский скрипач, композитор и дирижер. Участник (альтист) струнного квартета Московского отделения Русского музыкального общества (1871—1881). Служил в оркестре Большого театра (с 1845), солист оркестра (с 1868). В 1869—1882 гг. — дирижер балета Большого театра; инспектор музыки Московских императорских театров (с 1871). В 1871—1874 гг. преподавал игру на альте в Московской консерватории.

Эзер Карл Федорович (1832—1885), артист оркестра Большого театра. Педагог, преподавал игру на фаготе в Московской консерватории (1868—1885).

[34] Во время русско-турецкой войны на Балканах Н. Г. Рубинштейн не раз играл в пользу семей убитых и раненых воинов. В его архиве сохранилась благодарственная грамота, присланная ему королем Черногории Николаем I о пожаловании ему ордена князя Даниила «за особые услуги Ваши, оказанные черногорскому народу» (см.: Московская консерватория. 1866—1966. М., 1966, с. 53).

[35] См. примеч. 12 к главе 1. Елена Павловна (урожд. Фредерика-Шарлотта-Мария Вюртембергская, принцесса, 1806—1873), великая княгиня, жена великого князя Михаила Павловича. Принимала деятельное участие в организации Русского музыкального общества и Петербургской консерватории. Первая председательница Русского музыкального общества.

[36] См. примеч. 22 и 33 к наст. главе. Первый концерт, организованный Московским отделением общества для своих членов, состоялся 22 ноября 1860 г. в Малом зале Дворянского (Благородного) собрания. В нем были исполнены увертюра и антракты из оперы Глинки «Князь Холмский», кантата Баха «С нами будь», ария из оперы «Тамерлан» Генделя, женский хор из оперы «Моряк-скиталец» Вагнера и Четвертая симфония Бетховена. Дирижировал Н. Г. Рубинштейн.

Первый общедоступный (народный) концерт состоялся 10 апреля 1862 г. в Большом зале Дворянского (Благородного) собрания. На нем были исполнены увертюра и хор из оперы «Жизнь за царя» Глинки, «Леонора» Бетховена, Четвертый концерт для скрипки Вьетана и Третья симфония Мендельсона. Позже эти концерты были перенесены в здание Манежа, чтобы удовлетворить всех желающих их посетить.

[37] Первоначально Московская консерватория помещалась на Воздвиженке, в доме баронессы Черкасовой, где и открылась 1 сентября 1866 г. В 1871 г. консерватория переехала в новое здание на Большой Никитской улице. В 1878 г. оно было приобретено в собственность Русского музыкального общества, капитально перестроено и переоборудовано для нужд консерватории, которая и ныне помещается в нем.

[38] Трубецкой Николай Петрович (1828—1900), князь, известный благотворитель, почетный член многих общественных и правительственных учреждений.

[39] «Фрейшютц» («Вольный стрелок») — романтическая опера немецкого композитора К. М. фон Вебера (1786—1826). Впервые силами учеников консерватории второй акт оперы был исполнен в декабре 1875 г., к именинам Н. Г. Рубинштейна. Полностью опера была представлена 20 марта 1876 г.

Опера «Иосиф» (или «Иосиф в Египте») — произведение французского композитора и общественного деятеля эпохи Великой французской революции Этьена Никола Мегюля (правильнее — Меюля, 1763—1817). Впервые была поставлена в 1807 г. в «Опера Комик» в Париже. В Московской консерватории была исполнена 12 марта 1877 г.

«Белая дама» — лучшая опера французского композитора и педагога Франсуа Адриена Буальдье (1775—1834). Либретто Э. Скриба (по мотивам романов В. Скотта «Гай Маннеринг» и «Монастырь»). Впервые была поставлена в 1825 г. на сцене «Опера Комик» в Париже. Музыка «Белой дамы» положила начало романтическому направлению в музыкально-театральном искусстве Франции. Опера имела огромный и длительный успех. Сцены из первого акта «Белой дамы» были приготовлены учениками консерватории к именинам Н. Г. Рубинштейна, но исполнены позже — 10 декабря 1877 г. Полностью опера была поставлена силами учеников консерватории весной 1878 г.

В консерватории 12 марта 1877 г. был исполнен лишь второй акт оперы Д. Россини «Севильский цирюльник» (1821).

[40] См. примеч. 27 к наст. главе.

Мольер Жан-Батист (1622—1673), французский комедиограф, актер, режиссер.

Возможно, В. П. Зилоти имеет в виду спектакль учеников консерватории, состоявшийся весной 1878 г., когда вместе с оперой Буальдье был исполнен третий акт оперы Д. Мейербера (1791—1864) «Роберт-Дьявол» и комедии Мольера «Ученые барыни».

[41] Действительно, предварительный показ оперы Чайковского «Евгений Онегин» (1877—1878) состоялся в зале консерватории 16 декабря 1878 г. Дирижировал оперой С. В. Танеев. Полностью опера была поставлена 17 марта 1879 г. на сцене Малого театра, дирижировал ею Н. Г. Рубинштейн.

[42] Климентова Мария Николаевна (в замуж. — Муромцева, 1857—1946), певица (сопрано). Окончила Московскую консерваторию в 1880 г. с большой серебряной медалью, заняв в том же году ведущее место в оперной труппе Большого театра (1880—1889). Первая исполнительница партии Татьяны в опере «Евгений Онегин» в консерваторском спектакле (см. примеч. 41 к наст. главе). С начала 1920-х гг. жила за рубежом.

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910). Юрист, публицист, земский деятель. Профессор Московского университета (1877—1884). Автор трудов по истории римского и гражданского права, общей теории права. Председатель I Государственной думы (1906), один из лидеров кадетской партии.

[43] Премьера оперы «Евгений Онегин» в Большом театре в Москве состоялась 23 января 1881 г.

Хохлов Павел Акинфиевич (1854—1919), певец (баритон). С 1879 по 1900-е гг. солист Большого театра. Первый исполнитель партии Евгения Онегина в Большом театре. В 1881 и 1887—1888 гг. пел в Мариинском театре в Петербурге. Последний раз выступал в 1902 г.

[44] «Фиделио, или Супружеская любовь», — опера Бетховена; впервые была поставлена в Вене в 1805 г. В окончательной версии — там же, в 1814 г. Представление этой оперы силами учеников консерватории под управлением Н. Г. Рубинштейна состоялось в Большом театре в Москве 2 и 5 апреля 1880 г. Спектакль прошел без большого успеха ввиду сложности музыки для оркестра и певцов.

[45] Известно, что Н. Г. Рубинштейн мечтал о подготовке с учениками консерватории опер Моцарта, но это намерение не было осуществлено. Последний сольный концерт Н. Г. Рубинштейна в Москве состоялся 14 марта 1880 г. В марте 1881 г. он скончался в Париже.

ГЛАВА 8

В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

[1] Судя по сохранившимся заметкам В. Н. Третьяковой, она в 1870-е гг. состояла в попечительских комитетах двух женских городских училищ — 1-м городском и Пятницко-Тургеневском (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6748, л. 14). Попечительницей последнего В. Н. Третьякова была со дня его основания (там же, ед. хр. 5288, л. 11).

Городское начальное четырехклассное Пятницкое женское училище им. И. С. Тургенева было основано в 1867 г. (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5287, л. 11 об.).

Вишняков Владимир Петрович (1832—?), московский купец, потомственный почетный гражданин, был избран в Московскую городскую думу (1862), состоял членом правления Московского Товарищества для ссуды под залог движимого имущества. Вишняковы состояли в дальнем родстве с Алексеевыми, занимались золотоканительным делом. В конце XIX в. фабрики «П. Вишняков и А. Шамшин» и «Владимир Алексеев» слились в фирму «Московское Товарищество золотоканительного производства», первыми директорами которой были П. И. Вишняков и К. С. Алексеев (Станиславский).

[2] На Кузнецкой улице училище размещалось в доме Волкова в 1880-е гг.

[3] В. Н. Третьякова, характеризуя значение деятельности Э. Г. Быховец в училище, писала: «Она есть жизнь этого училища, мать детям учащимся и вышедшим», то есть окончившим обучение (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5287, л. 11 об. — 12).

Коновалова Александра Алексеевна — младшая учительница, служившая в училище в конце 1870-х гг. (см. там же, л. 11 об.).

Шёнинг Зинаида Андреевна, «дочь курляндского уроженца», преподавала пение в училище в конце 1870-х гг. (см. там же, л. 11). В 1880 г., выйдя замуж за доктора А. И. Савинского, оставила училище (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 3).

[4] О постоянной материальной поддержке, которую оказывала В. Н. Третьякова и училищу, и неимущим ученицам, свидетельствуют многочисленные записи в ее книге расходов (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 6748). См. примеч. 41 к главе 3.

[5] См. примеч. 1 и 3 к наст. главе.

[6] История создания Арнольдовского училища для глухонемых детей обоего пола в Москве подробно изложена А. П. Боткиной в ее книге (Указ. соч., с. 263—264). Первоначально И. К. Арнольд разместил детей в Химках, а не на Лубянке, как вспоминает В. П. Зилоти. Прогорев, он обратился за помощью к московским благотворителям и, по рекомендации Московского городского головы князя А. А. Щербатова, встретился с П. М. Третьяковым и Д. П. Боткиным, которые в свою очередь привлекли еще нескольких жертвователей. В 1863 г. был создан попечительский комитет. В 1869 г. попечительский комитет был утвержден, училище получило устав, ему было присвоено название «Арнольдовское». П. М. Третьяков входил в состав попечительского совета с момента его основания, позже в попечительский совет училища вошла и Вера Николаевна. В училище жили и учились общеобразовательным предметам и ремеслу 156 учеников одновременно.

Здание Арнольдовского училища для глухонемых детей на Донской улице (д. 37) сохранилось до наших дней.

См. примеч. 41 к главе 3.

[7] Речь идет о коллежском советнике Дмитрии Кузьмиче Органове, который вскоре после организации училища был послан на средства П. М. Третьякова для усовершенствования за границу.

[8] В. Н. Третьякова в попечительском совете Арнольдовского училища занималась преимущественно вопросами организации обучения ремеслам в женском отделении.

[9] См. примеч. 38 и 39 к главе 3. Должность «особой учительницы рукоделий», которую занимала А. С. Куклинская, была введена в училище по рекомендации В. Н. Третьяковой в 1882 г. (см.: ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5582, л. 1—1 об.).

[10] Надеждин Петр Алексеевич, в 1880-е гг. — учитель, губернский секретарь. В 1890-е гг. исполнял должность директора Арнольдовского училища, вел активную общественную деятельность, состоял членом Общества взаимного вспомоществования лиц педагогического звания.

[11] А. Н. Пуговкина продолжала служить в училище и в 1900-е гг. Скончалась до 1914 г.

[12] См. примеч. 15 к главе 6. Станкевич Елена Константиновна (урожд. Бодиско, 1825—1904), жена А. В. Станкевича, двоюродная сестра Т. Н. Грановского. Сохранилось письмо Е. К. Станкевич к В. Н. Третьяковой, посвященное выяснению одного из таких «компромиссов» и полное дружеских чувств к адресату (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5650, л. 1—1 об.).

[13] В 1914 г. членом совета училища была Л. П. Гриценко-Бакст (урожд. Третьякова).

[14] Протопопова Мария Ивановна, жена С. А. Протопопова.

Мамонтова Екатерина Александровна (урожд. Робер). Вера Николаевна писала о невестке: «...некрасивая, но умная, образованная женщина, хорошая жена и мать, только с аристократическими замашками. Играет хорошо (сравнительно) на фортепиано <...>. Видимся редко, но с удовольствием» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 29).

[15] Гензельт Адольф Львович (1814—1889), русский композитор пианист, педагог. По национальности немец. Ученик И. Н. Гуммеля. С 1838 г. жил и работал в России. В Петербурге среди его учеников были В. В. Стасов, Н. С. Зверев. Инспектор музыки женских учебных заведений (с 1857), редактор музыкального журнала «Нувеллист» (1872—1875); профессор Петербургской консерватории (1887—1888). Сохранились письма А. Л. Гензельта к матери автора, В. Н. Третьяковой, написанные в 1872—1887 гг. (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5424—5426). Гензельт был связан по издательским делам с И. В. Риба, учителем музыки В. Н. Третьяковой.

[16] Крамер Иоганн-Баптист (1771—1858), немецкий пианист, композитор и педагог. Один из основателей Лондонского филармонического общества (1813). Издатель, основал издательство «Крамер и К°» в Лондоне (1824), существующее поныне. Известен как создатель педагогических фортепианных пьес, в которых удачно сочетаются музыкальное содержание с разнообразием технических проблем. Среди них: «Большая практическая фортепианная школа» (1815), в которой ценны 5-я часть (84 этюда, ор. 50), дополнительные 16 этюдов и 2-я часть — «Школа беглости» (ор. 100).

[17] См. примеч. 1 к главе 7.

ГЛАВА 9

ГАЛЕРЕЯ

[1] Речь идет о дочерях Николая Степановича Вагина: Софье (ок. 1846—?), Вере (ок. 1844—?), Любови (ок. 1847—?).

[2] Вероятно, имеется в виду семья Николая Николаевича и Анастасии Николаевны (ум. ок. 1896) Лосевых, которые владели имением «Марьино» близ станции Завидово, где организовали в 1860-х гг. производство сыров, которыми пытались торговать на Нижегородской ярмарке. П. М. и С. М. Третьяковы финансировали постройку школы и церкви в имении Лосевых. Проекты этих зданий были подготовлены А. С. Каминским. У Лосевых было три дочери: Софья (ум. 1893), Вера (в замуж. — Быковская) и Мария, а также два сына: Петр и Александр.

Софья Лосева была больна туберкулезом, родители автора помогали ее лечению материально. Летом 1890 г. она гостила в Куракино, на даче у Третьяковых.

В 1893 г. П. М. Третьяков в письме к сестре автора, А. П. Боткиной, обсуждая сложности в финансовых взаимоотношениях с семьей Зилоти, с горечью указал, что дети «любят Лосева, никогда не умевшего ничего нажить» (*Боткина А. П.* Указ. соч., с. 272).

[3] Закладка первых двух музейных залов будущей галереи состоялась в 1872 г., а строительство их, ведшееся по проекту и под наблюдением зятя Третьяковых, архитектора А. С. Каминского, завершилось в 1874 г. Залы галереи примыкали к южной стороне жилого дома и непосредственно сообщались с ним на обоих этажах.

[4] См. примеч. 9 к главе 3.

[5] См. примеч. 2 к главе 1.

[6]Ермилов Андрей Маркович (1854—1928) служил в галерее с 1872 г. до конца жизни. В последние годы возглавлял внутреннюю охрану музея. Награжден золотой медалью за спасение галереи при наводнении 1908 г. В 1923 г. решением Московского профессионального союза работников просвещения удостоен звания «Герой труда». О Николае Андреевиче Мудрогеленко см. примеч. 16 к главе 3.

[7] См. примеч. 19—21 к главе 3. Автор ошибается: в собрании П. М. Третьякова не было ни произведений гравера Николая Ивановича Уткина (1780—1863), ни картин художника первой половины XIX в. Нила Мануиловича Уткина. Возможно, речь идет о портрете гравера Н. И. Уткина работы художника В. А. Тропинина (первом варианте портрета, исполненном автором в 1841 г.), приобретенном П. М. Третьяковым (ныне — в ГТГ).

П. М. Третьякову принадлежали две графические работы и восемь живописных полотен Александра Григорьевича Варнека (1782—1843): «Автопортрет в бархатном берете, с рейсфедером в руках» и «Автопортрет (в пожилом возрасте)»; «Портрет художника А. В. Ступина, основателя первой частной художественной школы в городе Арзамасе» (1804); неоконченный художником «Портрет генерала от инфантерии А. М. Римского-Корсакова». Все эти произведения были куплены собирателем у Н. Д. Быкова в начале 1880-х гг., за исключением «Портрета А. В. Ступина», который был подарен Н. Д. Быковым галерее в 1882 г. (ныне — все в ГТГ). Кроме того, не позднее 1893 г. П. М. Третьяков приобрел «Портрет Е. Б. Ахвердовой, жены генерал-лейтенанта Н. И. Ахвердова» (ГТГ). В собрании галереи находился также парный к предыдущему «Мужской портрет», определенный ныне как «Портрет генерал-лейтенанта Н. И. Ахвердова» (исполнен до 1817). Последний в 1930 г. был передан из Третьяковской галереи в Гос. картинную галерею Армении в Ереване.

В собрании П. М. Третьякова было двенадцать графических и пять живописных произведений Вячеслава Григорьевича Шварца (1838—1869): «Посол от князя Курбского» (эскиз, 1862; ныне — в Художественном музее в Иваново-Вознесенске); «Иоанн Грозный у тела убитого им сына» (1864), за эту картину художник в 1864 г. получил вторую серебряную медаль; куплена П. М. Третьяковым у А. Г. Смирновой, сестры художника (ГТГ); «Схимник» (1867; ныне — в Дальневосточном художественном музее в Хабаровске); «Патриарх Никон в Новом Иерусалиме» (1867); «Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче» (1868), приобретена в 1883 г. у Е. Г. Шварца, брата художника (обе — в ГТГ).

П. М. Третьякову принадлежало несколько графических работ и четыре живописных полотна Павла Андреевича Федотова (1815—1852): «Вдовушка» (вариант-повторение картины, исполненной в 1851 г. и принадлежавший К. Т. Солдатенкову; ныне — в Ивановском областном художественном музее); «Портрет писательницы графини Е. П. Ростопчиной», «Портрет Ф. Е. Яковлева, двоюродного брата художника» (последний был куплен собирателем в 1892 г. у А. А. Знаменской); а также эскиз картины «Жена-модница» (1849), купленный П. М. Третьяковым в 1896 г. у Б. М. Юзефовича и в том же году принесенный им в дар галерее (все — в ГТГ).

[8] П. М. Третьякову принадлежало шестьдесят семь эскизов, этюдов и «этюдов пейзажа» к картине Александра Андреевича Иванова (1806—1858) «Явление Христа народу (Явление Мессии)» (1837—1857). Эта картина поступила из собрания Московского Публичного и Румянцевского музея в 1925 г.

[9] Боткин Михаил Петрович (1839—1914), художник, археолог, коллекционер. Издал в 1880 г. книгу «Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806—1858». Как вспоминал М. П. Боткин, С. А. Иванов, брат художника, наследовавший права на произведения А. А. Иванова, был «поражен и убит известием о кончине брата и не захотел приехать в Петербург, а прислал доверенность, чтобы распорядиться продажей этюдов и получением денег за картину — двоюродному моему брату Серг[ею] Петр[овичу] Постникову. Этюды почти все были проданы» (Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806—1858. СПб., 1880, с. XXXVI). В собрании М. П. Боткина, к которому перешли также произведения, принадлежавшие ранее В. П. Боткину и В. А. Кокореву, было восемьдесят произведений А. А. Иванова (см. там же, с. 456—458). Член русских и зарубежных археологических обществ, директор музея Общества поощрения художеств в Петербурге. Участвовал в коммерческой деятельности семьи.

[10] См. примеч. 19 к главе 3. Речь идет о произведениях художника Михаила Константиновича Клодта (1832—1902). Собранию П. М. Третьякова принадлежали его пейзажи: «Большая дорога осенью» (1863), купленный у автора в 1864 г.; «На пашне» (1872), приобретенный у автора в том же году; «Лесная даль в полдень» (1878), приобретенный П. М. Третьяковым у автора в 1878 г. (все — в ГТГ).

[11] См. примеч. 25 и 26 к главе 3. Имеются в виду произведения исторического живописца и портретиста Федора Антоновича Бруни (1799—1875): «Богоматерь» (1862), «Христос»

(1847), оба — в ГТГ. «Автопортрета» художника в собрании Третьякова не было. Ему принадлежал «Портрет художника Ф. А. Бруни», исполненный Ф. А. Моллером в 1840 г. в Риме, приобретенный собирателем в 1891 г. у Ю. Ф. Бруни, что, возможно, и ввело в заблуждение автора.

[12] Речь идет о работах художника Якова Федоровича Капкова (1816—1854): «Купальщица» (1851), «Благовещение» (1852), обе — в ГТГ. «Богоматерь с младенцем» (1853), приобретенная П. М. Третьяковым в 1881 г., в 1931-м была передана в Дальневосточный художественный музей в Хабаровске.

[13] Вероятно, автор имеет в виду два произведения Ивана Козьмича Макарова (1822—1897), портретиста и иконописца, с одинаковым названием — «Голова мальчика-итальянца». Одно из них ныне — в ГТГ; второе передано в 1930 г. в Гос. картинную галерею Армении в Ереване.

[14] Имеются в виду картины Василия Владимировича Пукирева (1832—1890): «Неравный брак» (1862), за которую автор в 1863 г. был удостоен звания профессора и купленную П. М. Третьяковым в 1871 г. у Л. Н. Борисовской, и «Прием приданого по росписи» (1873); обе — в ГТГ.

Картина Константина Дмитриевича Флавицкого (1830—1866) «Княжна Тараканова», за которую художник в 1864 г. получил звание профессора, была приобретена П. М. Третьяковым в 1867 г. у Н. Д. Флавицкого, брата художника.

В собрании П. М. Третьякова помимо графических работ было двадцать две живописные работы Федора Александровича Васильева (1850—1873). Две из них поступили в собрание как дары: «После грозы» — от Д. П. Боткина, друга П. М. Третьякова; «В крымских горах» (1873) — из коллекции С. М. Третьякова, завещанной галерее. Остальные произведения, среди которых — «После дождя» (1869), «Оттепель» (1871), «Мокрый луг» (1872), были куплены П. М. Третьяковым в 1870—1890-х гг. (у автора, на посмертной выставке художника в 1874 г. и у коллекционеров). Все — в ГТГ.

[15] Речь идет о монохромном портрете Ф. А. Васильева (1871), приобретенном П. М. Третьяковым в 1875 г. у автора.

[16] Галерее и поныне принадлежит пейзаж Евгения Эдуардовича Дюккера (1841—1916) «Дубовый лес в окрестностях Ревеля» (1862), за который в том же году художник получил первую золотую медаль; картина тогда же была куплена П. М. Третьяковым у автора.

Пейзаж Ивана Константиновича Айвазовского (Гайвазовского, 1817—1900) «Аюдаг в лунную ночь» («Гурзуф ночью», 1849; с 1951 — во Всесоюзном музее А. С. Пушкина) был куплен собирателем в 1866 г. (см.: Письма художников П. М. Третьякову. 1856—1869. М., 1960, с. 175—176).

Автор упоминает произведения Василия Григорьевича Перова (см. примеч. 1 к главе 22): картину «Охотники на привале» (1871), приобретенную в том же году Третьяковым у автора, и «Тройку» («Ученики-мастеровые везут воду», 1866), за которую художник (вместе с картиной «Приезд гувернантки в купеческий дом», 1866) был в том же году удостоен звания академика. Приобретена Третьяковым у автора в 1867 г. Все — в ГТГ.

[17] Речь идет о портретах: И. С. Тургенева (1872; в 1930 передан в ГРМ), А. Ф. Писемского (1869; в 1930 г. передан в Ивановский областной художественный музей), И. А. Гончарова, который был исполнен по заказу П. М. Третьякова в 1874 г. художником И. Н. Крамским, а не Перовым, как указано в тексте (ныне — в ГТГ); А. Н. Майкова (1872), В. И. Даля (1872), Н. Г. Рубинштейна (1870). Все — в ГТГ.

Портрет Ф. И. Тютчева (1876, ГТГ) был исполнен по заказу П. М. Третьякова художником Степаном Федоровичем Александровским (1842—1906).

Портрет художника-любителя В. В. Безсонова был написан Перовым в 1869 г. (ГТГ), за него художник в том же году получил первую премию Московского общества любителей художеств; был куплен П. М. Третьяковым в 1879 г. у В. В. Безсонова, а не заказан Перову, как пишет В. П. Зилоти. Портрет Ф. М. Достоевского написан Перовым по заказу П. М. Третьякова в 1872 г. (ГТГ).

[18] Имеются в виду произведения Василия Максимовича Максимова (1844—1911) — «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875) и «Семейный раздел» (1876); оба — в ГТГ. Куплены П. М. Третьяковым у автора соответственно в 1875 и 1876 гг. В 1878 г. Максимов был удостоен за них звания академика.

Речь идет о картине Иллариона Михайловича Прянишникова (см. примеч. 3 к главе 23) «Шутники. Гостиный двор в Москве» (1865, ГТГ), за которую художник в том же году получил первую серебряную медаль.

Портрет Л. Н. Толстого был написан И. Н. Крамским в 1873 г. (ГТГ). Вариант портрета, исполненный художником в Ясной Поляне одновременно, находится в Музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Портрет А. И. Герцена (1867, ГТГ) был приобретен П. М. Третьяковым у автора в 1878 г.

В собрании П. М. Третьякова было более сорока живописных произведений Владимира Егоровича Маковского (1846—1920), среди них — «В приемной у доктора» (1870), «Любители соловьев» (1872—1873), «Посещение бедных» (1874), «Портрет Е. И. Маковского, отца художника» (1880), «Крах банка» (1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886—1887), «Объяснение» (1889—1891) и др. Все — в ГТГ.

Из четырех работ Алексея Ивановича Корзухина (1835—1894), принадлежавших собранию П. М. Третьякова, наиболее известны — «Перед исповедью» (1877), купленная собирателем у автора в 1878 г., и «В монастырской гостинице» (1882), также при-

обретенная Третьяковым у автора в 1883 г.; обе — в ГТГ.

[19] Имеется в виду картина Федора Андреевича Бронникова (1827—1902) «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869, ГТГ), исполненная художником по заказу собирателя. Любимая картина В. Н. Третьяковой.

[20] П. М. Третьяков действительно не раз, как свидетельствует его переписка с художниками, удалял посторонние предметы (сор, песчинки) и пятна с полотен, покрывал картины лаком. Однако реставрацией масляной живописи, требующей специальной подготовки и знаний, он, вопреки утверждению В. П. Зилоти, не занимался.

[21] Слева внизу на портрете имеется надпись, сделанная рукой И. К. Айвазовского: *въ Римѣ*. 1841. портретъ И. К. Айвазовског[о] писанный Тырановымъ. Левее этой надписи монограмма А. В. Тыранова: *АТ*.

Тыранов Алексей Васильевич (1808—1859), живописец, портретист, писал жанровые сцены, натюрморты, интерьеры. С Айвазовским Тыранов встречался в Италии, куда художники были командированы Академией художеств почти одновременно: Тыранов жил в Италии в 1839—1843 гг., Айвазовский — в 1840—1844 гг.

[22] Фирма Штурцваге была основана в Москве в 1842 г. и существовала до начала XX в., выпускала прямострунные рояли венского образца.

[23] Гайдн Франц Иозеф (1732—1809), австрийский композитор.

Гендель Георг Фридрих (1685—1759), немецкий композитор и органист.

[24] Котарбинский Василий (Вильгельм) Александрович (1849—1921), исторический живописец, автор монументальных росписей. Речь идет об одном из эскизов к картине «Лепта вдовы» (эскиз — в ГТГ, местонахождение картины неизвестно).

[25] Шиловский Константин Степанович (1848—1893), любитель-поэт, музыкант, художник и скульптор, актер, автор пьес, балетных и оперных либретто. При участии Шиловского было создано либретто оперы «Евгений Онегин». Романс «Тигренок» впервые был опубликован в 1882 г. В 1886 г. начал играть в театре Ф. А. Корша, в 1888-м — дебютировал в московском Малом театре.

[26] Гриценко Николай Николаевич (1856—1900), живописец, акварелист. Пейзажист, маринист. Окончил Кронштадтское морское училище. Учился в Академии художеств (1885—1887) у Л. Ф. Лагорио, затем занимался в Париже у А. П. Боголюбова и Ф. Кормона. С 1894 г. — художник Морского министерства. Муж Л. П. Третьяковой с 1894 г.

[27] Бакст Лев Самойлович (наст. фамилия — Розенберг; 1866—1924), живописец, график и художник театра. Один из организаторов и активный деятель объединения «Мир искусства». Муж Л. П. Гриценко с 1904 г.

ГЛАВА 10

НАШЕ ОТРОЧЕСТВО

[1] 3 мая 1875 г. родилась младшая из дочерей Третьяковых, Мария Павловна (в замуж. — Боткина). См. примеч. 5 к главе 1.

[2] Феофанова (Фофанова) Наталия Васильевна (около 1844 — после 1895), гувернантка в доме Третьяковых (1874—1882). В. Н. Третьякова писала о ней в «Записной книжке»: «Какой чудесный человек Наталия Васильевна, какой аромат получает все, до чего она дотрагивается» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5287, 1879 г., л. 45).

В собрании галереи имеются два этюда. один — В. М. Васнецова «Аленушка», второй — И. Е. Репина «Морской берег. Пейзаж в Нормандии» (1874), подаренные художниками Н. В. Феофановой. Последний поступил в галерею в 1895 г. в дар от Н. В. Феофановой.

[3] Куторга Михаил Семенович (1809—1886), историк, специалист по истории Древней Греции. Преподавал в Петербургском (1835—1869) и Московском университетах (1869—1874).

[4] Поливанов Лев Иванович (1838—1899), литературовед, педагог, общественный деятель. В 1868 г. открыл в Москве частную мужскую гимназию, получившую широкую известность как «Поливановская», директором которой он был до конца жизни. Автор работ о В. А. Жуковском, А. С. Пушкине, Л. Н. Толстом.

Линберг Андрей Леонардович (1837—?), географ, окончил Московский университет. Преподавал географию в различных учебных заведениях. Автор четырех учебников, составивших полный гимназический курс географии.

Егоров Федор Иванович — учитель математики, дававший уроки в доме Третьяковых и преподававший в Московском городском женском Пятницком училище, где В. Н. Третьякова была попечительницей. Известен отзыв Веры Николаевны о Ф. И. Егорове: «Этот человек говорить много не умеет, но очень интересный и простой» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5287, л. 13).

[5] Публичный и Румянцевский музей в Москве был образован на основе коллекций и библиотеки, собранных в Петербурге в начале XIX в. графом Н. П. Румянцевым. В 1861 г. коллекция была перевезена из Петербурга в Москву и размещена в бывшем доме Пашкова. Богатейшая библиотека Румянцевского музея явилась основой Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ныне — Российская гос. библиотека). В 1925 г. основная часть картинной галереи музея поступила в собрание Третьяковской галереи.

[6] Петровская земледельческая и лесная академия (ныне — Сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева) была открыта в 1865 г. в бывшем владении графов Разумовских.

[7] Сохранилось расписание занятий на

целую неделю, составленное Н. В. Феофановой. Например:

Понедельник
7—$8^{1}/_{2}$ — Утренний туалет и чай
$8^{1}/_{2}$—9 — Приготовление музыки
9—$10^{1}/_{2}$ — География Европы
$10^{1}/_{2}$ — 11 — Прогулка
11—12 — Приготовление урока музыки
12—$1^{1}/_{2}$ — Завтрак и прогулка
$1^{1}/_{2}$ — 3 — Английский урок
3—$3^{1}/_{2}$ — Чай
$3^{1}/_{2}$—4 — Гимнастика
4—5 — Свободны
5—6 — Закон Божий
6—$7^{1}/_{2}$ — Обед и отдых
$7^{1}/_{2}$—$8^{1}/_{4}$ — Чтение
$8^{1}/_{4}$—$8^{1}/_{2}$ — Чай
$8^{1}/_{2}$—$9^{1}/_{2}$ — Приготовление русского языка
$9^{1}/_{2}$—10 — Вечерний туалет

Выводы: Науки $5^{3}/_{4}$ часа. Искусство $1^{1}/_{2}$ часа. Физическое развитие 2 часа
(ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5777, л. 3—3 об.). Расписание занятий в другие дни недели было аналогично, отличаясь лишь дисциплинами.

[8] Сальвини Томмазо (1829—1915), итальянский актер-трагик, в юности играл роли любовников. Его актерская слава связана с шекспировской драматургией. Неоднократно гастролировал в России: 1880, 1882, 1885, 1900—1901 гг. В 1903 г. оставил сцену.

Бернар Сара (1844—1923), французская актриса. Дебютировала на сцене в 1862 г., исполняла роли молодых героинь в классическом и современном репертуаре. Особенным успехом пользовалась в пьесах А. Дюма-сына. Выступала во многих театрах Европы и Америки, гастролировала в России: 1881, 1892 и 1908 гг.

[9] Имеется в виду «Драматический театр А. А. Бренко в доме Малкиеля», основанный в 1880 г. актрисой А. А. Бренко. Театр располагался на Тверской улице, недалеко от памятника А. С. Пушкину, откуда и получил название — «Пушкинский». Был одним из первых профессиональных частных театров России и славился серьезным репертуаром. В 1882 г. из-за финансовых затруднений театр был закрыт.

[10] Андреев-Бурлак Василий Николаевич (наст. фамилия — Андреев; 1843—1888), дебютировал в 1868 г. в Ростове-на-Дону как характерный комедийный актер. В конце 1870-х гг. обратился к серьезному репертуару. Руководил совместно с М. И. Писаревым «Пушкинским» театром.

Киреев Николай Петрович (1843—1882), актер-комик; в 1881—1882 гг. играл в «Пушкинском» театре.

Красовская Елизавета Фоминишна (наст. фамилия — Бурназова; 1822—1898), трагическая актриса. Более 30 лет работала в провинции, с 1881 г. — в Москве в «Пушкинском» театре, с 1882 г. — в театре Ф. А. Корша.

Писарев Модест Иванович (1844—1905), исполнитель драматических ролей бытового репертуара, педагог, критик. Окончил юридический факультет Московского университета. Профессиональную актерскую деятельность начал в 1867 г. в Симбирске. В 1880—1882 гг. играл в «Пушкинском» театре, затем — в театре Ф. А. Корша, с 1885 г. — в Александринском театре в Петербурге. Муж П. А. Стрепетовой.

Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна (1850—1903), трагическая актриса. Дебютировала в 1865 г. в Рыбинске, много играла на провинциальной сцене, в частности в Самаре. Прославилась исполнением ролей в пьесах А. Н. Островского, А. Ф. Писемского. В 1880 служила в «Пушкинском» театре, в 1881 г. — перешла в Александринский театр в Петербурге.

Дузе Элеонора (1858—1924), итальянская трагическая актриса. Выступать на сцене начала с четырех лет. С успехом гастролировала по всему миру. В 1891—1892 и 1908 гг. играла в России. Искусство Э. Дузе высоко ценили А. Чехов, И. Репин, К. Станиславский. В собрании Третьяковской галереи имеется портрет Э. Дузе, исполненный И. Репиным в 1892 г.

[11] Имеется в виду Мария Модестовна Писарева (1872—?), дочь П. А. Стрепетовой и провинциального актера М. К. Стрельского (наст. фамилия — Третьяков), усыновленная М. И. Писаревым, мужем актрисы.

[12] Далматов Василий Пантелеймонович (наст. фамилия — Лучич; 1852—1912), русский характерный актер, по национальности серб, родился в Далмации. В сезоне 1880/81 г. играл в «Пушкинском» театре, после его закрытия перешел в театр Ф. А. Корша.

Иванов-Козельский Митрофан Трофимович (наст. фамилия — Иванов; 1850—1898), актер, исполнитель драматических ролей бытового репертуара. В 1882 г. служил в «Пушкинском» театре. Был одним из любимых актеров демократической интеллигенции.

Шпажинский Ипполит Васильевич (1848—1917), драматург. Его пьесы широко шли в 1880—1890-х гг. в столичных и провинциальных театрах. В своей драматургии подражал А. Н. Островскому, упрощая его приемы и насыщая пьесы мелодраматическими эффектами.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства.

[13] Ленский Александр Павлович (наст. фамилия — Вервициотти; 1847—1908), трагический и характерный актер, педагог. Внебрачный сын кн. П. И. Гагарина. Дебютировал в 1865 г. во Владимирском театре. С 1876 г. и до конца жизни работал в московском Малом театре, с 1907 г. — режиссер Малого театра.

[14] В комедиях У. Шекспира «Много шума из ничего» Г. Н. Федотова играла Беатриче,

А. П. Ленский — Бенедикта; в «Укрощении строптивой» Федотова играла Катарину, Ленский — Петруччио.

[11] Имеется в виду Мария Николаевна Мамонтова, дочь Николая Николаевича Мамонтова (см. примеч. 25 к главе 5).

ГЛАВА 11

КИСЛОВКА И ВВЕДЕНСКОЕ

[1] О Маевской Анне Феликсовне сведений не обнаружено.

[2] О Мейер Лидии Богдановне В. Н. Третьякова писала в «Записной книжке»: «Человек она с натурой немки, подчас сентиментальной, но очень критичная умная особа. Люблю ее общество, и она не прочь бывать у меня» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 25 об.).

Фохт Александр Богданович (1848—1930), терапевт и патолог. В 1880-х гг. был известен в Москве как врач широкого профиля. Один из основоположников экспериментальной кардиологии. Педагог, преподавал на Высших женских курсах.

[3] О Маевской Павле Феликсовне сведений не обнаружено.

Маевский Петр Феликсович (1851—1892), ботаник, основные работы посвящены флоре Средней России.

[4] В семье З. Н. и В. И. Якунчиковых было девять детей (см. примеч. 40 к главе 3, примеч. 31 к главе 4 и примеч. 39 к главе 5). От первого брака с Екатериной Владимировной Алексеевой были дети: Владимир, Елизавета, Наталья (см. примеч. 33 и 34 к главе 5).

[5] Линдрот Николай Петрович в конце 1870-х — 1880-е гг. преподавал гимнастику в Лазаревском институте восточных языков и в ряде других учебных заведений Москвы.

[6] Имеются в виду Якунчиковы: Зинаида Васильевна (см. примеч. 41 к главе 5). Василий Васильевич (1865—1880), Ольга Васильевна (в замуж. — Михайлова, 1867—1917), Мария Васильевна (см. примеч. 39 к главе 5). Вера Васильевна (в замуж. — Вульф, 1871—1923), пианистка-любительница, была тесно связана с семьей Поленовых; Николай Васильевич (1873—1931), впоследствии владелец кирпичных заводов в Черемушках и при станции Одинцово; Елена Васильевна (1882?—1888).

[7] Одна из работ, исполненных М. В. Якунчиковой в Введенском, — «Из окна старого дома. Введенское» (1897), находится в собрании ГТГ.

[8] «В осадном положении» — комедия в 4-х действиях Виктора Александровича Крылова (1838—1906; псевдоним — Виктор Александров).

[9] Шумский Сергей Васильевич (наст. фамилия — Чесноков, 1820—1878), комический характерный актер, любимый ученик М. С. Щепкина. Играл на сцене Малого театра с небольшими перерывами до конца жизни.

[10] Репман Эмилий Христианович содержал частный мужской пансион и школу на Басманной (Доброслободский пер., дом Решетова), одновременно преподавал латинский язык в Московской 2-й гимназии.

ГЛАВА 12

КУНЦЕВО

[1] Церковь Троицы в бывшем селе Троице-Лыкове сохранилась. Возведена в 1698—1704 гг. в стиле московского, или нарышкинского, барокко.

[2] Имеется в виду церковь Троицы в Хорошёве. Возведена в 1598 г. в вотчине Бориса Годунова, рядом с его дворцом. Церковь сохранилась до нашего времени.

[3] Солодовникова Анна Герасимовна принадлежала к богатейшему московскому купеческому роду. Солодовниковы владели фабриками ткацко-бумажных изделий и вели торговлю мануфактурными товарами, занимались широкой благотворительностью.

[4] Шелапутины — одна из богатейших московских фамилий купеческого происхождения, обосновавшаяся в Москве в середине XVIII в. За крупные пожертвования в казну им в середине XIX в. было даровано дворянское звание.

[5] Речь идет о церкви Покрова в Филях (1693), одном из самых замечательных произведений русского зодчества XVII столетия, построенной на средства боярина Л. Нарышкина. Архитектурные особенности храма, выявившиеся и в других московских постройках этого времени, получили название московского, или нарышкинского, барокко.

[6] Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901) принадлежал к московской купеческой фамилии, известной в Москве с конца XVIII в. Разбогател на торговле бумажной пряжей и шерстью, став впоследствии крупным пайщиком ряда мануфактур, банков, страховых обществ. Не получив образования, кроме практического, путем неустанного самообразования стал одним из наиболее просвещенных представителей московского купечества. В 1850-е гг. был близок к кружку Т. Н. Грановского. Широкую известность Солдатенков приобрел как покровитель искусства и крупный книгоиздатель-просветитель, издававший книги для народа по чрезвычайно низкой цене. Среди выпущенных книг — первое издание сочинений В. Г. Белинского, «Отцов и детей» И. С. Тургенева, сочинения Н. А. Некрасова, Н. П. Огарева, А. В. Кольцова и других. Важное место в его издательской деятельности занимали исторические труды и труды по экономике. С конца 1840-х гг. Солдатенков начал собирать картины, преимущественно русской живописной школы. Его коллекция насчитывала более 200 произведений, он завещал ее, так же как и обширную библиотеку (более 20 тыс. томов), Румянцевскому музею, куда коллекция и поступила в 1901 г. Многие из принадлежавших Солдатенкову картин в 1925 г. перешли в

собрание ГТГ и ГРМ. В частности, в галерее ныне находятся «Вирсавия» (1832) К. Брюллова, «Проводы покойника» (1865), «Чаепитие в Мытищах близ Москвы» (1862) В. Перова и другие произведения. На средства Солдатенкова была построена крупнейшая в Москве больница (ныне — Клиническая больница им. С. П. Боткина).

[7] Дом Боткиных на Покровке (д. 27) сохранился до наших дней, был перестроен в 1867 г. архитектором А. С. Каминским из старой усадьбы XVIII в. В доме Д. П. Боткина бывал А. А. Фет, женатый на сестре Д. П. Боткина.

[8] Московское общество любителей художеств было основано в 1860 г. и существовало до 1917 г. Целью Общества было «возвысить русскую живопись до уровня современной европейской», «способствовать процветанию искусства и сделать его насущной потребностью народа» (Первый отчет Комитета Общества любителей художеств. М., 1862, с. 9). Общество устраивало «постоянные» и с 1881 г. — «периодические» выставки произведений из частных собраний и новых работ молодых художников, организовывало конкурсы на лучшие произведения с выдачей премий, лотереи и аукционы. Членами Общества с самого начала его существования были П. М. и С. М. Третьяковы.

[9] Имеется в виду Туркестанская серия картин и этюдов Василия Васильевича Верещагина (1842—1904), которые явились результатом его поездок в Среднюю Азию в 1867—1868, 1869—1870 и 1873 гг. На выставке, открывшейся в Петербурге в марте 1874 г., экспонировались 121 живописная работа и 122 рисунка. Серия была приобретена у художника П. М. Третьяковым в 1874 г.

[10] Аксакова Анна Федоровна (урожд. Тютчева, 1829—1889), жена И. С. Аксакова, дочь поэта Ф. И. Тютчева.

[11] В семье Н. М. и Я. Ф. Гартунгов (см. примеч. 7 к главе 4 и примеч. 8 к главе 6) было девять детей: Александр (1872—?), Владимир (1874—?), Николай (1876—?), Сергей (1878—?), Борис (1880—?), Наталия (1882—1890?), Елизавета (1885—?), Наталия (1887—?), Михаил (1890—?).

[12] Речь идет об опереттах Жака Оффенбаха (1819—1880) «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Мадам Анго».

[13] Боткина Елизавета Дмитриевна (см. примеч. 18 к главе 4).

О Солодовниковой Кате сведений не обнаружено.

Щукина Надежда Ивановна (в замуж. — Мясново, 1858—?), сестра известных коллекционеров П. И., С. И., Д. И. Щукиных (о них см. примеч. 18 и 21 к наст. главе).

[14] Коншина Александра Дмитриевна (ум. 1881).

[15] Стрекаловы: Степан Степанович (ум. после 1905), в 1880—1890-е гг. состоял действительным членом Общества по распространению полезных книг, и Александра Николаевна (ум. после 1905), в 1880—1890-е гг. являлась членом многих благотворительных комитетов и попечительств. Жили Стрекаловы в Москве, на Страстном бульваре, в доме княгини Александры Петровны Ливен.

[16] Ливен Наталия Степановна (1839—1866), светлейшая княгиня, была замужем за Андреем Александровичем Ливеном (1839—?), статс-секретарем, сенатором в 1877—1881 гг., министром Государственных имуществ.

Ливен Александр Андреевич (ум. после 1900), князь.

Ливен Александра Андреевна (ум. после 1916), княжна, член многих благотворительных комитетов и обществ.

[17] Родоначальником семьи московских булочников Филипповых был Иван Максимович (1824—1878), владевший пекарнями и магазинами. После его смерти была создана фирма «Филиппов Иван наследники». Наиболее известная булочная на Тверской (ныне — д. 10) отошла его сыну Дмитрию, имевшему собственную фирму. В газетах постоянно помещалась реклама: «Ежедневно свежий настоящий парижский товар придворного пекаря Д. И. Филиппова».

[18] См. примеч. 37 к главе 4. Собранию Сергея Ивановича Щукина (1854—1936) принадлежали, в частности, тридцать семь полотен Матисса, пятьдесят одно — Пикассо, картины Гогена, Ван Гога, французских импрессионистов. Коллекция стала основой Первого музея Новой западной живописи, позже перешла в собрание Гос. музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве и Гос. Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

[19] Матисс Анри (1869—1954), французский живописец-пейзажист, график, мастер декоративного искусства, один из лидеров фовизма.

Гоген Поль (1848—1903), французский живописец, один из главных представителей постимпрессионизма.

Пикассо Пабло (1881—1973), французский художник (по происхождению испанец). Живописец, график, скульптор, керамист; основоположник кубизма.

[20]Щукина Лидия Григорьевна (урожд. Каренева, 1865—1907).

[21] Щукин Петр Иванович (1853—1912), собиратель произведений русской старины, книг, литографий, гравюр. Выстроил на Малой Грузинской улице дом-музей (ныне — Биологический музей им. К. А. Тимирязева), который в 1905 г. вместе с коллекцией пожертвовал Московскому Историческому музею.

Щукин Дмитрий Иванович (1855—1932), владел коллекцией произведений западных мастеров, одной из лучших частных коллекций европейского искусства в России. Основное место в ней занимали произведения малых голландцев. Собрание Д. И. Щукина стало основой картинной галереи, открывшейся в 1924 г. в Музее изящных искусств в Москве (ныне — ГМИИ им. А. С. Пушкина).

[22] Крестовникова Софья Юрьевна (1833—?), была замужем за Александром Константиновичем Крестовниковым (1825—1881), крупным промышленником, владельцем прядильных фабрик, мыловаренных заводов и химических производств.

[23] Милиоти Константин Юрьевич являлся пайщиком крупного фабрично-торгового Товарищества братьев Крестовниковых.

[24] Карпакова Полина (Пелагея) Михайловна (1845—1920), одна из ведущих танцовщиц Большого театра, в труппу которого была принята в 1865 г. Являлась первой исполнительницей партии Одетты (1877) в балете П. И. Чайковского«Лебединое озеро».

[25] О Ремизове Дмитрии Николаевиче сведений не обнаружено.

Ремизова Глафира Ивановна (урожд. Баранова, 1828—?), вдова, купчиха 1-й гильдии. Владела фабрикой суконных изделий в Подольском уезде, вела торговлю суконными товарами в Москве. Сыновья: Николай Дмитриевич (1858—?) и Иван Дмитриевич (1861—?). Сведений о дочерях не обнаружено.

[26] Морозов Абрам Абрамович (1839—1882), один из представителей обширной купеческой династии Морозовых, богатейших московских фабрикантов, владевших мануфактурными производствами.

Морозова Варвара Алексеевна (урожд. Хлудова, 1848—1917), дочь А. И. Хлудова, владельца хлопчатобумажной фабрики в г. Егорьевске, известного коллекционера древнерусских рукописей. В доме В. А. Морозовой бывал А. П. Чехов, который отзывался о хозяйке дома как о «необыкновенно богатой и симпатичной женщине». Ее портрет, исполненный К. Е. Маковским в 1884 г., находится в ГТГ.

О Морозове Михаиле Абрамовиче см. примеч. 48 к главе 5. Портрет М. А. Морозова, исполненный В. А. Серовым в 1902 г., находится в ГТГ.

Морозов Иван Абрамович (1871—1921), один из крупнейших в России начала XX в. собирателей новейшей русской и французской живописи. В его особняке на Пречистенке (ныне — д. 21, Президиум Академии художеств) хранилась ценнейшая коллекция произведений импрессионистов. Русская часть коллекции Морозова находится в собрании ГТГ, западная часть — в ГМИИ им. А. С. Пушкина и в Гос. Эрмитаже. Портрет И. А. Морозова, исполненный В. А. Серовым в 1910 г., находится в ГТГ.

Морозов Арсений Абрамович (1873—1908), известен как владелец роскошного особняка на Воздвиженке (д. 16), построенного архитектором В. А. Мазыриным и стилизованного в духе испанской и португальской архитектуры (ныне — Дом дружбы с зарубежными странами).

[27] Имеются в виду Николай Родионович (1845—?) и Дмитрий Родионович (1846—1906) Востряковы, потомственные купцы 2-й гильдии, почетные московские граждане; занимали различные выборные должности от московского купечества.

[28] Солдатенков Василий Иванович (1847—?), потомственный почетный гражданин, статский советник, почетный мировой судья.

О Солдатенковой Надежде Григорьевне (урожд. Филипсон) сведений не обнаружено.

[29] Сорокоумовский Петр Павлович (ум. после 1915), старшина московского купеческого сословия, потомственный почетный гражданин.

Сорокоумовская Надежда Владимировна (урожд. Пегова, ум. после 1915). Об их детях сведений не обнаружено.

[30] Мельников Павел Иванович (псевдоним — Андрей Печерский, 1818—1883), писатель. Эпопея «В лесах» публиковалась в 1871—1874 гг., «На горах» — в 1875—1881 гг. в журнале «Русский вестник».

Роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1873—1877) печатался в журнале «Русский вестник». Публикация закончилась в апрельской книжке 1877 г. седьмой частью романа. Восьмая часть романа издана отдельной книгой летом 1877 г. В 1878 г. вышло первое полное издание романа.

В семье Третьяковых были знакомы со всеми произведениями Федора Михайловича Достоевского (1821—1881), последовательно выходившими в свет: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871—1872), «Подросток» (1875). В «Записной книжке» В. Н. Третьяковой среди произведений, прочитанных «в зиму 1877—79 годов по вечерам в обществе мужа и Наталии Васильевны [Феофановой]» называются «Дневник писателя» и «Братья Карамазовы» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5287, л. 18 об.).

«Вестник Европы» — ежемесячный литературно-политический журнал (СПб., 1866—1918); «Русский вестник» — ежемесячный журнал (М., 1808—1824; СПб., 1841—1844; М., 1856—1886; М.—СПб., 1887—1906); «Отечественные записки» — ежемесячный журнал (СПб., 1839—1884).

[31] Первая часть романа Л. Н. Толстого «Война и мир» вышла в свет в 1867 г. Полностью роман был опубликован в 1869 г.

[32] Золя Эмиль (1840—1902), французский писатель. Первое издание романа «Нана» во Франции вышло в 1880 г. В том же году роман был опубликован в России в переводе В. Коломина.

ГЛАВА 13

ХУДОЖНИК РИЦЦОНИ

[1] Постников Сергей Петрович (1825—1880), исторический живописец, портретист, двоюродный брат М. П. Боткина.

[2] В собрании П. М. Третьякова было три живописных работы Александра Антоновича Риццони (1836—1902): «Чтение талмуда» (1866), «Ослики» (1868) и «Кошки» (1889).

«Чтение талмуда» в 1932 г. было выдано из галереи в антиквариат. Кроме того, художником были подарены Павлу Михайловичу два акварельных этюда: «Любитель живописи» (1865, ГТГ) и «В горах» (с 1934 — в Симферопольском художественном музее).

[3] Автор ошибается. Осенью 1876 г. В. Н. и П. М. Третьяковы, совершая путешествие по Европе, действительно побывали в Италии, где в Риме встречались с А. А. Риццони. Однако совместная поездка на Сицилию была осуществлена лишь в ноябре 1881 г. (см.: ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5284, 5285).

[4] Рубинштейн Вера Александровна (урожд. Чекуанова, 1841—1909), пианистка, жена и ученица А. Г. Рубинштейна.

[5] Риццони Мария Антоновна служила гувернанткой. Сохранились ее письма к В. Н. Третьяковой.

[6] Речь идет о посещении 7 августа 1878 г. И. С. Тургеневым Третьяковых и К. С. Солдатенкова в Кунцеве.

ГЛАВА 14

КРЫМ

[1] Георгиевский монастырь, основанный в IX в., располагался в живописной местности между Севастополем и Балаклавой на обрывистом берегу мыса Фиолент и принадлежал к числу древнейших мужских монастырей России; в 1914 г. в монастыре жило 11 монахов.

[2] Александр II (1818—1881), император (1855—1881), сын Николая I.

Мария Александровна (урожд. герцогиня Гессенская, 1824—1880), жена императора Александра II (с 1841).

Николай Николаевич (1831—1891), великий князь, брат императора Александра II.

[3] Мордвиновский сад, или Мордвиновская экономия, — обширный парк в Ялте из плодовых и лиственных деревьев, простиравшийся на тридцать десятин вдоль набережной в сторону Севастополя. В конце XVIII столетия эти земли были пожалованы адмиралу и крупному государственному деятелю графу Н. С. Мордвинову, позже унаследованы его потомками. В середине XIX в. на части мордвиновских владений были выстроены дачи, сдававшиеся внаем. В одной из них в 1872—1873 гг. жил пейзажист Ф. А. Васильев. До начала XX в. Мордвиновский сад существовал как нерасчлененная территория. При входе в сад продавались билеты, выручка от которых шла местным благотворительным учреждениям.

[4] Возможно, речь идет об Умновых, Николае Калинковиче (1823—1885) и Вере Павловне (1830—1899).

[5] С 1848 г. И. К. Айвазовский постоянно жил в Крыму, в своем родном городе Феодосии, где им были выстроены дом и мастерская. Художник совершал многочисленные и частые поездки в Петербург, Москву, другие города России и Европы, неизменно возвращаясь в Феодосию для работы. В 1880 г. к дому было пристроено помещение для картинной галереи, открытой в том же году для публики (ныне — Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского).

ГЛАВА 15

МАКСИМОВ И КРАМСКОЙ

[1] Речь идет об авторском повторении картины «Семейный раздел» (1876, ГТГ), исполненном художником в 1877 г. (ныне — в ГРМ).

[2] Имеются в виду два этюда: «Двор дома Третьяковых» и «Сад при доме Третьяковых» (оба — 1877; ГТГ).

На обороте холста этюда «Двор дома Третьяковых» имеется авторская надпись: *ВѣрѢ НиколаевнѢ на память о плохомѢ пейзажистѢ. Когда получите другой более достойный Васъ тогда повѣсьте в дѣтскую. 1877.*

На обороте холста этюда «Сад при доме Третьяковых» — авторская надпись: *Только ради сюжета позволяю себѣ оставить Вамъ, добрая Вѣра Никол[аевна] и въ ожиданіи лучшаго. Отъ преданного В Максимов 1877. Іюня 8.*

[3] Максимова Лидия Александровна (урожд. Измайлова, 1848—1921). Дети художника: Лидия Васильевна (в замуж. — Дорофеева, 1868—1917), Ариадна Васильевна (1871?—1953), автор воспоминаний об отце, и Ювеналий Васильевич, химик, жил и скончался в Англии. Кроме того, у Максимовых был сын Вячеслав, годы жизни и судьба которого неизвестны.

[4] Работу над портретом художник начал в 1875 г., в основном она была завершена к 1876 г. Но Крамской возвращался к нему в 1877 и 1879 гг., меняя или убирая вовсе некоторые детали (1876, ГТГ).

[5] Имеется в виду картина «Хохот» («Радуйся, царю иудейский!»), над которой Крамской работал в 1870—1880-е гг. Картина осталась незавершенной (ГРМ).

[6] Работу над картиной «Христос в пустыне» художник завершил в 1872 г. Она экспонировалась в 1872—1873 гг. на II выставке Товарищества передвижных художественных выставок (ныне — в ГТГ).

[7] Имеется в виду «Портрет П. М. Третьякова» 1876 г. (ГТГ).

[8] И. Е. Репин исполнил два портрета П. М. Третьякова. Один был написан с натуры в 1883 г., другой исполнен по заказу Совета Третьяковской галереи в 1901 г. В этом портрете Репин повторил позу Третьякова и фон, найденные в портрете 1883 г., изменив формат холста и увеличив его размеры (оба портрета — в ГТГ).

[9] Крамские снимали дачу в Жуковке близ Кунцева летом 1879 г.

[10] Левитан Исаак Ильич (1860—1900), пейзажист; в 1873—1885 гг. — ученик Московского училища живописи, ваяния и зодчества;

с 1891 г. — член Товарищества передвижных художественных выставок. Знакомство П. М. Третьякова с Левитаном относится к концу 1879 г., когда с ученической выставки Третьяковым была приобретена первая картина молодого художника — «Осенний день. Сокольники» (1879, ГТГ).

[11] Крамская Софья Николаевна (урожд. Прохорова, 1840—1919), с 1863 г. — жена художника.

[12] Дети С. Н. и И. Н. Крамских: Николай Иванович (1863—1938), архитектор; Анатолий Иванович (1865—1941); Софья Ивановна (в замуж. — Юнкер, 1866—1933), художница-любительница; Марк Иванович (1871—1876); Сергей Иванович (1873 — после 1903); Иван Иванович (1875—1879).

Крамской Дмитрий Федорович — племянник художника.

[13] Имеется в виду Петербургский клуб художников, называвшийся также «С.-Петербургское собрание художников». Клуб существовал с начала 1860-х до 1877 г. Его деятельность сводилась в основном к устройству вечеров, концертов, балов, устраивались и выставки. Так, в 1868 г. в помещении клуба была открыта выставка картины Н. Н. Ге «Вестники воскресения» (1867, ныне — в ГТГ), запрещенной к показу в Академии художеств.

[14] Лемох Варвара Кирилловна (Карловна, в замуж. — Менделеева), жена Владимира Дмитриевича Менделеева (1865—1898), моряка, сына Д. И. Менделеева.

[15] Бенуа Альберт Николаевич (1852—1936), акварелист, один из основателей и председатель Общества русских акварелистов (1880). В 1887—1901 гг. — хранитель Русского музея. Один из членов богато одаренной талантами семьи Бенуа (см. примеч. 20 к главе 22).

[16] Черепнина Мария Альбертовна (урожд. Бенуа, 1876—1958), пианистка, дочь Альберта Николаевича Бенуа, жена композитора и дирижера Н. Н. Черепнина (1873—1945). С 1921 г. Черепнины жили во Франции.

[17] Галерее принадлежат: два портрета Ф. А. Васильева, исполненных Крамским, — 1871 г. (монохромная живопись) и около 1871 г. (холст, масло; не окончен); портрет скульптора М. М. Антокольского (1871), приобретенный П. М. Третьяковым у автора в 1875 г. (ныне — в Гос. художественном музее Беларуси, Минск); два портрета Н. А. Некрасова — один, 1877 г., исполненный по заказу П. М. Третьякова, и другой, 1877—1878 гг., писавшийся параллельно с первым, — «Некрасов в период «Последних песен», приобретенный Третьяковым у автора в 1878 г.; портрет Д. В. Григоровича (1876), портреты Я. П. Полонского (1875) и М. Е. Салтыкова-Щедрина (1879), исполненные по заказу Третьякова (все — в ГТГ).

[18] Речь идет о портрете В. Н. Третьяковой 1879 г. (ГТГ).

[19] Вероятно, речь идет о пристройке, осуществленной в 1882 г.

[20] И. Н. Крамской начал работать над картиной «Неутешное горе» под впечатлением смерти двух сыновей: пятилетнего Марка — в 1876 г. и четырехлетнего Вани — в 1879 г. Первые эскизы и варианты относятся к началу 1880-х гг., основной вариант завершен художником в 1884 г., тогда же приобретен П. М. Третьяковым.

«Майская ночь» — имеется в виду картина «Русалки» (1871) на сюжет повести Н. В. Гоголя «Майская ночь». Приобретена П. М. Третьяковым в 1871 г.

«Лунная ночь» (1880) принадлежала С. М. Третьякову, висела в его особняке на Пречистенском бульваре. После смерти Сергея Михайловича в 1892 г. картина поступила в собрание П. М. Третьякова (все — в ГТГ).

[21] Боткин Сергей Сергеевич (1859—1910), врач, коллекционер произведений искусства. Сын врача С. П. Боткина (см. примеч. 15 к главе 30), позже — муж А. П. Третьяковой, сестры автора.

[22] Имеются в виду портреты С. С. Боткина (1882, ГТГ) и С. И. Крамской (1882, ГРМ).

[23] Речь идет о портрете С. И. Крамской «Девушка с кошкой» (1882, Киевский гос. музей русского искусства).

[24] И. Н. и С. И. Крамские находились в Ментоне с марта по май 1884 г. Там была создана картина «Крамской, пишущий портрет своей дочери», приобретенная П. М. Третьяковым в 1895 г. у наследников Крамского (ныне — в ГТГ).

[25] И. Н. Крамской скончался 24 марта 1887 г.

[26] И. Е. Репин преподавал в Высшем художественном училище при Академии художеств с 1894 г.

[27] Репина Вера Алексеевна (урожд. Шевцова, 1854—1918), жена художника с 1872 по 1887 г.

[28] Автор ошибается, свадьба С. И. Крамской состоялась весной 1901 г.

[29] Юнкер Герман Федорович (ум. после 1916), служил присяжным поверенным в Обществе электроосвещения в Петербурге. Происходил из семьи известного в России банкирского дома «И. В. Юнкер и К°».

[30] Кравченко Николай Иванович (1867—1941), живописец, критик, беллетрист, сотрудничал в газетах «Новое время», «Русь».

Речь идет о вышедшем в марте 1888 г. издании, которое было подготовлено В. В. Стасовым, «Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837—1887» (СПб., 1888).

ГЛАВА 16

ЗНАКОМСТВО С ЧАЙКОВСКИМ

[1] Бывший особняк В. Д. Коншина на Пречистенке (д. 20) сохранился.

[2] Имеются в виду Коншины: Дмитрий (1855—?), Николай (1856—?), Владимир (1858—?).

[3] Чайковский Анатолий Ильич (1850—1915), младший брат композитора. Правовед. В 1880 г. был переведен на службу из Петербурга в Москву товарищем прокурора окружного суда. С 1885 г. — прокурор судебной палаты, позже — вице-губернатор в Тифлисе, Ревеле и Нижнем Новгороде. В 1897 г. вернулся в Петербург. П. И. Чайковский посвятил ему шесть романсов.

[4] Свадьба А. И. Чайковского с П. В. Коншиной состоялась 4 апреля 1882 г.

[5] Чайковский Модест Ильич (1850—1916), младший брат композитора. Окончил так же, как и Анатолий Ильич, Училище правоведения в Петербурге. Драматург, либреттист и литературный критик. Автор либретто опер П. И. Чайковского «Пиковая дама», «Иоланта», оперы Э. Ф. Направника (1839—1816) «Дубровский» и др. Автор книги «Жизнь Петра Ильича Чайковского. По документам, хранящимся в архиве имени покойного композитора в Клину, в 3-х томах. С приложением портретов, снимков и факсимиле» (Москва — Лейпциг, 1900—1902).

[6] С М. И. Чайковским семью В. П. и А. И. Зилоти связывали теплые дружеские отношения, особенно укрепившиеся после смерти П. И. Чайковского. Об этом свидетельствует сохранившаяся переписка, частично опубликованная в издании «Александр Ильич Зилоти. 1863—1945. Воспоминания и письма» (Л., 1963).

[7] Давыдова Вера Львовна (в замуж. — Римская-Корсакова, 1862—1888), жена Н. А. Римского-Корсакова, родственника композитора Н. А. Римского-Корсакова. Умерла от чахотки.

[8] Давыдова Александра Ильинична (1841—1891), с 1860 г. была замужем за сыном декабриста Львом Васильевичем Давыдовым. До конца жизни жила с семьей в имении «Каменка» (ныне — Черкасская обл.), где Л. В. Давыдов был управляющим семейным имением. П. И. Чайковский часто гостил в Каменке, называя ее «своим домом». Впервые он приехал туда в 1865 г., последний раз — в 1893 г.

Вера Павловна ошибается, называя Александру Ильиничну старшей сестрой братьев Чайковских. Она была третьим ребенком в семье. Старшими были Николай Ильич (1838—1911) и Петр Ильич, затем шли Ипполит Ильич (1843—1927) и братья-близнецы Модест Ильич и Анатолий Ильич (см. примеч. 3 и 5 к наст. главе).

[9] Имеются в виду: Давыдова Татьяна Львовна (1861—1886); Давыдова Вера Львовна (см. примеч. 7 к наст. главе); Давыдов Владимир Львович (1871—1906), любимый племянник П. И. Чайковского; окончил Училище правоведения в Петербурге, служил вольноопределяющимся в Преображенском полку, где заведовал хорами полковых певчих, славившихся в 1890-х гг. П. И. Чайковский посвятил ему кроме 6-й «Патетической симфонии» (1893) «Детский альбом» (1878). После смерти композитора Владимир Львович наследовал его авторские права, выкупил дом в Клину, поселился там и в неприкосновенности сохранил всю обстановку Чайковского (ныне — Дом-музей П. И. Чайковского).

[10] Давыдова Анна Львовна (в замуж. — фон. Мекк, 1864—1942).

[11] Т. Л. Давыдова имела сына, рождение которого скрывала от своих родителей; умерла от сердечного приступа. Мальчика усыновил и воспитывал Н. И. Чайковский, брат композитора. П. И. Чайковский посвятил Т. Л. Давыдовой шесть вокальных дуэтов. В гостиной Дома-музея П. И. Чайковского в Клину имеется фотография рисунка художника И. Ф. Ционглинского «Татьяна Львовна на смертном одре».

[12] Опера П. И. Чайковского «Мазепа» (либретто В. П. Буренина по поэме А. С. Пушкина «Полтава») впервые шла в Большом театре 3 февраля 1884 г.

[13] Юргенсон Петр Иванович (1836—1903/1904), музыкальный издатель и общественный деятель, друг композитора. Начиная с середины 1870-х гг. Юргенсон вел авторские дела Чайковского. Собирал рукописи композитора, следил за выплатой авторского гонорара за исполнение его произведений и после смерти Чайковского.

[14] Юргенсон Софья Ивановна (1840—1911), жена П. И. Юргенсона. Их дети: Борис Петрович (1868—1935), наследник музыкально-издательской фирмы отца; Александра Петровна (в первом браке — Святославская, во втором — Снегирева; 1869—1946), художница; Григорий Петрович (1872—?).

[15] Чайковская Татьяна Анатольевна (в замуж. — Штернберг, 1883—?), умерла в Париже.

[16] На титульном листе Второй оркестровой сюиты имеется посвящение: *П. В. Чайковской.*

[17] С мая до конца августа 1883 г. П. И. Чайковский работал в Подушкине над корректурой оперы «Мазепа».

[18] П. И. Чайковский в 1866—1878 гг. был профессором музыки и свободного сочинения в Московской консерватории. Г. А. Ларош преподавал теорию и историю музыки в Московской консерватории. Вера Павловна увлекалась самостоятельными музыкальными композициями.

ГЛАВА 17

КОНШИНЫ

[1] Фирсанова Вера Ивановна — потомственная почетная гражданка, крупная московская домовладелица. Занималась широкой попечительской деятельностью, в частности вместе с В. Д. Коншиным была попечительницей Приходской школы в память Александра II. Дом В. Д. Коншина на Пречистенке был приобретен ею в 1884 г.

[2] Трубецкая Надежда Борисовна (урожд.

Четвертинская, 1812—1909), княгиня, была известна своей широкой благотворительной деятельностью.

[3] Имеется в виду и ныне существующий особняк по ул. Грицевецкой (д. № 10), ранее называвшейся Большим Знаменским переулком. Владение, находившееся между Верхней Кисловкой и Большим Знаменским переулком, принадлежало князьям Трубецким. С. И. Щукин приобрел особняк в начале 1890-х гг.

[4] Возможно, одну из них — Пустовалову Марию Семеновну — упоминает П. И. Щукин в воспоминаниях. См.: Воспоминания П. И. Щукина, ч. 1—5.

[5] О Слатиных сведений не обнаружено.

[6] Речь идет о Марианне (в замуж. — Дмитриевой) и Ольге (в замуж. — Жмудской) Коншиных.

[7] Дункер Александра Густавовна (ум. 1926). В. Н. Третьякова в «Записной книжке» за 1880—1881 гг. записывала: «Пара молодая, блестящая. Муж студент, с задатками художника рисующего, недурного актера, хорошего комика <...>. Она спокойный, мелодический органчик, цветущего здоровья и даже считается красивой, имея для этого отличный цвет лица, отличную фигуру, но выражения в лице мало» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 20).

[8] Об Окрамчаделовой Нине сведений не обнаружено.

[9] Даты жизни Зилоти Аркадия Ильича неизвестны.

ГЛАВА 18

КОНЦЕРТ РУБИНШТЕЙНА

[1] В 1880 г. А. Г. Рубинштейн совершил концертное турне по России. В Москве им было дано два концерта, 21 и 25 марта. В концертах исполнялись произведения Генделя, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, А. Рубинштейна.

[2] Имеются в виду Алексеевы — Сергей Владимирович и Елизавета Васильевна — и их дети: Владимир Сергеевич, Константин Сергеевич (см. примеч. 38 к главе 5); Зинаида Сергеевна (в замуж. — Соколова, 1865—1950), участвовала в детских и юношеских домашних спектаклях, впоследствии под псевдонимом Миртова-Алеева играла в Московском Художественном театре; Анна Сергеевна (в первом браке — Штекер, во втором — Красюк, 1866—1936).

[3] Вероятно, автор имеет в виду и фотографические, и живописные портреты братьев Рубинштейн. По заказу П. М. Третьякова в 1870 г. В. Г. Перовым был исполнен портрет Н. Г. Рубинштейна, в 1881 г. И. Е. Репиным — портрет А. Г. Рубинштейна. Кроме того, в 1886 г. художницей Е. М. Бем был подарен П. М. Третьякову графический портрет (силуэт) А. Г. Рубинштейна (бумага, тушь, перо). Все — в ГТГ.

[4] Шуман Роберт (1810—1856), немецкий композитор, музыкальный критик.

Речь идет о переложении А. Г. Рубинштейна для фортепиано концертной увертюры Бетховена «Афинские развалины» (ор. 113).

[5] В 1885—1886 гг. А. Г. Рубинштейн провел в России и крупнейших городах Западной Европы цикл «Исторических концертов», в которых дал картину эволюции фортепианной музыки от ее истоков до современных ему русских композиторов.

[6] Бюлов Ганс фон (1830—1894), немецкий пианист, дирижер, композитор, педагог и музыкально-общественный деятель. Гастролировал в различных странах Европы, в том числе и в России в 1885 г.

Есипова Анна Николаевна (1851—1914), пианистка; с 1893 г. преподавала в Петербургской консерватории (с 1901 — профессор).

[7] Альбер Эжен д' (1864—1932), немецкий композитор, пианист-виртуоз, ученик Ф. Листа. По национальности француз.

[8] Вера Павловна называет следующие произведения: Ф. Шопена — соната № 2 для фортепиано b-moll, ноктюрн № 13, этюд № 23; Р. Шумана — Третья большая соната для фортепиано (Концерт без оркестра), фантазия для фортепиано («Крейслериана», ор. 16), «Отчего» — пьеса для фортепиано из цикла «Фантастические пьесы», «Вещая птица» — пьеса для фортепиано из цикла «Лесные сцены» (ор. 82); Ф. Шуберта — «Лесной царь», концертное переложение Ф. Листа для фортепиано.

Шуберт Франц (1797—1828), австрийский композитор.

[9] Речь идет о сочинении А. Л. Гензельта (см. примеч. 15 к главе 8) «Если бы я был птицей» — романсе и этюде для фортепиано (ор. 10ª). Фортепианные произведения Гензельта входили в репертуар многих выдающихся исполнителей, в том числе А. Г. Рубинштейна.

ГЛАВА 19

СМЕРТЬ НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

[1] Ф. М. Достоевский умер 28 января (9 февраля) 1881 г., М. П. Мусоргский — 16(28) марта 1881 г., Н. Г. Рубинштейн — 12(24) марта 1881 г.

[2] Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» публиковался в журнале «Русский вестник» в 1879—1880 гг.

[3] Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве состоялось 6 июня 1880 г. В течение трех последующих дней проходили торжественные вечера в Московском университете и Благородном собрании. 8 июня в заседании Общества любителей Российской словесности Ф. М. Достоевский произнес речь об А. С. Пушкине, которая явилась одной из кульминаций Пушкинского праздника и вызвала горячий отклик в русской общественности.

[4] О знакомстве с Ф. М. Достоевским В. Н. Третьякова подробно рассказала в своей «Записной книжке» (ф. 1, ед. хр. 5287, л. 48), где переписаны письмо Достоевского к Вере Николаевне от 13 июня 1880 г. и ее ответное

письмо писателю. Подлинник письма Ф. М. Достоевского хранится в ОР ГТГ (ф. 1, ед. хр. 5432), письмо опубликовано в Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского (т. 30, кн. 1. Л., 1988, с. 189, письмо № 876). Об этом же эпизоде знакомства рассказывает А. П. Боткина в своей книге (см. указ. соч., с. 239—240).

[5] Высоко почитая талант Ф. М. Достоевского, П. М. Третьяков не был лично знаком с писателем. Узнав о смерти Достоевского, Третьяков писал И. Н. Крамскому: «Я ‹...› так благоговейно читал его, так поклонялся ему, что даже из этих чувств все откладывал личное знакомство с ним, хотя повод к тому имел с 1872 года ‹...› и вот теперь не могу простить, что сам лишил себя услыхать близко к сердцу его живое сердечное слово ‹...› Это помимо великого писателя был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое отечество несмотря на все его язвы. Это был не только апостол, как верно вы его называли, это был пророк; это был всему доброму учитель; это была наша общественная совесть» (см.: Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков, с. 276—277).

В записной книжке В. Н. Третьяковой есть запись о том, с какой душевной болью ею было воспринято известие о смерти Ф. М. Достоевского: «О горе! 28 января 1881 года, в 8 часов 40 минут вечера скончался Федор Михайлович Достоевский... Как громом поразило меня это известие... Не стало Достоевского, искреннейшего и благороднейшего служителя правды. Он угас в три дня, угас в цвете таланта, в полном расцвете надежд на дальнейшую деятельность, на борьбу, на защиту дорогих прав русского человека. Это огромная потеря не для одной литературы, но и для всякого русского человека, для всякого, у кого осталась в душе хоть капля искренности, для всякого, чье сердце страдало, чей ум волновался сомнениями, кто горел хотя минуту любовью к истине и ближнему» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5287, л. 64 об. — 65).

[6] Вера Павловна ошибается. Портрет М. П. Мусоргского исполнен не по заказу П. М. Третьякова, а по совету и просьбе В. В. Стасова. Он был завершен за четыре сеанса, 2—5 марта 1881 г., в Николаевском военном госпитале, где находился на лечении композитор. Деньги, полученные Репиным за портрет от Третьякова, художник пожертвовал на памятник композитору (портрет — в ГТГ).

[7] Шишкин Иван Иванович (1832—1898), живописец, рисовальщик, офортист, пейзажист.

[8] См. примеч. 13 к главе 15.

[9] Молас Александра Николаевна (урожд. Пургольд, 1844—1929), певица-любительница (меццо-сопрано). Первая исполнительница песен М. П. Мусоргского и неутомимая пропагандистка его музыки. И. Е. Репиным в 1883 г. исполнен портрет певицы (ГРМ).

[10] В начале 1950-х гг. могила Н. Г. Рубинштейна перенесена на Ново-Девичье кладбище.

[11] «Пляска смерти» — сочинение для фортепиано с оркестром Ф. Листа.

[12] Танеев Сергей Иванович (1856—1915), композитор, педагог и пианист, теоретик, музыкально-общественный деятель. Окончил Московскую консерваторию по классу композиции у П. И. Чайковского и фортепиано у Н. Г. Рубинштейна. С 1878 г. вошел в состав ее преподавателей, с 1881 г. — профессор по классу гармонии, инструментовки и фортепиано, до 1905 г. вел класс свободного сочинения (композиции), в 1885—1889 гг. — директор.

[13] «Воспоминания о Листе» написаны А. И. Зилоти в 1911 г., к 100-летию со дня рождения композитора и 25-летию со дня его смерти. Полностью опубликованы в издании: Александр Ильич Зилоти. 1863—1945. Воспоминания и письма, с. 43—73. Эпизод, о котором вспоминает Вера Павловна, описан и А. И. Зилоти (см. там же, с. 43).

ГЛАВА 20

ЛЕТО В КУРАКИНЕ

[1] По-видимому, это было лето 1888 г. См. примеч. 8 к разделу «От автора».

[2] Боткина Александра Сергеевна (в первом браке — Хохлова, во втором — Кулешова; 1891—1985), актриса немого кино, преподавала в Гос. институте кинематографии; заслуженный деятель искусств РСФСР.

Боткина Анастасия Сергеевна (в замуж. — Нотгафт, 1892—1942), музейный работник.

[3] Кукин Николай Семенович, Кукина (урожд. Снопова) Авдотья (Евдокия) Александровна, гувернантка детей Алексеевых. Н. С. и А. А. Кукины принимали живое участие в спектаклях Мамонтовского и Алексеевского кружков.

[4] Здание для театра в Любимовке было перестроено из старых, обветшалых флигелей летом 1877 г.; 5 сентября состоялся первый спектакль, с которого началась история домашнего любительского театра, получившего название Алексеевского кружка.

[5] Якубовский Владимир Акимович — в 1880-е гг. врач Болшевского богоугодного заведения; в 1910-е гг. — известный в Москве акушер и гинеколог.

[6] Имеются в виду дочери Алексеевы: Зинаида Сергеевна, Анна Сергеевна (см. примеч. 2 к главе 18), Любовь Сергеевна (в замуж. — Струве, 1871—1941), Мария Сергеевна (в замуж. — Оленина, 1878—1942), обладала хорошим голосом, впоследствии выступала в опере и оперетте.

[7] Алексеев Георгий Сергеевич (1869—1921).

[8] Алексеев Борис Сергеевич (1871—1906).

[9] Дом у Красных ворот был куплен Алексеевыми в 1863 г. В 1880 г. рядом с жилым домом был выстроен отдельный двухэтажный флигель, соединенный с жилой частью пере-

ходом специально для домашнего театра Алексеевского кружка, который к этому времени приобрел известность. Первый спектакль в театре у Красных ворот состоялся в апреле 1883 г. В отличие от несохранившегося жилого дома театральный флигель существует и ныне (в нем находится ресторан «Дубровник»).

[10] Розанов Василий Семенович (1841—1888) начал давать уроки детям с осени 1880 г., одновременно преподавал в 1-й гимназии.

[11] Бонёр Роза (1822—1899), французская художница-анималистка, живописец и скульптор.

[12] Киричко Мария Константиновна и ее муж Самсон Григорьевич — соседи Третьяковых по Куракино, где летом 1880 г. состоялось их знакомство, продолжавшееся много лет. В дневниковых записях В. Н. Третьяковой не раз упоминаются их имена.

[13] Оперетты Ф. Эрве (1825—1892) «Мадемуазель Нитуш» и Э. Ордана (1840—1901) «Маскотта» («Красное солнышко») были поставлены в Любимовке 18 августа 1884 г. К. С. Станиславский исполнял в первой оперетте роль Флоридора — Селестена, во второй — пастуха Пипо.

[14] Соколов Константин Константинович (1857—1919), врач-хирург, талантливый актер, активный участник Алексеевского кружка, муж Зинаиды Сергеевны Алексеевой.

[15] Родон Виктор Иванович (наст. фамилия — Габель, 1846—1892), русский артист оперетты. Выступал в амплуа комика-буфф и в эксцентрических ролях, был мастером импровизации. Сценическую деятельность начал в 1862 г. В 1876—1877 гг. — актер оперетты московского «Артистического кружка», в 1889—1890 гг. служил в театре «Парадиз» (Москва).

[16] Оперетта «Микадо» — музыка английского композитора А. Сюлливана (1842—1900), либретто В. Джильберта — самая известная и сложная постановка Алексеевского кружка. Премьера оперетты состоялась 18 апреля 1887 г. К. С. Станиславский исполнял роль принца Нанки-Пу. Спектакль оформлял К. А. Коровин.

[17] Московский Художественный театр основан в 1898 г. К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. Начало театру и его принципам было положено спектаклями Алексеевского кружка (1877—1888) и Московского общества искусства и литературы (1888—1898), которое объединяло драматургов, актеров, музыкантов, литераторов — любителей артистического искусства.

[18] Соколова Зинаида Константиновна (1887—1952), племянница К. С. Станиславского, жена Алексея Викторовича Васнецова (1882—1949).

[19] Алексеева Прасковья Алексеевна (урожд. Захарова), жена Владимира Сергеевича с 1882 г.

[20] Штекер Андрей Германович (1860—1924), служащий одной из торговых фирм, впоследствии муж Анны Сергеевны Алексеевой (с 1885). Принимал участие в любительских спектаклях Алексеевского кружка. О Роберте Германовиче и Марии Германовне сведений не обнаружено.

[21] Корзинкин Александр Андреевич (1863—1931), промышленник, владелец Ярославской мануфактуры, любитель искусства, участник спектаклей Алексеевского кружка. В его доме на Покровском бульваре также имелся театр. В 1905—1912 гг. входил в состав Совета Третьяковской галереи, возглавляемого в это время И. С. Остроуховым. После Октябрьской революции был сотрудником Гос. Исторического музея.

[22] Корзинкин Андрей Александрович (1827—?), купец 1-й гильдии, почетный гражданин Москвы, крупный чаеторговец.

[23] Рыбников Павел Николаевич (1831—1885), фольклорист и этнограф. Первоначально записывал песни в старообрядческих слободах Черниговской губернии. По подозрению в революционной пропаганде был сослан в 1859 г. в Петрозаводск. Во время разъездов по северу России записывал былины, исторические песни, баллады, которые издал в 1861—1867 гг. О его дочери сведений не обнаружено.

[24] Вера Павловна ошиблась, назвав К. С. Станиславского организатором Шекспировского общества. Оно было образовано Л. И. Поливановым и С. А. Юрьевым в «Поливановской» гимназии. На ученических спектаклях разыгрывались пьесы У. Шекспира, спектаклями руководил Поливанов, обладавший сценическим дарованием. К. С. Станиславский был одним из инициаторов создания Московского общества искусства и литературы. Целью Общества стало осуществление постановок классических спектаклей. Открытие Общества состоялось 18 ноября 1888 г., в день 100-летия со дня рождения великого актера Малого театра М. С. Щепкина. Общество существовало на средства К. С. Станиславского.

[25] Корзинкина Елена Андреевна (1870—1943).

[26] Серебряный юбилей С. В. и Е. В. Алексеевых состоялся не в 1886, а в 1884 г., 8 июля. В качестве подарка к этому дню П. М. и В. Н. Третьяковы преподнесли Алексеевым пейзаж А. П. Боголюбова «Дорожка. Экуэн» с дарственной надписью: *Сергѣю Владиміровичу и Елизаветѣ Васильевнѣ Алексѣевымъ. Въ день Вашей серебряной свадьбы просимъ принять на память этотъ осенній этюдъ, съ сердечнымъ желаніемъ, что-бы наступающая Ваша осень шла такъ-же мирно и счастливо, какъ проходило Ваше лѣто. П. и В. Третьяковы 8 ое Іюля 1884 года.*

Этюд ныне находится в собрании Третьяковской галереи, был приобретен у О. П. Алексеевой в 1935 г.

[27] Речь идет о сочинении Ф. Листа «Поэтические и религиозные гармонии» — цикла из 10 пьес для фортепиано в две руки, написанных между 1845—1852 гг.

ГЛАВА 21

МАМОНТОВСКАЯ ПЛАТФОРМА

[1] Горбов Михаил Акимович (ум. в 1894), потомственный почетный гражданин города Москвы, член Совета Практической академии коммерческих наук.

[2] Сохранилась фотография двухэтажной деревянной дачи М. Н. Мамонтова, выстроенной А. С. Каминским с использованием декора, характерного для деревянной русской архитектуры.

[3] Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель. Усадьбу «Абрамцево» в 57 км к северу от Москвы приобрел в 1843 г. В 1870 г. у дочери Аксакова, Софьи Сергеевны, усадьбу купили С. И. и Е. Г. Мамонтовы.

[4] Мамонтов Сергей Саввич (1867—1915), журналист и драматург, печатался под псевдонимом Матов или Серг. Матов. В юности был близким другом В. А. Серова, посвятил ему целый ряд статей, печатавшихся в разных периодических изданиях.

Мамонтов Андрей Саввич (1869—1891), закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1890 г. по классу архитектуры. Все, близко знавшие Андрея Саввича, отмечали его большую художественную одаренность. «Много, много обещавший юноша, — писал сестре М. А. Врубель, — и я, несмотря на то, что чуть не вдвое старше его, чувствую, что получил от него духовное наследство» (цит. по: *Копшицер М.* Савва Мамонтов. М., 1972, с. 138).

Мамонтов Всеволод Саввич (1870—1951), хранитель Музея-усадьбы «Абрамцево»; автор книги «Воспоминания о русских художниках. Абрамцевский художественный кружок» (М., 1951).

Мамонтова Вера Саввишна (в замуж. — Самарина, 1875—1907). Ее портрет «Девочка с персиками» (1887), исполненный В. А. Серовым, находится в ГТГ.

Мамонтова Александра Саввишна (1878—1952), первый директор Музея-усадьбы «Абрамцево».

[5] Имеются в виду: Мамонтова Мария Федоровна (в замуж. — Якунчикова; см. примеч. 7 к главе 7), племянница С. И. Мамонтова, жена В. В. Якунчикова; Мамонтова Татьяна Анатольевна (в замуж. — Рачинская, 1864—1920), племянница С. И. Мамонтова, жена (с 1889) филолога Григория Алексеевича Рачинского (1851—1939); ее портреты, написанные И. Е. Репиным (1882) и В. М. Васнецовым (1884), находятся в ГТГ; Мамонтова Софья Федоровна (в замуж. — Гучкова, 1866—1920), племянница С. И. Мамонтова.

[6] Церковь построена (1881—1882) по проекту В. М. Васнецова. За архитектурный образец был взят новгородский храм XII в. Спаса на Нередице. В росписях и украшениях церкви принимали деятельное участие многие художники Абрамцевского кружка: В. Д. Поленов, И. Е. Репин, Н. В. Нестеров, наибольшее количество росписей исполнено В. М. Васнецовым. Церковь посвящена Спасу Нерукотворному.

[7] Эту поездку В. Д. Поленов осуществил в декабре 1881 — апреле 1882 г. совместно с С. С. Абамелек-Лазаревым и А. В. Праховым. Поленов посетил Египет, Турцию, Палестину, Сирию, Грецию.

[8] Летние месяцы 1878—1882 гг. И. Е. Репин с семьей жил сначала в Абрамцеве у С. И. Мамонтова, затем снимал дачу близ Абрамцева — в д. Хотьково. Для Абрамцевской церкви Репин исполнил образ Спаса Нерукотворного.

[9] «Яшкин дом» — отдельно стоявшая дача в полукилометре от Абрамцевского дома. Получила свое название потому, что маленькая Вера Мамонтова называла этот дом своим, а так как в семье у нее было прозвище Яшка, то и дом стал — Яшкин. Художники, гостившие в Абрамцеве, часто использовали «Яшкин дом» как удобную мастерскую для работы. «Яшкин дом» не сохранился.

[10] Картина В. М. Васнецова «Богатыри» (1881—1898) приобретена П. М. Третьяковым у автора в 1898 г. (ныне — в ГТГ).

[11] Венчание В. Д. Поленова и Н. В. Якунчиковой состоялось в октябре 1882 г.

[12] Вера Павловна ошибается, называя А. С. Мамонтова в числе авторов проекта Абрамцевской церкви, так как во время его разработки А. С. Мамонтову было только двенадцать лет. В 1890 г. он вместе с В. М. Васнецовым принимал участие в росписях Владимирского собора в Киеве, выполняя орнаменты для боковых частей храма.

[13] «Снегурочка» была поставлена на Рождество, 6 января 1882 г., с декорациями и костюмами, выполненными по рисункам и эскизам В. М. Васнецова.

[14] Бюст И. Е. Репина (гипс) исполнен В. М. Васнецовым в 1880 г. и находится в Музее-заповеднике «Абрамцево».

[15] Речь идет об Ольге Федоровне Мамонтовой (в замуж. — Тамара, 1870—1952), ее сестре Марии Федоровне (в замуж. — Якунчиковой) и Татьяне Анатольевне Мамонтовой (в замуж. — Рачинской).

[16] Вентцель Николай Николаевич (псевдоним — Н. Юрьин, 1855—1920), литератор. В 1870—1880-е гг. близко сошелся с художниками Абрамцевского кружка, часто бывал в Абрамцеве и московском доме С. И. Мамонтова. Принимал участие в сочинении совместно с Мамонтовым пьес для домашних спектаклей и участвовал в спектаклях как актер. И. Е. Репин сделал с Вентцеля живописный этюд для центральной фигуры в картине «Арест пропагандиста».

[17] Мамонтов Юрий Анатольевич (1865—1917), племянник С. И. Мамонтова. Был в товарищеских отношениях с В. А. Серовым и И. С. Остроуховым. Вместе с ними совершил в 1887 г. поездку по Италии. По воспоминаниям А. Н. Бенуа, Ю. А. Мамонтов в конце 1880-х — начале 1890-х гг. входил в Петербурге в кружок, предшествовавший созданию

«Мира искусства». В 1890-е гг. являлся членом правления Товарищества Невского механического завода.

[18] Имеются в виду Мамонтов Всеволод Саввич (см. примеч. 4 к наст. главе) и Мамонтов Иван Федорович (1869—1920), племянник С. И. Мамонтова.

[19] Спиро Петр Антонович (1844—1893), физиолог, профессор Одесского университета, университетский товарищ С. И. Мамонтова. Непременный участник спектаклей в Абрамцеве и московском доме Мамонтовых. Был в самых теплых и дружеских отношениях с художниками, составлявшими Абрамцевский художественный кружок.

[20] Мамонтова Наталья Анатольевна (в замуж. — Рачинская, 1868—1906), племянница С. И. Мамонтова, жена Александра Константиновича Рачинского (1867—1927), юриста, члена Государственного Совета с 1912 г.

[21] «Каморра» — водевиль из неаполитанской жизни, сочиненный С. И. Мамонтовым. Впервые поставлен на домашней сцене в Абрамцеве 24 июня 1881 г.

[22] Валентин Александрович Серов (1865—1911) впервые приехал в Абрамцево летом 1875 г. десятилетним мальчиком вместе со своей матерью В. С. Серовой. В семье Мамонтовых Серов нашел тепло и ласку домашнего очага, так не хватавших ему в разъездах и скитаниях, которые вела из-за своих музыкальных занятий В. С. Серова. Особенно глубокие чувства и привязанность у В. А. Серова были к Е. Г. Мамонтовой, которая заменяла ему мать.

[23] Бостанжогло-Гальнбек Александра Николаевна, двоюродная сестра К. С. Станиславского. Принимала участие в спектаклях Алексеевского кружка, драматических и музыкальных.

[24] Московская Частная русская опера, или Мамонтовская опера, была открыта 9 января 1885 г. постановкой «Русалки» Н. А. Даргомыжского. Театр был организован и существовал на средства С. И. Мамонтова, объединившего лучшие силы певцов, музыкантов, художников. Мамонтов практиковал исполнение оперных партий в своем театре русскими и итальянскими актерами. Именно подобные ангажементы итальянских певцов В. П. Зилоти называет «Итальянской оперой», хотя официально такого названия по отношению к Мамонтовской опере не существовало. Из выдающихся итальянских певцов в Мамонтовской опере пели А. Мазини, Ф. Таманьо и другие, из русских актеров — Н. И. Забела-Врубель, П. С. Оленин, Ф. И. Шаляпин. С театром была связана деятельность Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова, который начинал здесь как дирижер. В оформлении спектаклей принимали участие И. И. Левитан, В. А. Серов, В. Д. Поленов и другие. Среди первых спектаклей были «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова (1885), «Фауст» Ш. Гуно (1886), «Аида» Д. Верди (1886). В 1888—1896 гг. из-за финансовых затруднений спектакли в опере не ставились. В 1904 г., в связи с финансовым крахом С. И. Мамонтова, театр был закрыт.

[25] Андради Антонио ди (д'Андради; 1854—1942), португальский певец (тенор). Часто выступал со своим братом Франсишку (Франческо) ди Андради (1859—1921; баритон); много гастролировал в Италии, Испании, Англии, Германии, России (1885).

[26] Любатович Татьяна Спиридоновна (1859—1932), певица (меццо-сопрано). В 1883 г. окончила Московскую консерваторию, совершенствовалась в Италии и Франции (у д'Арто). Была неизменной участницей всех оперных начинаний С. И. Мамонтова.

[27] Ролла Кэтти — итальянская певица (колоратурное сопрано). В 1885 г. гастролировала в России. В Московской Частной опере С. И. Мамонтова с успехом исполняла партию Линды в опере Г. Доницетти (1797—1848) «Линда». Пресса отмечала «изящную грациозность и музыкальность певицы».

[28] Дюран Мария (1850—?), французская певица (драматическое сопрано, пела и колоратурные партии).

Джоконда — героиня оперы «Джоконда» (1876) итальянского композитора А. Понкьелли (1834—1886).

[29] Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943), композитор, пианист, дирижер. В 1897 г. занял место второго дирижера в Мамонтовской опере, дирижировал «Русалкой», «Кармен», «Рогнедой». В 1904—1906 гг. — дирижер Большого театра. С декабря 1917 г. жил за рубежом, с 1918 г. — в США.

[30] Забела Надежда Ивановна (в замуж. — Врубель, 1868—1913), певица (лирико-колоратурное сопрано). Расцвет творческой деятельности связан с выступлениями в 1897—1904 гг. на сцене Московской Частной русской оперы. В 1904—1911 гг. — солистка Мариинского театра в Петербурге.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908), композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель.

[31] См. примеч. 20 к главе 5. С Мамонтовской оперой связано начало театрально-декорационной деятельности Коровина. Им были оформлены спектакли «Аида» Д. Верди (1886), «Князь Игорь» А. П. Бородина (1896), «Садко» Н. А. Римского-Корсакова (1897) и др.

[32] Головин Александр Яковлевич (1863—1930), художник театра, живописец, график. Один из реформаторов русского и мирового театрально-декорационного искусства начала XX в. Был близок Абрамцевскому художественному кружку. Документально подтвержденных данных о службе Головина в Мамонтовской опере не имеется. Однако в различных воспоминаниях о художнике говорится о его участии наряду с К. А. Коровиным в оформлении спектаклей Мамонтовской оперы. Так, в частности, им писались декорации пейзажных картин в «Снегурочке» (1886). С 1899 г. Головин — декоратор Императорских

театров: в 1899—1917 гг. — Большого в Москве, с 1902 г. — Мариинского в Петербурге. После Октябрьской революции продолжал работать в театрах Москвы и Ленинграда.

[33] Мамонтова Наталья Анатольевна (см. примеч. 20 к наст. главе).

[34] Зилоти Варвара Ильинична (в замуж. — Гучкова, 1868—1939), сестра А. И. Зилоти.

[35] Имеется в виду Зинаида Васильевна Якунчикова (в первом браке — Мориц, во втором — де Грен). Ее дети от первого брака — Зинаида, Мария, Владимир, от второго — Татьяна, Николай, Георгий.

[36] Известно много живописных и графических портретов сестер Мамонтовых, исполненных В. А. Серовым в Абрамцеве. Из живописных наиболее ранние — портреты Людмилы Анатольевны Мамонтовой (1881, частн. собр., пос. Чоботы Московской области; 1884, Новгородский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник); позднее были написаны портреты Прасковьи Анатольевны Мамонтовой (1887 и 1889, частн. собр., Москва), знаменитая «Девочка с персиками» (1887, ГТГ), Марии Федоровны Мамонтовой (1888, частн. собр. за границей), Ольги Федоровны Мамонтовой (1892, Гос. художественный музей Беларуси, Минск). Графические портреты (все — бумага, граф. карандаш): Софьи Федоровны Мамонтовой (1879, Музей-заповедник «Абрамцево»), Александры Саввишны Мамонтовой (1870-е гг., местонахождение неизвестно), Татьяны Анатольевны Мамонтовой (1879, ГТГ), Марии Федоровны Мамонтовой (1884, ГТГ).

ГЛАВА 22

НАШИ ХУДОЖНИКИ

[1] Перов Василий Григорьевич (1833/1834—1882) родился в Тобольске. Его отец — губернский прокурор Г. К. фон Криденер — принадлежал к древнему дворянскому прибалтийскому роду, известному с XIV столетия. Вблизи Дерпта (Тарту) находилось родовое имение «Суслеп», которым владел дядя художника, старший брат его отца.

[2] Репин Илья Ефимович (1844—1930) родился в Чугуеве, в 40 км от Харькова, то есть в Слободской Украине. Историческое Запорожье располагалось на территории современных Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Донецкой областей Украины.

[3] Суриков Василий Иванович (1848—1916) свое происхождение вел от донских казаков, пришедших с Ермаком в Сибирь в XVI в. «Об этом, когда я был мальчиком, говорили мне дед, отец и дядя мои, — вспоминал художник. — Послужными списками моих предков, имеющимися у меня, я сведения о них довел до 1765 года» (цит. по: Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1977, с. 122).

[4] Перова Елизавета Егоровна (урожд. Друганова, 1850—1902), жена В. Г. Перова с 1872 г.

[5] Перов Владимир Васильевич (1868—1898), сын В. Г. Перова. Живописец, жанрист. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у отца и у В. Е. Маковского. В Третьяковской галерее имеются две живописные работы В. В. Перова. Одна из них — «Странник» (без даты) — была подарена П. М. Третьякову в 1896 г. В. Е. Маковским.

[6] Речь идет о Перовой Елене Эдмундовне (урожд. Шейнс, ум. 1869), жене В. Г. Перова с 1862 г.

[7] В. Г. Перов был назначен преподавателем в Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1871 г. на место покойного С. К. Зарянко (1818—1870) и вел преподавание до 1882 г.

[8] Ученические выставки в Московском училище живописи, ваяния и зодчества начали регулярно устраиваться по инициативе В. Г. Перова с 1872 г. Первые четыре подобные выставки открывались одновременно с выставками Товарищества передвижников. Из ученических работ организовывался особый отдел на этих совместных выставках. Передвижники с вниманием и заинтересованностью относились к выставкам учеников Училища. Начиная с 1879 г. ученические экспозиции стали носить самостоятельный характер, они открывались обычно 25 декабря. Выставки передвижников, как правило, открывались осенью в Петербурге, весной — в апреле-мае — в Москве. Вплоть до XXXIV выставки Товарищества передвижников 1906 г. они неизменно устраивались в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

[9] См. примеч. 17 к главе 9.

[10] Криденер Анатолий Григорьевич (1852—1916), родной брат В. Г. Перова, а не сводный, как пишет Вера Павловна. Окончил медицинский факультет Московского университета, после окончания которого был ординатором в больнице в Кузьминках. С 1885 г. работал врачом в Рязанской губернской земской больнице, затем заведовал психиатрической больницей под Рязанью; организовал под Рязанью санаторий для туберкулезных больных.

[11] Н. П. Собко, первый биограф В. Г. Перова, писал: «...около 12 мая его [Перова] перевезли к родным в Кузьминки, имение князей Голицыных, по Московско-Курской железной дороге, а 29 мая в 3 часа дня он тихо скончался» (*Собко Н. П.* Словарь русских художников, т. 3, вып. 1. СПб., 1889, стб. 142—143).

[12] Речь идет о пристройке к галерее 1882 г.

[13] В. Г. Перов был похоронен на кладбище Данилова монастыря. В 1951 г. могила перенесена на кладбище Донского монастыря.

[14] Кузнецов Николай Дмитриевич (1850—1929), живописец, жанрист, портретист. Пер-

вая картина, приобретенная у автора П. М. Третьяковым в 1879 г., — «Объезд владений» (1879, ГТГ). Кузнецов жил в основном в своем имении под Одессой.

[15] Маковская Анна Петровна (урожд. Герасимова), дочь архитектора Московской дворцовой конторы П. А. Герасимова. В. Н. Третьякова писала в своей «Записной книжке»: «Красивая, лет 40 женщина, бойкая, но чувствуется подкладка пустоты, хотя видны наружные признаки хорошей манеры, доброй жены. Музыкантша, но сомневаюсь, чтобы музыка как искусство была понятна ей. Муж что-то уж очень хвалит ей мою игру, называя меня человеком с чувством и пониманием музыки» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 25 об.).

[16] В. Е. Маковский преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в 1882—1894 гг.

[17] Брюлловы — семья художников, родоначальником которой был Георг Брюлло, скульптор-орнаменталист, приехавший в Россию из Германии в 1773 г. Его внук Павел Иванович Брюлло (1760—1833), скульптор-орнаменталист, преподававший в Академии художеств в Петербурге, отец самого знаменитого художника этой семьи — Карла Брюллова (1799—1852). Другие сыновья П. И. Брюлло также были известными художниками: Федор (1795 (1793) ?—1869) — живописец, Александр (1798—1877) — акварелист и архитектор, Иван (1814—1834) — рисовальщик.

[18] Сын И. Е. Репина — Юрий Ильич (1877—1954) — был художником, писал картины на исторические, жанровые сюжеты, портреты и пейзажи. Дочь — Вера Ильинична (1872—1948) — художница-любительница.

[19] Главой большого семейства Маковских был Егор Иванович (1802—1886), художник-любитель, коллекционер, собиравший в основном рисунки, акварели, гравюры; один из основателей в 1832 г. в Москве Художественного класса, преобразованного в 1842 г. в Московское училище живописи. Автор имеет в виду детей Е. И. Маковского: Константина Егоровича (1839—1915), исторического живописца, портретиста; Николая Егоровича (1842—1886), пейзажиста; Владимира Егоровича (1846—1920), жанриста, портретиста; Александру Егоровну (1837—1915), пейзажиста.

[20] Семья Бенуа составила целую художественную династию. Наиболее известен Александр Николаевич Бенуа (1870—1960), художник, художественный критик, историк искусства, основатель художественного объединения «Мир искусства». Дед А. Н. Бенуа по материнской линии — А. К. Кавос (1800—1863), зодчий, строитель крупнейших театральных зданий Москвы и Петербурга. Отец — Николай Леонтьевич Бенуа (1813—1898), архитектор. Братья А. Н. Бенуа — Леонтий Николаевич Бенуа (1856—1928), архитектор; Альберт Николаевич Бенуа, акварелист (см. примеч. 15 к главе 15). Дети сестры — Екатерины Николаевны Бенуа (1850—1933), вышедшей замуж за скульптора Е. А. Лансере (1848—1886), — продолжили уже в четвертом поколении художественную традицию семьи: Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884—1967) и Евгений Евгеньевич Лансере (1875—1946) — известные художники. Сын А. Н. Бенуа — Николай Александрович (1901—1988), главный художник театра Ла Скала в Милане, жил во Франции.

[21] Брюллов Павел Александрович (1840—1914), живописец. Сын архитектора и акварелиста Александра Павловича Брюллова (см. примеч. 17 к наст. главе). В собрании П. М. Третьякова было две картины художника и одиннадцать этюдов, привезенных из путешествия Брюллова в Алжир в 1882—1883 гг.

[22] Речь идет о картинах «Варят варенье» (1876) и «Оправданная» (1882), приобретенных у автора П. М. Третьяковым (обе — в ГТГ).

[23] Портреты певца Осипа Афанасьевича Петрова (см. примеч. 24 к главе 7) 1870 г. и композитора Александра Сергеевича Даргомыжского (1813—1869) 1871 г. приобретены у автора П. М. Третьяковым (оба — в ГТГ). Портрет А. С. Даргомыжского написан К. Е. Маковским по фотографии по заказу П. М. Третьякова; им был заменен не удовлетворивший собирателя портрет композитора, исполненный ранее А. Г. Горавским (см. примеч. 75 к наст. главе).

[24] Картина «Алексеич» (1881) приобретена П. М. Третьяковым в 1882 г. (ныне — в ГТГ).

[25] Речь идет о картинах: «Семейный портрет» (1882, ГРМ), «Боярский пир» (1883, частный музей Хиллвуд близ Вашингтона), «Русалки» (1879, ГРМ).

[26] Маковский Александр Владимирович (1869—1924), живописец, жанрист, работал также в портретном и пейзажном жанрах.

Маковский Константин Владимирович (1870—?), в 1895 г. окончил архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

[27] Маковский Сергей Константинович (1877—1962), художественный критик, основатель и редактор журнала «Аполлон» (1909—1917), поэт, автор ряда книг по проблемам русского искусства начала XX столетия.

[28] Речь идет о картине З. Е. Серебряковой «Спящая девочка» (темпера), экспонировавшейся на выставке русского искусства в Нью-Йорке в 1924 г. и проданной с этой выставки.

[29] Имеются в виду: Мария Альбертовна (в замуж. — Черепнина; см. примеч. 16 к главе 15); Камилла Альбертовна (в замуж. — Хорват, 1878—1963), писательница, автор книг для детей, которые сама иллюстрировала; Альберт Альбертович (1879—1927), художник, акварелист; Николай Альбертович (1881—1945), инженер, изобретатель.

[30] Имеются в виду: Бенуа Анна Александровна (в замуж. — Черкасова, 1895—1984) и Бенуа Елена Александровна (в трех последо-

вательных браках — Вышеградская, Браславская, Клеман, 1898—1972) — живописец, станковист, много работала для театра, выполняла декорации по эскизам отца.

[31] См. примеч. 20 к наст. главе. В 1961 г. в Лондоне состоялась выставка произведений семьи Бенуа, в которой помимо работ старших представителей семьи принимали участие сын А. Н. Бенуа — Николай Александрович, дочь — Елена Александровна, племянница — Надежда Леонтьевна Устинова и внук — Александр Черкасов. Экспонировались также произведения З. Е. Серебряковой и ее дочери Екатерины.

[32] Речь идет о детях И. Е. и В. А. Репиных: Вере Ильиничне (см. примеч. 18 к наст. главе), Надежде Ильиничне (1874—1931), Юрии Ильиче (см. примеч. 18 к наст. главе), Татьяне Ильиничне (в замуж. — Язевой, 1880—1957).

[33] И. Е. Репин поселился с семьей в Москве в сентябре 1877 г. Весной 1876 г. художник вернулся из Парижа, где жил (1873—1876) как пенсионер Академии художеств, и к осени этого года Репин уехал с семьей к себе на родину в Чугуев, прожив там до конца лета 1877 г. В сентябре 1882 г. Репин из Москвы переехал в Петербург.

[34] Чистяков Павел Петрович (1832—1919), исторический живописец и портретист, рисовальщик, акварелист, педагог. Преподавал в Академии художеств (1872—1892), заведовал мозаичным отделением (1890—1912), вел занятия в своей мастерской. После ухода И. Е. Репина из Академии руководил его мастерской в Высшем художественном училище при Академии художеств (1908—1910). Создав собственную систему обучения, Чистяков способствовал развитию дарования молодых художников, учившихся у него: В. Д. Поленова, В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, В. А. Серова и других. И. Е. Репин, не являясь учеником П. П. Чистякова, пользовался его советами.

[35] Репины жили в Москве сначала в Большом Теплом переулке у Девичьего поля, затем в Большом Трубном переулке.

[36] В Петербурге Репины жили в 1882—1895 гг. в доме по Екатерингофскому проезду (ныне — пл. Репина), с осени 1895 по 1903 г. — в профессорской квартире Академии художеств.

[37] В Художественном отделе Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 г. экспонировались следующие произведения И. Е. Репина: «Христос воскрешает дочь Иаира» («Воскрешение дочери Иаира», 1871), «Бурлаки на Волге» (1870—1873), «Проводы новобранца» (1880; ныне все — в ГРМ), «Портрет В. В. Стасова» (1873), «Протодиакон» (1877; оба — в ГТГ), «Портрет Ю. И. Репина, сына художника, в детстве» (1882). См.: Указатель Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 года в Москве. М., 1882, с. 18; Иллюстрированный каталог художественного отдела Всероссийской выставки в Москве 1882 г. СПб., 1882, с. 30—31.

[38] Портрет Л. Н. Толстого (1887) и небольшая картина «Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне» (1887) приобретены П. М. Третьяковым у художника в 1887 г. (оба — в ГТГ).

Портрет Василия Кирилловича Сютаева (1819—1892), основателя секты евангелистов в Тверской губернии, единомышленника Л. Н. Толстого (1882, ГТГ), приобретен П. М. Третьяковым у автора в 1884 г. по совету Л. Н. Толстого.

Портрет Афанасия Афанасьевича Фета (1882, ГТГ) выполнен по заказу П. М. Третьякова.

Речь идет о портрете И. С. Тургенева, написанном Репиным в 1879 г. и находящемся ныне в Севастопольском художественном музее. Третьяковской галерее принадлежит портрет Тургенева, исполненный Репиным в 1874 г. в Париже по заказу П. М. Третьякова. Портрет, в этом же году приобретенный собирателем, не удовлетворил его, и Третьяков заказал портрет писателя И. Н. Крамскому, который отказался от этого лестного для него заказа. Переживая неудачу с портретом Тургенева, Репин предложил заменить его портретом историка И. Е. Забелина (1877). Эта замена была произведена в 1877 г. Портрет Тургенева перешел в собственность С. И. Мамонтова, в 1883 г. был подарен им Румянцевскому музею. В 1925 г. он вновь поступил в Третьяковскую галерею.

[39] Бларамберг Елена Ивановна (в замуж. — Апрелева, литературный псевдоним — Е. И. Ардова; 1846—1923), писательница и переводчица.

Бларамберг Павел Иванович (1841—1908), композитор, публицист, общественный деятель. В ГТГ имеются его портреты, исполненные И. Е. Репиным (1884) и В. А. Серовым (1888). Оба — из собр. А. К. Врангеля.

[40] В отделе рукописей ГТГ хранятся рисунки И. С. Тургенева, исполненные в феврале 1879 г., — Венера Медицейская, типы церковного старосты и нотариуса (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5776).

[41] Речь идет о картинах «Отдых» (1882) и «Стрекоза» (1884), приобретенных П. М. Третьяковым у автора (ныне — в ГТГ).

[42] Картина «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году» (1879) была приобретена П. М. Третьяковым у автора в 1879 г.

Работу над картиной «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1585 года» (1885) художник начал в Москве, завершил в Петербурге. Приобретена П. М. Третьяковым у автора в 1885 г.

Картина «Не ждали» (1884—1888) написана художником в Петербурге; приобретена П. М. Третьяковым в 1885 г. Репин неоднократно возвращался к картине, уже принадле-

жавшей Третьякову, переписывая лицо входящего. Все — в ГТГ.

[43] «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1891, ГРМ). Вариант, исполненный художником в 1896 г., был приобретен П. М. Третьяковым у Репина в 1897 г. и до 1931 находился в ГТГ (с 1931 — в Харьковском гос. музее изобразительных искусств). В ГТГ есть эскиз картины (1880).

[44] «Бурлаки на Волге» (1870—1873, ГРМ). Вариант картины — «Бурлаки, идущие вброд» (1872) находится в ГТГ.

[45] См. примеч. 6 к главе 19.

[46] Портрет А. Г. Рубинштейна, исполненный по заказу П. М. Третьякова в 1881 г., находится в ГТГ. В том же году И. Е. Репин начал портрет композитора, который был им оставлен и завершен лишь в 1887 г.; художник вносил изменения в этот портрет и в 1893 г. Это так называемый «Портрет дирижирующего Рубинштейна». До 1918 г. портрет принадлежал петербургскому коллекционеру Н. Д. Ермакову (ныне — в ГРМ). В 1915 г. Репиным был исполнен еще один портрет Рубинштейна, в рост (ныне — Самара, Художественный музей).

[47] См. примеч. 6 и 8 к главе 21.

[48] Ермолова 2-я — Ермолова Мария Ивановна, двоюродная сестра М. Н. Ермоловой, с 1886 г. — актриса Малого театра. В те же годы на сцене Малого театра играла родная сестра М. Н. Ермоловой — Александра Николаевна Ермолова-Кречетова (1859—1914).

[49] «Блуждающие огни» — пьеса Л. Н. Антропова (1843—1884), впервые поставлена на сцене Малого театра в 1873 г. в бенефис Г. Н. Федотовой.

[50] Горев Федор Петрович (наст. фамилия — Васильев, 1850—1910), актер, много игравший на сценах провинциальных театров в 1866—1880 гг., в 1880—1890-х гг. — на сценах императорских театров Петербурга и Москвы — Александринском и Малом.

[51] Васнецова Александра Владимировна (урожд. Рязанцева, 1850—1933), с 1877 г. — жена В. М. Васнецова. Родилась в Вятке, в купеческой семье. Закончила Первые женские врачебные курсы Медико-хирургической академии при Николаевском военном госпитале в Петербурге (1872—1877).

[52] Речь идет о картине «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880). Картина написана на сюжет из «Слова о полку Игореве». Экспонировалась на VIII выставке Товарищества передвижников в 1880 г. и тогда же была приобретена П. М. Третьяковым (ныне — в ГТГ).

[53] «Аленушка» (1881) приобретена у автора В. В. фон Мекком, у которого в 1900 г. Советом галереи приобретена для Третьяковской галереи.

Киевская Мадонна — имеется в виду эскиз «Богоматерь с младенцем» (бумага, уголь) для изображения в апсиде Владимирского собора в Киеве, подаренный художником П. М. Третьякову. Справа внизу на эскизе имеется авторская надпись: *Викторъ Васнецовъ Павлу Михайловичу Третьякову 1894 г. 25 ноября.*

Картина «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897) приобретена П. М. Третьяковым в 1897 г. у автора. Все — в ГТГ.

[54] «Каменный век» (1882—1885, Гос. Исторический музей). В ГТГ имеются эскизы и этюды к этой работе.

[55] Готовясь к работе над росписями Владимирского собора, В. Васнецов предпринял в апреле—мае 1885 г. поездку в Италию, стремясь увидеть монументальную живопись старых мастеров эпохи Возрождения. Он посетил Венецию, Равенну, Флоренцию и Рим. Закладка Владимирского собора состоялась в 1863 г. Основное строительство проходило в 1875—1886 гг. Работа В. Васнецова в соборе продолжалась десять лет (1885—1896). Художник исполнил основные росписи Владимирского собора в центральной апсиде, куполе, главном иконостасе, всего пятнадцать многофигурных композиций и тридцать отдельных фигур. Помимо этого, все орнаменты центральной части собора делались по его рисункам и при его участии. П. М. Третьяков высоко ценил эту работу. Большинство эскизов Васнецова к росписям — живописных и акварельных — было приобретено собирателем непосредственно у художника.

[56] Речь идет о карандашном портрете Веры Павловны, который находился в семье художника и поступил в ГТГ в 1940 г. от А. В. и Т. В. Васнецовых.

[57] «Фауст-симфония», «Тассо», «Мефисто-вальс» — симфонические поэмы Ф. Листа, переложенные композитором для фортепиано.

[58] Ваня Третьяков скончался 23 января 1887 г. (см. примеч. 5 к главе 1). См. также примеч. 38 к главе 4.

[59] В. П. и А. И. Зилоти в 1892—1900 гг. жили в Париже, Антверпене, Лейпциге. А. И. Зилоти много концертировал в эти годы в Англии, Германии и других странах Европы. П. И. Чайковский называл Зилоти «агентом русской музыки». Возвратившись в Россию, Зилоти занял в 1901 г. пост главного дирижера Московского филармонического общества. В 1903 г. Зилоти переехали в Петербург, где Александр Ильич организовал симфонические и камерные концерты, которые в течение двух десятилетий находились в центре музыкальной жизни Петербурга-Петрограда.

[60] В. П. Зилоти входила в состав Совета Третьяковской галереи в 1913—1917 гг. Попечителем галереи в этот период был И. Э. Грабарь, избранный на этот пост Московской городской думой в 1913 г. (см. примеч. 94 к наст. главе).

[61] Мещерина Валентина Михайловна (в замуж. — Грабарь, 1862—1959).

[62] Речь идет о картине «Утро стрелецкой казни» (1879—1881), экспонированной на IX выставке Товарищества передвижников в 1881 г. и тогда же приобретенной П. М. Третьяковым у автора (ныне — в ГТГ).

[63] «Меншиков в Березове» (1881—1883) приобретена П. М. Третьяковым в 1883 г. у автора (ныне — в ГТГ).

[64] Сурикова Елизавета Августовна (урожд. Шарэ, 1858—1888), жена В. И. Сурикова с 1878 г. По материнской линии происходила из рода декабриста П. Н. Свистунова. Послужила моделью для дочери Меншикова (сидящей у ног отца) в картине «Меншиков в Березове».

[65] Дочери Е. А. и В. И. Суриковых: Ольга Васильевна (в замуж. — Кончаловская, 1878—1958) и Елена Васильевна (1880—1963). См. также примеч. 73 и 74 к наст. главе.

[66] Суриковы жили в Мытищах летом 1885 г.

[67] Таузиг Карл (Кароль, 1841—1871), польский пианист, композитор, педагог, ученик Ф. Листа. По национальности чех. Исполнитель многих произведений А. Г. Рубинштейна. Современная ему пресса сравнивала исполнительское мастерство Таузига с игрой А. Г. Рубинштейна.

[68] «Боярыня Морозова» (1884—1887) экспонировалась на XV выставке Товарищества передвижников в 1887 г., тогда же приобретена П. М. Третьяковым у автора (ныне — в ГТГ).

[69] Пристройки к своему жилому дому специально для галереи П. М. Третьяков начал делать с 1872 г. Первая, двухэтажная, составляющая два больших зала (1872—1874), примыкала непосредственно к жилому дому Третьяковых. Затем были осуществлены пристройки 1882, 1885, 1892 и 1897 гг.

[70] По завещанию П. М. Третьякова жилая часть дома перешла в собственность галереи. Решение о перестройке жилого дома Третьяковых и его приспособлении к картинной галерее было принято Московской городской думой в середине 1899 г. (вскоре после смерти 26 марта 1899 г. В. Н. Третьяковой). В бывшем доме Третьяковых предполагалось разместить: во втором этаже — экспозицию икон, завещанных П. М. Третьяковым, два больших зала для новых приобретений и мемориальную комнату памяти П. М. Третьякова; в нижнем этаже — различные службы галереи. Одновременно Дума приняла решение и о строительстве нового фасада галереи, который бы объединил перестроенный дом и основное здание галереи. Разработать проект нового фасада в «русском характере» было поручено В. М. Васнецову, который исполнил эту ответственную работу безвозмездно, в память высокочтимого им П. М. Третьякова. Перестройка началась летом 1900 г., строительство нового фасада завершилось в 1902 г., все работы — в 1904 г.

[71] Картина В. Г. Перова «Никита Пустосвят. Спор о вере» (1880—1881) была приобретена П. М. Третьяковым в 1882 г. у наследников художника (ныне — в ГТГ).

[72] Картина Н. Н. Ге (см. примеч. 96 к наст. главе) «Тайная вечеря» (ГРМ) исполнена художником в 1863 г. во Флоренции, где он жил в это время в качестве пенсионера Академии художеств. Картина была так высоко оценена, что академический Совет в порядке исключения, минуя звание академика, удостоил Ге за эту картину звания профессора исторической живописи. В ГТГ имеется уменьшенное повторение картины 1866 г., принадлежавшее ранее К. Т. Солдатенкову.

[73] В. П. Зилоти ошибается: старшая дочь Сурикова, Ольга Васильевна (см. примеч. 65 к наст. главе), вышла замуж в 1902 г. за художника Петра Петровича Кончаловского (1876—1956) и прожила долгую жизнь. В. И. Сурикова и П. П. Кончаловского связывала большая дружба, несмотря на значительную разницу в возрасте.

[74] Сурикова Елена Васильевна (см. примеч. 65 к наст. главе), младшая дочь художника, закончила исторический факультет Высших женских курсов, преподавала историю в средних учебных заведениях, принимала деятельное участие как режиссер и исполнитель в театральных постановках на сценах клубных театров. Е. В. Сурикова не была замужем. Вероятно, автор имеет в виду художника Дмитрия Анфимовича Щербиновского (1867—1926), учившегося в Академии художеств в 1891—1896 гг.

[75] Горавский Аполлинарий Гиляриевич (1833—1900), пейзажист, портретист, исторический живописец. Познакомился с П. М. Третьяковым весной 1856 г., был в многолетних дружеских отношениях с собирателем, поддерживал с ним постоянную переписку. В собрании П. М. Третьякова имелось три работы художника: «Пейзаж на родине» (1860; в 1932 г. картина передана в Художественный музей г. Козлова), «Коровы» (1870), «Портрет художника Ф. А. Бруни» (1871; два последних — в ГТГ).

[76] Трутовский Константин Александрович (1826—1893), жанрист, рисовальщик, иллюстратор. Знакомство с П. М. Третьяковым относится ко второй половине 1850-х гг. В собрании П. М. Третьякова имелась одна картина художника — «Хоровод в Курской губернии» (1860), приобретенная в 1860 г. у автора, и два акварельных рисунка — «После обеда в летнее время» и «Помещица» (все — в ГТГ).

[77] Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902), скульптор. Знакомство с П. М. Третьяковым относится к 1869 г., когда по совету А. Г. Горавского молодой скульптор исправил отбитую ногу в деревянной скульптуре «Лошадь» П. К. Клодта, принадлежавшей Третьякову, который высоко ценил талант скульптора. Не собирая систематически скульптуру, Третьяков сделал лишь немногие исключения для ряда произведений Антокольского. Его галерее принадлежали: «Иван Васильевич Грозный» (1871), «Голова Христа» (1876), «Не от мира сего» (1888; все — мрамор, ГТГ).

[78] Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927), пейзажист, исторический живописец, автор серии картин из евангельской истории «Из жизни Христа». Первым произведением,

приобретенным П. М. Третьяковым у автора в 1875 г., была его картина «Право господина» (1874, ГТГ).

[79] Куинджи Архип Иванович (1841 (1842)?—1910), пейзажист. Первой картиной, приобретенной у автора П. М. Третьяковым в 1873 г., был пейзаж «На острове Валааме» (1873, ГТГ).

[80] Бодаревский Николай Корнилиевич (1850—1921), пейзажист, жанрист, портретист. В собрании П. М. Третьякова была одна работа художника — «Рыбак» («Старый рыбак», 1883, ГТГ).

[81] Мясоедов Григорий Григорьевич (1834—1911), жанрист, портретист, автор картин на исторические сюжеты, пейзажист. Один из инициаторов создания и член-учредитель в 1870 г. Товарищества передвижных художественных выставок. Первым произведением, приобретенным Третьяковым у автора в 1872 г., была картина «Земство обедает» (1872, ГТГ).

[82] Ярошенко Николай Александрович (1846—1898), живописец, рисовальщик, жанрист, портретист. Первыми картинами, приобретенными у автора в 1878 г. П. М. Третьяковым, были «Кочегар» (1878) и «Заключенный» (1878; обе — в ГТГ).

[83] Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896), живописец, акварелист, пейзажист, автор картин на сюжеты из истории русского флота. Внук А. Н. Радищева, основатель в 1885 г. и пожизненный попечитель Художественного музея им. А. Н. Радищева в Саратове — (ныне Саратовский гос. художественный музей им. А. Н. Радищева). Первой картиной, приобретенной П. М. Третьяковым в 1868 г. у Негри при посредстве автора, был пейзаж «Золотой Рог в Константинополе» (1864, ГТГ).

[84] Харламов Алексей Алексеевич (1840—1922), портретист, исторический живописец.

[85] Леман Егор (Юрий) Яковлевич (1834—1901), исторический живописец, портретист. В 1881 г. П. М. Третьяков приобрел у автора картину «Дама в костюме времен Директории» (1881, ГТГ).

[86] Романн Роман (Роберт) Федорович (1845—1893), живописец, пейзажист. П. М. Третьяковым был приобретен этюд «Море» (ГТГ).

[87] В собрании П. М. Третьякова была одна живописная работа Н. Н. Гриценко (см. примеч. 26 к главе 9), «Броненосный крейсер 1 ранга «Адмирал Корнилов» во время постройки в С.-Назере, в Бретани» (1889, ГТГ).

[88] Ткаченко Михаил Степанович (1860—?), окончил Академию художеств в 1887 г. В собрании ГТГ нет работ художника.

[89] Было два художника Ендогурова: Иван Иванович (1861—1898), живописец, пейзажист, и его брат, Сергей Иванович (1864—1894), акварелист. П. М. Третьяков приобрел в 1888 г. этюд И. И. Ендогурова «Начало бури» (конец 1880-х гг.). В его собрании имелась также акварель С. И. Ендогурова «Морской вид в Норвегии» (оба — в ГТГ).

[90] Дягилев Сергей Павлович (1872—1929), театральный и художественный деятель. Вместе с А. Н. Бенуа создал художественное объединение «Мир искусства» (1889) и одноименный журнал, редактором которого был. Организатор выставок русского искусства в Париже, Берлине, Венеции и знаменитых «Русских сезонов» (с 1907) в Европе.

[91] Врубель Михаил Александрович (1856—1910), живописец, график, скульптор, театральный художник, монументалист. Работал в жанре портрета, пейзажа, станковой картины.

[92] Сомов Константин Андреевич (1869—1939), живописец, рисовальщик, акварелист, мастер книжной графики. Работал в жанре малой пластики (исполнил ряд статуэток из фарфора). Жанрист, пейзажист, портретист. П. М. Третьяков приобрел у Сомова в 1898 г. картину «Сумерки в старом парке» (1897, ГТГ).

[93] Добужинский Мстислав Валерьянович (1875—1957), график, живописец и художник театра. Один из крупнейших художников объединения «Мир искусства», участник его выставок.

[94] Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960), живописец, пейзажист, портретист. Историк искусства, художественный критик, крупный художественный деятель. Попечитель Третьяковской галереи в 1913—1917 гг., затем до 1925 г. — директор Гос. Третьяковской галереи. В 1913—1915 гг. осуществил перестройку экспозиции галереи, основанную на принципах научного историзма и строгой логике развития русского искусства. Предпринял первую полную обработку собрания галереи, издав в 1917 г. полный каталог ее собрания.

Было два художника Милиоти. Более известен Милиоти Николай Дмитриевич (1874—1962), живописец, график. Член художественных объединений «Мир искусства» и «Голубая роза». В начале 1920-х гг. уехал за границу, жил в Париже; работал как театральный художник, занимался преподавательской деятельностью. Его брат, Милиоти Василий Дмитриевич (1875—1943), живописец, участник выставок «Союза русских художников». «Голубой розы». Заведовал издательским отделом журнала «Золотое руно» (1906—1909).

[95] Яремич Степан Петрович (1869—1939), живописец, график, пейзажист. Член объединения «Мир искусства», историк искусства и музейный деятель. Автор известной монографии «М. А. Врубель. Жизнь и творчество» (М., 1911), а также ряда статей, посвященных творчеству В. А. Серова.

[96] Ге Николай Николаевич (1831—1894), исторический живописец и портретист. Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок. Последователь религиозно-нравственного учения Л. Н. Тол-

стого. Его жена (с 1856) — Анна Петровна Ге (урожд. Забелло, 1832—1891), сестра скульптора П. П. Забелло (см. также примеч. 72 к наст. главе).

[97] Имение «Монастырище», принадлежавшее П. И. Забелло, отцу Анны Петровны, находилось в Нежинском уезде Черниговской губернии. Н. Н. Ге с семьей жил на хуторе Ивановском Борзенского уезда Черниговской губернии, приобретенном в 1875 г. Пережив глубокий духовный и творческий кризис, Ге решил оставить занятия искусством и в 1876 г. переехал на хутор Ивановский, где семья жила до смерти художника в 1894 г.

[98] Всероссийская промышленно-художественная выставка была открыта в Москве 20 мая 1882 г. Она задумывалась как своеобразное подведение итогов, знаменовавших 25-летие царствования Александра II (1855—1881). Выставка состояла из восемнадцати разделов, одним из которых был художественный. Для экспонирования принимались произведения живописи, скульптуры, рисунки, созданные за последние четверть века. «Иллюстрированный каталог» Художественного отдела, включавший около 1000 произведений, был составлен известным историком искусства П. П. Собко, а издан М. П. Боткиным, распорядителем художественной части выставки. В экспозиции находились произведения А. А. Иванова, Н. Н. Ге, В. Г. Перова, И. Е. Репина и других. Многие из картин были предоставлены на выставку П. М. Третьяковым.

[99] Владимир Александрович (1847—1909), великий князь, дядя императора Николая II, президент Академии художеств (с 1876), главнокомандующий Петербургским военным округом и гвардией.

[100] Картина «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871) экспонировалась на I выставке Товарищества передвижников в 1871 г. Приобретена П. М. Третьяковым в 1871 г. у автора (ныне — в ГТГ).

[101] Портрет А. И. Герцена исполнен во Флоренции в 1867 г. Переговоры о приобретении портрета для галереи начались П. М. Третьяковым с 1870 г. Н. Н. Ге очень дорожил портретом и предполагал сам «подарить его обществу». Однако стесненные материальные обстоятельства вынудили его в 1878 г. продать портрет А. И. Герцена вместе с портретами историка Н. И. Костомарова (1870) и литератора А. А. Потехина (1876) П. М. Третьякову (все — в ГТГ).

[102] Речь идет о поздних произведениях Н. Н. Ге на евангельские сюжеты, составивших своеобразный цикл «Страданий Христа». В ГТГ находятся следующие произведения цикла: эскиз картины «Выход Христа с учениками с тайной вечери в Гефсиманский сад» (1888), приобретенный Третьяковым в 1889 г. у автора (картина того же названия, исполненная в 1889 г., находится в ГРМ); «Что есть истина?» Христос перед Пилатом» (1890), приобретена Третьяковым в 1890 г. по совету Л. Н. Толстого; «Совесть. Иуда» (1891), «Суд Синедриона. «Повинен смерти!» (1892), «Голгофа» (1893), «Распятие» (два варианта — 1892 и 1894 гг., после смерти Н. Н. Ге были подарены в 1897 г. Третьяковской галерее сыном художника, Н. Н. Ге-младшим). Однако «Суд Синедриона», «Голгофа», «Распятие» были запрещены цензурой для экспонирования и размещались Третьяковым в особом, закрытом для публики помещении. После смерти Третьякова Совет галереи поместил в постоянную экспозицию лишь «Голгофу». В 1899 г. Н. Н. Ге-младший переехал на постоянное жительство за границу и увез с собой оба варианта «Распятия». Вариант 1892 г. находится ныне в Музее д'Орсе в Париже, вариант 1894 г. утрачен.

[103] Речь идет о сыне художника — Петре Николаевиче Ге (1859 — после 1927) и невестке — Екатерине Ивановне (урожд. Забелло, 1859 — 1918), жене П. Н. Ге с 1883 г.

[104] Прадед В. Д. Поленова по отцовской линии — А. Я. Поленов — был первым русским правоведом в XVIII в., получившим образование в университетах Страсбурга и Геттингена. Предком Поленова по материнской линии был известный архитектор XVIII в. Н. А. Львов. Научные и художественные традиции семьи сохранялись и развивались в нескольких поколениях. Отец художника — Дмитрий Васильевич (1806—1878) — был археологом и библиографом, долголетним секретарем Русского Археологического общества; мать — Мария Алексеевна (урожд. Воейкова, 1816—1895) — художницей-любительницей и детской писательницей.

[105] Речь идет о картине «Больная» (1886), приобретенной П. М. Третьяковым у автора в 1886 г. Вера Павловна ошибается, считая, что это была вторая покупка картины Поленова. В 1875 г. Третьяков купил у художника картину «Право господина», в 1878 г. — «Московский дворик» (1878); в 1885 г. была приобретена большая серия восточных этюдов Поленова.

[106] Имеется в виду исполнение партий Татьяны в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и Тамары в опере А. Г. Рубинштейна «Демон».

[107] «Христос и грешница» (1888, ГРМ); два эскиза к картине — 1876 и 1885 гг. — в ГТГ.

[108] Результатом поездки в Египет, Палестину, Сирию, Грецию явилась большая серия этюдов. Пятьдесят пять из них были приобретены Третьяковым у автора в 1885 г.

Картина «На Тивериадском (Генисаретском) озере» (1888, ГТГ) также приобретена Третьяковым у автора.

[109] Дом, в котором жили в Москве В. Д. и Н. В. Поленовы в 1882—1888 гг., находился в Самарском переулке на Божедомке (район нынешних улиц Достоевского и Дурова). Дом принадлежал П. И. Толстому. В. П. Зилоти заблуждается: картины «Московский дворик» и «Бабушкин сад» были написаны художником

в 1878 г., когда он жил в доме на углу Трубниковского и Дурновского переулков близ церкви Спаса на Песках. Считается, что шатер этой церкви изображен художником в картине «Московский дворик» (ныне — в ГТГ).

[110] У В. Д. и Н. В. Поленовых было шестеро детей: Федор Васильевич (1884—1886), Дмитрий Васильевич (1886—1967, директор музея В. Д. Поленова), Екатерина Васильевна (в замуж. — Сахарова, 1887—1980, литератор), Мария Васильевна (в замуж. — Мориц, 1891—1976), Ольга Васильевна (1894—1973, работник детского театра), Наталия Васильевна (1898—1964, художница).

[111] Поленовы жили в Жуковке летние месяцы в 1887—1889 гг.

[112] Поленова Елена Дмитриевна (1850—1898), живописец, график, иллюстратор русских народных сказок, участница Абрамцевского художественного кружка. Вместе с Е. Г. Мамонтовой стала зачинательницей, а затем и руководила столярной резчицкой мастерской в Абрамцеве.

[113] Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910), драматическая актриса, на сцене с 1890 г., сначала в провинции, затем в Петербурге в Императорском Александринском театре; в 1904 г. создала «Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской». В 1885 г. после трагического разрыва с мужем, художником-любителем графом В. Л. Муравьевым, она приехала лечиться в Липецк, где сблизилась с семьей Зилоти. Преданным другом Комиссаржевской стал А. И. Зилоти. Актриса не раз участвовала в симфонических концертах Московского филармонического общества, с 1903 г. — в симфонических и камерных «Концертах А. Зилоти» (мелодекламация).

[114] Эвзебиус, или Эвзебий, и Флорентан — образы в музыкальных и литературных произведениях Р. Шумана, олицетворяющие двойственность его натуры. С одной стороны, созерцательность, с другой — романтический порыв, устремленность в будущее.

[115] Первой женой художника была Елизавета Кондратьевна Фишер (по отчиму Рид, 1856—1941). В 1890 г. брак был расторгнут.

[116] В Мюнхене в 1871—1874 гг. Верещагин работал над картинами Туркестанской серии. Из воспоминаний А. П. Боткиной известно, что в 1872 г. П. М. Третьяков посетил мюнхенскую мастерскую художника (см.: *Боткина А. П.* Указ. соч., с. 139).

[117] В России впервые картины Балканской серии были экспонированы Верещагиным в Петербурге в 1880 г. Вероятно, В. П. Зилоти видела их на второй выставке, состоявшейся в Москве в апреле — мае 1883 г. Упомянуты картины: «Под Плевной» («Александр II под Плевной 30 августа 1877 года», 1877—1878), «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877—1878; обе — в ГТГ) и триптих «На Шипке все спокойно!» («Часовой на Шипке», 1877—1878; местонахождение неизвестно).

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882), русский генерал, в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. руководил в сражениях под Плевной и при Шипке-Шейново.

Мендельсон (Мендельсон-Бартольди) Якоб Людвиг Феликс (1809—1847), немецкий композитор, дирижер, пианист и органист. Основатель первой немецкой консерватории в Лейпциге (1843).

[118] П. М. Третьяков в 1880 г. на аукционе в Петербурге приобрел отдельные этюды из Индийской серии. Более двадцати полотен, составляющих Балканскую серию, Верещагин хотел продать в России «нераздельной галерей». Переговоры о ее приобретении велись уже в 1879 г. Однако первый претендент на покупку, великий князь Александр Александрович, отказался, так как двору не понравилась трактовка темы. Третьяков был согласен на все довольно жесткие условия, поставленные художником, но Верещагину показалось обидным суждение коллекционера о картине «Пленные», присланной в том же году в Петербург для представления будущей серии. Сделка не состоялась. Картины были распроданы в отдельные собрания. Лишь в 1883 г. Третьяковым были приобретены: «Александр II под Плевной 30 августа 1877 года», «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой», «Перед атакой. Под Плевной» (1881), а в 1887 г. — «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной» (1881). — Все — в ГТГ.

[119] 31 марта 1904 г. Верещагин погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» у Порт-Артура во время русско-японской войны.

[120] См. примеч. 80 к наст. главе.

[121] Речь идет о родовом имении Кузнецовых в селе Степановцы Херсонской губернии. Д. Д. Кузнецов, также художник, работавший как портретист, часто бывал героем жанровых сцен в небольших картинах брата, Н. Д. Кузнецова (см. примеч. 14 к наст. главе). Так, в картине «После обеда», принадлежавшей собранию Третьякова, изображены Д. Д. Кузнецов, О. И. Мечникова и ее сестра (1888, ГТГ).

[122] Имеется в виду Кузнецова Анна Григорьевна, жена Н. Д. Кузнецова. В ГТГ находится картина «Ключница» («Портрет Анны Григорьевны Кузнецовой, жены художника», 1887), приобретенная Третьяковым у автора.

[123] В 1893 г. в Одессе во время гастролей Петра Ильича Чайковского в Одесском отделении Русского музыкального общества Н. Д. Кузнецов по заказу Третьякова писал портрет композитора. П. И. Чайковский назвал этот портрет «удивительнейшим», а М. И. Чайковский писал: «Зная, как я знал брата, могу сказать, что лучшего, более верного, более потрясающе жизненного изображения я не знаю» (*Чайковский М.* Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т. 3; 1902, с. 599). В 1894 г. портрет был подарен Третьяковым галерее.

[124] «Aveu» (молитва Богородице, признание), пьеса из сюиты Шумана «Карнавал» (1835).

[125] Григ Эдвард (1843—1907), норвежский композитор, пианист, дирижер, был дружен с А. И. Зилоти.

[126] Опера Жоржа Бизе (1838—1875) «Кармен» (1873—1874) впервые была поставлена в 1875 г. в театре «Опера Комик» в Париже. Имеется также в виду музыка Бизе к драме Альфонса Доде «Арлезианка», премьера спектакля состоялась в 1872 г. в театре «Водевиль» в Париже.

[127] Ферни-Джиральдони (а не Ферни-Джермано) Каролина (Каролина Людвиговна, 1839—1923/1926), итальянская скрипачка, певица (сопрано), педагог по вокалу. С 1888 г. давала частные уроки пения в Петербурге, в 1895—1921 гг. — профессор Петербургской (Петроградской) консерватории. В 1921 г. уехала в Италию.

[128] Галли-Марье Селистин (наст. фамилия — де Лиль, 1840—1905), французская певица (меццо-сопрано). В 1862—1885 гг. — ведущая актриса «Опера Комик». Мировую славу ей принесло исполнение партий Миньон («Миньон» А. Тома, 1866) и Кармен (1875).

[129] В. П. Зилоти ошиблась. См. примеч. 126 к наст. главе.

[130] Не установлено, какая картина Бодаревского имеется в виду. По описанию можно предположить, что речь идет о холсте «Песнь жаворонка», экспонировавшемся в 1882 г. на X выставке Товарищества передвижников. Единственное отличие — изображенные в этой картине «барышни» одеты в европейское платье.

[131] Осенью 1886 г. Бодаревский женился на дочери киевского врача Анне Артуровне Шеффер. 7 ноября 1886 г. Н. Д. Кузнецов писал И. С. Остроухову: «Николаша Бодаревский женился и … я месяца два как хожу самостоятельно» (ОР ГТГ, ф. 10, ед. хр. 3359, л. 1).

ГЛАВА 23

ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

[1] Речь идет о религиозно-философских трудах Л. Н. Толстого «Исповедь» (1879—1880), «В чем моя вера» (1882—1884), в которых автор впервые высказал резко отрицательное отношение к официальной церкви и привилегиям дворянства.

[2] В Москве Толстые поселились осенью 1881 г. В июле 1882 г. они купили дом по Долгохамовническому переулку, куда переехала вся семья. К 1882 г. у Толстых было восемь детей: Сергей (1863—1947), Татьяна (1864—1950), Илья (1866—1933), Лев (1869—1945), Мария (1871—1906), Андрей (1877—1916), Михаил (1880—1944), Алексей (1881—1886).

Сергей Львович (псевдоним — С. Бродинский), мемуарист, композитор, музыкальный критик. В 1886 г. окончил физико-математический факультет Московского университета, получил также музыкальное образование. В 1928/29 г. преподавал музыкальную этнографию в Московской консерватории.

Татьяна Львовна (в замуж. — Сухотина-Толстая), мемуаристка, художница. Училище не закончила. Директор Музея Л. Н. Толстого в Москве (1923—1925). С 1925 г. жила за границей, создала музей Л. Н. Толстого в Риме.

[3] Первоначально Т. Л. Толстая училась в классе В. Г. Перова, о чем вспоминал и художник М. М. Яровой, рассказывая о беседах заходившего в Училище за дочерью Толстого с Перовым. В том же классе учился и Н. С. Третьяков (ОР ГТГ, ф. 4, ед. хр. 215, л. 9).

Прянишников Илларион Михайлович (1840—1894), жанрист; преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества, член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок.

[4] Толстая Софья Андреевна (урожд. Берс, 1844—1919), графиня, жена Л. Н. Толстого (с 1862). Мать многочисленного семейства, помощница и секретарь писателя. Общественная деятельница, писательница.

[5] Толстой Илья Львович (псевдоним — Илья Дубровский), граф (см. примеч. 2 к наст. главе). Мемуарист, писатель. В 1914 г. — военный корреспондент газеты «Русское слово», с 1916 г. жил в США, был режиссером в Голливуде. Пропагандировал творчество и идеи Л. Н. Толстого.

[6] Речь идет о зиме 1882 г. Левитаны: Исаак Ильич (см. примеч. 10 к главе 15) и Адольф (Авель — Лев) Ильич (1858—1933), жанрист, портретист, рисовальщик; в 1871—1882 гг. — ученик Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

[7] Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856—1933), живописец, график, археолог; с 1901 г. — преподаватель пейзажного класса Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

[8] Очевидно, речь идет об Иване Львовиче (1888—1895), последнем ребенке в семье Толстых, родившемся 31 марта 1888 г.

[9] Речь идет об Иване Александровиче Зилоти (см. примеч. 38 к главе 4).

[10] Публицистическая статья Л. Н. Толстого «Не могу молчать» (1908) — протест против смертной казни.

[11] 28 октября 1910 г. Л. Н. Толстой тайно ушел из Ясной Поляны, не выдержав противоречий между своими идеалами и образом жизни большой дворянской семьи. В дороге он простудился и на станции Астапово 7 ноября скончался.

ГЛАВА 24

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ

[1] В. П. Зилоти ошиблась. Танеевым был исполнен Второй концерт (G-dur) для фортепиано с оркестром (ор. 44, 1879—1880), посвященный Н. Г. Рубинштейну. 29 мая 1882 г. П. И. Чайковский писал Н. Ф. фон Мекк: «На первом симфоническом концерте в концертном зале Промышленно-художественной

выставки 18 мая, под управлением Антона Григорьевича Рубинштейна, был в первый раз исполнен С. И. Танеевым второй фортепианный концерт Петра Ильича. Он имел шумный успех, но трудно сказать, сама ли вещь или исполнитель вызвали его» (Цит. по: *Чайковский М.* Указ. соч. Т. 2. 1900, с. 536).

[2] Котек Иосиф Иосифович (1855—1885), скрипач, педагог. Учился в Московской консерватории по классу композиции у П. И. Чайковского. Композитор посвятил ему Вальс-скерцо для скрипки с оркестром (C-dur, ор. 34).

Бродский Адольф Давидович (1851—1929), скрипач. В 1874 — 1878 гг. — младший преподаватель Московской консерватории по классу скрипки. Чайковский посвятил ему Концерт для скрипки с оркестром (D-dur, ор. 35, 1878). В. П. Зилоти ошиблась: 8 августа 1882 г. на Всероссийской промышленно-художественной выставке в шестом симфоническом собрании Русского музыкального общества под управлением И. К. Альтани состоялся концерт из произведений Чайковского, где впервые в России не Котек, а Бродский исполнил концерт для скрипки.

[3] Гильф Арно Адамович (1858—1909), скрипач. Учился в Лейпцигской консерватории. В 1878—1888 гг. — преподаватель Московской консерватории по классу скрипки.

Фитценхаген Василий (Вильгельм) Федорович (1848—1890), виолончелист, композитор. В 1870—1890 гг. — профессор Московской консерватории по классу виолончели.

[4] Концерты Русского музыкального общества помимо просветительских целей служили основным источником доходов, на которые существовала Московская консерватория. Поэтому, следуя уставу 1866 г., преподавательский состав не только был обязан выступать в концертах Русского музыкального общества, но не имел права без согласия Совета консерватории и дирекции Общества участвовать в каких-либо других концертах.

[5] Агренев-Славянский Дмитрий Александрович (наст. фамилия — Агренев, 1834/1836—1908), певец (тенор), хоровой дирижер, собиратель народных песен. В 1868 г. создал смешанный хор «Славянская капелла». В репертуар ее входили народные и псевдорусские песни, исполнение отличалось некоторой манерностью. Чайковский, Римский-Корсаков, Балакирев, Танеев относились к хору отрицательно.

[6] См. примеч. 37 к главе 22.

[7] Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899/1900), писатель. В 1864—1884 гг. — секретарь Общества поощрения художеств, с 1879 г. — заведующий Художественно-промышленным музеем, организованным при Обществе по его инициативе. Состоял в комиссии по устройству Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 г., которая подразделялась на четырнадцать отделов, демонстрируя все отрасли отечественного труда и народного хозяйства. Он был распорядителем по «научно-учебному» отделу, где экспонировались: школьная мебель, учебные пособия, хронометры, часы, измерительные и оптические приборы, а также предметы декоративно-прикладного убранства зданий и интерьеров.

[8] Речь идет о романах Д. В. Григоровича «Рыбаки» (1853), «Переселенцы» (1855—1856) и повести «Гуттаперчевый мальчик» (1883).

[9] Имеется в виду «Портрет писателя Дмитрия Васильевича Григоровича» (1876, ГТГ), который был написан Крамским по заказу Третьякова. В 1876 г. приобретен коллекционером у автора.

[10] Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт и журналист-любитель. Не раз гостил с семьей в имении Тургенева «Спасское-Лутовиново» Орловской губернии. Вероятно, речь идет об осени 1881 г., когда писатель в последний раз посетил родину. О желании Полонских повидаться с семьей Третьяковых свидетельствует письмо Полонского к В. Н. Третьяковой от 7 мая 1881 г., в котором он писал: «Тургенев здесь. Он зовет всех нас в свою деревню. Если меня отпустят, хоть для того, чтоб проводить в Орловскую губернию семью мою, то проездом через Москву мы постараемся с Вами повидаться» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5587, л. 1 об.).

Полонская Жозефина Антоновна (урожд. Рюльман, 1844—1920), скульптор. Автор надгробия И. С. Тургенева (1885, Санкт-Петербург, некрополь «Литераторские мостки» Волкова кладбища).

У Полонских было трое детей: Александр Яковлевич (1868—1934), Наталья Яковлевна (1870—1929), Борис Яковлевич (1875—1923).

[11] Брюллов Владимир Александрович, надворный советник, брат художника П. А. Брюллова.

[12] Эрихсоны Эрнест Яковлевич и Альбина Романовна, старые друзья семьи Третьяковых. Они жили в Петровском парке в собственном доме по Правому шоссе. По воспоминаниям В. Н. Третьяковой, Э. Я. Эрихсон был «вполне свободный человек, не знающий, куда время девать», отличался тяжелым характером, но «любил природу и возиться с садом, и самому копаться в земле» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5288, л. 27 об.).

ГЛАВА 25

КОНЦЕРТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

[1] Губерт Николай Альбертович (1840—1888), профессор теории музыки, музыкальный критик. В 1881—1883 гг. — директор Московской консерватории. В 1869—1870 гг. — руководитель хоровых классов Русского музыкального общества и капельмейстер Частной оперы в Киеве.

[2] Эрдмансдёрферы: Макс Карл Кристиан (Макс Карлович, 1848—1905), немецкий дирижер, профессор Московской консерватории

по классам оркестровой игры и инструментовки (1882—1889), дирижер симфонических собраний Московского (1882—1889) и Петербургского (1895—1897) отделений Русского музыкального общества; под управлением Эрдмансдёрфера впервые были исполнены многие произведения Чайковского, который посвятил ему 3-ю сюиту для оркестра; Паулина (урожд. Фихтнер, 1847—1916), пианистка. Эрдмансдёрферы принимали участие в музыкальных вечерах в доме Третьяковых. В дневнике В. Н. Третьяковой сохранилась запись о первом визите дирижера: «7 ноября 1882 Эрдмансдёрфер у меня в Толмачах. Вера, Саша с трепетом удовольствия ожидали вечера. Он приехал веселый, довольный, и она тоже. Какая мадам Эрдмансдёрфер хорошенькая, симпатичная, умная женщина» (ОР ГТГ, ф. 1, ед. хр. 5287, л. 72 об.).

[3] В 1883/84 учебном году вместо Гильфа в Московской консерватории преподавал игру на скрипке Алексей Антонович Колаковский (1856—1912), ученик Л. С. Ауэра.

[4] Ауэр Леопольд Семенович (1845—1930), скрипач, педагог и дирижер. В 1868—1917 гг. жил в России, был профессором Петербургской консерватории, с 1918 г. — в США. В 1868—1906 гг. возглавлял струнный квартет Петербургского отделения Русского музыкального общества, в 1872—1908 гг. — солист оркестра балета Мариинского театра.

[5] Фрич (Фрицш) Эрнст-Вильгельм (1840—1902), немецкий скрипач, музыкальный критик, издатель журнала «Музыкальный еженедельник», друг Р. Вагнера.

[6] В 1885 г. в Лейпциге А. И. Зилоти, при участии А. Фридгейма, было основано Общество Листа (Liszt-Verein). Членами правления были: В. Деяс, Б. Ставенхаген (ученики Листа), А. Никиш и Г. Когель (первый и второй дирижеры Лейпцигского городского театра), Э. Фрич, Ю. Блютнер (сын фабриканта роялей), М. Краузе (пианист-педагог), впоследствии — председатель Общества. Листовские вечера проходили в городском театре. Общество пропагандировало творчество любимого учителя. По утверждению Зилоти, они «были той бомбой, которая пробудила музыкальную жизнь Лейпцига» (Александр Ильич Зилоти. 1863—1945. Воспоминания и письма, с. 61).

[7] Рафф Йозеф Иоахим (1822—1882), немецкий композитор. С 1877 г. директор консерватории во Франкфурте-на-Майне.

Гольдмарк Карой (Карл, 1830—1915), венгерский композитор.

[8] Имеется в виду оперетта Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» (1864).

[9] С. И. Танеев, будучи директором Московской консерватории, все силы отдавал административно-организационной работе. Времени для творчества почти не оставалось. Поэтому в 1889 г. он предложил место директора Василию Ильичу Сафонову (1852—1918), пианисту и дирижеру, талантливому и энергичному профессору консерватории (с 1885). С 1889 по 1905 г. Сафонов — директор Московской консерватории и дирижер Русского музыкального общества.

[10] Отношения между Сафоновым и Чайковским обострились в 1890 г. Вопреки рекомендации Чайковского — назначить на вакантную должность профессора по классу виолончели ученика Фитценхагена, А. А. Брандукова, Сафонов пригласил А. Э. фон Глена (1858—1927), приверженца петербургской исполнительской школы. Оскорбленный Чайковский отказался от занимаемой должности директора Московского отделения Русского музыкального общества.

[11] Конфликт между Зилоти и Сафоновым произошел в 1891 г. из-за несогласия директора перевести талантливую ученицу консерватории в класс Зилоти.

[12] В 1905 г. Танеев ушел из Московской консерватории, не сойдясь с Сафоновым во взглядах на методы обучения студентов.

ГЛАВА 26

ЗИЛОТИ

[1] Сестры Третьяковы прозвали Зилоти «шпинатом» из-за бледного цвета лица.

[2] Зилоти после окончания в 1881 г. Московской консерватории по рекомендации А. Г. Рубинштейна и протекции Н. С. Зверева весной 1883 г. был направлен дирекцией Русского музыкального общества за границу для обучения у Листа. Проживание обеспечивалось за счет дирекции. Зилоти выдали неограниченный кредит (при условии ежедневных записей-отчетов о расходах).

[3] Зилоти был прозван «Сапун-пашой» из-за подверженности заболеваниям носоглотки и ушей.

[4] А. И. Зилоти вспоминал, как в 1881 г., предвидя близкую кончину, Н. Г. Рубинштейн накануне своего отъезда в Париж посоветовал ему подготовить «Пляску смерти» Листа и сказал: «...не смей ни у кого кончать, а держи прямо выпускной экзамен». Рубинштейн умер в марте 1881 г., а в мае в Московской консерватории состоялся выпускной экзамен, где Зилоти играл в присутствии И. С. Тургенева, почетного председателя экзаменационной комиссии, и заслужил его похвалу (см.: Александр Ильич Зилоти. 1863—1945. Воспоминания и письма, с. 43—44).

[5] О конфликте с дирекцией Русского музыкального общества Зилоти вспоминал иначе. Эрдмансдёрфер предложил участвовать Зилоти в его бенефисном концерте в Москве. Но этому воспротивился Зверев, считая, что нельзя прерывать обучение за границей из-за одного концерта. Эрдмансдёрфер был уязвлен. Весной 1884 г., в результате возникшей интриги, дирекция Русского музыкального общества отказала Зилоти в денежных субсидиях (см.: Александр Ильич Зилоти. 1863—1945. Воспоминания и письма, с. 66).

[6] В письме П. И. Чайковского к М. И.

Чайковскому от 24—25 марта 1884 г. сохранилось одно из первых упоминаний о концертной деятельности Зилоти в России: «Был на двух концертах, не лишенных интереса: 1) на концерте Шостаковского, 2) на концерте Зилоти, который возвратился из-за границы и заставляет о себе говорить» (*Чайковский П. И.* Письма к близким. М., 1955, с. 305).

[7] Возможно, речь идет о камер-юнкере князе Алексее Ивановиче Кудашеве, служившем в попечительском совете Заведений общественного призрения помощником контролера. В это же время непременным членом того же совета был С. М. Третьяков.

[8] Опера Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» (1791).

[9] Зверева Анна Сергеевна, сестра Н. С. Зверева. «Зверята», ученики Н. С. Зверева: Кенеман Федор Федорович (1873—1937), пианист, композитор, преподаватель, а затем профессор Московской консерватории (1899—1932); Максимов Леонид Александрович (1873—1904), пианист, директор и преподаватель Музыкального училища (Астрахань, 1894—1897 и Томск, 1897—1899), профессор Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества (с 1901); Пресман Матвей Леонтьевич (1870—1941), пианист, директор музыкальных классов, позднее Музыкального училища отделения Русского музыкального общества в Ростове-на-Дону (1896—1912), профессор Саратовской и Бакинской консерваторий; Рахманинов Сергей Васильевич (см. примеч. 29 к главе 21); Самуэльсон Семен Васильевич (1872—1951), пианист; Скрябин Александр Николаевич (см. примеч. 26 к главе 5).

[10] Трезвинский Степан Евтропович (1860—1942), певец (бас), выступал в Московской Частной русской опере, с 1889 г. — солист Большого театра.

[11] Лачинова Елизавета Владимировна (в замуж. — Аренская, 1861—1933), жена композитора А. С. Аренского (см. примеч. 8 к главе 30).

[12] Речь идет о 17 марта по старому стилю, дне преподобного Алексея человека Божьего.

[13] Гутхейль Александр Богданович (1818—1882), русский нотоиздатель, по национальности немец. В 1859 г. основал в Москве музыкально-издательскую фирму.

ГЛАВА 27

ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

[1] Третьяковы приехали в Петербург 14 сентября 1884 г. 16 сентября они прибыли в Эйдкунен (ОР ГТГ, ф. 48).

[2] Третьяковы приехали в Берлин на четвертый день путешествия, 17 сентября, и остановились в Hotel du Nord, а не в Central Hotel, (ОР ГТГ, ф. 48).

[3] Kaiser Fridrich Museum (ныне — Государственные музеи в Берлине) основан в 1830 г.

[4] Тиргартен — городской ландшафтный парк, тянулся от Бранденбургских ворот почти до Шарлоттенбурга, аристократического квартала западной части Берлина.

[5] Здание Оперы (ныне — Немецкий государственный театр оперы и балета) построено в 1741—1743 гг. архитектором Г. В. фон Кнобельсдорфом.

[6] Если верить А. П. Третьяковой, из двух сестер Риба они видели только Анну: «19-1. Анночка Риба, Людмила умерла» (ОР ГТГ, ф. 48).

[7] Брюльская терраса была построена в XVIII в. на остатках крепостной стены, принадлежавшей графу Брюлю. В 1814 г. по проекту архитектора Г. Ф. Тормайера была возведена широкая лестница с декоративными скульптурными группами, символизирующими времена суток. Она соединила террасу с Дворцовой площадью.

Королевский дворец — резиденция саксонских курфюрстов и королей, к XIX в. после многочисленных перестроек превратился в обширный комплекс зданий; в 1945 г. разрушен.

Дрезденская картинная галерея (ныне — одно из крупнейших в мире собраний живописи старых европейских мастеров) основана в 1560 г. как дворцовое собрание курфюрстов Саксонских. В 1847—1856 гг. по проекту архитектора Г. Земпера для нее было выстроено специальное здание.

[8] «Сикстинская мадонна» Рафаэля, принадлежащая собранию галереи, исполнена в 1515—1519 гг.

[9] В Дрезденской картинной галерее хранится копия с произведения Ганса Гольбейна Младшего (ок. 1497/1498—1543) «Мадонна базельского бургомистра Якоба Мейера цум Газен», выполненная Бартоломеусом Сарбургом (1590 — после 1637) около 1637 г. в Амстердаме. Подлинник картины Третьяковы видели в Дармштадте. А. П. Третьякова писала в дневнике: «12-го Дармштадт. Музей только пробежали. Дворец герцога Heinrich'а, Мадонна Holbein» (ОР ГТГ, ф. 48).

[10] Имеется в виду Дрезденский оперный театр, построенный в 1871—1872 гг. по проекту Г. Земпера (1803—1879).

Речь идет об опере Виктора Эрнста Неслера (1841—1890) «Труба из Зеккингена» и опере Рихарда Вагнера (1813—1883) «Лоэнгрин» (по сюжетам средневековых саг, 1845—1848).

Винкельман Герман (1849—1912), немецкий певец (тенор).

[11] Переживаниями за сестру была переполнена и А. П. Третьякова. В дневнике она записала: «Все время думаю о Зилоти и его еврейке, все ждала встретить его, но мы уехали в 5 ч[асов]» (ОР ГТГ, ф. 48).

[12] Из дневника А. П. Третьяковой: «Веймар. <...> Ходили по дождю гулять в темноте, под одним окном слушали музыку, вспоминали Зилоти. Грустно стало мне. И здесь не избегну тоски» (ОР ГТГ, ф. 48).

[13] Интересно, что то же переживает и А. П. Третьякова: «25-го я заснула в слезах. Видела во сне, что Зилоти здесь» (ОР ГТГ, ф. 48).

[14] Придворный театр в Веймаре (ныне — Немецкий Национальный театр) неоднократно перестраивался. До 1825 г. здесь размещался «Комедиенхаус», где директором был Иоганн Вольфганг Гёте (1749—1832).

На Театральной площади стоит памятник Гёте и Шиллеру работы скульптора Э. Ричеля (1857).

Дом-музей Ф. Шиллера с 1847 г. принадлежит городу Веймару. Национальный музей Гёте был размещен в доме, принадлежавшем поэту в 1782—1832 гг.

Веймарский дворец — резиденция великих герцогов Саксен-Веймар-Эйзенахских, памятник архитектуры, в восстановлении которого в 1790—1803 гг. после пожара 1774 г. большое участие принимал Гёте.

Музей (ныне — Государственные художественные собрания Веймара), основанный в 1809 г. Гёте, включает: Дворцовый музей, собрание графики, художественную библиотеку, Музей рококо Бельведер, Кабинет медалей.

Мария Павловна (дочь Павла I, 1786—1859), с 1804 г. — жена Карла-Фридриха, наследного принца Саксен-Веймарского, с 1828 г. — великая герцогиня. Покровительствовала искусству и наукам.

[15] Склеп был построен в 1825 г. веймарским архитектором К. В. Кудрэ в виде часовни с куполом.

[16] Веймарский парк — памятник классицизма, созданный при активном участии Гёте. В 1869—1886 гг. Лист жил в доме придворного садовника, в месте, где Веймарский парк переходит в аллею Бельведер.

[17] Фридгейм Артур (1859—1932), немецкий пианист, дирижер, композитор, ученик Листа.

[18] А. И. Зилоти родился 28 сентября (по старому стилю) 1863 г.

[19] Гота — резиденция герцогства Заксен-Гота. Дворец Фриденштайн был построен по проекту А. Рудольфи из Магдебурга в 1643—1654 гг. как резиденция земельного управляющего. В нем располагался музей с коллекцией немецкой и голландской живописи, отделом графики, знаменитым нумизматическим кабинетом и уникальной библиотекой.

В Эрфурте главной достопримечательностью является готический ансамбль собора и церкви Сант-Северикирхе (XII—XIV вв.).

В Эйзенахе (Тюрингия) жил многочисленный род Бахов, давший на протяжении XVII—XVIII вв. несколько поколений музыкантов. Здесь же в 1685 г. родился Иоганн Себастьян Бах (ум. 1750).

Вартбург — замок в Тюрингии, крупный центр культуры Средневековья и Возрождения. Речь идет об опере Вагнера «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (1843—1845).

ГЛАВА 28

СНОВА ДОМА

[1] Из воспоминаний А. И. Зилоти: «Осенью 1884 года я сообщил Листу, что буду сниматься, чтобы послать свою фотографию в Россию. Он сказал, что снимется со мной и что такая группа останется мне «хорошим воспоминанием». Удивительно, как Лист во всем видел особый смысл: я хотел сняться так, чтобы Лист сидел на стуле, а я бы поместился на полу у его ног; но он ни за что этого не допустил, объясняя тем, что он старый, что он уже все сказал и ему можно сидеть, а я еще молод и вся моя жизнь впереди, — поэтому я должен стоять, чтобы быть готовым идти вперед» (Александр Ильич Зилоти. 1863—1945. Воспоминания и письма, с. 62).

[2] Концертная деятельность Зилоти за рубежом началась рано. Уже осенью 1883 г. он дебютировал в Лейпциге и Веймаре с программой из произведений Листа. Были исполнены: сочинение A-dur, «Пляска смерти», соната «Dante». 30 декабря 1883 г. в письме к Кюи Лист высказал одобрение профессиональному мастерству Зилоти и сообщил о его растущей популярности: «Молодой русский пианист Зилоти, которого уроки и пример Николая Рубинштейна довели до замечательной виртуозности, пользуется теперь в Германии солидным успехом» (цит. по: *Стасов В. В.* Избр. соч. Т. 3. М., 1953, с. 478). Программа концертов Зилоти в Антверпене не установлена. Пианист вспоминал: «Помню, я уезжал концертировать в Антверпен и пришел проститься к Листу. Он мне сказал, что давно уже перестал давать рекомендательные письма, так как часто ошибался, но что в данном случае он делает это в полной уверенности, что я оправдаю его доброе слово» (Александр Ильич Зилоти. 1863—1945. Воспоминания и письма, с. 61).

[3] В «Музыкальном обозрении» за 1885 г. (№ 12, с. 94) сохранился отзыв С. Кругликова о выступлениях Зилоти в России в 1884—1885 гг. Отмечалась смелость пианиста в составлении программы исключительно из произведений русских композиторов, виртуозность исполнения. В то же время критик писал: «Лучше всего ему удались мелочи, в крупных же вещах он менее казался удовлетворителен, а до «Исламея», где лишь осилил одну техническую сторону, пока еще не дорос. Г. Зилоти должен еще много работать. Будущее его впереди» (цит. по: Александр Ильич Зилоти. 1863—1945. Воспоминания и письма, с. 15).

[4] В Леонтьевском переулке жила семья Анатолия Ивановича Мамонтова, брата Саввы Ивановича. Речь идет о Татьяне, дочери А. И. Мамонтова (см. примеч. 5 к главе 21).

[5] Имеется в виду Зилоти Варвара Ильинична и Мамонтова Наталья Анатольевна, сестра Т. А. Мамонтовой (см. примеч. 34 и 20 к главе 21).

[6] Мастерская Ивана Григорьевича Дья-

говченко, фотографа Московских императорских театров, находилась на Кузнецком мосту, в доме Тверского подворья.

ГЛАВА 29

ПИСЬМО ОТ ЗИЛОТИ

[1] Речь идет о дочери Н. С. и А. Г. Третьяковых (см. примеч. 21 к главе 30) Ольге (в замуж. — Коровиной, 1885—?).

[2] Имеется в виду собственный дом Н. С. и А. Г. Третьяковых на Казанской улице в бывш. Сущевской части Москвы.

[3] Кроме Ольги у Н. С. и А. Г. Третьяковых была дочь Александра (в замуж. — Шевалдышева, 1879—1914) и сыновья: Сергей (1882—?) и Николай (1891—?).

[4] Мамонтова Вера Александровна (в замуж. — Зотова), дочь А. Н. и Т. А. Мамонтовых (см. примеч. 16, 10 и 12 к главе 5).

[5] Письмо А. И. Зилоти к сестрам В. П. и А. П. Третьяковым, написанное летом 1885 г. в Киле, не обнаружено.

[6] Письмо В. И. Зилоти к В. П. Третьяковой не обнаружено.

Зилоти Юлия Аркадьевна (урожд. Рахманинова, 1835—1925), мать А. И. Зилоти, владелица имения «Знаменка» в Тамбовской губернии Козловского уезда.

[7] Никиш Артур (1855—1922), венгерский дирижер, композитор; друг семьи Зилоти.

[8] Гевандхауз — старейший концертный зал в Лейпциге и музыкальное общество при нем. С 1781 г. здесь давались симфонические концерты, сыгравшие большую роль в развитии немецкой симфонической музыки. В 1884 г. было построено новое специальное здание, где выступал постоянный оркестр.

[9] См. примеч. 6 к главе 18.

[10] Один из концертов Зилоти состоялся в Москве 12 ноября 1885 г. в Малом зале Дворянского (Благородного) собрания. В его программу были включены: трио Чайковского, ноктюрн Аренского, этюд А. Рубинштейна, канцонетта Кюи, «Исламей» Балакирева и др. На концерте был Чайковский. 19 ноября 1885 г. он писал Н. Ф. фон Мекк: «В Москве я провел около недели. Присутствовал на трех концертах. Первый из них дан возвратившемуся из-за границы для отбывания воинской повинности Зилоти» (*Чайковский П. И.* Переписка с Н. Ф. фон Мекк. М.—Л., 1936, с. 391).

[11] Зилоти Сергей Ильич (1862—1914), генерал-лейтенант, помощник начальника Главного морского штаба.

Зилоти Илья Матвеевич (ок. 1835—1900), отец А. И. Зилоти. В 1880-е гг. жил отдельно от семьи.

[12] Халир Карл (1859—1909), чешский скрипач.

ГЛАВА 30

МОЯ БОЛЕЗНЬ

[1] Репман Альберт Христианович, статский советник, содержал электролечебницу, врач Якиманской школы Благотворительного общества, Арсеньевской богадельни, а также бесплатной лечебницы им. князя Владимира Андреевича Долгорукова.

[2] Прево Оскар Яковлевич (ум. 1889), статский советник, врач родильного госпиталя.

[3] Речь идет о пьесе Александра Дюма-старшего «Кин» (1836), известной в России под названием «Гений и беспутство».

[4] Задонская Анна Алексеевна, друг Н. Г. Рубинштейна, сопровождала его в последнем путешествии за границу. Пожертвовала семьдесят тысяч рублей на пособия нуждающимся ученикам Московской консерватории (в виде стипендий и ссуд).

[5] В. П. Зилоти ошиблась. В собрании Третьякова находился один, погрудный, портрет А. Г. Рубинштейна, исполненный И. Е. Репиным (1881; ныне — в ГТГ). См. примеч. 46 к главе 22.

[6] Св. Антоний Печерский (до пострижения на Афоне — Антипа; 982—1073), основатель первого пещерного (Печерского) монастыря в Киеве; св. Антоний Падуанский (1195—1231) изучал богословие, позднее преподавал его в Монпелье, Тулузе, Болонье, Падуе. Был канонизирован, один из почитаемых святых католической церкви.

[7] «Беккер» («Фабрика роялей Я. Беккер») — русская фортепианная фирма, основанная в 1841 г. в Петербурге Я. Д. Беккером как мастерская по изготовлению роялей.

[8] В. П. Зилоти ошиблась. Антон Степанович Аренский (1861—1906; композитор, пианист, дирижер) был приглашен в Московскую консерваторию в 1882 г. преподавателем теоретических предметов; с 1884 г. — старший преподаватель, в 1889—1895 гг. — профессор. Не установлено, о каком концерте идет речь.

[9] Театр «Парадиз» (Никитский театр) был построен в 1885 г. на Большой Никитской улице (ныне Театр им. В. В. Маяковского) антрепренером и актером Г. Парадизом по проекту архитектора К. В. Терского. Театр называли также Интернациональным, так как здесь выступали как русские, так и зарубежные гастролеры: актеры мейнингенской труппы — Л. Барнай, Э. Поссарт, а также Б. К. Коклен, Э. Росси, Г. Режан, Ж. Муне-Сюлли, Сара Бернар и другие.

Поссарт Эрнст (1841—1921), немецкий артист, трагик.

[10] Речь идет о драматическом спектакле с музыкой Шумана к поэме «Манфред» Дж. Байрона (1849; увертюра и 15 музыкальных номеров — вокальные ансамбли, хоры и мелодекламации).

[11] Барнай Людвиг (1842—1924), немецкий актер и театральный деятель.

[12] Новиков Иван Алексеевич (1839—1905), действительный статский советник, управляющий Удельной конторы, товарищ председателя Общества распространения между образованными женщинами практических знаний, необходимых в домашнем быту.

Новикова Ольга Ивановна (в замуж. — Петровская), корреспондентка А. П. Боголюбова, И. Е. Репина, И. К. Айвазовского.

[13] О Рахманинове Николае Федоровиче сведений не обнаружено.

[14] Абрикосовы, Софья Алексеевна (ок. 1866—?) и Любовь Алексеевна (ок. 1867—?), дочери А. И. Абрикосова, крупного московского фабриканта, основателя промышленного «Товарищества А. И. Абрикосова и сыновей» по изготовлению конфет, шоколада, пастилы и других сладостей. В начале 1880-х гг. у 18-летней Софьи отнялись ноги. Она лечилась в Париже в невропатологической больнице Сальпетриер у Жана Мартена Шарко (1825—1893), одного из основоположников современной невропатологии и психотерапии, руководителя невропатологической клиники (с 1882).

[15] Боткины — крупные московские промышленники-чаеторговцы и сахарозаводчики, владельцы фирмы «Торговый дом Боткин и сыновья».

Боткин Петр Кононович (1781—1853), создатель фирмы, был отцом четырнадцати детей. Среди них наиболее известны: Василий Петрович (1810—1869), писатель, художественный критик, близкий к «Отечественным записками» и «Современнику»; Дмитрий Петрович (см. примеч. 8 к главе 3); Сергей Петрович (1832—1889), врач-клиницист, профессор Медико-хирургической академии; Михаил Петрович (см. примеч. 9 к главе 9); Мария Петровна (1828—1894), в 1857 г. вышла замуж за А. А. Фета.

[16] Боткины: Петр Петрович (ок. 1831—1907), потомственный почетный гражданин, в 1880-х гг. глава фирмы «Торговый дом Боткин и сыновья», член совета Учетного банка, выборный Московского биржевого общества при Московском биржевом комитете, выборный купеческого сословия в Купеческую управу, гласный Городской думы; Надежда Кондратьевна (урожд. Шапошникова, ок. 1827—1908). Их дочери: Анна Петровна (в замуж. — Андреева, ум. после 1918), страдала психическим заболеванием, длительное время лечилась в психиатрической больнице в Париже; Надежда Петровна (в замуж. — Остроухова, 1855—1935); Вера Петровна (в замуж. — Гучкова, ок. 1863—1916).

[17] Гучков Николай Иванович (ум. в 1930-х гг.), кандидат права, почетный мировой судья Московского столичного съезда мировых судей, попечитель Мужского Петровско-Басманного училища, гласный Московской городской думы; в 1905—1912 гг. — городской голова. После Октябрьской революции жил за границей.

[18] О Боткине Михаиле Владимировиче сведений не обнаружено.

Боткин Федор Владимирович (1861—1905) окончил юридический факультет Московского университета. Художник, в начале 1890-х гг. посещал Академию художеств в Милане, занимался и в Париже у А. Ролля, жил и работал преимущественно за границей.

Боткин Николай Иванович (1857—1912), художник, в 1886 г. окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, затем занимался у Р. Жюльена в Париже; с 1886 г. — член Московского общества любителей художеств, с 1892 г. — экспонент Товарищества передвижных художественных выставок.

[19] Челноковы — очевидно, соседи Третьяковых. В Большом Кадашевском переулке жила семья купцов Челноковых, дети которых — Григорий Андреевич, Варвара Андреевна и Василий Андреевич — в 1900-х гг. продолжили дело отца, кроме Алексея Андреевича, ставшего митрополитом.

Шапошниковы — возможно, многочисленные потомки купца Кадашевской слободы Кондратия Карповича Шапошникова.

Самгины — вероятно, дети Самгина Андрея Дмитриевича, купца, потомственного почетного гражданина Пятницкой слободы: Алексей, впоследствии городской учитель; Николай, служитель губернской земской управы, и Дмитрий, продолживший дело отца.

Кашперов Владимир Никитич (1827—1894), композитор, профессор Московской консерватории. Его дети: Александр, Екатерина, Николай, Владимир, Софья и Ольга. В начале 1880-х гг. Екатерина Владимировна преподавала в Мариинском женском училище дамского попечительства о бедных в Москве; Николай Владимирович служил прапорщиком 1-й батареи Первой гренадерской артиллерийской бригады.

[20] Платон (428/427 до н. э. — 348/347), один из выдающихся греческих мыслителей, философ-идеалист. Ученик Сократа, около 387 г. основал в Афинах школу.

Спенсер Герберт (1830—1903), английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.

[21] Дункер Константин Густавович, инженер путей сообщения, главный инженер по постройке московских водопроводов. Николай Сергеевич Третьяков был женат на сестре К. Г. Дункера, Александре Густавовне Дункер (см. примеч. 7 к главе 17).

[22] Остроухов Илья Семенович (1858—1929), пейзажист, коллекционер. С 1891 г. — член Товарищества передвижных художественных выставок, затем «Союза русских художников», в 1905—1913 гг. — попечитель Третьяковской галереи; был женат на Н. П. Боткиной (см. примеч. 16 к наст. главе).

[23] В. П. Зилоти ошиблась: невестой скоропостижно скончавшегося от простуды после купания в Москве-реке Михаила Александровича Островского (1866—1888) была не Софья, а Ольга Кашперова.

[24] Имеется в виду Кашперова Аделаида (Адель) Николаевна, жена В. Н. Кашперова.

[25] Агу Мари д', графиня (псевдоним — Даниэль Стерн; 1805—1876), французская писательница. С 1835 года работала вместе с Ф. Листом над серией статей: «О положении

людей искусства о об условии их существования в обществе» (1835) и «Письмами бакалавра музыки» (1837—1839). Близкий друг Ф. Листа.

ГЛАВА 31

СМЕРТЬ ЛИСТА. ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

[1] Имеется в виду Таузиг Карл (см. примеч. 67 к главе 22).

[2] Лист умер 31 июля 1886 г. в Байрейте, куда он приехал на Вагнеровские представления.

[3] Абрикосова Глафира Алексеевна (в первом браке — Тюрюкова, во втором — Рише; ок. 1859 — после 1940) училась на Бестужевских курсах в Петербурге. Опекая больную сестру Софью, стала последовательницей врача-невропатолога Шарко. Окончила медицинский факультет Парижского университета, где была единственной слушательницей-женщиной. Защитила диссертацию по невропатологии. Жила в Париже, где стала женой физиолога Шарля Рише.

[4] О Церленди Марии Семеновне сведений не обнаружено.

Пустовалова Мария Семеновна, известная московская красавица, председательница Управления Александровско-Мариинского комитета Всероссийского общества Красного Креста, одна из директрис Дамского попечительского комитета о тюрьмах (см. также примеч. 4 к главе 17).

[5] Щукина Екатерина Петровна (урожд. Боткина, ок. 1826—?); жена И. В. Щукина (см. примеч. 37 к главе 4); их дочь — Щукина Антонина Ивановна (в замуж. — Лагодина, 1862—?).

[6] Колонн (Колон) Эжен (1838—1910), французский дирижер, скрипач, музыкально-общественный деятель.

[7] Речь идет о Леонаре Юбере (1819—1890), бельгийском скрипаче и педагоге; в 1867—1870 гг. преподавал в Париже.

[8] К. Г. Дункер женился в 1889 г. на Елизавете Дмитриевне Боткиной (см. примеч. 18 к главе 4).

[9] 6 декабря 1886 г. в Москве в экстренном симфоническом собрании Русского музыкального общества состоялся концерт из произведений Бетховена под управлением Эрдмансдёрфера, с участием Зилоти. Он исполнил сонату для фортепиано (Es-dur, ор. 109). «Зилоти (превосходное исполнение сонаты)», — записал Чайковский в своем дневнике (цит. по: Дни и годы П. И. Чайковского. Летопись жизни и творчества. М.-Л., 1940, с. 395).

ГЛАВА 33

ОБРУЧЕНИЕ

[1] Зилоти Мария Ильинична (в замуж. — Гучкова, 1871—?), сестра А. И. Зилоти.

[2] В. П. Зилоти сломала ногу в 1923, а Ю. А. Зилоти умерла в 1925 г.

[3] Дюбюк Александр Иванович (1812—1897/1898), русский пианист, композитор, педагог; в 1866—1872 гг. — профессор Московской консерватории.

[4] В. П. Зилоти ошиблась: П. И. Чайковский посетил Италию в 1890 г., где с середины января по середину апреля работал над оперой «Пиковая дама». В 1887 г. он был в Москве, а также на свадьбе у А. И. Зилоти и В. П. Третьяковой, о чем свидетельствует его письмо к Н. Ф. фон Мекк от 10 марта: «Зилоти женился на дочери известного коллекционера картин, Третьяковой. В качестве свойственника (она двоюродная сестра жены моего брата Анатолия) я присутствовал на свадьбе. Не знаю, хорошо ли для будущих успехов Зилоти, что у него теперь в руках целое богатство» (*Чайковский П. И.* Переписка с Н. Ф. фон Мекк, т. 3, с. 468).

[5] Гастроли Чайковского начались в декабре 1887 г. и продолжались по март 1888-го. Симфонические концерты, составленные из произведений композитора и под его управлением, прошли в Берлине, Лейпциге, Гамбурге, Праге, Париже и Лондоне. В этой поездке Чайковскому были очень важны участие и дружеская поддержка соотечественников. 29 декабря 1887 г. (19 января 1888 г.) он написал Н. Ф. фон Мекк: «В Берлине я провел ужасных два дня и уехал в Лейпциг, где меня встретили на вокзале Бродский и Зилоти. Они и их жены оказали мне самый теплый и радушный прием, и если б не они, я бы не выдержал всех тягостных и мучительных тревог, через которые пришлось пройти» (*Чайковский П. И.* Указ соч., с. 509). Бродский, Зилоти и Сапельников принимали участие в некоторых концертах этого турне. В Германии и Праге Зилоти блестяще исполнил Первый фортепианный концерт, а также другие произведения Чайковского и был удостоен похвалы композитора.

[6] Сапельников Василий Львович (1867—1940), пианист.

[7] Григ Нина (урожд. Хагеруп, 1845—1935), певица (меццо-сопрано), пианистка, жена Э. Грига.

[8] См. примеч. 13 к главе 16.

[9] Возможно, В. П. Зилоти вспоминает трехмесячную гастрольную поездку Чайковского в 1889 г., так как только в этом году он провел март в Париже. В 1892 г. композитор ненадолго посетил Францию. 10 января он писал брату: «Вчера приехал в Париж. Попробую пожить, как 9 лет тому назад, т. е. в полнейшем инкогнито. Вечер провел с Зилоти и его женой, которые живут здесь в том же Ришпанс» (цит. по: *Чайковский М.* Указ соч., т. 3, с. 525). Как известно, на этот раз он остановился в пансионе Беляр, приехав из Гамбурга, где 7 января присутствовал на премьере оперы «Евгений Онегин». Турне Чайковского с концертами по Америке было организовано с апреля по май 1891 г., без заезда в Париж.

[10] Очевидно, речь идет о церкви Сакре-Кёр, которая строилась по проекту П. Абади с 1875 по 1919 г.

[11] Конради Николай Германович (1868—1923).

[12] Зверев скончался 30 сентября, а Чайковский — 25 октября 1893 г.

[13] Известна поездка Зилоти в Тифлис осенью 1890 г. Он был там одновременно с П. И. Чайковским. В письме к композитору от 11 сентября 1890 г. Зилоти сообщал дату назначенных концертов: «Дорогой и обожаемый Петр Ильич! Страшно радуюсь, что через три недели увижу тебя! Мои концерты в Тифлисе будут 6-го и 8-го или 7-го и 9-го октября» (Александр Ильич Зилоти. 1863—1945. Воспоминания и письма, с. 114, 168). Концерт состоялся 11 октября, было исполнено трио Чайковского (А. Зилоти, А. Пестель и И. Сараджиев).

ГЛАВА 34

САШИНА СЕМЬЯ

[1] Зилоти Дмитрий Ильич (1866—1919), брат А. И. Зилоти, был помощником управляющего в имении Нарышкиных «Пады» в Саратовской губернии Балашовского уезда.

[2] *Буслаев Ф. И.* Мои досуги. Собранные из периодических изданий мелкие сочинения Федора Буслаева в 2-х ч. М., 1886. См. также примеч. 7 к разделу «От автора».

[3] Тронова Фаина Яковлевна (ум. 1902), сестра Людмилы Яковлевны Буслаевой.

[4] Сатина Варвара Аркадьевна (1852—1941), тетка А. И. Зилоти и С. В. Рахманинова.

Сатин Александр Александрович (1844—1926), владелец имения «Ивановка» Тамбовской губернии, а также управляющий имением Нарышкиных «Пады» в Саратовской губернии Балашовского уезда. В 1910 г. Сатин передал «Ивановку» С. В. Рахманинову и своему сыну Владимиру, с условием выплаты в его пользу определенной суммы денег.

ГЛАВА 35

ВАНЕЧКА

[1] См. примеч. 58 к главе 22.

ГЛАВА 36

СМЕРТЬ ВАНЕЧКИ

[1] Венчание В. П. Третьяковой и А. И. Зилоти состоялось в церкви Св. Николая Чудотворца при Городском Рукавишниковском исправительном приюте для малолетних, находившемся на Смоленском бульваре. Приют был основан К. В. Рукавишниковым и его семьей в период, когда он был городским головой.

[2] В 1880-е гг. на Кузнецком мосту, в здании, принадлежавшем Третьяковым, размещался «Дом моды Болина и Шанкса». Сведений о модном доме Пикаф не обнаружено.

ГЛАВА 37

МОЯ СВАДЬБА

[1] Разумовский Дмитрий Васильевич (1818—1889), настоятель церкви Вознесения на Большой Никитской улице, протоиерей, историк-теоретик русской церковной музыки, с 1866 г. — преподаватель, с 1871 г. — профессор Московской консерватории.

ГЛАВА 38

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В МОСКВЕ

[1] Страхова Анна Ивановна, пианистка, педагог; друг семьи Зилоти, его соученица по Московской консерватории.

[2] У В. А. и А. А. Сатиных было пятеро детей: Александр (1873—1896), Наталья (в замуж. — Рахманинова, 1877—1951), Софья (1879—1975), Владимир (1881—1945) и Мария (умерла в младенчестве).

[3] Грауэрман Григорий Львович (1861—1921), врач-гинеколог.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

SUMMARY

The book „At the Tretyakovs“ Iskusstvo Publishers are offering to their readers consideration presents memoirs of Vera Pavlovna Ziloti, the elder daughter of Pavel Tretyakov, the founder of the Tretyakov Gallery in Moscow. As distinct from Iskusstvo previous publication of the book „Pavel Mikhailovich Tretyakov in Life and in Art" contributed by A. P. Botkina, her younger sister, which appeared in several editions, memoirs by Ziloti were little known to the public.

First published in New York in 1959 by the A. P. Chekhov Publishing House the book came out in Russia in a couple of years.

Having married a brilliant pianist Alexander Ziloti, who was a beloved pupil of Nikolai Rubinstein and later of F. Listz, in 1887, Vera Pavlovna left the parental house in Tolmachi but has never lost touch with her family and the Gallery acting member of the Board in the pre-revolutionary years. Ziloti did not spare time and effort on preserving and studying family archives. Bright literary gift and tenacious memory, accumulating lots of meaningful details from the Tretyakovs' chronicles in her green years made the notes both useful and rapturous reading.

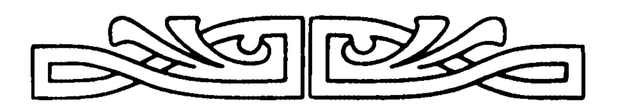
The author thoroughly described the Tretyakov mode of life and habits and recreated the atmosphere of love, respect and true understanding which reigned at the house and which strongly influenced individual education and spiritual development of the younger generation.

V. P. Ziloti recollected her father's friends — Perov, Kramskoi, Maksimov and Repin — whose pictures she knew from the very beginning, with great warmth. The mother, Vera Nikolayevna Tretyakova, inculcated love for music and serious attitude towards musical education upon her children and that is probably why musicians were alloted a special place among other famous personalities in Russian culture of the second half of the 19th century. Brothers Anton and Nikolai Rubinstein, Pyotr Tchaikovsky, the friends of Pavel and Sergei Tretyakovs in their youth, figure prominently in the reminiscences.

Many touching pages of the narration were devoted to love affair with Alexander Ziloti and its happy end with marriage.

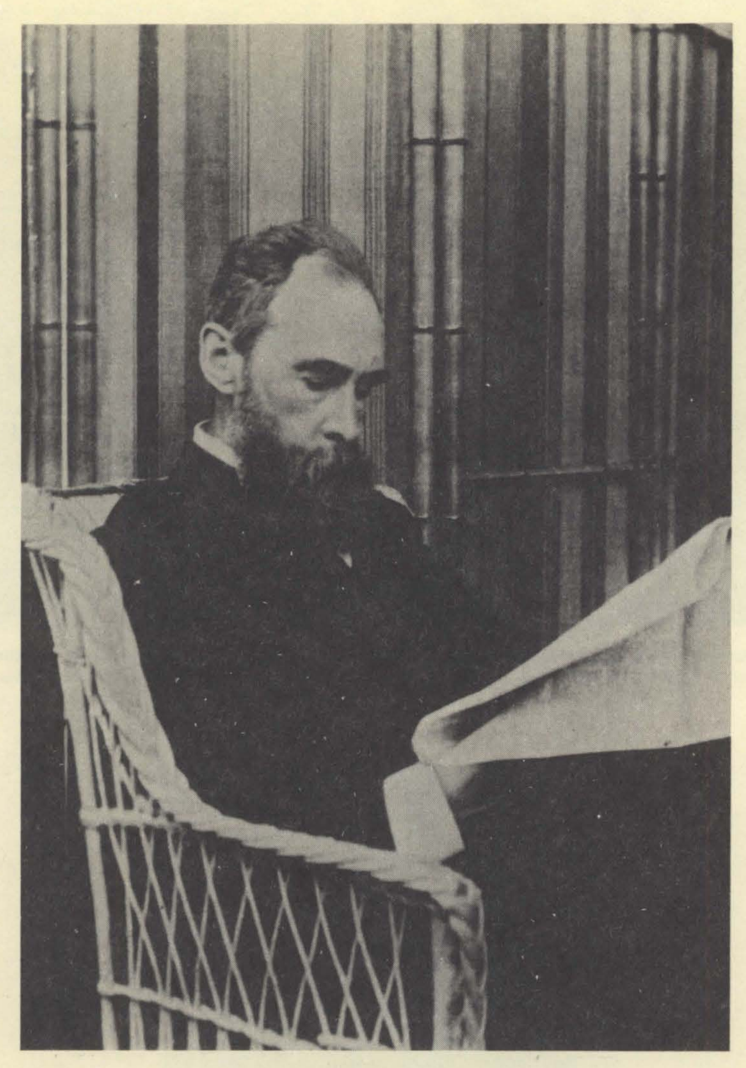
The book does not in the least lay claim to the science-like manner or message. Moreso, it has many errors in facts resulting from that the author was over seventy when she completed the manuscript. Ziloti could confuse the names and dates and family relations and arbitrarily united or divorced in time the described events.

The edittors did their best to correct all errors and smooth away all roughness. All faults notwithstanding the book's importance for the present and future generations lies in that the author succeeded in directly drawing a bright and lively picture of social environment and historical situation she lived in during her happy childhood and youth. The book by V. P. Ziloti will surely introduce the readers into spiritual atmosphere of the Tretyakovs' home characterized by nobleness, honesty and the lofty ideals of loyalty to art and people.



В ДОМЕ ТРЕТЬЯКОВА

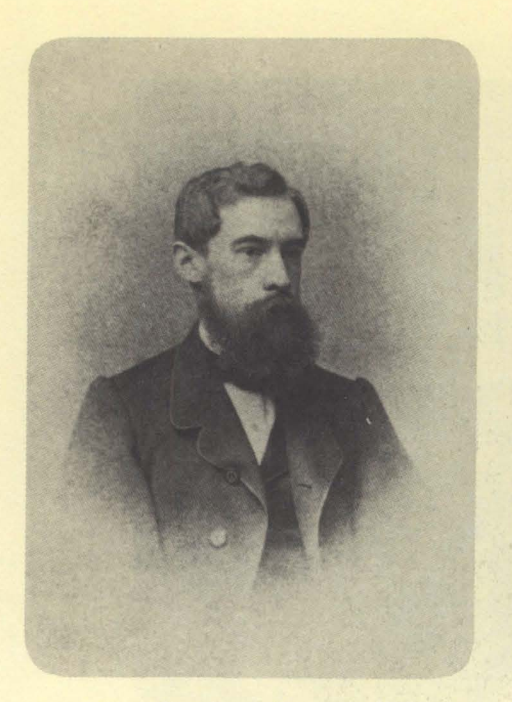
ФОТОГРАФИИ



ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ. 1897

Земля наша велика и обильна — талантами...
Откуда только Россия-матушка не дарила нам друзей.
Вспоминаю их лица.
У одних сильные и выразительные,
у других — тонкие, прекрасные!
Как их лица, так и их таланты и характеры
были богато разновидны...
А все пути привели их в Рим —
в Московскую Третьяковскую галерею.

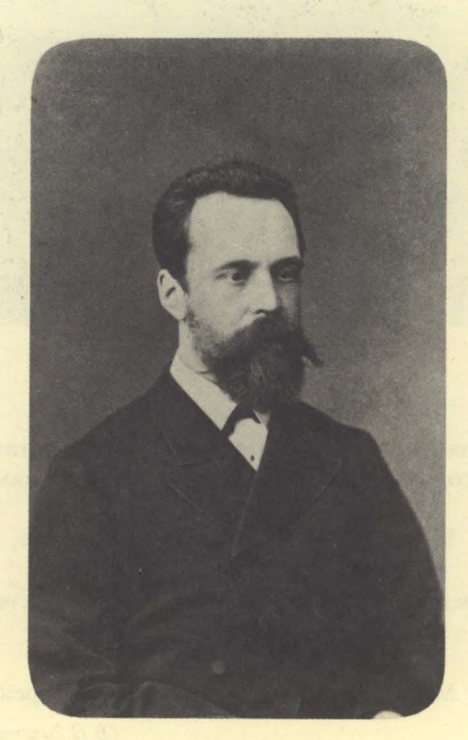
(В.П.Зилоти)



1 Павел Михайлович Третьяков. 1865.



2 Вера Николаевна Третьякова,
урожд. Мамонтова. 1865



3 Сергей Михайлович Третьяков.
1860-е годы



4 Александра Даниловна Третьякова,
урожд. Борисова, мать П. М. Третьякова.
1860-е годы



5 Мария Ивановна Третьякова,
двоюродная сестра П. М. Третьякова.
1868



6 Максим Ефимович Попов
и Тимофей Ефимович Жегин. 1840



7 Тимофей Ефимович Жегин.
1860-е годы



8 Екатерина Францевна Жегина,
урожд. Шехтель. 1870



9 Николай Тимофеевич Жегин. 1877



10 Ольга Тимофеевна Жегина. 1870



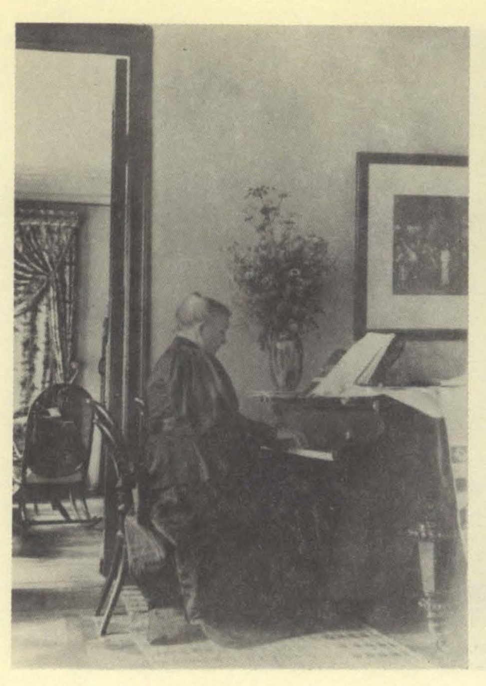
11 Дом семьи Третьяковых в Толмачах. 1890-е годы



12 Любовь Павловна и Николай Николаевич Гриценко (дочь и зять П. М. Третьякова) на лестнице дома в Толмачах. 1897



13 Кабинет Марии Павловны Третьяковой в доме в Толмачах. 1896



14 Зал в доме Третьяковых в Толмачах.
За роялем — Вера Николаевна Третьякова. 1894



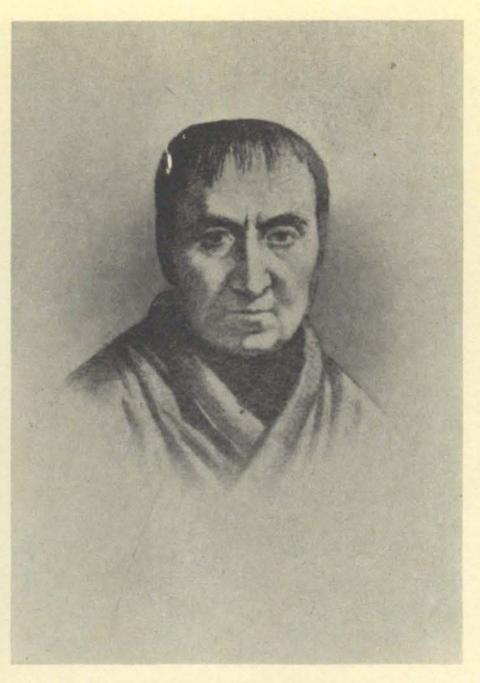
15 В гостиной дома Третьяковых в Толмачах:
Вера Николаевна Третьякова, Мария Карловна Гаген и Любовь Павловна Гриценко. 1897



16 Вера Николаевна Третьякова
в костюме Маргариты Валуа. 1872



17 Александра Петровна Третьякова,
урожд. Владимирова, жена И. З. Третьякова.
1860-е годы



18 Иван Захарьевич Третьяков.
Копия с портрета



19 Прасковья Петровна Третьякова,
дочь П. З. Третьякова. 1860-е годы



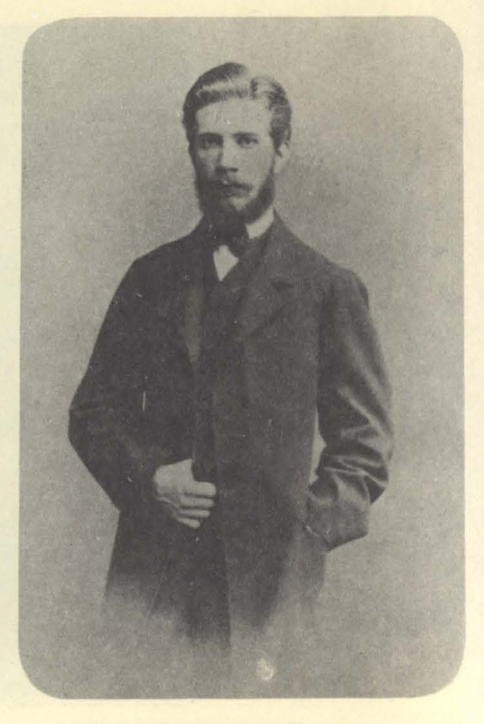
20 Дмитрий Петрович Боткин. 1860-е годы



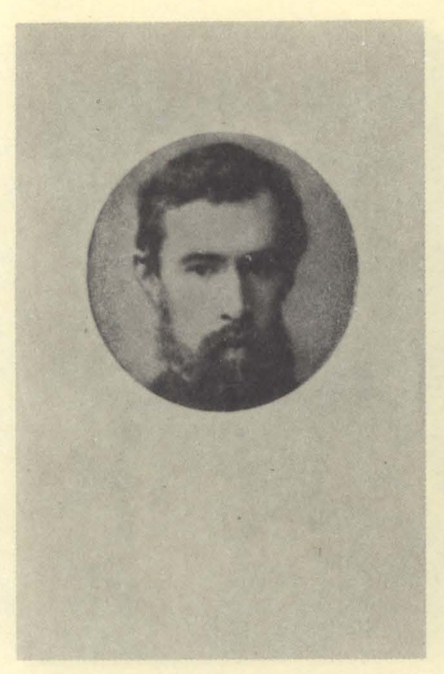
21 Егор Егорович Гикиш. 1870-е годы



22 Павел Петрович Боткин



23 Сергей Николаевич Ложечников. 1860-е годы



24 Павел Михайлович Третьяков. 1856



25 Надежда Михайловна Третьякова. 1860-е годы



26 Вера Николаевна Мамонтова. 1864



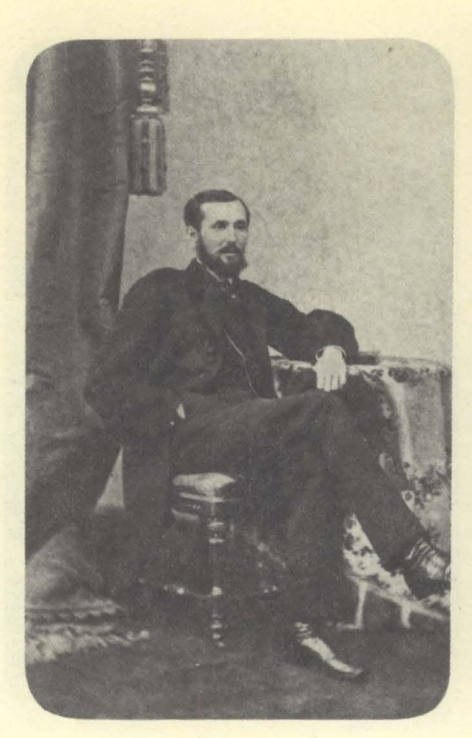
27 Елизавета Ивановна Мамонтова у портрета М. Н. Мамонтова. 1864



28 Владимир Дмитриевич Коншин.
1860-е годы



29 Елизавета Михайловна Коншина,
урожд. Третьякова. 1860-е годы



30 Александр Степанович Каминский.
1860-е годы



31 Софья Михайловна Третьякова,
в замужестве — Каминская.
Начало 1860-х годов



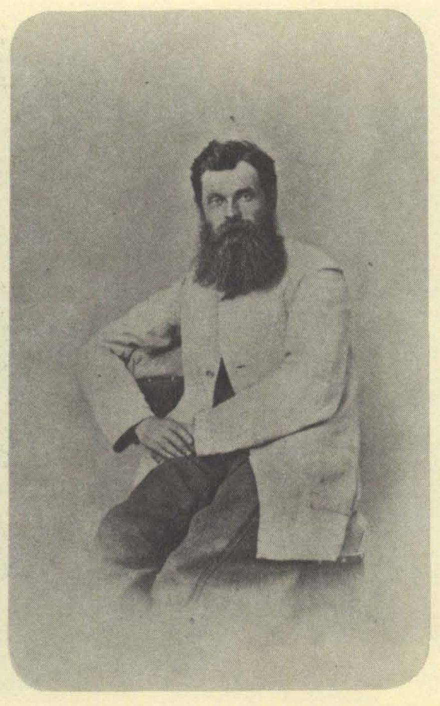
32 Сергей Михайлович Третьяков, Елизавета Сергеевна Третьякова, урожд. Мазурина (слева), и Анна Сергеевна Алексеева, сестра Е. С. Третьяковой (справа). Конец 1850-х годов



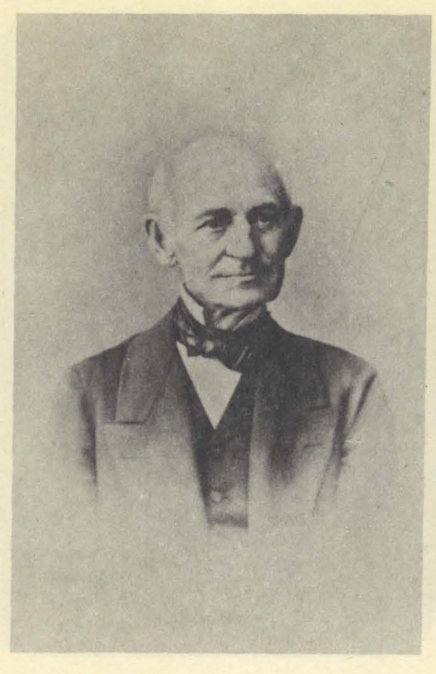
33 Николай Сергеевич Третьяков, сын С. М. и Е. С. Третьяковых. 1860-е годы



34 Иван Федорович Мамонтов. 1860



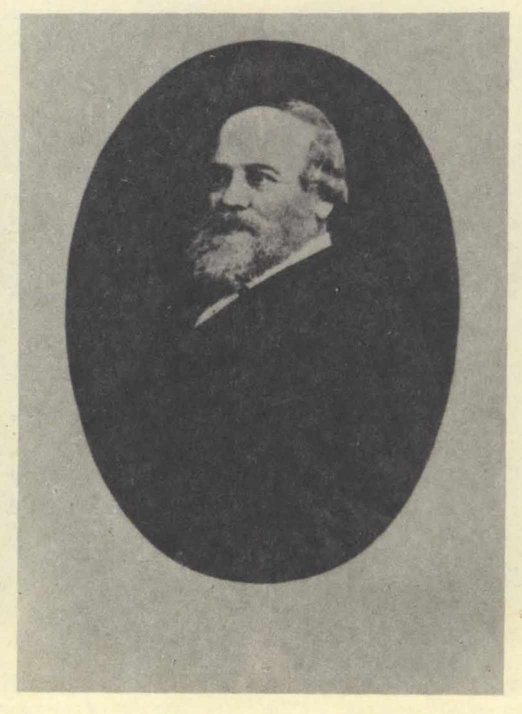
35 Константин Яковлевич Кашин. 1860-е годы



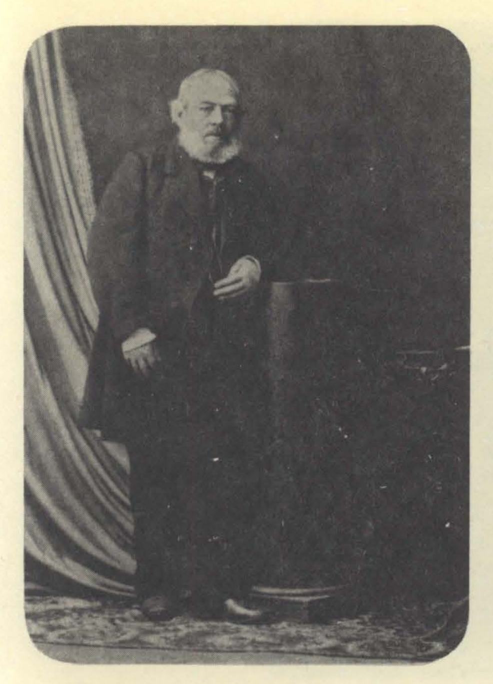
36 Иван Федорович Мамонтов. 1860-е годы



37 Мария Тихоновна Мамонтова, урожд. Лахтина. 1840



38 Василий Александрович Кокорев. 1880-е годы



39 Николай Федорович Мамонтов.
1860-е годы



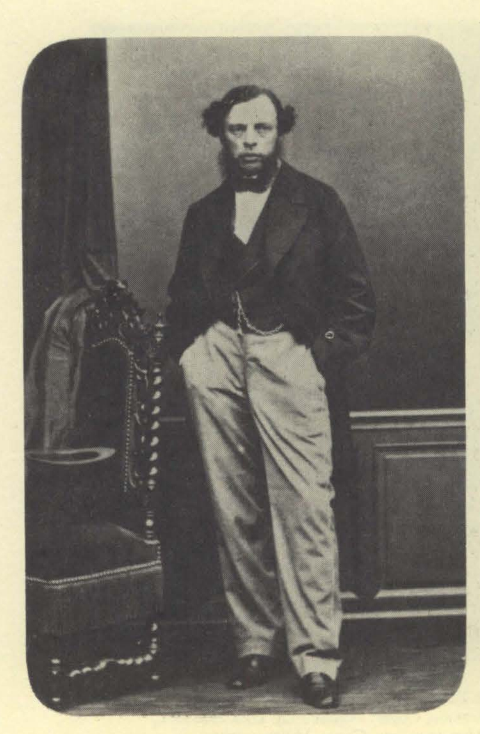
40 Вера Степановна Мамонтова,
урожд. Вагина. 1862



41 Братья Мамонтовы. Слева направо стоят: Савва Иванович, Николай Николаевич, Виктор Николаевич, Николай Иванович, Иван Николаевич; сидят: Александр Николаевич, Кирилл Николаевич, Федор Иванович, Михаил Николаевич, Савва Николаевич и Анатолий Иванович. Март 1858 года



42 Вера Николаевна, Михаил Николаевич и Зинаида Николаевна Мамонтовы. 1858



43 Василий Иванович Якунчиков. 1862



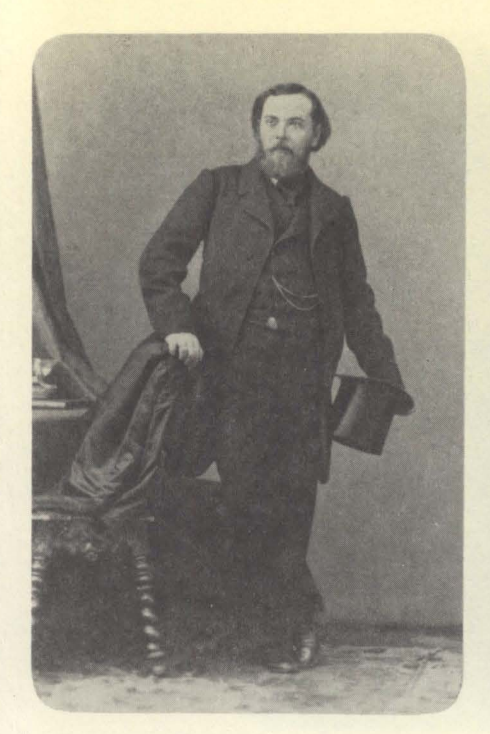
44 Зинаида Николаевна Якунчикова, урожд. Мамонтова. 1862



45 Александр Николаевич Мамонтов. 1864



46 Татьяна Алексеевна Мамонтова, урожд. Хлудова. 1865



47 Михаил Николаевич Мамонтов. 1861



48 Иван Николаевич и Евдокия Николаевна Мамонтовы. Около 1865



49 Николай Николаевич Мамонтов. 1864



50 Екатерина Александровна Мамонтова, урожд. Робер. 1868



51 Валериан Николаевич Мамонтов. 1860-е годы



52 Савва Николаевич Мамонтов. 1867



53 Евдокия Николаевна и Константин Васильевич Рукавишниковы. 1871



54 Иосиф Вячеславович Риба. 1870



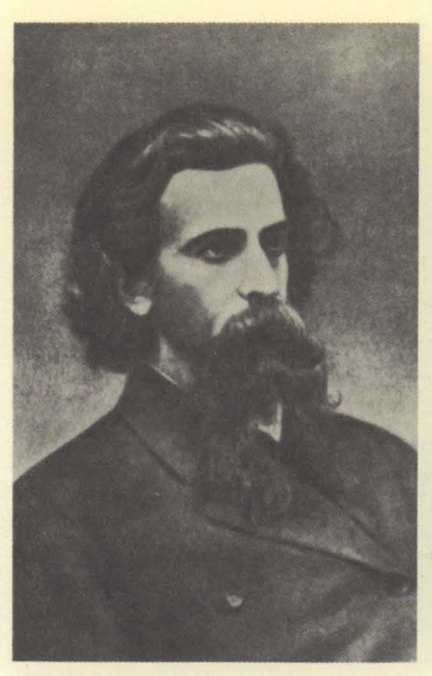
55 Маргарита Оттовна Лёвенштейн в маскарадном костюме. Конец 1860-х годов



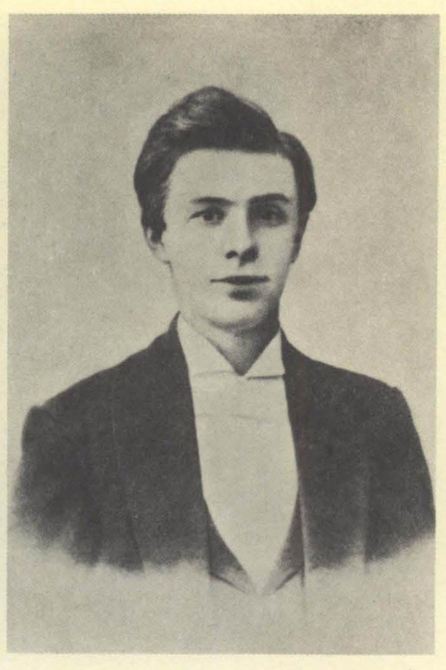
56 Маргарита Оттовна Мамонтова, урожд. Лёвенштейн, жена К. Н. Мамонтова. 1870-е годы



57 Елена Кирилловна и Маргарита Кирилловна Мамонтовы. Начало 1880-х годов



58 Владимир Сергеевич Соловьев



59 Александр Николаевич Скрябин. 1892



60 Евгений Николаевич Трубецкой. Около 1910



61 Вера Николаевна и Надежда Михайловна Третьяковы. 1865



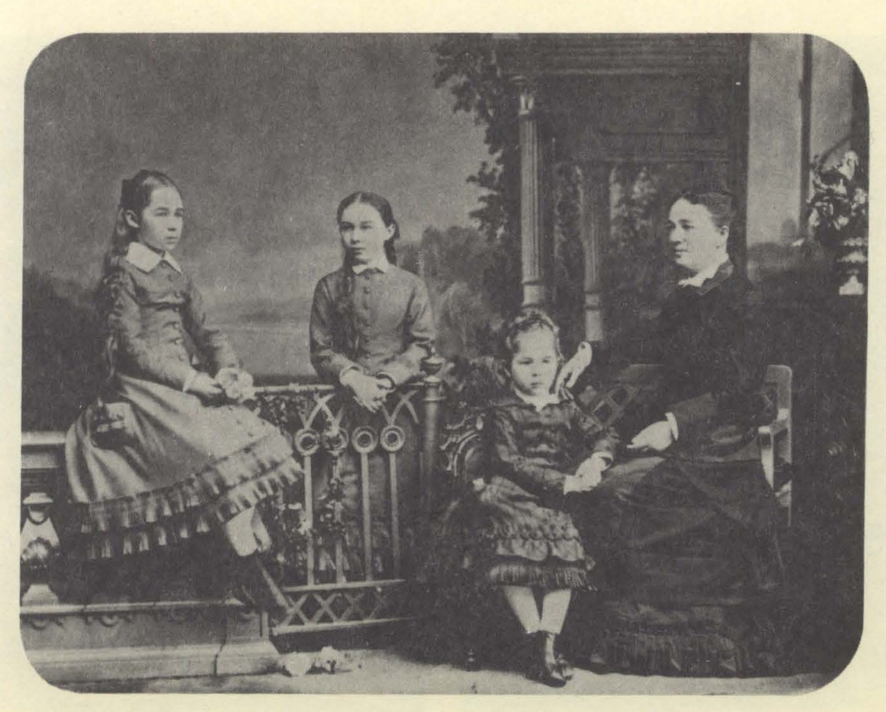
62 Вера Николаевна Третьякова с дочерью Александрой. 1868



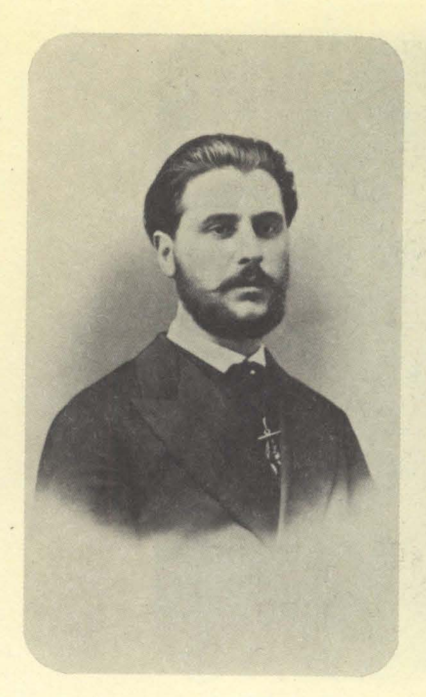
63 Вера Павловна Третьякова. 1867



64 Любовь Павловна, Александра Павловна
и Вера Павловна Третьяковы. 1878



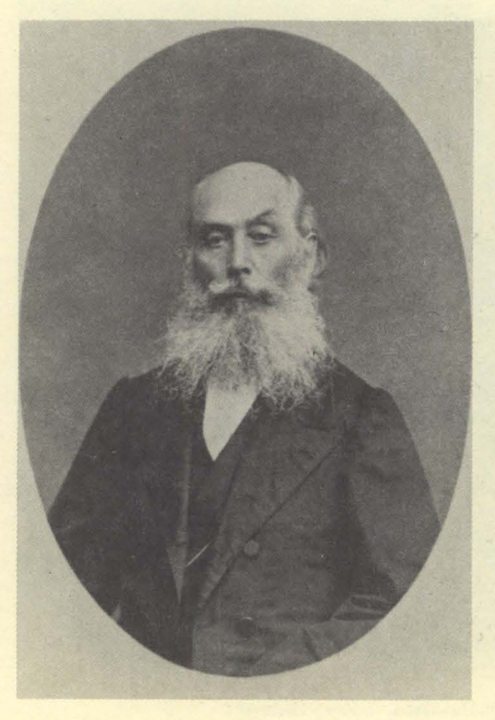
65 Александра Павловна, Вера Павловна, Любовь Павловна
и Вера Николаевна Третьяковы. Конец 1870-х годов



66 Яков Федорович Гартунг. 1871



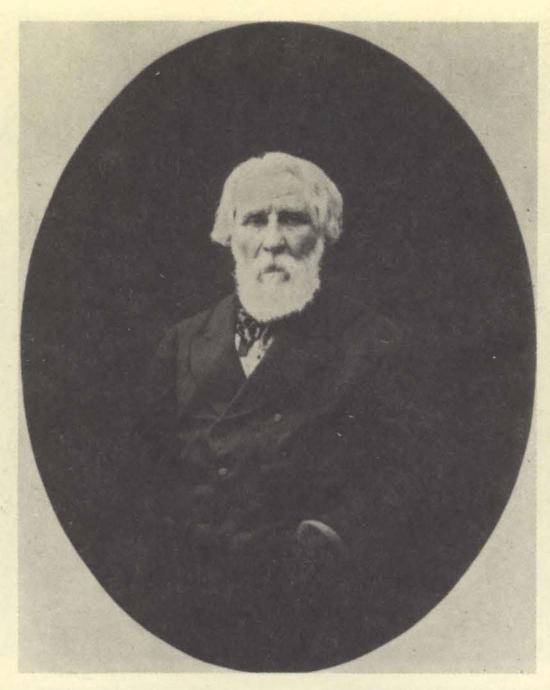
67 Надежда Михайловна Гартунг, урожд. Третьякова. 1871



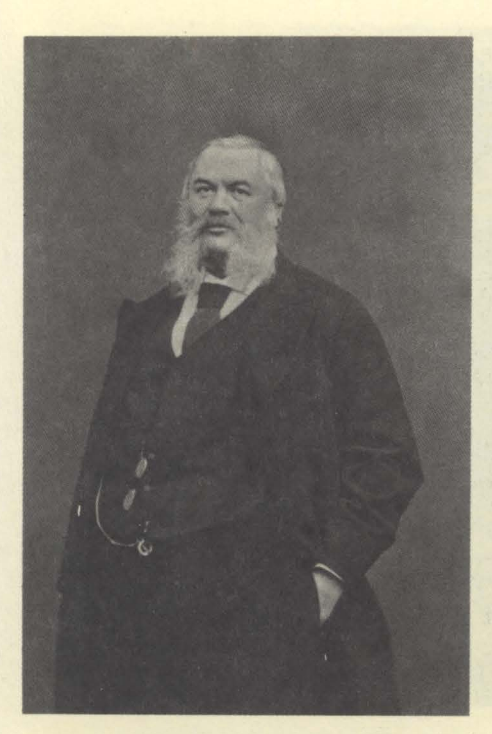
68 Василий Васильевич Протопопов. 1869



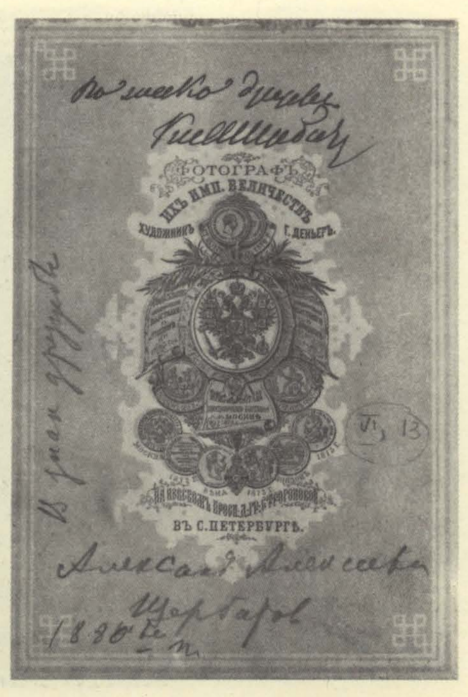
69 Мария Ивановна Вернер, урожд. Вальтер. 1875



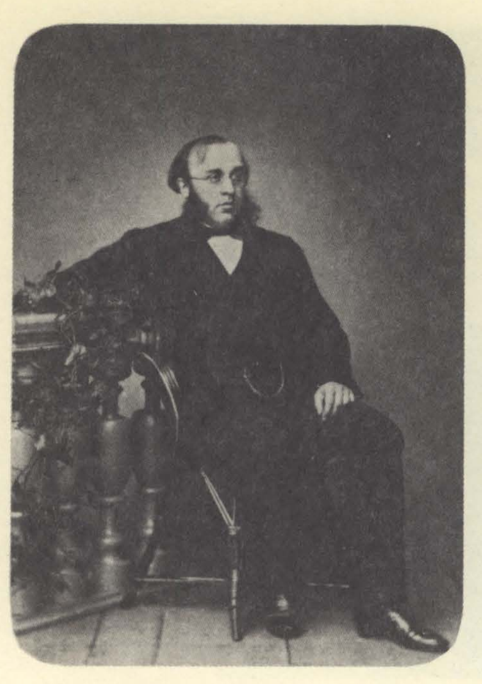
70 Иван Сергеевич Тургенев. 1881



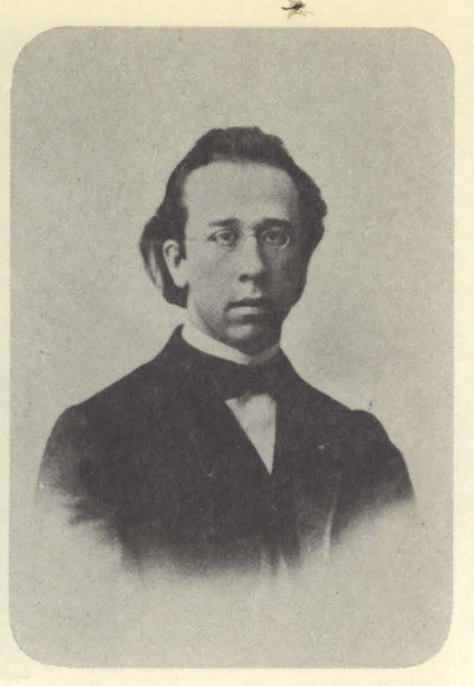
71 Александр Алексеевич Щербатов. 1880-е годы



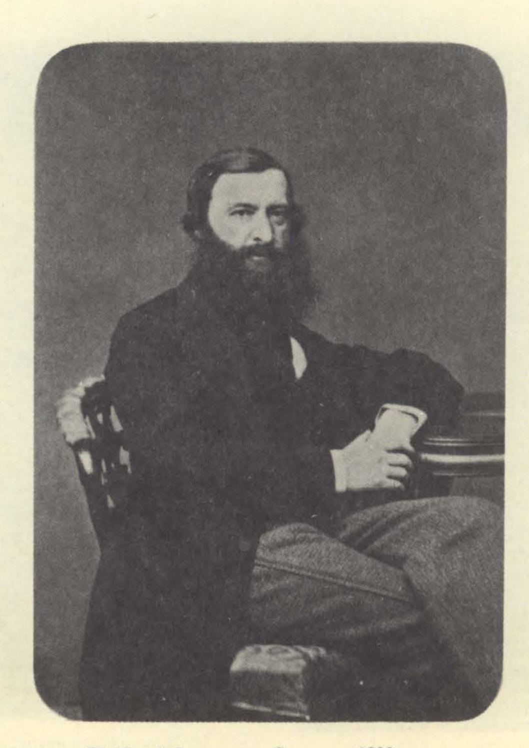
72 Дарственная надпись П. М. Третьякову на обороте фотографии: «В знак дружбы. Кн. Щербатовъ»



73 Николай Иванович Баранов. 1880-е годы



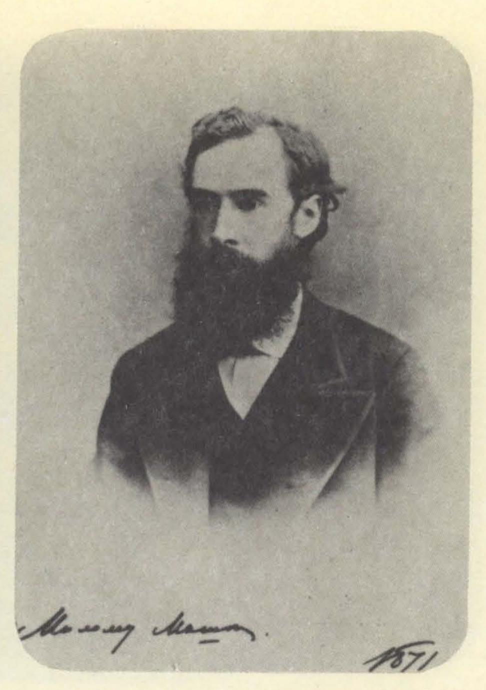
74 Федор Иванович Баранов. 1880-е годы



75 Юрий Федорович Самарин. 1880-е годы



76 Вера Николаевна Третьякова. 1870-е годы



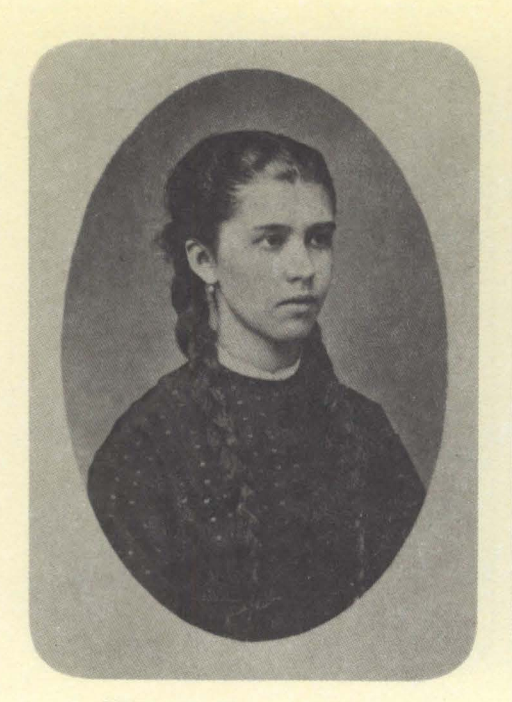
77 Павел Михайлович Третьяков. 1871.
На фотографии дарственная надпись
П. М. Третьякова старшему сыну Михаилу:
«Милому Мише. 1871»



78 Александра Владимировна Коншина.
1870-е годы



79 Прасковья Владимировна Коншина. 1870-е годы



80 Людмила Иосифовна Риба. 1871



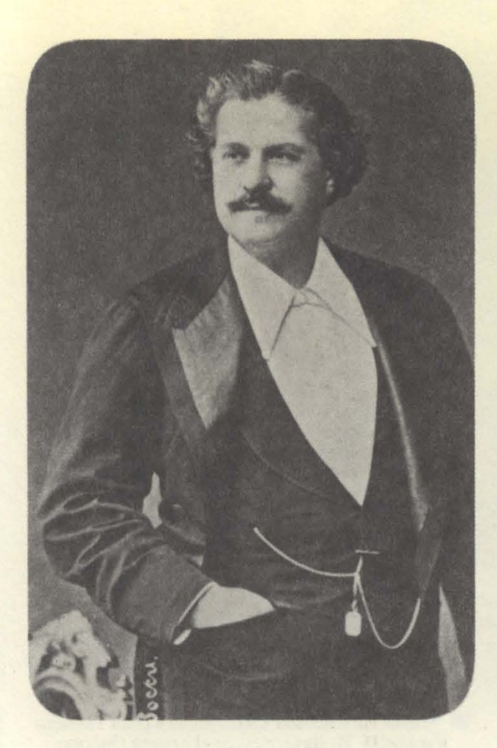
81 Елена Иосифовна Риба. 1870-е годы



82 Анна Иосифовна Риба. 1870-е годы



83 Аделина Патти. 1870-е годы



84 Эрнесто Росси. 1870-е годы



85 Эрнесто Росси в роли короля Лира.
Конец 1870-х годов



86 Мария Петровна Алексеева, урожд. Перевощикова (по сцене — Лилина). 1880-е годы



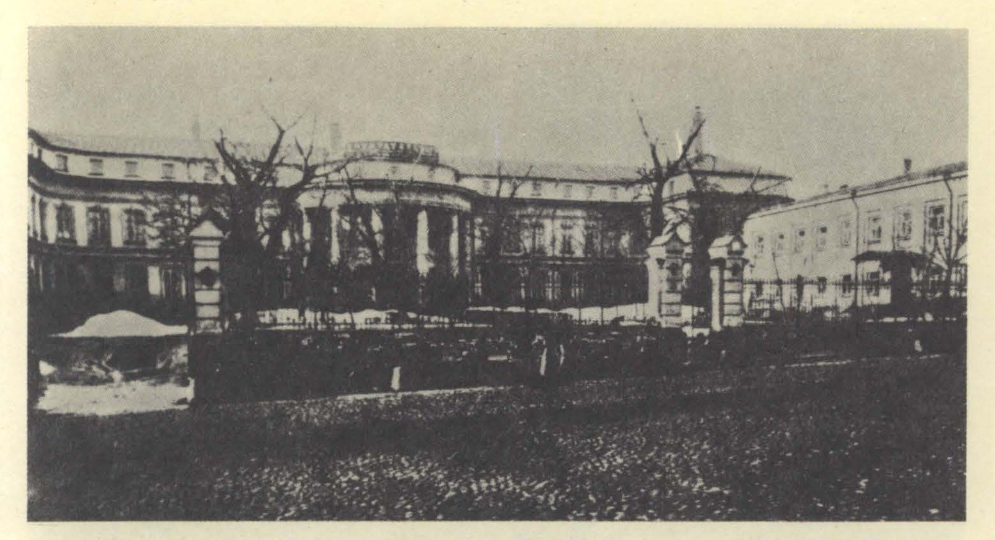
87 Гликерия Николаевна Федотова. 1865



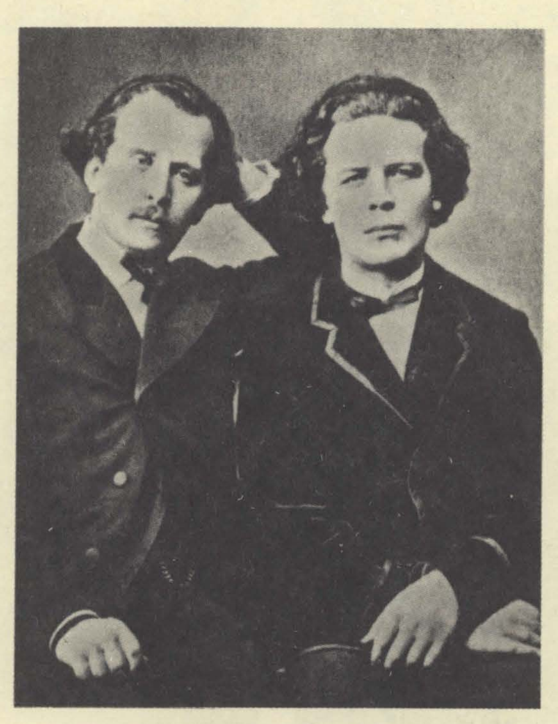
88 Мария Николаевна Ермолова. Конец 1880-х годов



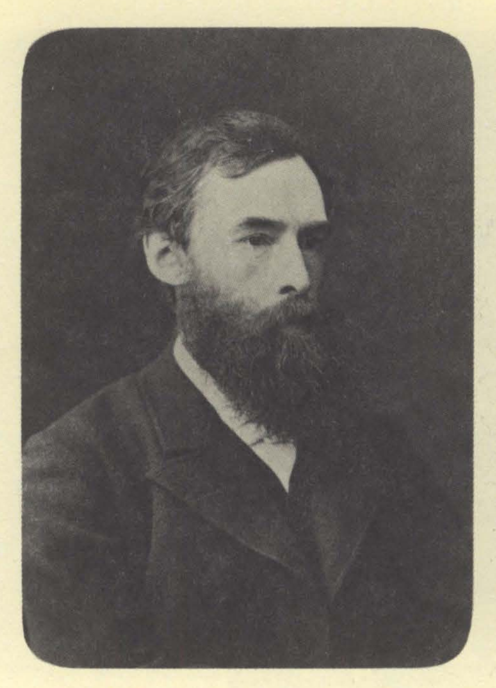
89 Мария Николаевна Климентова в роли Татьяны в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (постановка Московской консерватории). 1879



90 Здание Консерватории на Большой Никитской улице. 1870-е годы



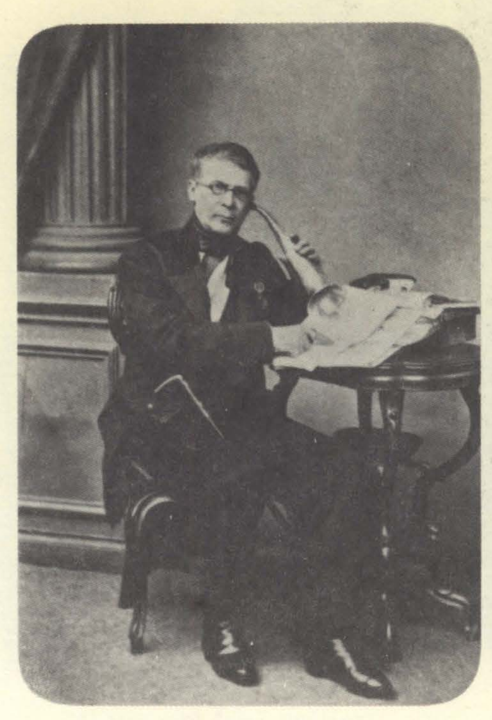
91 Николай Григорьевич
и Антон Григорьевич Рубинштейны



92 Павел Михайлович Третьяков. 1884



93 Вера Николаевна Третьякова. 1870-е годы



94 Иван Карлович Арнольд. 1860-е годы



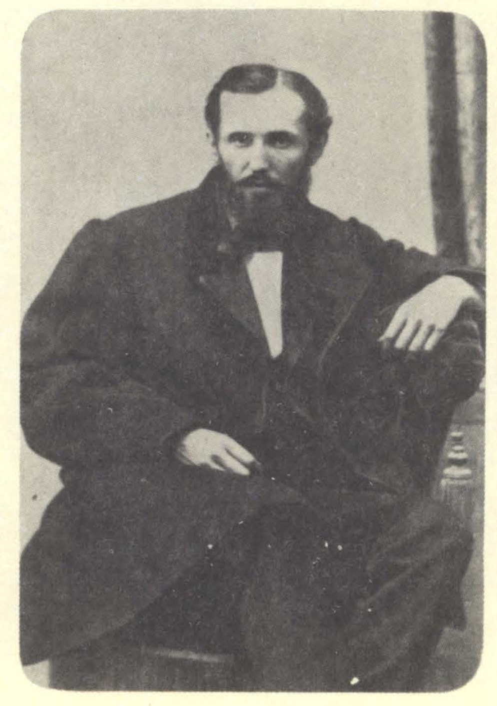
95 Владимир Петрович Вишняков. 1867



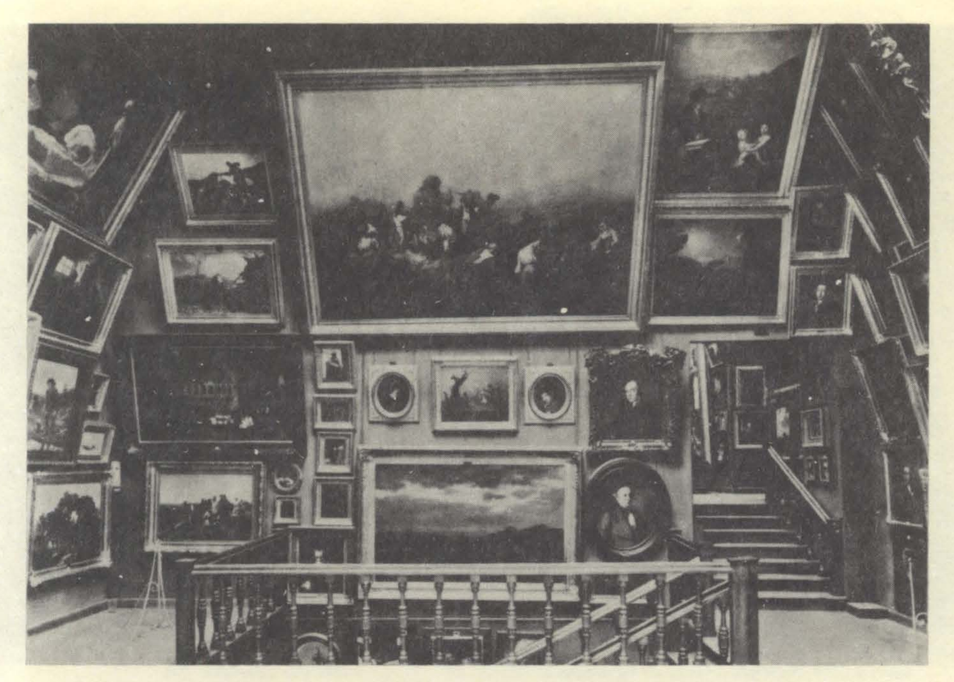
96 Любовь Павловна, Михаил Павлович, Вера Николаевна,
Вера Павловна и Александра Павловна Третьяковы. Начало 1880-х годов



97 Софья Николаевна и Любовь Николаевна Вагины.
1860-е годы



98 Александр Степанович Каминский. 1870-е годы



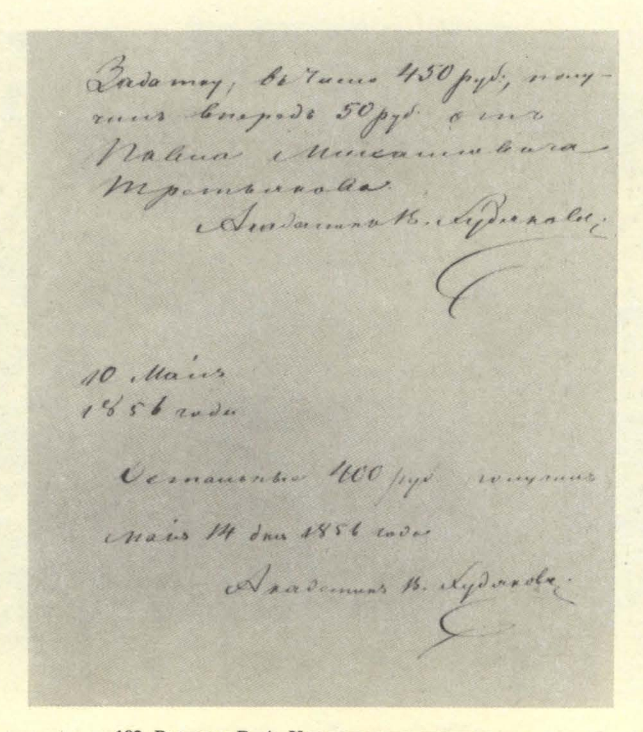
99 Зал 2(6) с лестницей из зала 1 в зал 3. Произведения М. И. Соколова, М. П. Боткина, К. Н. Филиппова, И. К. Макарова и других. Экспозиция 1898 года



100 Зал 2(6). Торцовая стена. Произведения К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, А. М. Максимова, С. К. Зарянко и других. Экспозиция 1898 года



101 Зал 5(11). Стена слева от входа из зала 4. Произведения Ф. А. Васильева и И. Н. Крамского. Экспозиция 1898 года



Задатокъ, въ число 450 руб., получилъ впередъ 50 руб. отъ Павла Михайловича Третьякова.

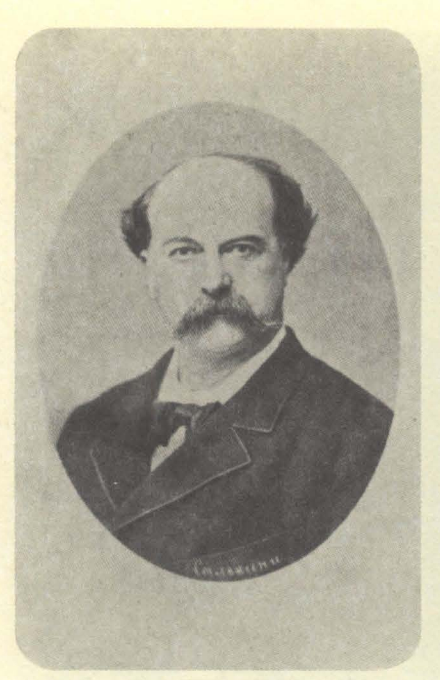
Академикъ В. Худяковъ

10 Мая
1856 года

Остальные 400 руб. получилъ Мая 14 дня 1856 года

Академикъ В. Худяковъ

102 Расписка В. А. Худякова в получении денег от П. М. Третьякова. 1856



103 Томмазо Сальвини



104 Александр Павлович Ленский. 1900-е годы



105 Полина Антипьевна Стрепетова.
1870-е годы. Фотография с дарственной надписью
П. А. Стрепетовой:
«Многоуважаемому Павлу Михайловичу Третьякову»



106 Сара Бернар в роли Жанны д'Арк.
Фотография
К. Надара. Конец 1870-х годов



107 Вера Николаевна Третьякова и Зинаида Николаевна Якунчикова.
1870-е годы



108 Зинаида Васильевна Якунчикова и Александра Павловна Боткина. Начало 1880-х годов



109 Зинаида Васильевна и Эмиль Юльевич Мориц. Середина 1880-х годов



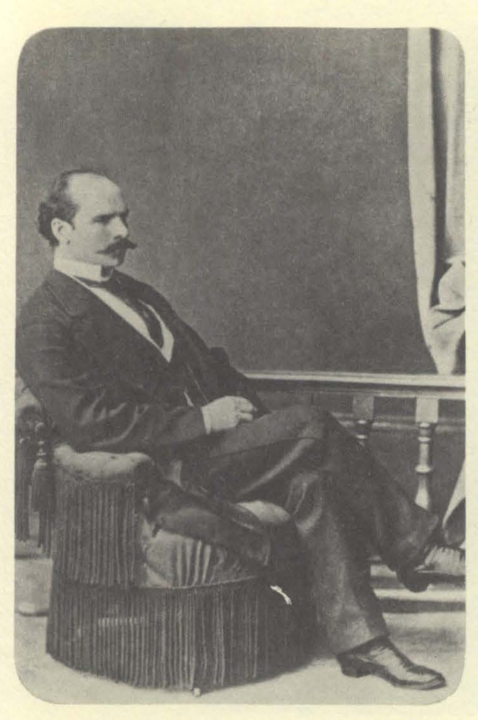
110 Вера Николаевна и Павел Михайлович Третьяковы.
1880-е годы



111 Софья Сергеевна Боткина, урожд. Мазурина. 1870-е годы



112 Дмитрий Петрович Боткин. 1870-е годы



113 Александр Антонович Риццони. 1863



114 Мария Антоновна Риццони. 1860-е годы



115 Мария Ивановна и Мария Павловна Третьяковы. 1876



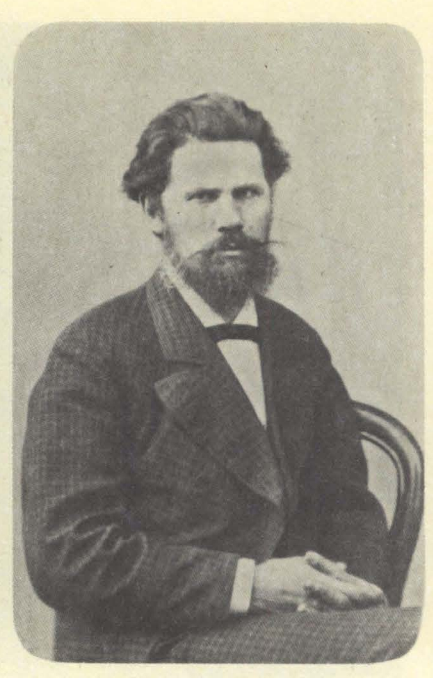
116 Мария Ивановна, Любовь Павловна, Александра Павловна, Вера Павловна и Анна Ивановна Третьяковы. 1878



117 Вера Николаевна Третьякова. 1870-е годы



118 Софья Николаевна Крамская, урожд. Прохорова. 1860-е годы



119 Иван Николаевич Крамской. 1870-е годы



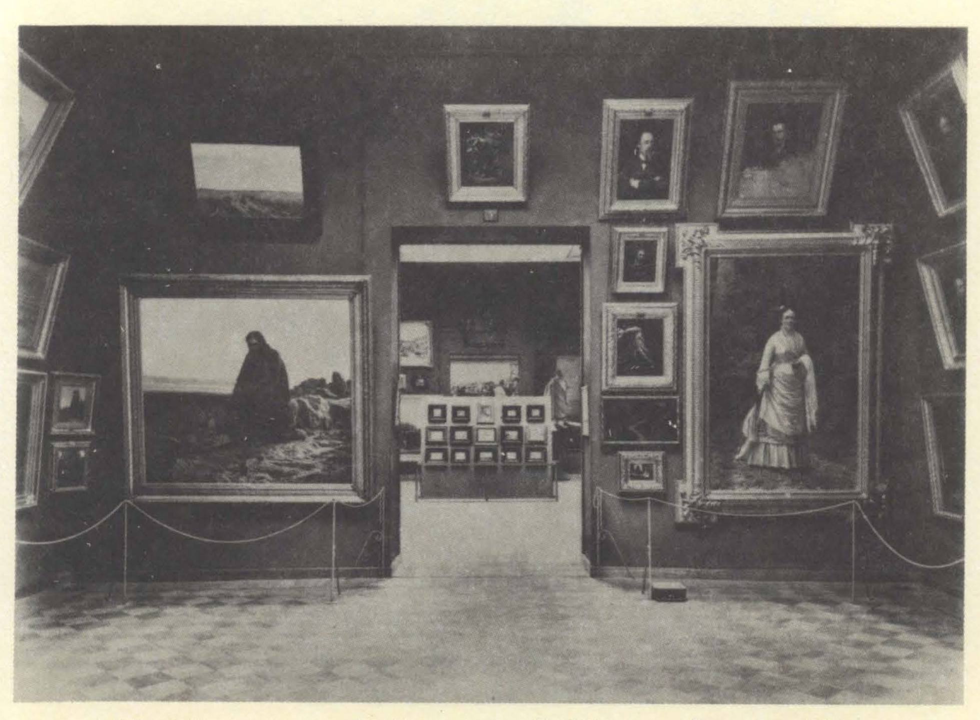
120 Лидия Александровна Максимова, урожд. Измайлова. 1877



121 Василий Максимович Максимов. 1877



122 Вера Николаевна Третьякова. 1876



123 Зал 5(11) с видом на залы 6 и 7. Произведения И. Н. Крамского. Экспозиция 1898 года



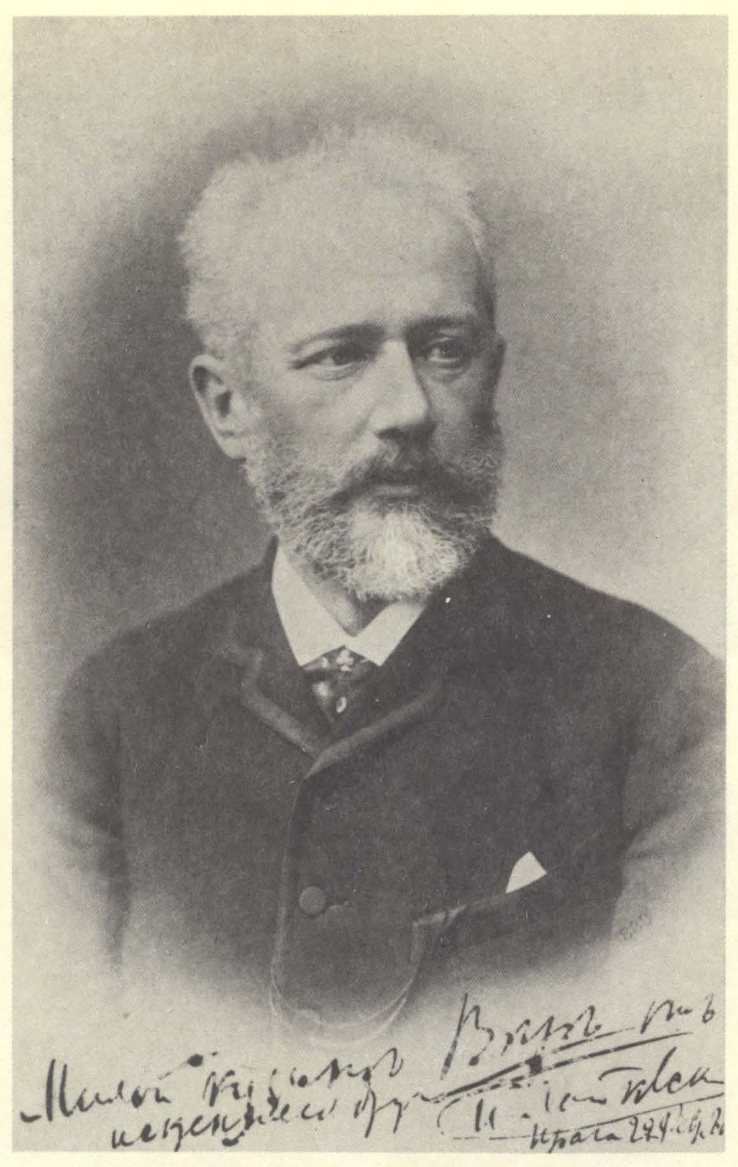
124 Модест Ильич Чайковский.
Вторая половина 1870-х годов



125 Анатолий Ильич Чайковский. 1875



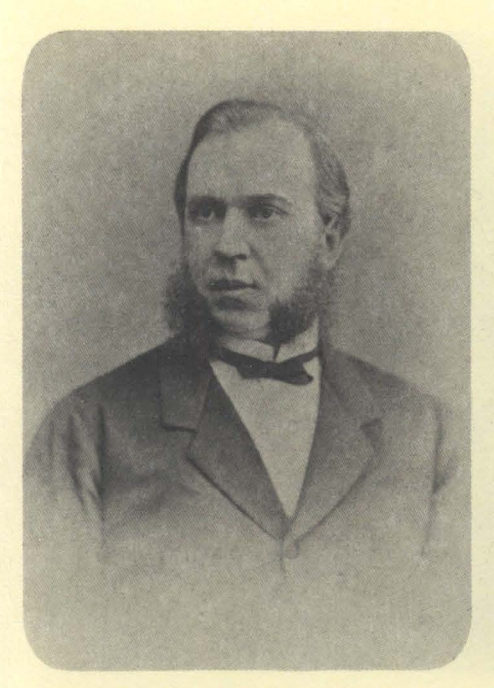
126 Александра Ильинична
и Лев Васильевич Давыдовы



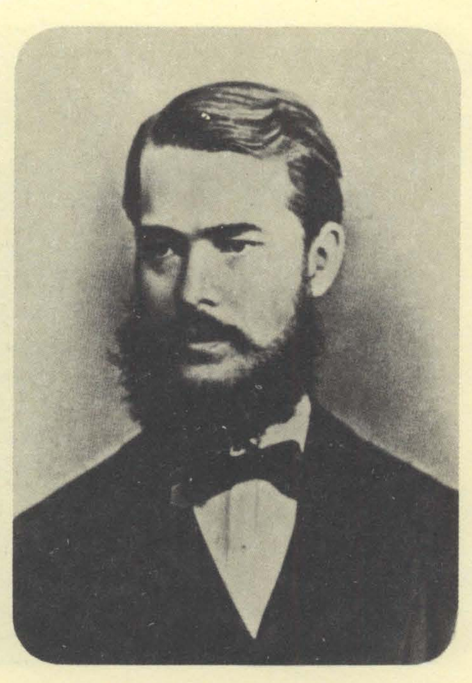
127 Петр Ильич Чайковский. 1888. Фотография с дарственной надписью П. И. Чайковского В. П. Зилоти: «Милой кузине ВБрБ от искреннего друга. П. Чайковский. Прага 27 февр. 88»



128 Вера Павловна Третьякова. Начало 1880-х годов



129 Владимир Дмитриевич Коншин. 1870-е годы



130 Петр Иванович Юргенсон



131 Софья Ивановна Юргенсон, урожд. Соц. 1870-е годы



132 Александра Петровна Юргенсон. 1880-е годы



133 Петр Ильич Чайковский
и Анатолий Андреевич Брандуков. 1888



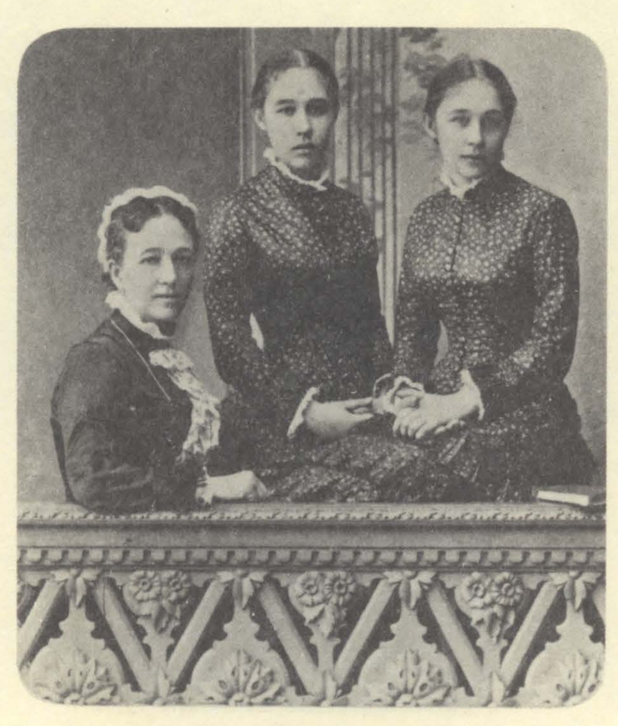
134 Надежда Митрофановна Мазурина,
в замужестве — Брандукова.



135 Елизавета Дмитриевна Боткина
(в первом браке — Дункер, во втором — Щукина).
1880-е годы



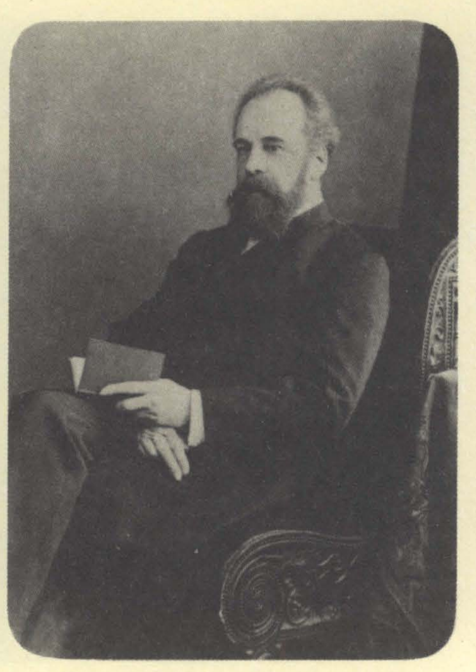
136 Александра Густавовна Третьякова,
урожд. Дункер, жена Н. С. Третьякова. 1880-е годы



137 Вера Николаевна, Александра Павловна
и Вера Павловна Третьяковы. 1883



138 Елена Андреевна Третьякова, урожд. Матвеева, вторая жена С. М. Третьякова. Около 1868



139 Сергей Михайлович Третьяков. Начало 1880-х годов



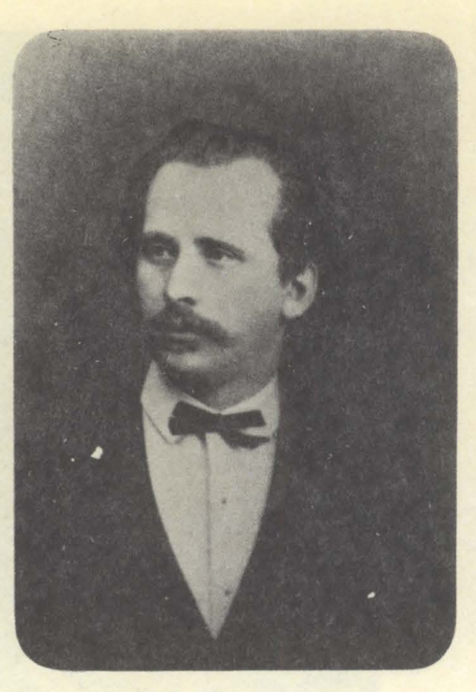
140 Александра Павловна Третьякова. 1880-е годы



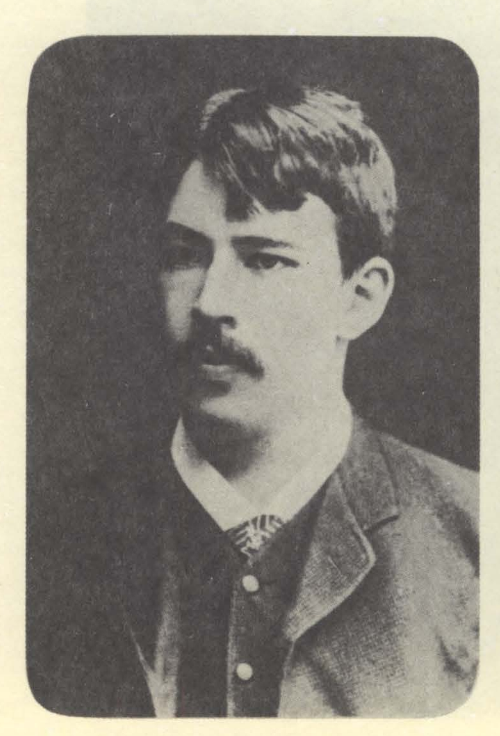
141 Антон Григорьевич Рубинштейн



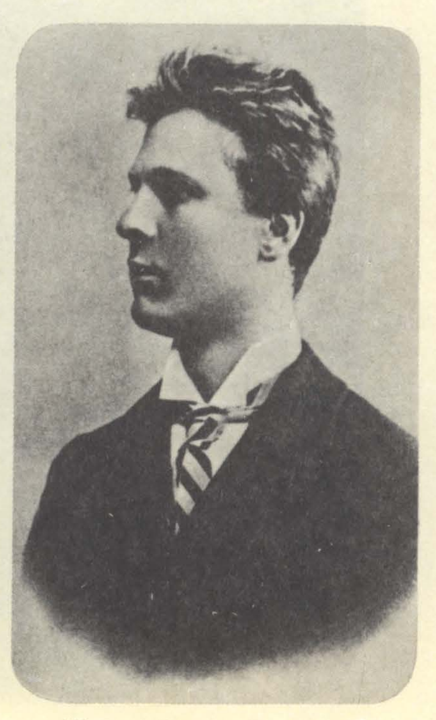
142 Модест Петрович Мусоргский. 1874



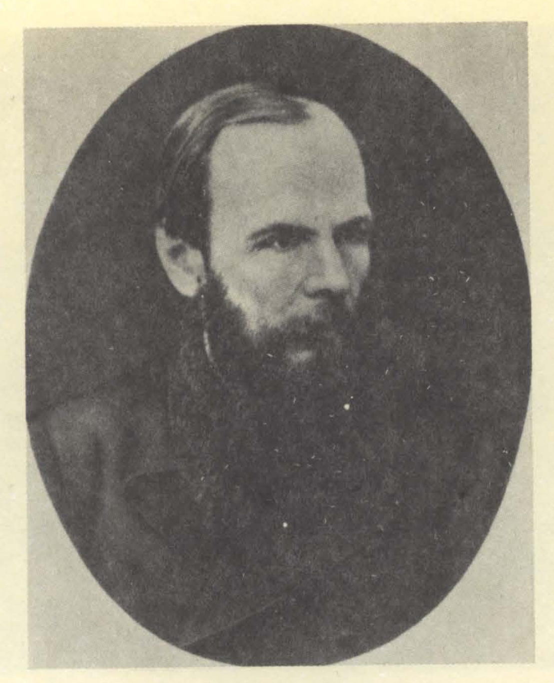
143 Николай Григорьевич Рубинштейн



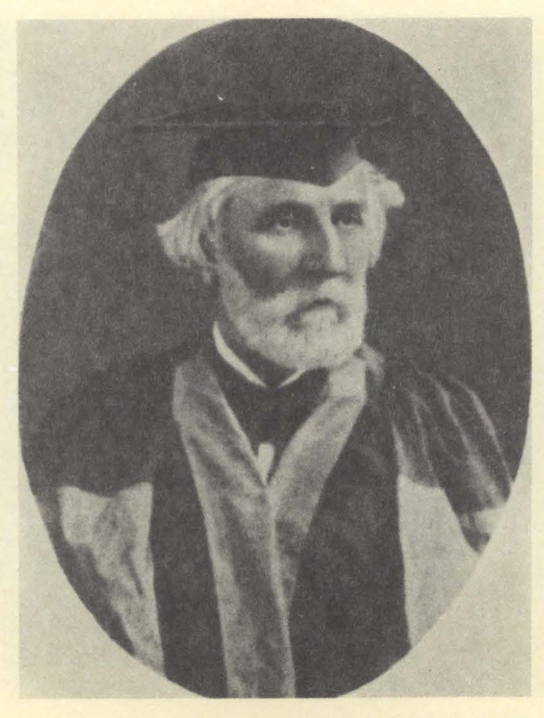
144 Константин Сергеевич Алексеев (Станиславский). 1885



145 Федор Иванович Шаляпин. 1893



146 Федор Михайлович Достоевский. 1878



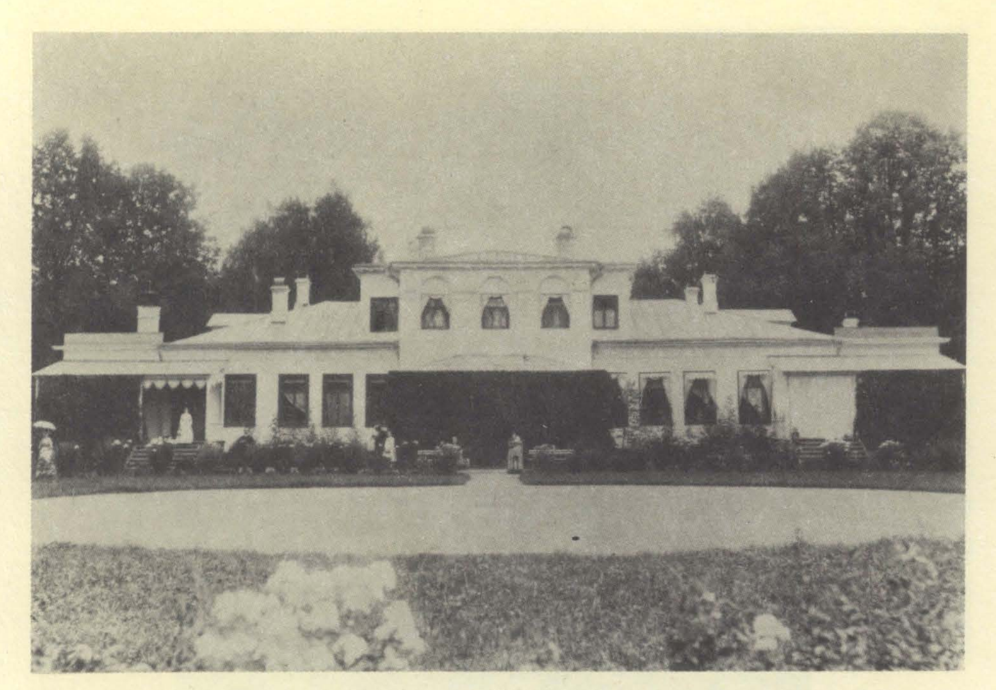
147 Иван Сергеевич Тургенев в мантии
доктора Оксфордского университета.
Фотография А. Либера. 1879



148 Любовь Павловна Третьякова. 1880-е годы



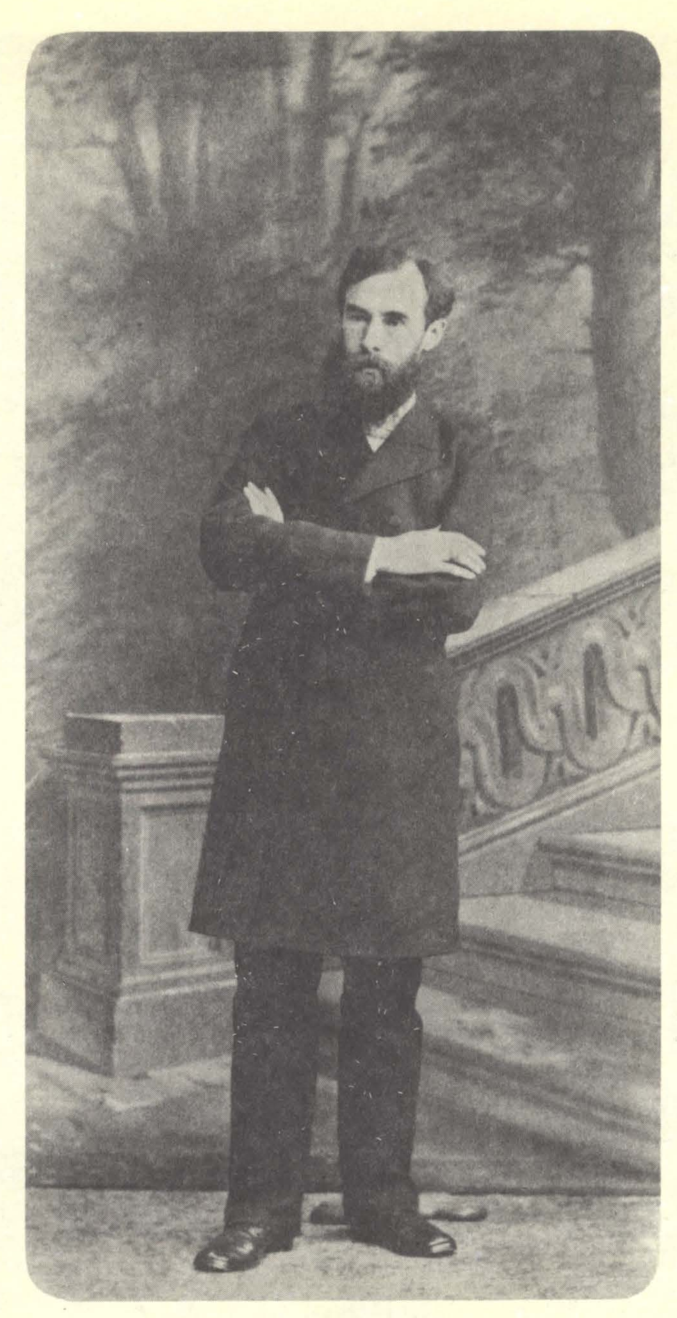
149 Александра Павловна Третьякова. 1880-е годы



150 Куракино. 1880-е годы



151 Семья Третьяковых. Куракино. Сидят на скамейке: Павел Михайлович, Вера Николаевна, Александр Ильич Зилоти, рядом с ним стоит Вера Павловна; на ступенях веранды сидят Мария Ивановна и Любовь Павловна, стоит Александра Павловна; на веранде — Мария Павловна. 1888



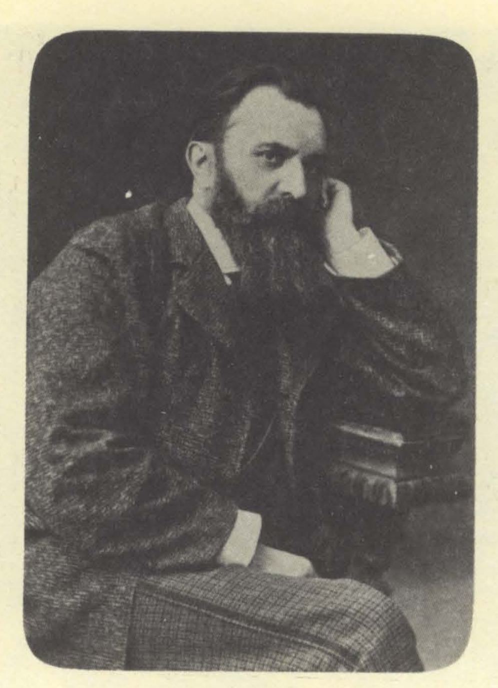
152 Павел Михайлович Третьяков. 1884



153 Группа в Абрамцеве. Слева направо сидят: К. Д. Арцыбушев, А. С. Мамонтов, В. М. Васнецов, Т. В. Васнецова, И. С. Кукин, П. А. Спиро, А. С. Мамонтова, С. И. Мамонтов, И. В. Штром, И. С. Остроухов, Е. Г. Мамонтова, М. М. Антокольский, В. И. Ольховская; стоит — И. В. Шпажинский. 1884



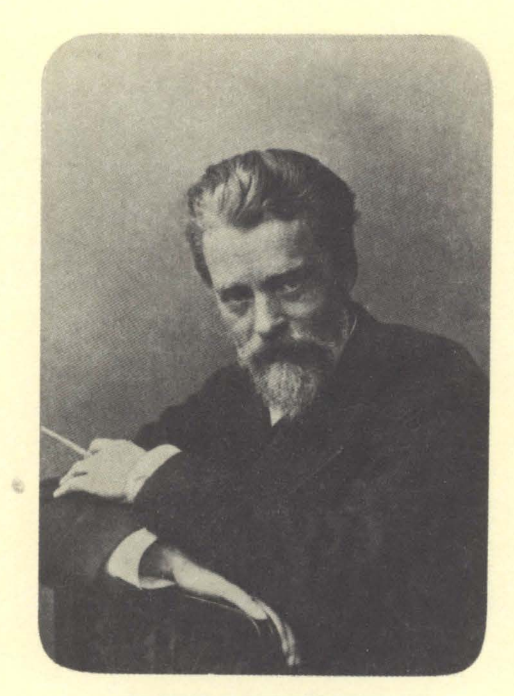
154 В мастерской С. И. Мамонтова в Абрамцеве. В 1-м ряду слева направо сидят: В. Д. Поленов, В. А. Серов, С. И. Мамонтов. Около 1885—1886



155 Василий Григорьевич Перов. 1880



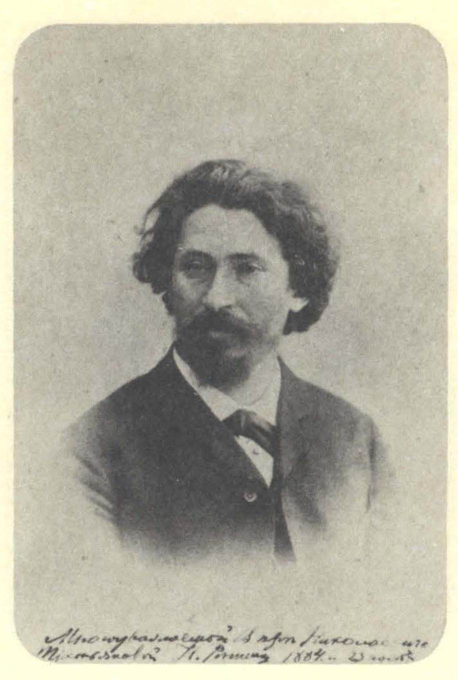
156 Зал 2(6). Первая продольная стена против лестницы из зала 1.
Произведения В. Г. Перова. Экспозиция 1898 года



157 Владимир Егорович Маковский



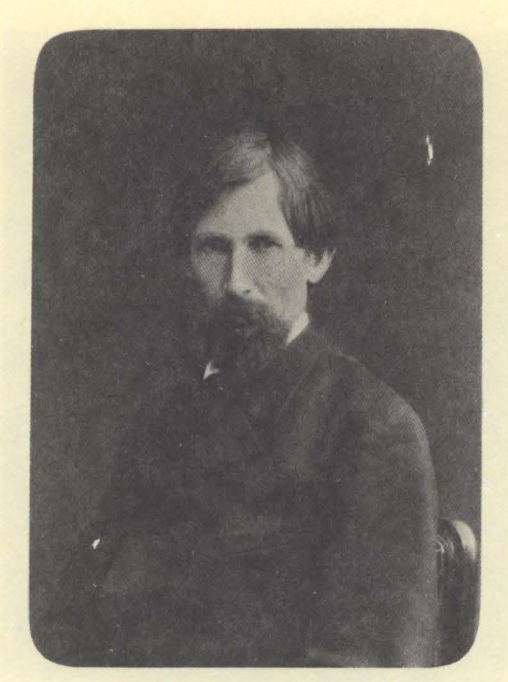
158 Вера Николаевна Третьякова и Елизавета Егоровна Перова. 1897



159 Илья Ефимович Репин. 1884. Фотография
с дарственной надписью И. Е. Репина:
«Многоуважаемой ВѢрѢ Николаевне Третьяковой.
И. Репинъ 1884 23 ноября»



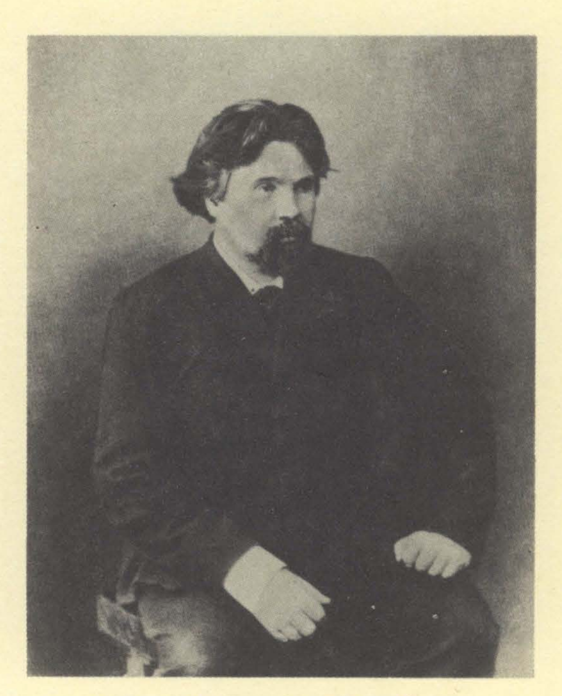
160 Зал 8(18). Продольная стена, часть, ближайшая к залу 9. Произведения И. Е. Репина,
Л. О. Пастернака, Р. Г. Судковского, И. С. Остроухова, И. И. Левитана. Экспозиция 1898 года



161 Виктор Михайлович Васнецов. 1885



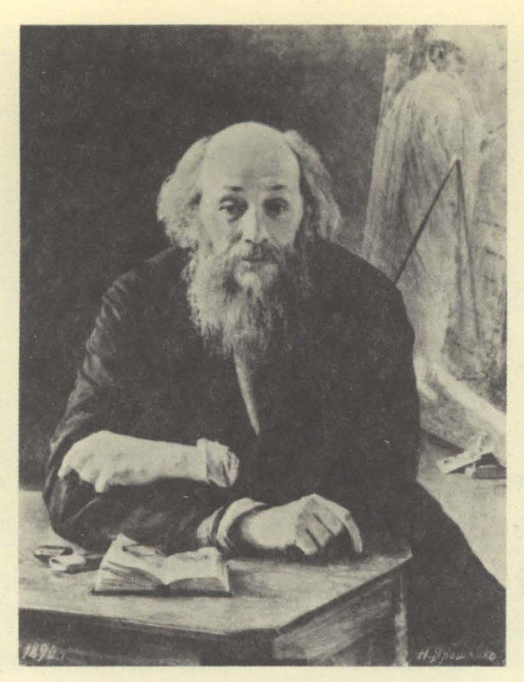
162 Зал 11(22). Левая продольная стена. Произведения В. М. Васнецова. Экспозиция 1898 года



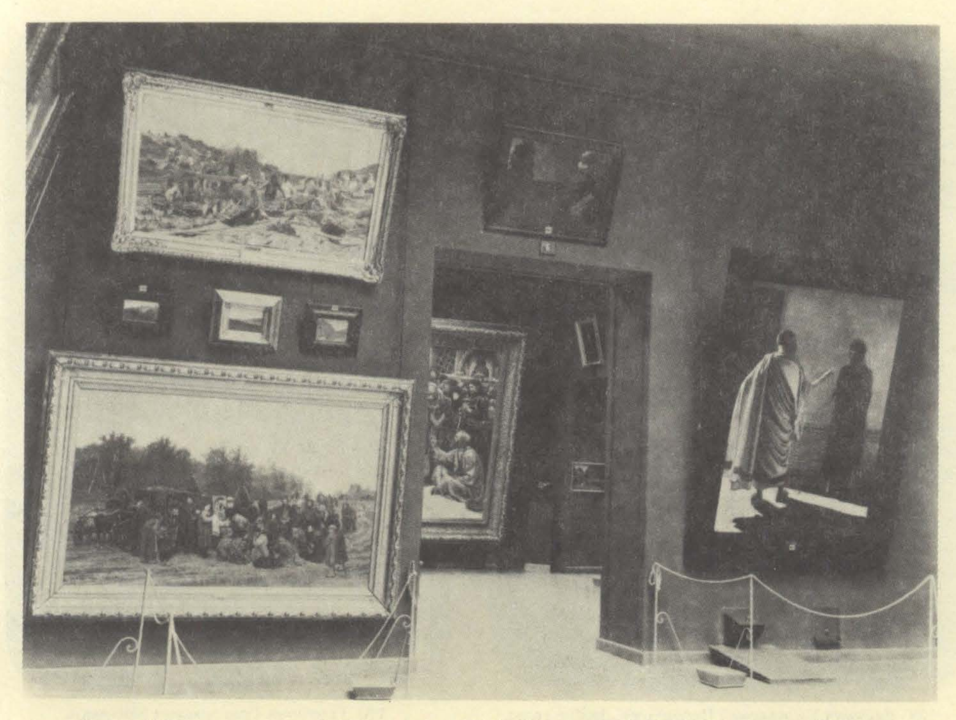
163 Василий Иванович Суриков. 1880-е годы



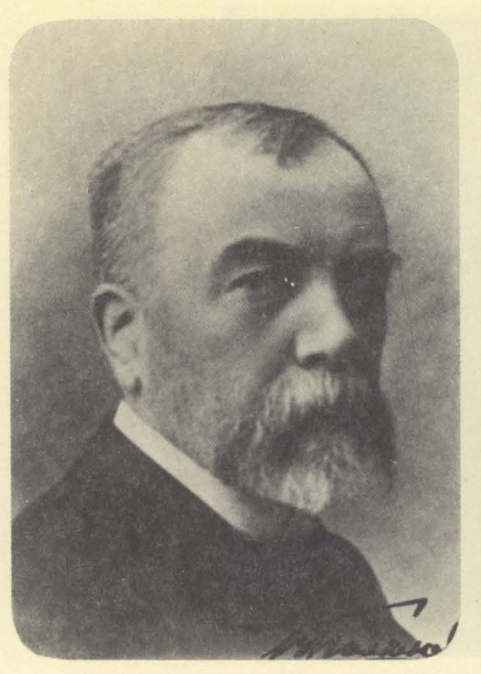
164 Зал 7(13) с видом на зал 6. Произведения В. И. Сурикова, С. Д. Милорадовича, А. Д. Литовченко. Экспозиция 1898 года



165 Николай Николаевич Ге. Портрет работы
Н. А. Ярошенко. 1890



166 Зал 6(12) с видом на зал 7. Произведения К. А. Савицкого, Н. Н. Ге. Экспозиция 1898 года



167 Василий Дмитриевич Поленов



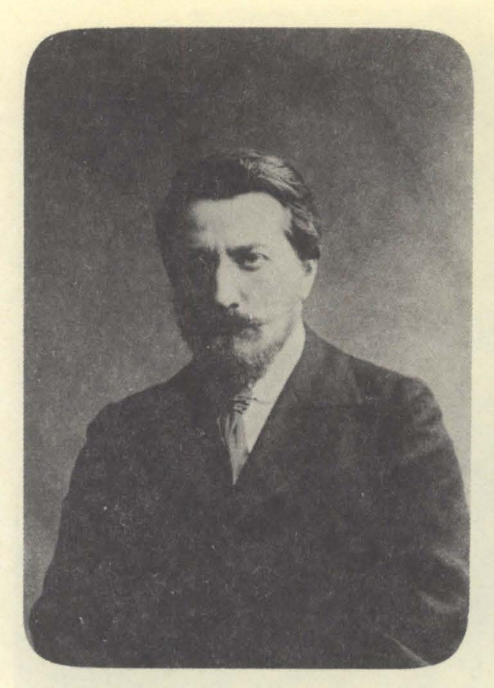
168 Михаил Петрович Боткин. Конец 1890-х годов



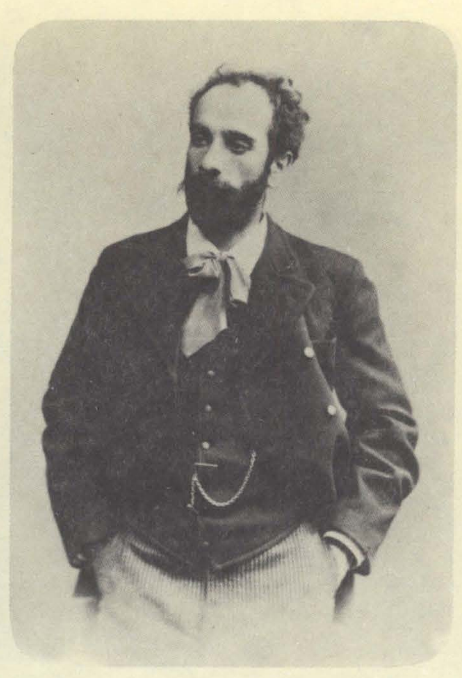
169 Василий Васильевич Верещагин. 1880-е годы.
Фотография с дарственной надписью
В. В. Верещагина:
«Павлу Михайловичу Третьякову»



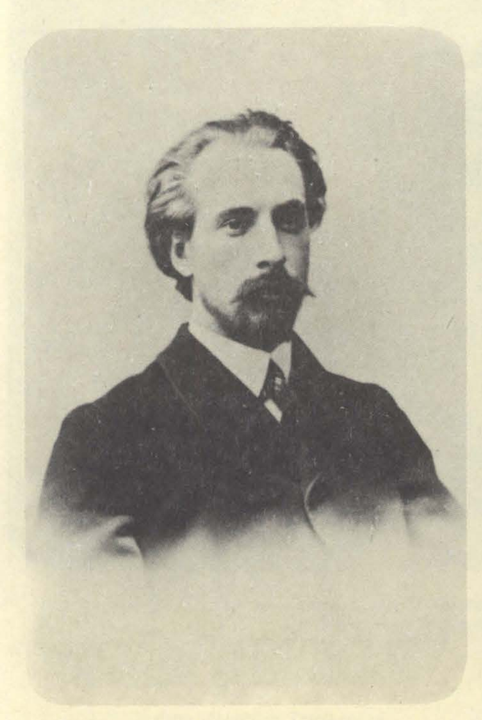
170 Григорий Григорьевич Мясоедов.
1870-е годы



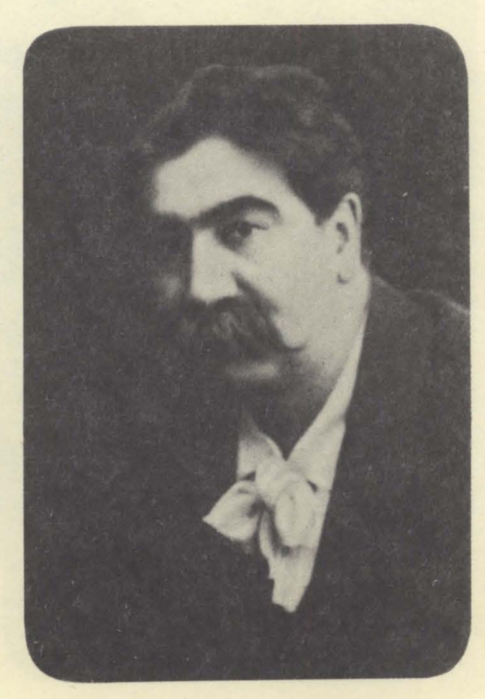
171 Валентин Александрович Серов



172 Исаак Ильич Левитан



173 Николай Корнилиевич Бодаревский



174 Николай Дмитриевич Кузнецов



175 Илья Ефимович Репин с семьей. Слева направо: Вера Ильинична (стоит), Юрий Ильич, Вера Алексеевна и Надежда Ильинична (сидят)



176 Мария Павловна, Павел Михайлович Третьяковы
и Николай Васильевич Неврев. 1893



177 Любовь Павловна Третьякова.
1880-е годы



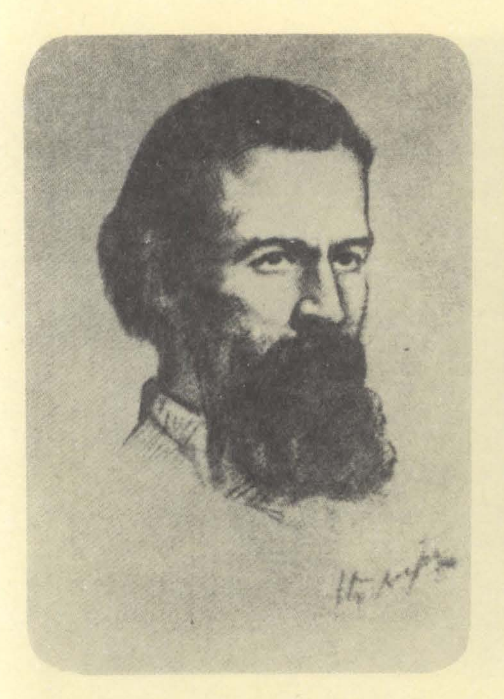
178 Александра Павловна Третьякова.
Конец 1880-х годов



179 Павел Михайлович Третьяков и Илларион Михайлович Прянишников. 1891



180 Лев Николаевич Толстой в кругу семьи



181 Яков Петрович Полонский.
Рисунок М. М. Антокольского. 1870-е годы



182 Жозефина Антоновна Полонская.
Фотография И. А. Гоха. 1870-е годы



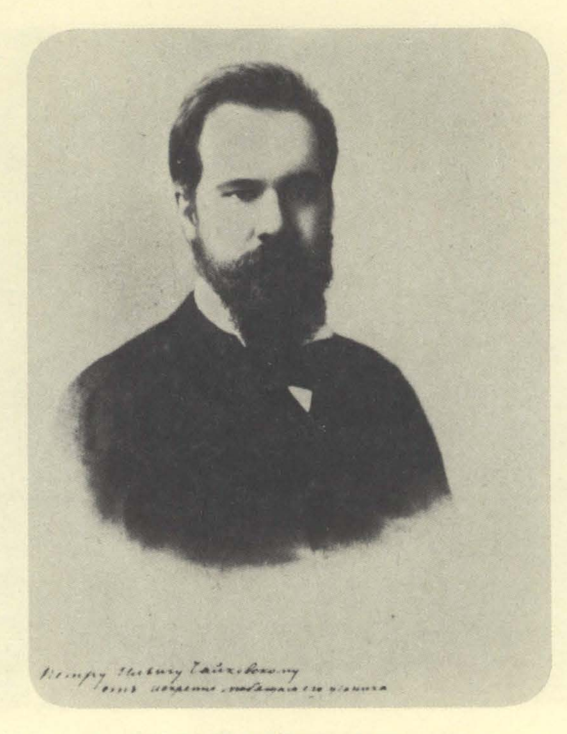
183 Дмитрий Васильевич Григорович.
Фотография С. Л. Левицкого. 1856



184 Паулина Эрдмансдёрфер, урожд. Фихтнер.
1870-е годы



185 Макс Карл Кристиан Эрдмансдёрфер.
1870-е годы



186 Сергей Иванович Танеев

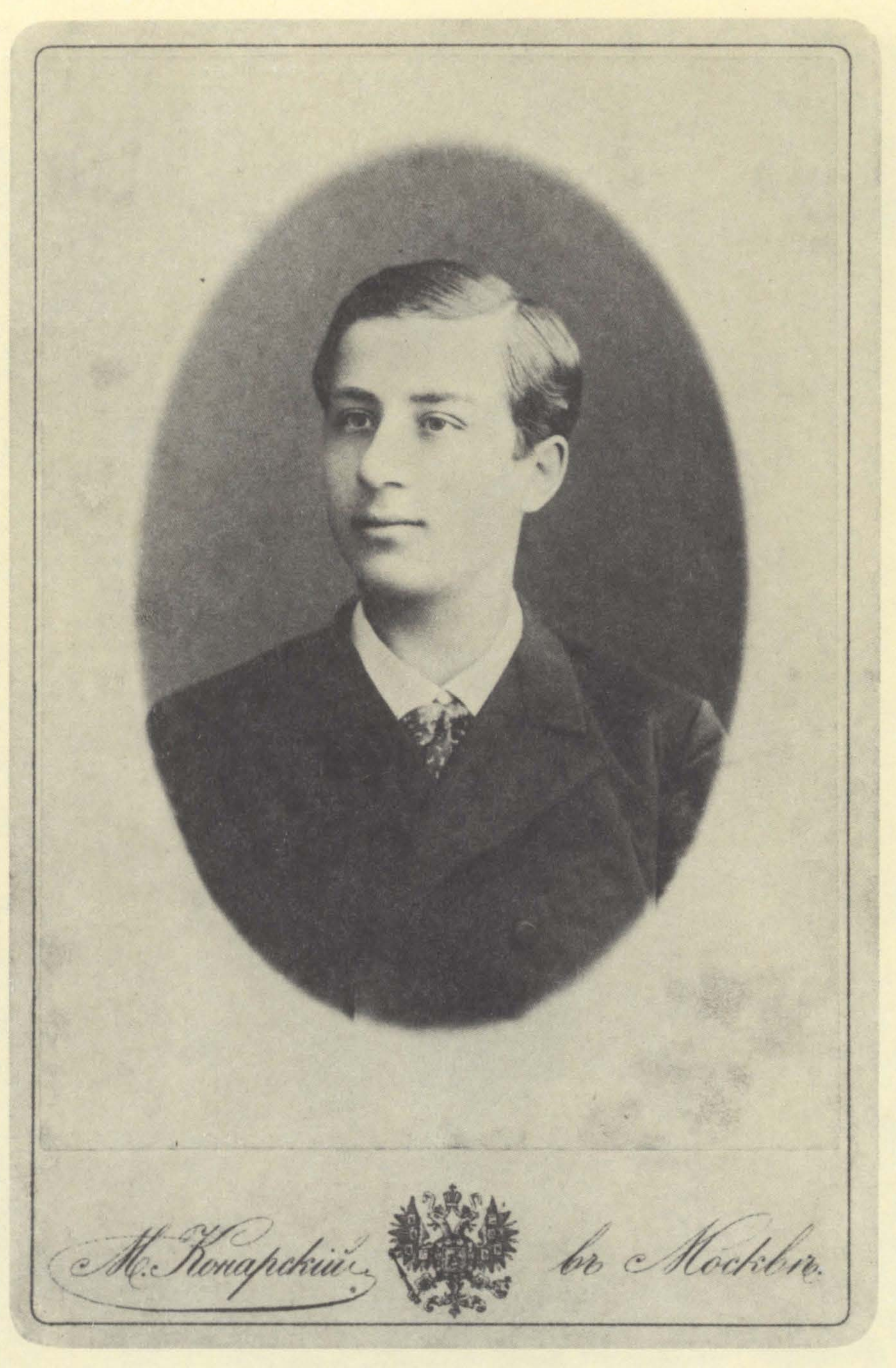


187 Вера Николаевна Третьякова. 1884

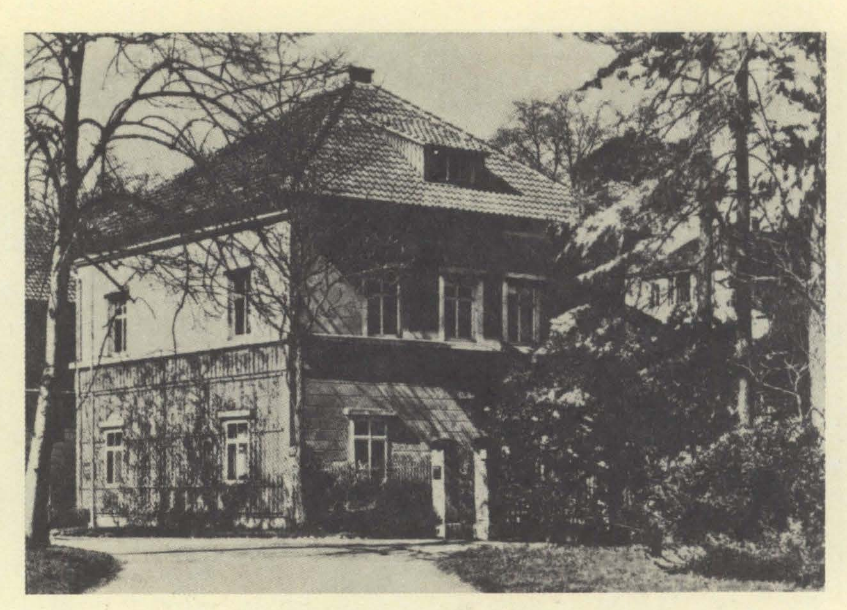
188 Куракино. Отдых в лесу. На первом плане — Вера Павловна Зилоти (справа) и неизвестная; на втором плане слева направо — неизвестная, Мария Павловна Третьякова, Александр Александрович Зилоти, у дерева стоит Александра Павловна Третьякова. Конец 1880-х годов



189 Александра Павловна и Вера Павловна Третьяковы. Середина 1880-х годов



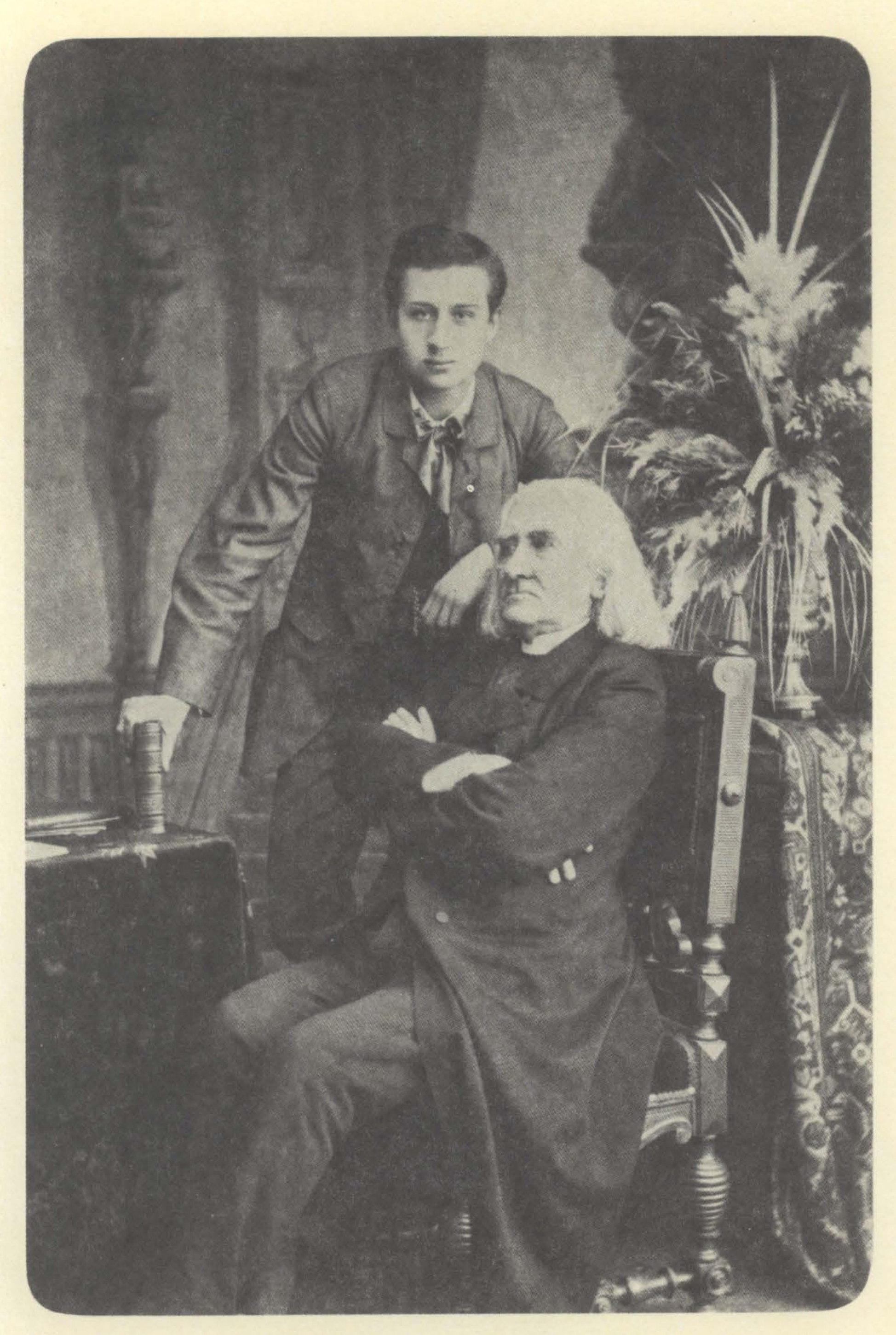
190 Александр Ильич Зилоти. Конец 1870-х годов



191 Дом Ференца Листа в Веймаре



192 Наталья Васильевна Поленова (урожд. Якунчикова),
Савва Иванович и Елизавета Григорьевна Мамонтовы



193 Ференц Лист и Александр Ильич Зилоти. 1884



194 Александр Ильич Зилоти. 1887



195 Вера Павловна Третьякова. Около 1887



196 Владимир Ильич Зилоти. 1887

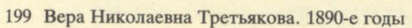


197 Сергей Ильич Зилоти. 1887

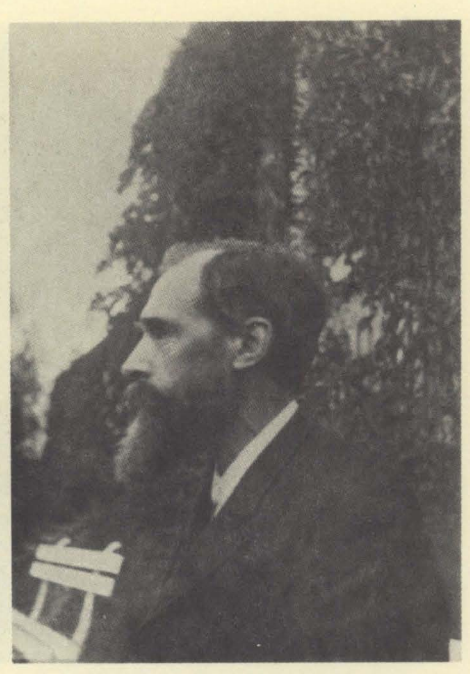


198 Александр Ильич Зилоти и Артур Никиш. 1902





199 Вера Николаевна Третьякова. 1890-е годы



200 Павел Михайлович Третьяков. 1891



201 Вера Павловна Зилоти (урожд. Третьякова).
Конец 1880-х годов



202 Вера Павловна Зилоти с сыном Александром.
Конец 1880-х годов



203 Вера Александровна и Оксана Александровна Зилоти. 1890-е годы



204 Николай Николаевич Гриценко, Александра Павловна и Сергей Сергеевич Боткины (сидят), Александр Ильич Зилоти, Любовь Павловна Гриценко и Вера Павловна Зилоти (стоят). 1896

205 Семья Третьяковых. Куракино. В 1-м ряду слева направо сидят: Вера Павловна, Александр Ильич Зилоти и неизвестный; во 2-м ряду: Мария Ивановна, Любовь Павловна и Александра Павловна; в 3-м ряду сидит Павел Михайлович с внуком Александром, стоят Вера Николаевна и Мария Павловна. Конец 1880-х годов



206 Любовь Павловна Третьякова. 1880-е годы



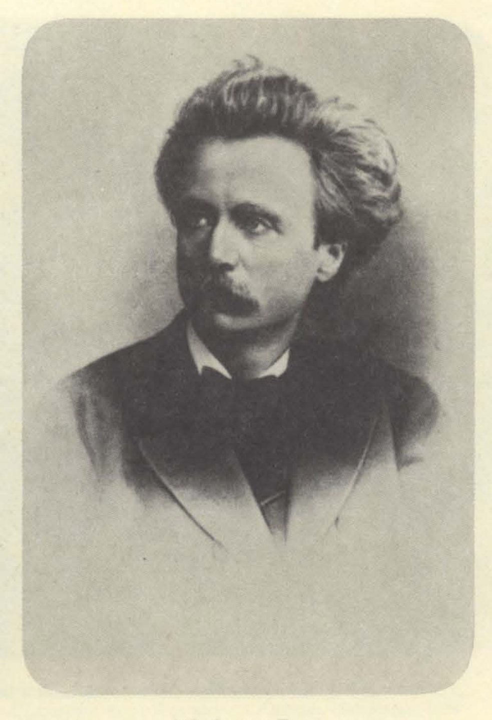
207 Мария Павловна Третьякова. 1890-е годы



208 Александр Ильич Зилоти и Петр Ильич Чайковский. Конец 1880-х годов



209 Александр Валерианович Вержбилович, Александр Ильич Зилоти и Василий Львович Сапельников (стоит). Начало 1900-х годов



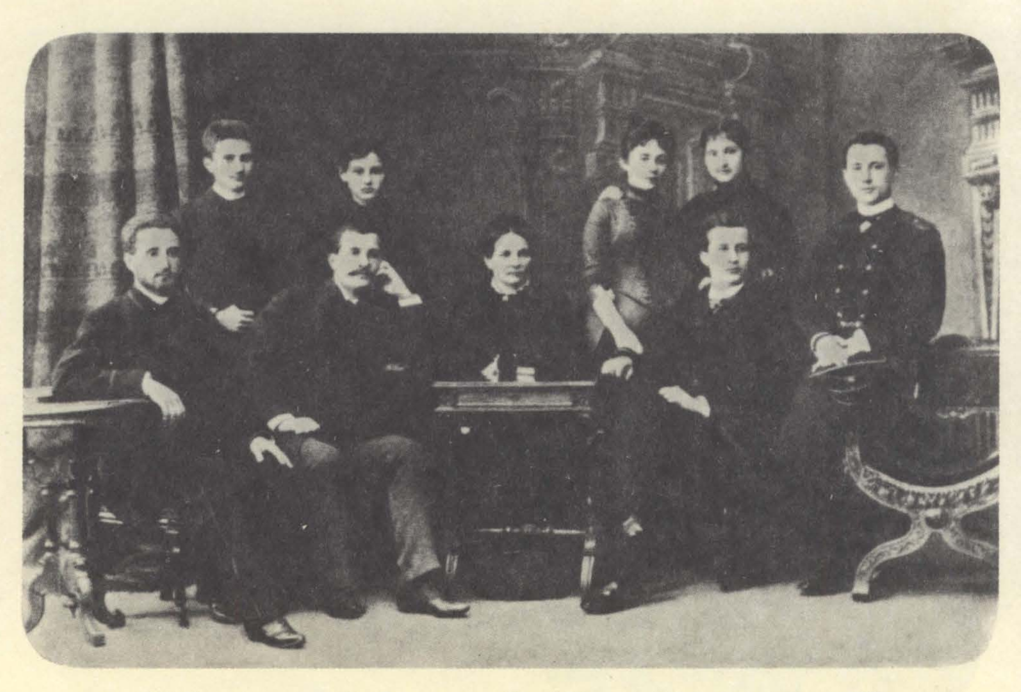
210 Эдвард Григ



211 Юлия Аркадьевна Зилоти, урожд. Рахманинова, мать А. И. Зилоти



212 Варвара Аркадьевна Сатина, урожд. Рахманинова, сестра Ю. А. Зилоти



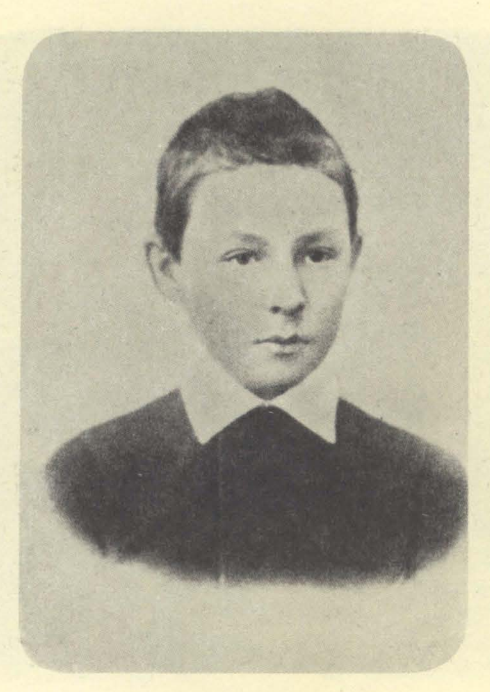
213 Юлия Аркадьевна Зилоти с детьми и Верой Павловной Третьяковой. Около 1887



214 Иван Павлович и Мария Павловна Третьяковы. 1881



215 Семья Третьяковых. Сидят: Павел Михайлович, Иван Павлович, Михаил Павлович, Вера Николаевна, Мария Павловна, Мария Ивановна; стоят: Александра Павловна, Вера Павловна и Любовь Павловна. 1884



216 Сергей Васильевич Рахманинов.
Около 1885—1886



217 Николай Сергеевич Зверев с учениками. Слева направо сидят: А. Н. Скрябин, А. М. Черняев, М. Л. Пресман; стоят: С. В. Самуэльсон, Л. А. Максимов, С. В. Рахманинов, Ф. Ф. Кенеман.
Конец 1880-х годов



218 Вера Павловна и Александр Ильич Зилоти. 1887



219 Вера Николаевна и Павел Михайлович Третьяковы. 1894



220 Александр Ильич и Вера Павловна Зилоти
Александра Павловна и Сергей Сергеевич Боткины. 1891



221 Вера Павловна Зилоти. 1890-е годы



222 Вера Павловна Зилоти. Конец 1890-х — начало 1900-х годов

СОДЕРЖАНИЕ

ЗИЛОТИ
ВЕРА ПАВЛОВНА

В ДОМЕ ТРЕТЬЯКОВА

Редакторы Н.А.Ракова, Ю.А.Ульянова

Художник Л.А.Иванова

Художественный редактор М.Г.Егиазарова

Технический редактор Н.Г.Карпушкина

Корректоры Ю.А.Евстратова, Т.М.Медведовская

Лицензия ЛР № 010157 от 14.02.97 г.
Подписано в печать 02.09.98 г. Формат 70 х 100/16.
Бумага офсетная. Гарнитура таймс. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 27,95. Усл.кр.-отт. 36,4. Изд. № 20125. Зак.277.
Издательство «Искусство» 103009 Москва,
Малый Кисловский пер., 3.
Отпечатано с готовых диапозитивов
АООТ «Тверской полиграфкомбинат» в АО «Астра семь»
121019 Москва, Филипповский пер., 13.

ISBN 5-210-01321-9

9 785210 013217





